

НАШ СОВРЕМЕНИК

Журнал писателей России



№ 9 2015

ВЛАДИМИР СИЛКИН



ВО СЛАВУ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ПОСОХ ПЕРЕСВЕТА*

Как далеко ты, посох Пересвета!
Но зорок ты, глядишь через века.
В отшельнической келье тёмной этой
Крепчает богатырская рука.

Она уже вовек не ослабевает,
Бог не оставит в грозный час её,
И полетит в предплечье Челубея
За Русь святую бранное копьё.

Он сам падёт, но и собьёт ордынца,
И в памяти останется людской.

СИЛКИН Владимир Александрович родился 14 октября 1954 года в г. Ряжске Рязанской области. Окончил редакторское отделение военно-педагогического факультета Военно-политической академии, полковник в отставке. Секретарь Союза писателей России, заместитель председателя Московского городского отделения СП России, начальник Военно-художественной студии писателей Культурного центра ВС РФ. Лауреат Государственной премии России, заслуженный работник культуры России, почётный гражданин Рязанской области, кандидат педагогических наук.

* Перед Куликовской битвой Пересвет, ученик Сергия Радонежского, молился в келье отшельника при часовне святого воина Димитрия Солунского, где впоследствии был основан мужской Дмитриевский Ряжский монастырь. Это в 7 км от г. Скопина. Помолившись, Пересвет оставил здесь свой яблоневый посох.

Но вздрогнет от падения столица,
И всё живое стихнет за Окой.

И Сергей молча преклонит колени.
И сердце так захладит тоска,
Как будто наяву увидит тени,
Что пали на лицо ученика.

...Как далеко ты, посох Пересвета!
Но зорек ты, глядишь через века.
Не дай-то Бог, чтоб новый старец где-то
На бой благословлял ученика.

НА ВОЖЕ

Снова ордынцы в набеге...
Непобедим и хитёр,
С войском карательным Бегич
Двигает к Воже шатёр.

Действий не предпринимая,
Ищет решение и ждёт.
Грозная сила Мамаю
Вскоре отыщет свой брод.

Только хвастливый и хитрый,
Бегич не верит глазам,
Что его коннице Дмитрий
Дверь затворил на Рязань.

Бегич падёт в этой сече,
Войско спасётся едва.
Иноплеменные речи
Вновь не услышит Москва.

С памятной битвы на Воже
Дмитрий придёт со щитом,
И свою славу умножит
Он в Куликовской потом.

РУСИЧИ

В тихом поле тяжелеет колос,
И закат и девственен, и тих.
Если только вслушаешься, голос
Различишь прапрадедов своих.

На миру себя не возносили,
Хоть и были силою горды.
Золотые купола России
Сберегли от Золотой Орды.

Может, в чём-то были и неправы,
Нелегко судьбу предугадать.
Но в наследство честь свою и славу
Нам они сумели передать.

В бранных сечах не давали спуску,
Поклонялись брэнному труду,
Чтоб молчала грозная Царь-пушка
И не бил Царь-колокол беду.

ПОЛЯ РОССИЙСКИЕ

Такая тишь... Окликнуть некого.
Один лишь Млечный Путь давно
Пролёт к разъезду Дубосеково
И дальше до Бородино.

И в тишине подлунной слышится
Дыхание земли родной.
И так легко и просто дышится
Берёзовою тишиной.

Поля российские... Над бедами,
Из плоти матери-земли,
Из глубины веков победными
Цветами жизни проросли.

Земля былинная, сурова
Будь, доброту в себе храня,
Во славу поля Куликова,
Во славу завтрашнего дня.

ДОНЕЦК

Я не бывал там и вот наконец-то
С другом безмолвно стою,
Слушаю, как по слепому Донецку
“Грады” бессонные бьют.

Зябко в подъезде разбитого дома,
Воет волчицей метель.
Это оттуда, с аэродрома
Двери срывает с петель.

Вот и опять загорается крыша,
Мечутся тени в огне.
Кожею чувствую, кожей слышу —
Лупят снаряды по мне.

Что ты забыл тут из прошлого века?
Вон из Донецка домой!
Это последнее, что человеку
Враг оставляет зимой.

Битые стёкла и затхлость подвала,
Серые лица впотьмах.
Как же, Европа, ты сукою стала,
Спишь в своих сытых домах.

Знаю, Европа, аукнется вскоре
Страшное это кино,
Ведь не бывает соседского горя —
Горе на свете одно.

Не оставайся сейчас без ответа,
Чтоб никогда не узнать,
Как это страшно, без хлеба и света —
И без воды выживать...

ЛУГАНСК 2015 ГОДА

Пахнет свежей кровью и гарью,
Вдоль обочины встали кресты.
И кричит изувеченный парень,
И срывает, как кожу, бинты.

Навалились такие напасти!
Но суровей, чем в прошлом году,
В бой идут регулярные части,
На своих же, по сути, идут.

А повязка у парня намокла,
Снег под ним — словно маковый луг,
И зияют ослепшие окна,
Безразлично взирая вокруг.

А уже подступают морозы,
И такие спешат холода!
Не простятся бездомные слёзы
Никому на земле, никогда.

ПОД ДОНЕЦКОМ

У меня тут ни кума, ни свата.
Тут ни голоса нет, ни огня.
И когда-то белёные хаты
Исподлобья глядят на меня.

И несносно от этого взгляда —
В нём ни капли людского тепла.
По-хозяйски заходят снаряды
В эту хату, где радость жила.

Ни собаки, ни кошки у тына!
Чёрный снег и снаряд на снегу.
Как же будешь ты жить, Украина,
Перед этою хатой в долгу?!

КИМ БАЛКОВ



ДУШЕВНАЯ СМУТА

РАССКАЗ

Захар Портнягин, седобородый и головастый мужик лет шестидесяти пяти, побряхывая, вышел за ворота, придирчиво оглядел маленькими, круглыми, с рыжинкой глазами высокий, сажени в полторы забор, в котором и малой щели не сыщешь: плахи легли одна к одной, жёлтые, поискривающиеся смолю, как бы даже обильно облитые ею, тягучей, и остался доволен тем, что увидел. Прежде-то тут был не забор, заборчик скорее, покосившийся, раскачиваемый и на слабом ветру, поскрипывающий всеми своими нутряными прожилками. Но не это сделалось причиной того, что решился он поставить новый забор. Другое...

Сосед подошёл, Митрий Хворов, сутуловатый и егозливый мужичонка примерно одного с Захаром возраста. Был он в старенькой, шибко потёртой куртке да в кепчонке, надвинутой на глаза. Подошёл, подпрыгивая на одной ноге; другую-то потерял по пьяни, забредя в тайгу невесть по какой надобности: сроду не держал в руках ружья, хотя и любил поговорить об охоте на большого зверя. Ну, забрёл в тайгу-то и заплутал, а в ту пору мороз стоял лютый, к тому ж ветрище хлестал будь здоров как, рвал в клочья толстые суковатые ветви с дерев. Митрий, и вовсе ошалев, не сыскал тропы, чтоб вывела на поселё. Мешком с картошкой свалился, ослабнув, на снежную землю и заснул, бедолага. И не проснулся бы, да местный егерь в ту пору

БАЛКОВ Ким Николаевич родился 15 сентября 1937 года в Бурятии в семье учителя русского языка и литературы. Окончил среднюю школу в Баргузине, работал в лес-промхозах. В Иркутском университете учился вместе с В. Распутиным, А. Вампиловым, А. Румянцевым. Затем работал в Комитете по телевидению и радиовещанию Бурятской АССР. С 1969 года профессионально занимается литературой, член Союза писателей России. Автор множества романов, повестей, рассказов. Лауреат Большой литературной премии России.

обходил подконтрольные ему лесные угодья, он и наткнулся на Хворова, приволок его еле живого в свою зимовейку, отпоил чаем, а потом, запрягши в узкие, на тонких гибких полозьях сани, кличимые в народе перевёртышами, густошёрстную тощую лошаде́нку, свёз Митрия в больничку. Там и оттапали ему ногу.

— Ну, чё?.. — спросил Хворов, опираясь на палку и пританцовывая. — Бойко ль движется дело-то?..

— А чё с им станется? — ответил, прищурясь, Захар. — И то ладно, что не бежит впереди меня, рядом со мной держится.

Не спеша, а как бы даже с толком и с малыми остановками обошли новенький забор, нагло ватскинувшийся над ближней округой, отгородивший от прочего мира неказистый домишко с хилым щелястым крылечком о три ступеньки да с мутно-серыми подслеповатыми окошками, скорей, похожий на степную юрту, чем на избу, после чего сели на скрипучую лавчонку, сохранившуюся от прежнего времени. Митрий, утерев со лба пот широкой бугристой ладонью, отыскал в глубоком кармане куртки пачку с сигаретами, закурил, а Захар, привычно задумчиво теребя бороду толстыми корявыми пальцами, сказал едва ли не с грустью:

— Дороговато обошёлся мне заборчик-то. Я ж не миллионщик какой, пенсионер.

— А кто ж заставлял городить? — хмыкнул Хворов. — Я ж баял, неча дурью маяться. Да ты и слушать не хотел, упёрся: надо да надо, пошто бы на погляд выставлять свою задумку? Сглазят. — Вздохнул, как бы даже устало и виновато, хотя и не знал, в чём его-то вина?.. — Неча пенять на соседа, коль у самого рожа крива. Видал нынче работаг с лесопилни, с похмелья маются, спрашивают: а твоему соседу и впрямь ничё боле не надо? Мы б подсобили, чего ж?.. — Чуть только помешкал: — А ты никак целую неделю поил-кормил их?

— Было дело, — вяло ворочая языком: с чего-то вдруг сухоту ощутил в горле, хотя вчера не брал в рот и капли спиртного — опротивела водка, и не глядел бы на неё! — проговорил Портнягин, изгудрясь. — Ить у нас как? Не подмажешь — не поедешь. На том и стоим, поди?

Ближе к полудню пошли на берег Байкала, подле посёлка пологий, обильно заросший колючим кустарником, спустились к плоскому, искряно-белому урезу воды, нынче слегка колеблемому, взгудевшему от припадающего к нему ветерка, к тому месту, где стояла лодчонка, привязанная к одинокому берёзовому дереву. Должно быть, в своё время пало семенем с крутоярья, принесённое шальным верховичком, и пустило на удивление всей здешней округе живые корни, а потом потянулось вверх, разлапистое и упругое, как бы даже на зло кому-то.

Захар нутром чуял несхожесть дерева с тем, что возрастало в околоте, жалел его и, придя на берег, норовил погладить ладонью и сказать хотя бы мысленно чего ни то ласковое и утешливое. Иной раз мнилось, что берёза в ответ как-то по-особенному, противно ветру, который с утра до ночи нещадно раскачивал её, бледно-синюю, шелестела ветвями, а нередко и вызывала отлеглое от древесного нутра что-то тихое и грустное.

— Ну, будет тебе! — в те поры огорчённо и как бы виновато разводил руками Захар и чуть слышно ронял наземь убогие слова, которые не больно-то нравились ему, но и придумать что-то другое не умел. — Ить живём же! Чего ж ещё-то?..

Вот и теперь, отвязывая лодчонку от дерева, Захар мысленно сказал те же слова и опять подсадовал на себя. Вдруг пришло на память нечто из недавней поры, если и не поломавшее его жизни, то повернувшее её к чему-то несвичному. А было так. Сидел тогда за кухонным столом у соседа, потягивал помаленьку из гранёного стакана водочку местного производства, никуда не поспешая: старуха-то у Хворова надясь уехала в райцентр, сказала, чтоб не ждали её нынче, заночует у старой приятельницы. В магазин-то теперь не сунешься, цены там сумасшедшие. Ему ли, у кого дырка в кармане, иль Митрию тягаться с ними? “Да пошли они все к едрени фене. Мы чего другого сыщем, не первый год живём на земле”. Порешили так-то и сыска-

ли чего ни то подешевле. И теперь сидели и чем дальше, тем чаще подносили ко рту стаканы и всё больше косели. А когда и вовсе в голове сделалось смурно, на сердце свично с их душевной природой пала печаль-тоска. Захара потянуло на берег. Митрий не захотел отстать от приятеля и, ловко орудуя костылём, поскокал птицей-подранком следом за ним. Когда ж добрались до тупорылого камня, обросшего тёмно-рыжим мхом, на котором сиживали не однажды, слёту упали на него и вытянули ослабевшие ноги. А время года Захар, не сразу сообразив, с чего бы вдруг, хрипло и задыхливо затянул:

*Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулёвая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалеко...*

Митрий, не мешкая, подхватил песню и тут же запомнил про всё на свете, точно бы никого нынче рядом с ним не было, кроме бродяги, вознамерившегося переплыть Байкал в омулёвой бочке. Понятное дело, задумка не ахти какая: небось первый же ветер скovyрнёт бочку с волны, и тогда поминай как звали. Митрию было жаль бродягу. Но чем он мог помочь ему?.. Странно, что нынче думал так. Знал же, что тот переплывёт Байкал и на другом берегу повстречает матушку. Знал, а переживал. Одно успокаивало, что пловец был не из робких: ведь обманул же царёвых слуг, обвёл их вокруг пальца. И почувал волю. Славно-то как! Теперь всё в его власти. А коль повезёт, то и на морскую волну найдёт управу.

Митрий, в отличие от Портнягина, чувствовал мелодию, не отставал от неё, но и впереди неё не бежал. Жаль только, не всегда удавалось защитить песню. Мог бы поругать приятеля, которому медведь наступил на ухо, да не хотел. Малость повздыхал, когда Захар уж больно налёг на голос, а переждав, постарался слушать только себя. И, как нередко случалось, сумел настроиться на нужный лад и довёл песню до конца. После чего вытащил из кармана тёмно-синей куртёшки пузатую посудину, похожую на туесок, — в ней жена хранила разные лечебные травяные настои, — потряс ею, поднеся к уху, сказал:

— Булькает ишо. Зараза!

Быстро управились. Помолчали, прислушиваясь к себе, точно бы норвя уловить то, что осталось в душе от песни, а потом поговорили про то, что надо бы поменьше потреблять самодельную водку, поди, не зря бабы на поселье поругивают её, бают, что вся беда от супостатной. Вон и на прошлой седмице мужичонка в райцентре траванулся ею и угодил в больничку, а там едва отводились с ним.

Конечно, надо бы отказаться от самогонки. Опять же, на какие-такие шиши магазинскую водку брать? Беда прямо, и так худо, и этак. Не разбери-поймёшь, куда податься честному человеку, к какому порогу приткнуться?..

Повздыхали, поохали, а потом Захар вроде бы ни с того ни с сего дурно заблестел глазами и как бы разом ошалел от мысли, что нечаянно пришла в голову, и была упругая и лёгкая, и не приведи как подзуживала. Надо сказать, так случалось часто. Что-то вдруг накатывало, и он не умел откеститься от забредшей на порог мысли и тянулся за нею, хотя порой страсть как не хотелось ломать в своём душевном состоянии. Только что из того-то?.. Промелькнувшее, хотя бы и вовсе несвычайное с его теперешним сердечным укладом, укреплялось, и он поступал так, как никто от него не ждал. К примеру, мог, словно бы подхваченный нечистой силой, уйти из артели, которая перебирала на берегу сети, подняться на вершину высоченной крутолобой скалы, а потом сесть на тупорылый камень и долго пребывать на верхотуре, невесть о чём размышляя, но чаще о том, чего никогда с ним не случалось, но могло бы и случиться, если бы повернулось по-другому.

Попервости рыбаки досадовали на него, потом привыкли и только ухмылялись, когда он выкидывал что-либо, не согласное с артельными правилами. Вот такой он... И ничего тут не попишешь. Вдруг да и останавливался посреди поселья, хватался руками за голову и долго держался за неё, мыс-

ленно отодвинув себя от тех, кто крутился подле него. И не сразу отвечал даже на любезный, не в обиду ему спрос. “Чокнутый какой-то”, — говорили про него. И это, пожалуй, было так. Хотя никакого вреда от него не было никому, он лишь ненадолго закрывался на все замки и уж никого не слышал и никого не видел, общался только с тем, что нечаянно было явлено ему. Чудно? Наверно. Опять же где сыщешь ту причину, которая нет-нет да и переворачивает всё в душе, и заставляет устремляться мыслью в те дали, куда нету никому доступа?

— И я смог бы переплыть море в омулёвой бочке, — хмельно, поспешая со словами, сказал Захар после мысленного хождения по дальним чужим землям. — А чё?..

— А вот и ничё... — ответил Митрий, привыкши к приятелю и к его выкрутасам, которые чаще появлялись, чтобы тут же, не обретя надобной опоры, раствориться, как синюшные ночные пятна в голубом пространстве. Это происходило обычно, когда Захар бывал в подпитии. Наверно, поэтому он не всегда помнил о них и не сразу мог сказать, отчего третьеводни его потянуло в тайгу, да не налегке, а в полной охотничьей справе и со старым дробовичком, закинутым за спину, — до начала сезона времени-то ещё огого сколько! Хорошо, Митрий в ту пору оказался на соседском подворье, он и не дал приятелю выйти за ворота. Смеху-то было бы на всё Подлеморье!..

Захар, кажется, и нынче почувствовал нечто, что всё поменяло в нём и сделало несходным с самим собой, в сущности тихим и скромным малым, который, когда во трезвях, ходил по улочкам осторожно и с опаской, как если бы стесняясь, и ничего ни от кого не требовал и обходился тем, что отпало от общей людской судьбы. Только вот напасть: его часто заносило, и ему делалось тесно в том мире, в котором он вынужден был жить, и хотелось чего-то неведомого. В том-то и дело, что неведомого, никем не потревоженного... Портнягин впервые услышал это слово, надо думать, в местном православном храме, куда нет-нет да и заходил, чтоб постоять в толпе молящихся, поглазеть на иконки, повздыхать, чувствуя, как на сердце становится всё спокойней, ни к чему не притягиваемо и ни от чего не отталкиваемо. Это слово крепко запало ему в память. И к месту ли, не к месту ли он произносил его, прислушиваясь к звучанию, и всякий раз отмечая в нём некую новину.

Как-то в удачливый для жителей Подлеморья сезон, когда омулёвые косяки запрудили ближнее водное пространство, он выловил в лодке, доверху нагруженной рыбой, маленькую лупоглазую серебряную рыбку и показал её артельщикам, восклицая: “Вот чудо-то, а?.. Прямо сказать, неведомое!..”

Рыбаки не приняли его восторга. Сказал кто-то, поморщась:

— Чё тут неведомого? Обыкновенна голомянка. Живородяша. На морском дне живёт. Непонятно токо, с чего бы поднялась на волну, с какого-такого зачумленья? Ить она вся из жиру, и ужасть боится солнца. Скоро, надо быть, растает у тебя в ладошке, и ничего от её не останется, разве что тонкий скелетик.

А когда так и случилось, Портнягин расстроился, но взял себя в руки, вынул из холщовых штанов белую тряпицу и завернул в неё скелетик и прятал в нагрудный карман широкой сатиновой рубахи, которая была на нём. Когда ж пришёл домой, положил скелетик на полочку под образа, а потом долго сидел в переднем углу, хотя Гланя уж сняла с печки сковороду с жареной рыбой и раза два заглядывала в горницу, любопытствуя, что-то там поделывает муженёк, однако ж и малым словом не потревожила его, поскольку уж давно взяла в соображение, что не глянется Захару, когда норовят помешать движению его мысли. Кстати, про это он сам сказал Глане чуть ли не в первый год их совместной жизни. И она запомнила, а со временем это сделалось правилом для неё, которому она следовала неукоснительно, хотя порой и хотелось поломать его. Но что значат наши желанья, если ни к чему не влекут? Не лучше ли избавиться от них?..

— А давай на спор, — поправляя на себе рубаху, загоняя её под широкий кожаный ремень, сказал Портнягин, — что переплыву Байкал в омулёвой бочке не хуже того бродяги?

— Чего ж, давай, — хмыкнул Митрий, протягивая Захару загорелую руку. А когда уверовал, что спор ничем не угрожает ему, обронил весело: — На ящик водки. — Помедлив, уточнил: — Ясно дело, с магазину!

— Идёт! — кивнул лобастой головой Захар Портнягин.

Он и сам удивился собственной прыти. Откуда у него такие деньги-то?.. Ну, есть, конечно, кое-что в заглазнике. Уж который год Гланя откладывает на “чёрный день”. Только можно ль пустить на ветер заначку? Но павшего с языка не воротить. Уронил на руки жёлтую, в белых лоскутках, голову, мало-помалу трезвея, и неожиданно для себя заглянул в своё прошлое, хотя туда раньше не тянуло. Он и не думал о нём, как если бы всё, что было прежде, сделалось невозвратно.

Никто на поселё, кроме жены, не знал, откуда он родом и отчего много лет назад он приехал на Байкал и сразу же пошёл в рыболовецкую артель наниматься на работу. В те поры там нужны были молодые сильные руки, и башлык ни о чём не спросил у Захара. Впрочем, если бы даже спросил, вряд ли получил бы вразумительный ответ. И вовсе не потому, что Портнягину было что скрывать, скорее, потому, что как раз нечего было скрывать. Ну, жил с бабкой в деревне под Рязанью. Отца с матерью не помнил, померли они, когда ему не исполнилось и года. С грехом пополам окончил среднюю школу, а потом пошёл в армию. Отслужил своё и подался на Байкал, про который много чего слышал от сослуживцев, и загорелся... В отчей деревне уже никто не ждал его, бабка к тому времени отдала Богу душу, а колхоз, где можно было чего-то сыскать для души, развалился.

Странно, кто бы мог подумать, что спор, который случился у приятелей на берегу Байкала, выльется во что-то серьёзное. Во всяком случае, Митрий уже на другой день запомнил про него. Зато не запомнил Захар. Куда там!.. Всю ночь не сомкнул глаз, ворочался на неразобранной постели и неведь что бормотал под нос, но чаще какие-то обидные, не приемлемые его душевной сутью слова. И откуда только скатывались к нему, упрямые? С потолка, что ли?.. А и впрямь порой что-то затеняло потолочную белизну, как если бы ночные птицы залетали в окошко, растрёпанные и жалкие. Встать бы с кровати и открыть форточку, прогнать бестолковых птах, а не то побойтуса. Да не хочется и рукой пошевелить. Опять же что-то подсказывало: не надо этого делать, птахы явно из другого мира, в здешнем лесу их днём с огнём не сыщешь. Может статься, для того и спустились с неба, чтоб подтолкнуть его принять надобное решение.

Утром Захар не сказал бы: подсобили ему небесные птахы, нет ли?.. Надо быть, подсобили. Вот только незадача: как-то жена отнесётся к этому?.. Нет, она, конечно, не станет кричать на всю улицу, что он мается дурью, это ж надо придумать — “смертную денежку” пустить на ветер. Гланя, может, и промолчит, а только досада, небось, станет точить её. А что будет потом, одному Богу ведомо. Знает: иной раз и самый слабый вдруг да и выкажет норы и хотя бы на малое время почувствует себя сильным и дерзким, и возгордится. Иль не так нет-нет да и случается с Митрием?.. Иной раз Хворов, как если бы ни с того ни с сего, но чаще из-за кем-либо высказанного неверия в его способность быстро передвигаться по земле, опираясь на костыль, так распахнется, что и на одной ноге, обгоняя двуногих, ускорит куда ни то, к примеру, на берег Байкала, где в давнюю пору был поставлен православный крест в память о погибших в братоубийственной войне, и долго будет живым столбиком торчать на холмике близ креста, и по сию пору вроде бы не утратившему новизны, и дожидаться, когда подойдут жители поселения. Они раз в год приходят к кресту и сидят на холмике, толкуя о разном, и почти никогда о том, что нет-нет да и вгоняет людское племя во тьму неверия и в отчаяние, после которого душа делается пуста и как бы даже никому не надобна ни на том свете, ни на этом.

С того утра всё и началось. Благо, жена в ту пору гостевала в райцентре у младшего сына, приглядывала за его мальцом. Гланя и к старшему сыну в Иркутск частенько ездила и водилась с малышкой. Короче, в последние два года редко когда бывала дома, переложив хлопоты по хозяйству на мужа. Впрочем, велики ли хлопоты? Так, по мелочи: курочек ли покормить,

козу ли дерезу выгнать со двора да проследить, чтоб поменьше лазала по чужим огородам. А уж вовсе-то отвадить её от этой привычки и не пытайся. В крови у неё пакостливость-то, из-за которой Портнягину перепало от соседей. Короче, никто теперь не мешал Захару. Живи, как хочет твоя душа. Да, конечно, не просто было воспользоваться семейной заначкой. Долго стоял возле тумбочки, где супруга хранила её, и не сразу развернул бумажный, невзвешенный отчего изрядно взмокревший сверток. А потом переложил часть денежек в свой карман и, вздыхая, вышел из дому. У него уже была договорённость с работниками лесопилни: обещали те, что нарежут ему сколько надо и какой угодно доски, коль скоро согласится в конце каждого рабочего дня, пока будут заняты на распиловке, потчевать их водочкой, и непременно с магазином, потому как они мужики справные и не охота им помирать раньше отпущенного Провиденьем срока от употребления злой самогонки.

Неделя ушла на то, чтоб напилить досок. И всё это время работяги с лесопилни ходили с красными глазами да с опухшими лицами. Но никто на поселёе не догадывался, отчего бы?.. Работяги умели соблюсти свой интерес. Но вот Гланя приехала из райцентра, увидала забор и обрадовалась: “А чё, давно пора отгородиться от чужого глазу. Ить всякий бывает глаз-то, опять же и дурной!” Другое смутило: с чего бы Захар попервости сварганил забор, а не крыльцо, к примеру, которое спасу нет как застарело? Да и крышу не мешало бы перестелить. Про то и сказала, и услышала в ответ обнадеживающее:

— Всему своё время!..

Может статься и так. Поверила Захару, а в тумбочку, где лежала заначка, и не заглянула даже. И через день уехала. И уж никто не мешал Портнягину. Разве что иной раз Митрий говорил чего ни то с ехидцею, смущённый настырностью приятеля. Но тут же и замолкал, увидав, как тот разом менялся в лице. Вздыхал: “Помолчу-ка... Портняга-то не в себе. Ишо чего отмочит. Да ну его, связываться. Себе дороже!” И, когда Захар просил помочь, не отказывал. А иной раз спрашивал:

— Забор-то и впрямь для того, чтоб никто не увидал, как ты маешься дурью?

И говорил Портнягин как бы даже с недоумением:

— И для этого тоже.

Захар поднял забор, сколотил новое крыльцо, отладил крышу. Всё честь по чести. Потом сходил на окраину поселёя, где жил старик, которого звали Дед — Сто лет, поспрошал у него, как, из какого матерьялу раньше собирали омулёвые бочки. “Теперь-то уж таких, поди, днём с огнём не сыщешь?” Кое-что вызнал и остался доволен.

Ещё неделя понадобилась для того, чтобы сварганить бочку из толстых сосновых плах. Тут уж дело пошло веселее. Хворов в прежнее время, когда стоял колухоз, ладил для артели бочки. Поднаторел в этом непростом деле, да и, правду сказать, наскучали руки без любимого занятия и теперь, дорвавшись до него, заставили запомнить про всё прочее. Чуть только солнце поднималось над гольцом, бежал на соседское подворье, где и пропадал до глубокой ночи. Зато и ладная вышла из-под его руки бочка, хотя и не шибко свычная с теми, что сколачивал прежде, вроде бы как не круглая, а восьмиугольная. Впрочем, уголки были малоприметные, обыкновенно людским глазом и вовсе не замечаемые. Вон и Захар не сразу разглядел их. И то в радость Митрию. Он уж который день не потреблял водочку, вроде бы начисто запомнил про неё. Когда ж приятель намекал: дескать, может, мы того-самого по вечеру-то, а?.. — досадливо отмахивался, говоря, что не время. И то ещё было удивительно для Хворова, что руки, вроде бы уже отвыкшие от тонкой работы, порой делали то, чего никогда не делали раньше, словно бы кто-то невидимый управлял ими и ставил доску на сгиб, которого тут не должно быть. Эта чудная соединённость с чем-то, легко и весело зависающим в небесном пространстве, была по душе Хворову, и он удивлялся, отчего не замечал этого прежде, и теперь опасался, что больше такого не будет, и потому тянул с бочкой-то. Не поспешал... Впрочем, не станешь же дурковать до скончанья дней, где-то ж надо поставить точку. И он-таки по-

ставил её. После чего присел на табурет, вынесенный для него из избы, вытянул ногу, старательно оглядел её и пробормотал в давние поры страдальцами на смертной тоске рождённое:

*Хорошо тому живётся,
У кого одна нога:
И ботинок меньше рвётся,
И не нужно сапога.*

После чего грустно добавил:

— Кажись, всё.

Посреди ночи, — надо ж соблюдать тайну, как же без неё-то? Скучно стало бы без неё! — выкатили бочку на берег Байкала, подтопили на мелководье, придавили днище камнями: пущай обмокреют густо просмоленные плахи, втянутся друг в дружку намертво, — и пошли домой. И всю ночь просидели, попивая водочку и нахваливая себя. Разошлись поутру, чтоб на другую ночь снова сойтись на новом крыльце. Опохмелились и спустились к Байкалу. Освободили бочку от камней, а потом поставили её на шутящую, подгоняемую култуком волну, перед тем подняв над нею парус из кусочка белого сатина, который Гланя намеревалась использовать для нарезки простыней: старые-то уж больно изнашивались.

— Ну, я готов к отплытию, — бойко сказал Захар. А помедлив, добавил: — В другие миры, про которые мы чего-то слыхали, но ни разу не ходили туда.

Бойкость вышла слабая, никлая, как если бы не от души, и Митрий уловил это сердцем и, кажется, только теперь осознал: всё, что предпринято ими, предпринято не шутки ради. До шутки ли тут, коль скоро и море рядом, и омулёвая бочка покачивается на волне? А может, ещё обойдётся, и Захар махнёт рукой на свою задумку и скажет, рассмеявшись:

— Ну, ладно, подурили и хватит. Не малые дети — седобородые мужики.

Но Портнягин ничего не сказал, стоял, задумчиво глядя перед собой, словно бы видел впереди что-то. А и впрямь, перед ним нынче возникали невесты какие картинки, чаще те, про которые вроде бы и не должен помнить. То видел себя пацаном вовсе, пришёл тогда в школу, там старшеклассники давали концерт для выпускников сельской школы прошлых лет. Он сроду никуда не ходил, а тут припёрся, теперь уж не помнит, по чьёму наущению. Стоял у настежь распахнутой двери, переминался с ноги на ногу. К нему подошла незнакомая женщина с длинным узким лицом, в сиреневой косынке, спросила:

— Мальчик, ты чё не проходишь в зал?

Он искоса глянул на неё, буркнул:

— Не хочу.

— Отчего же? — удивилась она. — Это ж так интересно — провести вечер с друзьями.

— А мне неинтересно.

Сказал ли, подумал ли так, теперь и не помнит. Зато хорошо помнит, что с малолетства глянулось ему быть одному, а на людях он чувствовал себя не в своей тарелке. Но его не оставляли в покое, нет-нет да и подсосеживался к нему кто-либо и говорил легко:

— Ты чё, Захарка, такой грустный?

Он обижался и отвечал, досадуя, но порой и спокойно:

— Да не грустный я. С чего бы мне быть грустным?

Ему не верили и норовили заглянуть в душу. Так было в школе, так было и в армии, а потом и на Байкале. Нет, попервости тут всё складывалось куда как удачно. Никто не лез с расспросами, для всех он был новичком, чужой косточкой, случайно заброшенной на берег *священного моря*. Пройдёт от силы полгода, и он, как и многие до него, умоет отсюда. Короче, Портнягин не был никому интересен. Разве что одноногому, художелому мужичку с кучей рыжей бородкой прозваньем Митрий. Тот почему-то потянулся к но-

вичку и старался угодить ему даже там, где никакого угождения не требовалось. И, что самое удивительное, мужичок чем-то поглянулся Захару, и он охотно вступал с ним в разговор, хотя бы ни к чему и не влекущий, надо быть, для того только, чтоб язык не отсох от игры в молчанку. Но с каждым разом меж этими людьми укреплялось чувство локтя, и им становилось всё трудней обходиться друг без друга. Захар, в сущности ни с кем никогда не водивший дружбу, удивлялся этому, но и поменять ничего не хотел.

В первые дни по приезде в Подлеморье Портнягин с утра до ночи пропадавал на берегу Байкала, и всё ему тут было в радость. Любил слушать, как шумели волны, когда скатывался с высоченных скал верховик. Весело и гомонливо. А коль скоро напряжешь в себе, то и уловишь в плеске поутру слабых, едва вздымающихся волн какие-то чудные звуки, как если бы обозначающие некие слова-знаки, правда, произнесённые на другом языке, и захочешь понять, о чём рассказывает сибирское море, а только не сумеешь понять. Но то и ладно, что не расстроишься, безоглядно признаешь за Байкалом право поступать так, как ему хочется. Захар любил наблюдать и за чайками, когда те кружили над морем. Он следил за их суетливым полётом, и его тянуло сказать белым птицам, что всё идёт как надо и нечего изводить себя: море-то рядом, и рыбы в нём куда как много, так что им не грозит помереть с голоду. И он, кажется, говорил, и не всегда мысленно, но чайки не слушали, и бывало, устраивали меж собой драку, норовя вырвать у белокрылого соседа красноперую рыбку, которую тот держал в клюве. Захар не обижался на морских проказниц, думал, придёт время, и он научится понимать птичий язык и займётся их воспитанием.

“Да уймись вы! Иль не стыдно из-за ерунды затевать ссору? — говорил он. — Чего обижаться на соседа, на то, что он оказался проворней? В другой раз и тебе повезёт”.

Через год Захар женился. Жена попалась ладная, хозяйственная. Стали жить с нею в небольшом бревенчатом домике, круглыми подслеповатыми окошками глядящем в море. Близ крутобокого холмика, обильно заросшего разными лесными травами, сварили огородец. Завели кое-какую скотину. Пошли ребятишки. Рыжеволосые, мордатые. Бравые. Чего ж ещё надо-то?.. Всё вроде бы у Портнягина нынче есть. Но тогда почему, когда спало очарование, нагнанное здешней землёй, но, может, даже не так, не то, чтобы спало, а сделалось спокойней и не так живо и слёту воспринимаемо, на сердце начало поднывать. Попервости помаленьку, но с годами всё больше, как если бы чего-то упустил в жизни, к чему-то не подтянул себя. Сплоховал. Всё чаще стал вспоминать степную деревушку близ Рязани да малую серебротелую речушку, протекающую возле неё, куда бегал пацаном с удочкой в руках. Бывало, что и налавливал мелочь разную, тех же голянов, и радовался, хотя знал, что и этот его улов матушка пустит на прокорм кошке. А ещё ему приходило на ум от давних лет отлежшее и вроде бы уже начисто позабытое, но получается, что нет, вот ведь чудно-то как...

Ну да, конечно, было и такое, чего уж тут. Неловко вспоминать, а никуда от этого не денешься, всё-то маячит перед глазами. Захару тогда десять лет стукнуло, и поглянулась ему девица одна, глаз бы от неё не отводил. Таскался за нею по всей деревне. А когда оказывался чаще нечаянно рядом со статной девицей с нежно-розовой на руках кожей и с едва обозначенной грудью, стыдливо опускал глаза, чтобы только лишний раз не заглянуть в вырез ситцевого девчоночьего платья, и молчал, упорно катая ногой камушки, рассыпанные по деревенской улочке. Девица была постарше его лет на пять. И она очень скоро догадалась, отчего пацанёнок преследует её, и при этом слова не скажет, этакий чудной человек. И однажды ближе к вечеру взяла его за руку и спросила негромко:

— Ты хочешь дружить со мной?

Захарка ещё ниже опустил голову, пробормотал чуть слышно:

— Хочу...

— Ну, тогда пошли...

“Куда?” — тянуло спросить, да язык уж не подчинялся ему, сделался вялым, а в горле страсть как пересохло. Хотелось пить. Но терпел, хотя

сбочь степной тропы, по которой шли, в шаге от неё, одышливо журчал ручей, пробивая себе дорогу. Ещё немного, и Захар не выдержал бы и шустро ногой кабарожкой метнулся бы к утопающему в золотистых блёстках от низко зависшей над землёй круглой луны тонкому урезу воды, да не успел. Девушка как раз к тому времени сошла с тропы и подбежала к высокому стогу сена, ставленному с неделю назад, ещё не окрепшему, колеблемому упавшим с ближнего лесного взгорья шальным ветром, хмельно пахнущему. Поманила к себе пацана. И, ухватившись руками за берёзовый стяг, прислонённый к стогу, ловко вскарабкалась на плоский сенной гребень и уж оттуда крикнула:

— Ну, чё ты? Лезь ко мне!..

Захарка какое-то время переминался с ноги на ногу, но, в конце концов, теперь уж и вовсе не понимая в себе, да и в том, пожалуй, тоже, чего хотят от него, ухватился за шест. А потом... Что же было потом?.. Стыд-то какой! И ничего не скажешь. Подевались куда-то слова. Но, может, едва сорвавшись с языка, провалились в бездну?.. Так ли, нет ли, кто скажет? Уж потемну он спустился со стога и медленно, едва переставляя ноги, поплёлся в деревню. Девушка сказала, что заночует на сене, ей не впервой... После этого он не видел её ни разу, не хотел видеть.

— Вот напасть-то!.. — со смущением сказал Портнягин. — Вспомнится же такое!..

Хворов хотел бы спросить у приятеля, что случилось, отчего тот вдруг даже в лице поменялся, но не спросил. Налетел верховик и сдвинул омулёвую бочку с места, и Митрий едва удержал её в запруде, сооруженной ими из камней. Сказал, передохнув, о другом:

— Скоро култук придёт, а мы ещё не выпили на дорожку.

Портнягин кивнул и полез в сумку с продуктами. Вытащил бутылку водки, пару рыбьих хвостов.

Управившись с едой, приятели долго сидели, не глядя друг на друга, точно бы пребывали в смущении и не понимали, что же дальше?.. Но вот Захар поднялся с земли, обронил вяло:

— Ну, я того-самого... Поехал, однако.

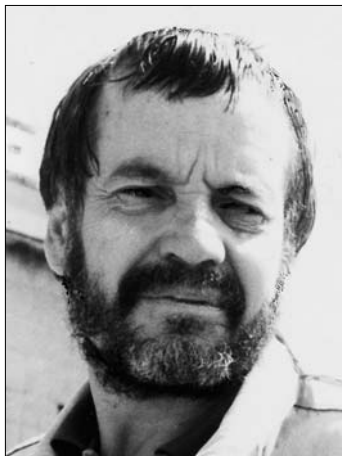
Подошёл к омулёвой бочке. Залез в неё и, налегши телом на короткий толстый багор, оттолкнулся от берега.

Митрий во все глаза, напрягшись и ни на минуту не умея избавиться от напряжения, смотрел на отплывающую омулёвую бочку, из которой торчала рыжеволосая взлохмаченная голова приятеля, как на что-то диковинное, чего не должно быть, но что почему-то случилось, и так сдавливало на сердце, что и свету белому был не рад. Он не отрывал глаз от бочки, от паруса. Была б теперь его воля, сказал бы Захару, чтоб тот возвращался. Но в том-то дело, что не было этой воли. Не ей подчинялся он нынче, а чему-то другому, нависшему над ним, грешным. Может, вон тем рваным облакам, что напоминали скачущих по синей степи длинногривых коней. Но может, и не им даже, не скакунам, а тому, кто управляет ими, по всему видно — большому и сильному, но ни с какой стороны не видимому. Как же пойти противу него? Достанет ли сил? Куда там!.. Слаб человек. Надо быть, и Захар в какой-то момент подчинился чужой воле и сделал то, чего и не хотел бы. Но может, тут было что-то другое?.. Поди знай!

Митрий смотрел на то, как омулёвая бочка отплывала всё дальше, постепенно утрачивая свои очертания. И вот уж от неё осталась маленькая круглая точка. А потом... потом море взыграло, погнало тёмно-рыжую волну, и та в какой-то момент едва не коснулась враз почерневшего неба, и тогда белая точка пропала. Как если бы её и не было вовсе.

Господи! Прости и помилуй нас, грешных!..

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН



СЧАСТЬЕ, или НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

РАССКАЗ

Диву даюсь, столь милостиво приветил Господь мою судьбу, хотя жил и в безбожии, и во грехах, как в шелках, стораю в страстях дольного мира, не ведая о мире горнем. Оглядел я тихим душевным оком нажитую жизнь от таёжного и полевого, от речного и озёрного деревенского рассвета до старгородского заката и подивился: верно молвлено, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ибо нет худа без добра....

Худо с добром

Счастье: явился я на Божий свет поздним и непутёвым парнишкой. За-скребыш, поздонушко, отхон... К сему родился шестипалым и чуть не помер младенцем от воспаления лёгких, едва отвадились, а посему... И что сдурю кинулся в писательство?... Матушка жалела меня, как Иванушку-дурачка; жалела сильнее, чем старших братьев, а сердобольные сестры опекали, одевали и обували меня, студента прохладной жизни, потом нищего сочините-

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич родился в забайкальском селе Сосново-Озёрск. После окончания Иркутского университета работал в областных газетах, преподавал русскую литературу в школах. С начала 90-х годов — преподаватель стилистики и русской этики на филологическом факультете Иркутского госуниверситета. Автор книг “Старый покос” (повесть), “Поздний сын” (повесть), “Боже мой...” (роман), “Яко богиню землю нареки” (фольклорно-этнографические, историко-публицистические и художественные очерки), “Русский месяцеслов” (обычаи, обряды, поверия, приметы русского народа). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

ля, за что я вывел братьев и сестёр добрыми героями своих сочинений. Лишние пальцы отсушили и отсекли в младенчестве, но порой оживал и змеился февральской позёмкой язвительный слухок: “Лукавый пометил...” Ну, да на всякий роток не накинешь платок, и усмехаюсь я на суеверные суесловия с высокой колокольни.

Счастье: рос я впроголодь. Не одыбали после войны, а посему ведаю цену хлеба на скоблённой дожелта столешне и златогривой ниве, и четверть века внушаю домочадцам беречь хлеб, как и прочее добро, нажитое горбом.

Счастье: жили мы в стуже и нуже, но бедность и породила жажду выбиться в люди и зажить побогаче — вроде из деревенской грязи в паркетные князи. А посему смалу пришлось вкалывать, засучив рукава, и хотя живу не до жиру, быть бы живу, но лишь в азартной, изнуряющей пахоте дремлют мои языческие страсти, расцветающие буйно-лиловым чертополохом в праздности. А ежели бы смалу и по сивую гриву ведал страх Божий перед смертными грехами, вышел бы в благочестивые деревенские мужики, что крестят лоб не по привычке, а по вере православной, по жажде наследовать Царствие Небесное.

Счастье: от нужды матушка сплавляла меня малого в село Погромна к тёте Вале, где жили посытнее, и там я, несмышлёныш, набирался ума от столетнего деда Лазаря, почившего в Бозе на сто шестом году своего долгого века.

Счастье: родился я в многочадливой семье. Матушка моя, Софья Лазаревна Андриевская, — из староверов-семейских*, отец Григорий Григорьевич Байбородин, — забайкальский гуран**; вырастили они нас восьмерых. Пятерых старших матушка тянула одна пять голодных и голых военных лет.

Счастье: в многодетной бедной деревенской семье сызмала заставляли вкалывать от зари до зари: чистить коровьи стайки, носить воду с озера, поить коров, колоть дрова, копать картошку, удить рыбу, собирать брусницу, голубицу... Чем и разожгли азарт к труду и тоску в праздности, что позволило, несмотря на вечную нужду и грошовый отхожий промысел, сочинить романы, повести, рассказы и очерки, в коих я восславил смиренных и трудолюбивых родичей.

Счастье: в тоскливых предутренних сумерках, до первых петухов, когда сладкий сон, мать будила меня, подростка, и посылала на рыбалку — рыбой кормилась семья; и я брёл к постылому и стылому туманному озеру, кляня своё горькое детство; но когда тепло и зорево алела водная гладь и рябь, когда оголодавший окунь клевал почти на голый крючок, душа моя по-чаячьи плескалась, купалась в счастливом мираже. Прожив детство и отрочество среди озёрных красот, мечтал я стать художником и капитаном дальнего плавания.

Счастье: отец мой, Григорий Григорьевич, гонял меня как сидорову козу. Если я забывал напоить корову, вычистить стайки, наколоть дров, если я разбрасывал топоры, ножовки и удочки, которые он содержал в красе и холе, отец сходил с ума и мог захлестнуть вожжами, коль подвернёшься под горячую руку. Это привадило меня к порядку.

Счастье: смалу и до зрелости не ведал я телевизора — душегубца, измышленного полуночным бесом на погибель душ человеческих. Зубрил стихи при керосиновой лампе, читал волшебные сказки... Сызмала и по сивую бороду люблю бажовское “Серебряное копытце” и стихи Пушкина, навеянные поэту крестьянской няней Ариной Родионовной. Вижу сквозь сумрак лет: в тёплую, ласковую избу с воем скребётся пурга, и дивно при сказочно мерцающем, чарующем, желтоватом язычке пламени сказывать, метельно завывая:

*Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.*

* Старообрядкой была лишь по родовому корню, по вере и молитве — в Русской Православной Церкви, чужаясь семейских-староверов.

** Гуран — русский забайкалец, в близкой родне которого были тунгусы либо буряты, что выражалось в облике и повадках.

*То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...*

Либо:

*У Лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том,
И днём, и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом...*

Если отец жалел керосин и светила ясная луна, читал былины и небылицы подле окна. Поминался вычитанный в книжке семилетний казачок, ко-
ему барин не позволял письму учиться. Лунными ночами казачок тихо-тихо,
на цыпочках крался к морю и писал на сыром песке азъ, буки, веи, по-
том — слова и строки, а волны смывали отроческие письма с песка, но не
могли смыть из памяти. Кажется, казачок тот вырос в народного поэта.

Счастье: рос без телевизора, не лупил я зенки на уродищ заморских —
бесову нежить, что без передыху гробит народ, отчего из голубого демонско-
го ящика багровой рекой плещет кровь человечья, словно одичалая вешняя
вода. Я же вечерами при тихом, уютном и ласковом свете керосинки слушал
потехи и бывальщины про старопржежную жизнь, а и просто житейские слу-
чай, что ведали отец и мужики. Подросши, и сам затейливо выплетал чудные
побаски, лёжа с приятелями на душистом сене и зачарованно глядя в сонно
мерцающие, белые звёзды. За то меня привечали даже деревенские варнаки
и лишний раз не обижали.

Счастье: рос и матерел я в глухой деревне, вокруг меня и во мне звучал
мудрый и прекрасный народный говор, коим я насытил и перенасытил свои со-
чинения.

Счастье: уродился я деревней битой — сибирский катанок, но ведь рус-
ский дух — дух деревенский, коль Россия наша матушка изначально и до се-
дины жила лесной и полевой деревней. Да и поныне уживаются в русской
душе истовая набожность, восходящая к святой юродивости, и суверенная
тьма, божественные взлёты души и мрачные падения, церковь и кабаки,
но исконный дух — деревенский: любовь к Богу и ближнему, любовь искрен-
няя, до скорбных и умиленных слёз, горная мудрость, яко у сказочного Ива-
на, затейливая притчевая речь, азартное трудолюбие, выносливость, терпе-
ливость, настырность, совесть и стеснительность, побратимство, лю-
бовь к малой родине, из коей зреет и любовь к Святой Руси. И этот дух по-
соблял деревенским творить чудеса в любом ремесле. Недаром же Василий
Макарович Шукшин заспорил в “Чудике” с высокомерным городом: “Да ес-
ли хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в чёр-
ной рамке, так смотришь — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Что
ни фигура, понимаешь, так выходец, рано пошёл работать...”

Счастье: мама моя, Софья Лазаревна, не ведала грамоты и, послуныя чер-
нильный карандаш, расписывалась кургузым крестиком — крестьянка-христи-
анка, смиренно несущая крест, — почему и оберегла в душе незамутнённую
книжной грамотностью народную сердечную мудрость и жалость к ближнему.
Позже мама хвалилась в семейных застольях: дескать, у меня все ребята вы-
шли в люди, лишь один... вроде Иванушки-дурака... книжек начитался... —
и мама с любовью и скорбью глядела на меня, бестолкового. Поклон маме на
ласковом слове, но до Иванушки мне, грешному, словно до Небес Божьих, ибо
сказочный Иванушка — предтеча христолюбивых и человеколюбивых юроди-
вых, коим за святость и пророчества возводили храмы на Руси, и миряне, за-
пав свечи у их святых ликов, просили молиться за них, живущих день во
грехах, ночь во слезах. Я же к сему молитвенно призывал и мученика Анато-
лия: “Моли Бога о мне, святой угодниче Божий Анатолий, яко аз усердно к те-
бе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей”.

Счастье: на рыбалке я потерял большой палец правой руки, и теперь не
могу хвастливо загнуть его: мол, жизнь моя во!.. Но и фигу не могу сладить
и уж хоть тем не обижая ближних.

Счастье: в юности и молодости я немало перехворал: то спину скрутит, то почки, то неврит лицо перекосит, и невралгия дикой болью и жаркой слезой глаз опалит, а то вовсе выкатится свет из ока, то иная холера привяжется, но благодаря хворям постиг я и очистительную силу страдания, хотя и понимал: ох, не по грехам моим милостив Бог. В буйный разгар юности на моих пятках выросли петушьи шпоры, в назидание ли, в наказание ли — да три я ковылял, как ветхий старичишко. Надо было подаваться в бухгалтера либо в писателя. А коль в арифметике я со школьной лавки дуб дубом, то на радость и маету оставалось писательство.

Счастье: отлично сдал я три основных экзамена, но с треском завалил побочный — сочинение, потому что в слове “ещё” мог сделать четыре ошибки — “исчо”... И всё же мне повезло: не поступив в институт сразу после десятилетки, пошёл вкалывать на завод, затем — в газету, нажил мало-мальскую судьбу, а без судьбы писательство — лукавое пустобайство.

Счастье: не поступив в учение, год протолкался на судостроительном заводе. Так и не выучился на фрезеровщика — страсть как боялся: вырвется железяка из тисков и прилетит в бестолковую мою голову, и окочуришься в расцвете сил. Страх перед фрезерным станком породил философскую неприязнь к технической цивилизации и усилил любовь к вольным лесам и степям, о чём на разные лады толковал я в ранних сочинениях.

Счастье: через год меня, технически круглого дурака, выпихнули с завода, я вернулся в родной Сосново-Озёрск и пошёл батрачить в русско-бурятскую аймачную газету “Улан-Туя” (“Красная заря”), и уже о ту юную пору начал грешить писательством... А через год меня, восемнадцатилетнего деревенского паренька, негаданно взяли в республиканскую газету “Молодёжь Бурятии”, что смахивало на чудо, потому что журналисты с университетскими “поплавками” подолгу и беспроклю обивали редакционные пороги.

Счастье: на четвёртом курсе меня взашей вытурили из университета, поскольку я отлынивал от глупых лекций, вольнодумничал... И я уехал с женой и дочкой на Северный Байкал, где строили Байкало-Амурскую магистраль. Мы, нищие студенты, голь перекаточная, неожиданно-негаданно огребли кучу денег и в одночасье угодили в сказочно сытую северную жизнь. Прибарахлились, откормились на БАМовских харчах да байкальских омулях, и вдосталь напобовались на величавые байкальские красоты, а я испробовал азартную и добычливую омулёвую рыбалку. А через год, вернувшись в Иркутск, пристроился в заочники и, будучи студентом, пробился в “Советскую молодёжь” — газету, славную тем, что раньше там обитали именитые писатели — Вампилов и Распутин.

Счастье: в отличие от своих однокурсников, которые распределились в газеты, на радио и телевиденье, я распределился в дворники. По нынешнюю седую бороду почитаю дворничье ремесло самым благородным в мире: загаживать землю все мастера, а вот прибирают лишь дворники. Недаром поэт Воронов — нелепо погибший студент-журналист — красиво сочинил про нас, дворников:

*...И трудно, и больно...
И белые дворники наши,
Кружатся, кружатся
И улицу нашу метут.
Метите, метите,
Пока вам метёлки отпущены,
Не день и не два поднимать на заре,
Пока что люди, вами разбуженные,
Не поймут, что рай наступил
На весеннем дворе.*

Счастье: много лет я дворничал... У дворника уйма вольного времени — пиши, хоть запишись... И я сочинил полон стол. Ежели в моей лесной избушке будет туго с дровами, можно рукописями печку топить.

Счастье: получил я дюжины три сердитых отказов из русских журналов (в русскоязычные я и носа не совал) и после всякого отказа злился, старался сочинять мудренее, ярче, хотел доказать, что я хоть и не московский хлыщ, а тоже не лыком шит. Ничего не доказал, и моя творческая жизнь прошла в сплошной переписке и перезвонке с издательствами и журналами; чтобы услышать *от ворот поворот*, надо и достучаться, а иначе — *поцелуй пробой и вали домой*. Столичные редакторы винили мою природную сельскую прозу в фольклоризме, этнографизме, словесном орнаментализме и сердобольно интересовались, нет ли у меня другой какой заваливающей профессиишки?.. Есть: дворник и, Бог весть, может, с метлой и завершу свой грешный век...

Счастье: не выбился я в именитые писатели и с нуждой не разминулся — при знаменитости и сытости, да при тугой мошне языческие пороки мои, обрета дикую степную волю, быстро бы спалили душу мою. А пока душа мается меж Божиим Светом и лукаво искусительной тьмой...

Добро без худа

Счастье: вырастил я двух дочерей, Алёну и Машу. В малолетстве жили чадушки, яко ангелы, и тем приваживали меня к добру, отчего я доспел: не мы, взрослые, одрябшие душой, забородатевшие грехами, учим малых чад любви к Богу и ближнему, а они нас, пока живы наши души.

Счастье: сочинения мои читали, разбирали... Бывало, поругивали, а бывало, и похваливали писатели, при упоминании коих у меня, зелёного и заполошного, от волнения подрагивали коленки.

Счастье: худо-бедно, издал за писательский век с десятков книг, и грех плакаться на земную судьбу. Но воображу свою душу, павшую ниц перед Богом, и тревога сосёт душу: а не *искус* ли грядущим читателям моё *искусство*?.. Не от князя ли тьмы?.. Ибо, воспевая земное, редко задумываясь о Царствии Небесном, сочинял по мудрости дольней (земной), что безумие для мудрости горней (божественной). Вспоминаю и не слышу ответа оглошшей душой...

Счастье: много ведал я ближних, что в полную душу любили меня и подсобляли жить; но жаль, мало кому я ответил безоглядной любовью... Прости мя, Господи.

ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН



ПРОСКВОЗИЛО РОССИЮ НАСКВОЗЬ...

* * *

А ты во всём была права,
Когда меня совсем забыла.
Под утро в праздник Покрова
Вселенную запорошило.

Запорошило, замело
Сокрыв осенние печали.
И всё вокруг — белым-бело,
Как будто всё ещё в начале.

И даль неистово чиста,
И в снежно-солнечном свеченье
Начать бы с чистого листа,
Забыв обиды и сомненья.

А можно просто всё забыть
И ни к чему не возвращаться,

МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович родился в 1961 году в Мурманске. Служил в Советской армии. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского и Литературный институт им. Горького. Публикуется с 1980 г. Автор многих книг стихов — “Скорбный слух”, “Зимняя дорога”, “Две реки” — и нескольких сборников: рассказов “Три встречи”, литературных заметок “В зеркале минувшего”, стихов для детей “Звёзд васильковое поле”. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка и премии “Петрополь”. Член Союза писателей РФ. Живёт в г. Ханты-Мансийске.

В сиянье солнечном уплыть,
В круженье снеговом умчаться.

И всё же ты была права,
Когда меня совсем забыла.
Под утро в праздник Покрова
Вселенную запорошило...

* * *

Что жизнь моя — железная дорога,
Извечное движение вперёд.
И путь наш от порога до порога
Локомотив уверенно ведёт.

Горят в ночи рубиновые росы.
Мерцают тени голубых берёз.
Гремят в раскат чугунные колёса.
Судьба летит со свистом под откос.

Гудит вокзал, на сквозняках простужен.
Взрывает ночь вселенной шум и гам.
От нас уходит тот, кто нам не нужен.
А тот, кто нужен, не приходит к нам.

* * *

Не ищу уже давно ветра в поле.
Я как старый пароход на приколе.
Я ржавею от тоски у причала,
Поздней осени волна укачала.

Больше флаги на ветру не взовьются.
Никогда уже в моря не вернуться.
Не ворваться в безмятежные дали.
Уработали меня, укачали.

Но как только повернёт ветер с моря,
Позабуду про усталость и горе.
Вдруг очнусь от надоедливой спячки.
И захочется и шторма, и качки.

И наполнится весь мир кутерьмою.
Снова чайки закричат за кормою.
Снова волны и неистовый ветер
Рвёт любви последней тонкие сети.

И закружится волна у причала.
И как будто в первый раз всё сначала.

* * *

Я развею все твои сомнения,
Самый дорогой мой человек.
Напишу тебе стихотворенье,
Как под утро выпал первый снег.

Как, кружась во тьме неторопливо,
Перекрасил город в белый цвет.
Как печали осени дождливо
Позабылись и сошли на нет...

Милая, печалиться не стоит.
Посмотри, как этот снег летит.
Пусть моя любовь тебя укроет
От тоски, от мелочных обид.

С первым снегом, с первой порошей
Обретёшь покой в своей душе,
Позвонишь мне: "Здравствуй, мой хороший.
Где ты? Я соскучилась уже".

И сольются сердца половинки,
Позабыв смятение и страх.
И растают первые снежинки
На твоих ладонях и губах.

Окна, словно свечи, зажигались,
И в метельной, снежной кутерьме
В поднебесье ангелы смеялись
Словно дети, радуясь зиме.

* * *

Снежные сумерки тают.
Звёздная даль высока.
Сердце моё остывает.
Как остывает река.

Стынет волна под шугою,
Льдом безвозвратных потерь.
Близкое и дорогое
Стало ненужным теперь.

Заледенеют печали.
Заиндевет река.
На опустевшем причале
Будет утрата легка.

Благоговейно внимаю
Шёпоту стынувших вод...
Я успокоился. Знаю:
Скоро и это пройдёт.

* * *

Жизнь прошла — наобум, на авось.
Всё смела иноземная сила.
Просквозило Россию насквозь,
До последней души просквозило.

Каждый сам по себе не дурак,
Только кто за Россию в ответе?
И гуляет по душам сквозняк —
Подворотни неистовый ветер.

Не мистраль, не морской ураган,
Не степной и полярный властитель,
А простой городской хулиган,
Мест негожих завистливый зритель.

Вот и полнится нынче душа
Не молитвой, не утренней песней...
Молча вторит она не спеша
Сквознякам из остывших предместий.

Проржавела державная ось.
Потускнело дневное светило.
Просквозило Россию насквозь,
До последней души просквозило.

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ



ПЕСНЯ КОВБОЯ

РАССКАЗЫ

Его появление на нашей улице наделало много шума. Посмеиваясь, говорили, что это было настоящее явление. Поскольку проехать на машине после летних дождей было невозможно, то он нанял бричку, на таких обычно в распутицу добирались на нашу улицу к больным врачам и фельдшерам. Дело было под вечер. Остановив бричку возле дома Родниных, на землю сошёл молодой мужчина, расплатился с возницей, затем приподнял шляпу, поприветствовал сбежавшуюся по такому случаю малолетнюю публику. Тут же из ворот быстрым шагом вышла принаряженная Полина Дьячкова, подхватила гостя под белые ручки и сделала попытку увести с глаз подальше в дом. Тут же, откуда ни возьмись, точно из-под земли вырос её сын Колька и, не обращая внимания на смущение матери, принялся разгружать бричку. Тут мы чуть не лопнули от зависти! Первым делом он спустил на землю новенький велосипед. Таких накрученных велосипедов на улице ещё не водилось. И если до сего момента у народа ещё существовал вопрос, зачем и с какой целью пожаловал к Дьячковым артист, — а в том, что он артист, не было и малейшего сомнения, поскольку следом за велосипедом Колька спустил на землю гитару и пообтёртый футляр баяна, — то теперь всем стало ясно: Кольке — велосипед, артисту — всё остальное.

И здесь мне неслыханно повезло, увидев в углу ограды перекорёженный, со спущенными колесами Колькин велосипед, Кузьма Андреевич — так зва-

ХАЙРЮЗОВ Валерий Николаевич родился в 1944 году в г. Иркутске. Окончил Бугурусланское лётное училище. Летал командиром корабля, пилотом-инструктором. В 1981 году окончил Иркутский государственный университет. Автор нескольких книг. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

ли артиста — распорядился немедленно выбросить его на свалку. Я воспользовался его решительностью и попросил Кольку отдать металлолом мне, поскольку у меня не было велосипеда и в ближайшее время никакой возможности добыть его не предвиделось.

Колька Дьячков был в хорошем настроении.

— Вот, видишь, у забора лежат брёвна, — сказал он. — Перепилишь на чурки — велик твой.

Глянув на толстые бревна, я присвистнул: да тут на месяц работы! Но другого выхода не было.

Пилить брёвна мне помогала вся уличная братва. Работали в охотку, почти у каждого были пилы и свои брёвна под заборами. С работой мы справились быстро, за несколько дней.

Потом начали приводить в порядок доставшийся мне велик, искать и заменять детали: погнутые педали и спицы, попросили Гошу Мясоедова, который работал на мылзаводе кузовщиком, выправить руль и раму. Олег Оводнев где-то спёр вполне приличное велосипедное седло. У него же во дворе, мы заклеили и опробовали в бочке с водой камеры. И наконец-то я стал счастливым обладателем стального коня, без которого в дальнейшем не мог ступить ни шагу. На нём я ездил на Байкал, к девочкам в пионерский лагерь и даже иногда привозил к Дьячковым самого Кузьму Андреевича, когда он не мог передвигаться на собственных ногах.

С той поры я смотрел на Кузьму Андреевича, как на своего благодетеля. Кстати, его одного все взрослые на улице стали называть по имени и отчеству, хотя мы его про себя называли Кузей. Кое-кто припомнил, что Кузьма Андреевич навещает Дьячковых давно: обычно после вечерних служб в храме он провожал Полину до дому. Полина пела в храме на клиросе, а Кузьма Андреевич был у них регентом. Но потом что-то не заладилось у регента с батюшкой, и он решил уйти на артистические хлеба. Но не в чистое поле, не в городские трущобы, а уже проторённой тропой отбыл к симпатичной вдовушке. Как говорится, где-то убыло, а где-то прибыло; пресная, тихая жизнь предместья с появлением Кузьмы Андреевича приобрела особый лоск; глядя на своих Колек и Митек, многие вспомнили, что именами называют, а отчеством величают.

В то время ещё не было телевизоров и зрелищ было немного, на мелькомбинате, где клуб располагался на месте бывшей церкви, люди приобщаясь к мировой культуре: срывая двери, рвались на трофейного “Тарзана”. Затем появились “Кубанские казаки”, “Свадьба с приданным”, ну и, конечно, мы старались не пропустить ни одного фильма о войне. Иногда, по большим праздникам, чаще всего на выборы, в клуб приезжали артисты. Но на них попадали не все. Теперь все прорехи культурной жизни посёлка закрывал Кузьма Андреевич.

Полина, крепкая, улыбчивая и ласковая женщина, муж которой погиб в конце войны, окружила Кузьму теплом и заботой. Двери в клубы и профкомы для Кузьмы Андреевича были открыты всегда, он выступал перед началом киносеансов, на закрытии партийных конференций, и обязательно на выборах — спрос на него был огромным. Колька буквально не отходил от Кузьмы Андреевича. Мы завидовали ему: надо же, живёт рядом с таким известным и интересным человеком, может бесплатно ходить в кино и на другие мероприятия. Но многие женщины, завидуя Полине, считали: поживёт артист и уедет. Но не тут-то было! Кузьма Андреевич неожиданно для себя самого засел в нашем предместье. О его артистических и других способностях знала не только Полина. Знакомства с ним искали профсоюзные и партийные работники, на мясокомбинате он руководил хором колбасного и убойного цеха, с которым он выступал перед рабочими коллективами. На этих встречах Кузьма читал классику, иногда собственные сочинения, притчи и, конечно же, пел. Особенно хорошо у него получались куплеты Курочкина. На бис он обычно исполнял песню ковбоя:

*Хорошо в степи скакать,
Вольным воздухом дышать,
Лучше прерий места в мире не найти.*

*Если солнце не печёт,
И лошадка не трясёт,
И пивные попадают в пути.*

Когда начинался припев, то зал начинал хлопать и подсвистывать, а Кузьма Андреевич, красивый, недостижимый всем смертным, начинал выделывать такие коленца, которые, наверное, и не снились ковбоям. На голове, едва держась за густую шапку чёрных волос, в такт прыгала и плясала его ковбойская шляпа. Позже, уже у себя во дворе, мы пытались воспроизвести его танец, но тут, как и в футболе, нужны были тренировки и особый дар ритмично двигать не только ногами, пятками, но и руками.

Репертуар у нашего ковбоя менялся, но неизменным было одно: когда его приглашали выступить, он обязательно обговаривал свой гонорар. После концерта с совершенно случайными людьми он шёл в “Голубой Дунай”, где произносил знаменитое выражение артиста Шмаги, что мы артисты и наше место в буфете.

Бывало, его начинали стыдить, называть рвачом, но в ответ можно было услышать его коронную в таких случаях отговорку:

— Деньги есть — Кузьма Андреевич, денег нет — дворовый пёс.

Нам нравилось, что он разговаривает с нами, как со взрослыми, и что Кузя старался быть в курсе всех наших ребячьих дел. Идёт с концерта, остановится около нашей компании и спросит, как идёт у нас сбор денег на футбольный мяч. В нашу долю с покупкой футбольного мяча он решил вступить после одного несчастья. Известно откуда и как к нам попало металлическое ядро, которое используют атлеты на соревнованиях. И вот однажды, подражая спортсменам, мы катали его по дороге. И тут из-за угла неожиданно появился Кузьма Андреевич. Как всегда, он был навеселе, но на катящийся кругляк среагировал мгновенно. Кто-то, желая предупредить артиста, крикнул:

— Дядя Кузя, это ядро!

Кузьме Андреевичу было некогда определять, какое-такое ядро и почему оно катит навстречу. Видимо, желая показать былой навык, он что есть силы всадил ногой по шару. И тут мы увидели не танец ковбоя, а настоящую пляску святого Витта. Мы бросились на помощь и вскоре на какой-то попутной машине Кузьму Андреевича отвезли в травмпункт. Что он говорил в наш адрес — неизвестно. Недаром говорят: сердце забывчиво, а тело заплывчато. Мы же хотели, но не смогли его предупредить. Больше всех разозлился на нас Колька Дьячков. Он даже перестал пускать нас в дом, где с гипсом на ноге лежал Кузьма Андреевич. Колька был постарше нас и на наши уличные забавы смотрел свысока.

— Ну, что, псы троекуровские, покалечили человека? — сказал он, выходя на улицу. — За такие дела головы отрывают.

В голосе Дьяčkова появились милицейские нотки. Таким тоном обычно разговаривал участковый Леня, когда на мотоцикле с проверками приезжал к нам на улицу. Мы тоскливо помалкивали, а что даже на несовершеннолетний возраст возьмут и унекут. Но Колька был отходчивым парнем — у него-то ноги были целы.

— Кузьма вас не хочет видеть, — сказал он, когда мы попросились проведать Кузьму Андреевича. — Друзья нашлись. Лучше берите тяпки и прополите огород.

— Наверняка посчитал, сколько выступлений пропустит ковбой из-за травмы, — съехидничал наш вратарь Валера Ножнин. — У Кольки вместо мозгов — счёты.

Кузьма Андреевич не затаил на нас обиду, более того, после своего выздоровления предложил нам сброситься и купить футбольный мяч. И сам сделал первый взнос. Он дал нам красненькую десятку. Его жест мы оценили в полноценную чекушку, помня, что в мызаводском магазине бутылка “Московской” стоила двадцать один двадцать.

— Чтобы не портили ноги ни себе, ни людям, — сказал Кузя. — А за огород спасибо.

После его взноса всё приобрело особый смысл. Мы тоже понесли свои затёртые медные пятаки и другую мелочь. Кузя старался быть в курсе, как

идёт пополнение кассы. Бывало, услышав на свой вопрос наше красноречивое молчание, тут же запустит руку в карман и, достав смятую трёшку, повертит её между пальцами — мол, дал бы больше, но сегодня на мели! — и сунет бумажку нашему казначею Олегу Оводневу. Затем, уже из другого кармана, достанет горсть слипшихся от долгого лежания конфет. Наши не привыкшие к подобной щедрости ребячьи сердца вздрагивали. Обычно мы довольствовались только что сорванной морковкой, а тут — на тебе, прилетела настоящая “Ласточка”.

— Я ведь тоже, только давно, играл в хорошей московской команде, — объяснял свой жест Кузьма Андреевич. — Зимой — в хоккей, летом — в футбол. Вот, например, что писали обо мне в заводской многотиражке, когда мы их команду разделили под орех:

*Кузьма Сверчевский — парень тёртый,
В атаке он похож на чёрта,
В лихом ледовом выраже
Летит к воротам в кураже,
И нет спасенья, нет брони!
Уймись мальчонка, отдохни,
Из нас не делай решето —
Уж лучше б ты играл в лото...*

Мы подозревали, что стихи о себе любимом были написаны самим Кузьмой, и дипломатично помалкивали.

— А чего не пошли дальше? Может быть, стали бы, как Бобров.

— Помешала травма, порвал мениск, — вздыхал Кузьма Андреевич и, улыбаясь, добавлял: — Как говорится, был бы конь хороший у ковбоя.

Конфеты были с белой сладкой начинкой внутри. Они тут же были поделены по справедливости, каждому по одной. Осталась одна лишняя. Я бы мог воспользоваться правом капитана и взять её себе. Но не взял. После недолгих препирательств конфету отдали самому младшему — Саше Иманову. Свою я сунул в карман для своей младшей сестры.

“Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба”, — тоненьким голоском, бывало, пела моя младшая сестрёнка. Хлеб приносила не божья коровка, а мама, и мы сметали его в считанные минуты. Теплее на душе и в желудке становилось летом, когда в огороде подрастала морковка и лук. Зелёный лук с хлебом и солью, — казалось, нет ничего вкуснее на свете.

Я смотрел на Кузьму Андреевича и думал, смогу ли я когда-нибудь вот так же раздавать конфеты и сорить деньгами. Наш уличный бандит Карнач, бывало, играя в чик, после выигрыша бросал нам на драку-собаку медь. Кузьма Андреевич не бросал, он давал деньги, и делал это, как настоящий ковбой. Три рубля немного — всего три похода в кино. Но и этих у нас не было. Настоящий, кожаный футбольный мяч стоил дорого — сто тридцать рублей. Можно было купить кирзовый, который через неделю превращался в тряпку. Но нам непременно хотелось кожаный. Вскоре касса заметно прибавила, мы стали сдавать старьевщику кости, разные тряпки и металлолом. Самый большой взнос получился, когда мы перепилили брёвна бакенщику, дом которого стоял на Ангаре. Тот отсчитал нам аж двадцать пять рублей. Потом он предложил нам ловить брёвна на Иркуте, которые уплывали с лесозавода. За каждое бревно — рубль. Позже нам сказали, что за эти дела нас могли привлечь за воровство государственного имущества. Бакенщик учитывал и наш несовершеннолетний возраст, а сам потом каждое бревно загонял по десятке за штуку. Это позже мы вычитали, что все большие состояния нажиты нечестным способом. От Кузи мы утаивали, что вылавливаем деньги из мутной иркутной воды.

И вот наступил для нас тот счастливый день, мы поехали в город и в спортивном магазине купили настоящий кожаный мяч и принесли его Кузьме Андреевичу на пробу.

— Небось опять свинцом залили? — постучав ладонью по круглой, упругой коже и оглядев свою покалеченную ногу, спросил он.

— Да чо мы, совсем отпетые!

Кузьма Андреевич поставил мяч на землю, ещё раз глянул на нас, какая-то непривычная нашему глазу детская улыбка тронула его губы. По мячу он ударил почти без замаха, но мяч вылетел, как из пращи, попал в столб и, срикошетив врезался в окно Мутиным. Как на грех, Илья Мутин оказался у себя во дворе. Он схватил лом и, пробив мяч насквозь, выбросил его за ворота.

Сказать, что мы были убиты, — ничего не сказать. При первом беглом осмотре стало ясно: покрывка ремонту не подлежала.

— Увы мне, увy мне, соблазну лукаваго послушавшему, — обхватив голову руками стонал Кузьма Андреевич. — Помилуй мя, падшаго, Господи, Господи, помилуй мя, падшаго.

Затем молча взял пробитый мяч и ушёл. Свой очередной концерт на мясокомбинате Кузьма Андреевич обговаривал лично с секретарём профкома. Договорился, что он будет шефским. Но с одним условием. И красноречиво рассказал о наших футбольных затруднениях. И как он сам позже говорил, что попал в нужный час и в нужное место. Райком партии проводил летнюю спартакиаду дворовых команд, и мясокомбинату надо было выставить свою команду. И, о чудо, нашу ребячью делегацию пригласили в кабинет к начальству и предложили выступить за детскую команду “Пищевик”. После нашего согласия нам выдали уже не новый, но настоящий кожаный мяч, застиранные майки и стоптанные ссохшиеся от времени бутсы. Тренировать дворовую команду взялся Кузьма Андреевич.

— Что ж, времени немного. Но мы постараемся выступить достойно, — солидным, деловым голосом сказал Кузьма Андреевич секретарю профкома. — Будем готовиться. — Кузьма Андреевич сделал паузу и, глянув на меня, сказал: — Ты с ребятами подожди меня на улице.

Через полчаса он не вышел, а торжественно выплыл из дверей, и неожиданно перекрестился. Нам стало смешно, к чему бы это?

— Друзья мои, я ещё раз убедился, — подражая голосу знакомого нам всем отца Данилы, промолвил Кузя. — Господь всё видит и направляет наши стопы туда, куда надо. И, сняв невидимую рясу, уже голосом римского консула, которому рабы доверили начать битву с варварами, произнёс: — Прошу расписаться в ведомости!

После росписи, он начал выдавать нам талоны на питание, на которые можно было пообедать в столовой мясокомбината. Ходить в столовую было далеко, но Кузьма Андреевич и здесь нашёл выход, он договорился с заведующей и нам стали выдавать обеды сухим пайком. Вот так Кузьма Андреевич оказался той самой божьей коровкой, о которой пела моя сестра.

Свои занятия с нами Кузя начал с простого: он потребовал, чтобы мы не перемежали нашу речь нецензурными словами.

— Кто нарушит, тот будет лишён сухого пайка, — сказал он. — Второе: в команде должна быть жесточайшая дисциплина. Как в церковном хоре!

— Но мы же не поём, — возразил Олег.

— На поле команда — оркестр, а не отдельные водилы. Только в хорошей команде, если хотите — хоре, раскрываются настоящие таланты. Кто есть кто, на поле сразу же видно. Любая фальшивая нота ведёт к поражению.

— Вот увидите, он нас ещё псалмы заставит петь, — съехидничал сын Илья, Герка Мутин.

— Так ты пойдй и отдай ему талоны, — сказал я. — Или попросишь отца, чтоб он нам купил новый мяч.

— Стёкла не надо бить, — огрызнулся Герка.

— Тебя в команде никто не держит, — уже подражая Кузе, жёстко сказал я. — Надо будет — будем петь и псалмы.

От Кузьмы Андреевича мы узнали, как можно и нужно играть без мяча, замыкать дальнюю штангу, открываться на свободном месте, как правильно исполнять подкаты, делать ложные замахи, кто такой Бесков, Пеле и Ди Стефано, Нетто, в чём их сильные и слабые стороны.

— Не зарывайте свой талант в землю.

— А что такое талант? — поинтересовался Олег Оводнев.

— Вы не знаете притчу о зарытом таланте? — удивился Кузьма Андреевич. — У меня тогда вопрос: чему вас учат в школе?

— Там этому не учат. Там самые талантливые — это подлизы.

— Всё меняется, кроме одного, — помолчав немного, усмехнулся Кузьма Андреевич. — В древности талант был денежной единицей, серебряной или золотой монетой. Так вот, уезжая по своим делам, один господин оставил трём слугам таланты: одному пять, другому — два, а третьему один. Когда вернулся, узнал, что первый преумножил своё состояние и вернул господину пять талантов, а ещё пять оставил себе. Второй тоже не остался в накладе: пустил их в дело и вернул долг, оставив кое-что и для себя... “В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего”, — похвалил его Господин. Здесь подходит третий, получивший один талант и говорит:

“Господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнѣшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в земле; вот тебе твоё”. По-нынешнему, засунул монеты в чулок.

“Лукавый раб и ленивый! — сказал господин. — Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет”.

— Какое отношение это имеет к футболу? Мы копили, вы нам давали монеты, а Илья взял и ломом.

— Плохой пример, — нахмурившись, сказал Кузьма Андреевич.

— Его Боженька накажет, — тоненьким голоском вдруг заявил Саша Иманов.

— “Не зарывай в землю...” Я имею в виду, надо больше читать, искать, в чём твоё призвание. В конце концов, не сидеть на одном месте и ждать, что тебе поднесут на блюдечке. — Кузьма Андреевич встал, сдвинул шляпу на затылок. — Ну, что, таланты, будем тренироваться!

Мы с должным вниманием выслушивали его рассуждения о тенденциях в мировом футболе, о наших перспективах и с нетерпением ожидали главного события — раздачи профсоюзных талонов. Получая паёк с копчёными колбасками и сосиской, мы даже себе не верили, что судьба однажды повернётся к нам такой приятной стороной. Да мы теперь всех раскатаем под орех! И что скоро признанные мастера кожаного мяча и все болельщики Советского Союза будут выискивать наши фамилии в подшивках газет, ведь мы только начинаем, а они уже давно на пенсии! Всё бы ничего, но была у Кузьмы Андреевича слабость: как и все артистически увлекающиеся люди, он записывал. Подолгу и тяжело. Пьяный человек в тягость всем. Тут никакие рассолы не спасали, более того, Колька начинал грозить матери выгнать приживалу из дома. В такие запойные дни из дома Дьячковых с надрывом доносилась песня про сына рыбака.

*Я родился на Волге, в семье рыбака,
От семьи той следа не осталось.
Мать безумно любила меня, дурака,
Но судьба мне ни к чёрту досталась.
Я в родимой семье был работник плохой,
Не хотел ни пахать, ни портняжить,
И ушёл я с весёлой блатною братвой,
Приучился по свету бродяжить...*

Мы жалели Кузю и готовы были слетать в магазин и привезти ему пивка или чего-нибудь покрепче на опохмелку. Передвигаться самостоятельно ему было противопоказано, поскольку все знали: если он сам доковыляет до ближайшей точки, то обратно его обычно привозили, зимой — на санках, а летом — на тачке или на велосипедах. Кто-то из старших рассказывал, будто бы Кузьма Андреевич в прошлой недостижимой для нашего понимания жизни, учился в духовной семинарии, но за свои непотребные частушки, распеваемые среди братии, был изгнан, и далее у него начался непростой путь на подмостках и на подносах.

Всё сказанное о нём подтверждалось, когда к нам на улицу для разных треб прихожан приходил священник отец Даниил, служивший неподалёку в храме Михаила Архангела, где регентом служил когда-то наш Кузя. Отца Даниила, когда мама приглашала его к нам в дом, я почему-то боялся, поскольку мне казалось, что он видит всех насквозь и обязательно меня накажет. А наказывать было за что.

Кузьма Андреевич приглашал отца Даниила к себе, они садились за стол, хозяйка накрывала стол, причём Полина усаживала гостя рядом с фикусом, чтобы отец Даниил мог видеть передний угол, где на полочке, покрытой белой скатеркой, стояла икона Николая Чудотворца. Полина продолжала ходить в храм и петь на клиросе, и многие визиты отца Даниила на нашу улицу устраивались при её участии. Помолившись, они принимались за трапезу. Полина за стол не садилась, стояла у двери: не так часто такой гость бывал в её доме.

Отец Данила с Кузьмой Андреевичем выпивали стопку-другую и между ними начиналась дискуссия о предназначении человека в этой жизни, о той роли, которую должен играть верующий человек в тех местах, где культурных людей раз-два и обчёлся.

— Я давно хотел поговорить с тобой, отец Даниил. Честно признаюсь, гордыня не давала, — начинал Кузьма Андреевич. — Много чего мне довелось испытать в жизни. И то хотелось попробовать, и другое. Мне доверяли, вот ты мне, отец Даниил, доверял?

— Кому многое дано, с того и спрос особый, — кивал головой отец Даниил. — Выбрать правильную линию в жизни непросто.

— Вот и я о том же! — восклицал Кузьма Андреевич. — Виноват я перед вами, да и перед людьми стыдно. Я ведь не насовсем уходил из храма и не за деньгами, как многие думают.

— Решил у меня под боком водочки попить, — встревала в разговор Полина. — Вон и Кольку начал приучать.

— Я тебе слова не давал, — серчал Кузьма Андреевич. — Вот возьму и уйду. Завтра же.

— Отсюда, из предместья, две дороги: одна — в места, не столь отдалённые, другая — в диспансер, — спокойным голосом сказала Полина. — Да и куда ты, Кузьма, от себя уйдёшь?

— А ведь верно, куда? — подумав немного, сказал Кузьма Андреевич.

— Да бывает так, что выбор без выбора, — раздумчиво сказал отец Даниил. — Надо выбирать что-то одно.

— Когда-то я у бабушки нашёл Библию. Начал читать и вычитал: “Всё суета сует и томление духа”. Мудрый умирает наравне с глупым. Это мне крепко запало, — уже тише заметил Кузьма Андреевич.

— Слово из уст глупого губит его же, — подумав немного, ответил отец Даниил. — Двоим лучше, чем одному. Когда один упадёт, а другого нет, который бы поднял его.

— Отец Данила, нет человека на земле, который бы делал добро и не грешил бы.

Я здесь, на этой улице, своё детство увидел. Только уже взрослыми глазами. Непонятно самому, но захотелось мне не суеты, а той жизни, которая бы меня поглощала целиком. Признаюсь, своих детей не завёл, дома не построил, деревья не посадил. А вот в этих пацанах себя разглядел. Не того, который томится, а чего-то строит, созидает. И становится нужным людям.

— Ты их, — тут отец Данила показывал пальцем в открытое окно, где торчали наши головы, — развращаешь. Что ты думаешь, они не видят твои прегрешения?

— Скажи, скажи ему, батюшка. А то он не знает удержу, — вновь встряла в разговор Полина. — Бывает, его ребята на санках еле живого привозят.

— Уважаемая, ещё раз напоминаю вам, слово вам никто не давал! — обрывал её Кузьма Андреевич. — Я с ними общаюсь. Учю уму-разуму. И они меня кой-чему учат. Вот недавно, например, мы выиграли первенство района среди дворовых команд. Можем и мы, оказывается. А разговоров! И не только хороших. Многим не дают покоя талоны! Мол, я их чуть ли не все

пропил! Обижать детей — последнее дело. Они же голодные! А на пустой желудок, сам знаешь, не поётся и не играется.

— Ногами в жизни многого не добьёшься, — подумав немного, заметил отец Даниил.

— О, о, о! Руками они уже многое чего могут! — воскликнул Кузьма Андреевич. — Будьте уверены! Время у них сейчас самое опасное. Могут и туда, где Макар телят не пас, а могут и в другую, правильную сторону пойти. Вот что молодому парню надо? Образование — государство даёт, хорошее, плохое — не мне судить. А дальше? — Кузьма Андреевич махнул рукой. — От церкви, они, к сожалению, отгорожены. Тут и наше государство постаралось, и мы сами общего языка с ними не находим. А вот простые вещи им понятны. Они уже и сейчас понимают или скоро поймут: деньги есть — Кузьма Андреевич, денег нет — дворовый пёс.

— Не каждый и не сразу находит свой путь к Богу, — нахмурился отец Даниил. — Не сразу, но находят.

— Каждый зарабатывает себе на хлеб, как может, — уже не слушая своего собеседника, продолжил Кузьма Андреевич. — Один лезет с кайлом в шахту, другой выходит на большую дорогу, третья на панель. Ты крестишь, а я пою. Только не с клироса, а со сцены. Пою те слова, которые им понятны.

— Представляешь, кем бы стал Пушкин, если бы ему, младенцу, такие песни пела Арина Родионовна, — устало улыбался отец Даниил. — У тебя же, Кузьма, редкий слух. И на что ты его тратишь. Вспомни притчу о зарытом в землю таланте.

— Ты что, думаешь, я не помню! Я даже иногда эту притчу рассказываю.

— Кому?

— Ребятам.

— И что, понимают?

— Не все и не сразу.

— Вот мы, взрослые, и то не сразу друг друга понимаем, — засмеялся отец Даниил. — Сейчас у нас получается разговор глухого со слепым. Вот что тебе скажу, Кузьма. Возвращайся. Я вижу, не всё у тебя ладно.

— Знаешь, отец, мне одно время приходилось выступать в ресторанах. А рядом за столиками сидели девицы-танцовщицы и ждали, когда их снимут денежные клиенты. Я пел, они плясали.

— Есть одно церковное понятие — “плясания на позорищи”, — я имею в виду сцену. Это всегда считалось неприличным, и особенно если в нём участвуют женщины, поскольку возбуждают у зрителей страсть и похоть... Ну, мне уже пора, — устало сказал отец Даниил. — Пожалей Полину Ивановну. У тебя на душе неладно, и у неё от этого в семье пошёл разлад.

— Знаешь, отец, когда я прочёл Писание, то понял, я — пропащий человек! Мне так не жить, — уже другим, поникшим голосом, ответил Кузьма Андреевич. И помолчав немного, вдруг прочёл:

— *И я не верил правде той,
Боясь обмана, к истине ревнуя.
Представ пред Богом, всё ж
Смогу промолвить только: Аллилуйя!*

Отец Даниил обнял Кузьму Андреевича, троекратно расцеловал и хорошо поставленным голосом прочёл Пушкина:

*Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения.
Да брат мой от меня не примет осуждения,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.*

Полина Ивановна перекрестилась, затем подошла к отцу Даниилу для благословения, сказав, что сегодняшний день наполнил её сердце тихой радостью, и она благодарна Господу, что батюшка согласился посетить её скромную обитель.

— Всё в руках Господа нашего Иисуса Христа, — благословляя, сказал отец Даниил.

Что ощущает человек, который стоит не на сцене, а на улице, выставив своё творчество для продажи, я ощутил уже взрослым человеком. Однажды меня вместе с другими писателями пригласили поучаствовать в книжной ярмарке. У меня оставалась пара пачек своих книг, которые сохранились ещё с советских времён. Издавать книги и жить их изданием при наступившем капитализме стало не просто, приносишь рукопись издателю, он говорит: рукопись нас устраивает, но нужны деньги на издание. Тот счастливчик, который находит деньги, должен вывезти тираж к себе домой или в гараж, далее начинался торг с продавцами. Те спрашивали, какая цена устроила бы автора? Если автор задирал цену, книгу возвращали: мол, продавай сам. И большинство, поторговавшись для приличия, соглашалась с грабежом. А это означало, что продавец, не пошевелив пальцем, не вложив и толики своих умственных способностей для издания, клал к себе в карман половину, а то больше стоимости проданной книги.

Я стоял за столиком в центре города на одной из самых населённых потенциальными покупателями торговой улице. Мимо тёк поток людей. Они в своих объёмных сумках в клеточку тащили свою поклажу, равнодушно смотрели сквозь наш небольшой строй, и я с каким-то отстранённым чувством смотрел на этих, непонятных мне людей, для которых торговля стало обыденным и привычным занятием; они растекались по переулкам, дворам и магазинам, заполняя всё пространство. Иногда из этой равнодушно текущей реки всё же выплывали люди с вполне осмысленным выражением лица, скорее всего, бывшие читатели; они подходили к столикам, смотрели обложки книг, затем листали страницы. И тогда у меня, как у охотничьей собаки, замирало сердце, я торопливо подходил к столику, думая, что, возможно, у людей появятся вопросы к автору. Но, видимо, у этих людей, как и у меня, не было денег, они листали книги из прежнего любопытства. До этого я уже успел для себя отметить, что всё же одному самому расторопному коллеге поэтуде удавалось всучить свои творения книголюбам или любителям автографов. Но для этого он проявлял незаурядную хватку.

И тут среди толпы я заметил одетого во всё чёрное старика. На ногах у него были старые стоптанные башмаки. Из-под рясы выглядывали обжжённые мятые брюки.

“Сегодня и священники живут небогато”, — подумал я и отвернулся. Священник прошёл вдоль столиков и неожиданно остановился около моего. Взял книгу, повертел её, раскрыл, полистал страницы, поискал кого-то вокруг глазами. Затем посмотрел на картонку, где была указана цена, полез в карман, достал смятую бумажку и положил в приготовленную картонку. И тут до меня сквозь толщу времени донеслось. Да это же наш ковбой — Кузьма Андреевич Сверчевский! Конечно, он сильно сдал, подсел, волос стало поменьше, они были какого-то серого мышьиного цвета. Но это, несомненно, был он, тот самый Кузя, достопримечательность нашего детства! О том, что он ещё есть и топчет грешную землю, я даже и не подозревал. Слышал я, что Колька, женившись, начал диктовать свою волно, заставляя мать ходить только по одной половине. Доставалось и Кузьме Андреевичу, когда тот пытался помирить мать с сыном. Дело закончилось плохо: как-то утром нашли Полину Ивановну в петле. После похорон Кузьма Андреевич ушёл из дьячковского дома.

— В чём пришёл, в том и ушёл, — говорили на улице. Вызвал такси и, перед тем как забраться в машину, приподнял потёртую шляпу ковбоя, приветствуя тех, кто пришёл поглазеть на его отбытие с улицы.

— Грешен я перед Вами, люди. Простите, если сможете, — сказал он.

МАМА, СЕГОДНЯ Я ЛЕТАЛ ВО СНЕ

Самое первое, что я помню о маме, — это её подол и тепло рук, когда она гладила меня по голове перед сном. А перед этим мама обычно читала молитву. Слушая её шёпот, я ждал, когда она ляжет, чтобы, свернувшись калачиком, прижаться спиной к её мягкому животу и провалиться, отплыть в неосязаемую пустоту ночи. А утром, потрескивая и пощёлкивая горящими дровами, меня будила печь. Из кухни доносился запах хлеба, тепла и уюта, мама уже что-то готовила нам на завтрак. В праздничные и выходные дни, когда в доме была мука, она стряпала пирожки с картошкой и луком или, как она ещё выражалась, пыталась что-то сгоношить нам на завтрак.

Сегодня меня удивляет, как это она везде и во всём успевала: одеть, обуть, накормить большую семью, проверить уроки, сбегать в магазин, задать корм скотине.

Бывало, пойдёт доить корову, а я уже тут как тут, стою за её спиной с кружкой, смотрю, как тугие струйки молока вылетают у неё из-под руки и бьют в днище подойника. Закончив дойку, она подолом юбки подтирала мне нос, брала кружку и зачёрпывала парного молока.

— Пей и не болей, — приговаривала она.

По её словам, болел я часто, годовалого она отнесла меня в только что открывшуюся после войны церковь Михаила Архангела: если и умру, то крещёным.

Мы жили недалеко от города в предместье Жилкино, которое своим появлением было обязано Вознесенскому монастырю. Располагался он на холме, а через него проходил Московский тракт, который был окружён со всех сторон болотами, и дома, что лепились к нему, называли Барабою. Земли вокруг неё были приписаны к Вознесенскому монастырю, их и землями назвать было трудно: всё, что намёл, натащил за миллионы лет Иркут, осело вокруг монастырского посёлка, а сам Иркут, устав от вековых трудов, выбрал себе дорогу покороче, вдоль Кайской горы, напрямик пошёл в объятия к Ангаре.

А от неё чуть в стороне, в самой что ни на есть болотистой части, пристроились так называемые Релки. Эти ровные, приподнятые над болотом поляны годились разве что для покосов. Вот на них-то и довелось мне увидеть и почувствовать и тепло восходящего солнца, и холод долгих сибирских ночей. Летом во время дождей на Релки можно было добраться только на своих двоих, да и зимой разве что на лыжах: всё переметало снегом. Когда я в шесть лет запалил соседский сарай, и от него начали полыхать стена и крыша нашего дома, то все примчавшиеся пожарные машины застряли в первом же болоте. Хорошо ещё, что рядом, за другим болотом, стояла зенитная батарея, которую в начале Корейской войны установили для защиты заводского аэродрома, и поднятые по тревоге солдаты, таская из колодцев воду, кое-как справились с пожаром.

Сразу же за последним домом вокруг Релок начинались старицы, кочкарник, тальник и боярышник, тут же рядом — осока да камыш, настоящий рай для водоплавающей птицы. Неподалёку за лесочком, километрах в двух от нашей улочки, находилась летняя резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири, куда он выезжал для охоты на водоплавающую дичь. А после революции в нём расположили детский дом, куда нам было строгойше запрещено ходить. По слухам, ребята там жили рискованные, окружающий мир был для них почти под запретом, и они жили своей обособленной вольчей стаей. Это уже много позже, в десятом классе, когда нас сольют в один класс, я познакомлюсь с Петей Кудрявцевым, Володей Пекшевым и Валерой Козловым, которые ездили к нам в Жилкино из детдома, и обнаружу, что они сделаны из того же теста, что и мы — ребята из предместья.

Релки, хоть и значились предместьем Иркутска, но жили своим деревенским укладом: коровы, козы, куры, утки и поросята были самыми обыденным пейзажем дворов и улиц болотного, затерянного мира.

Своё первое жильё я запомнил маленькой избушкой, с распоротым от времени углом в северную, не закрытую домами сторону, зимой снегу наматало под крышу, а осенью под забором можно было набрать огромные охап-

ки крутлых колпачков, которые все называли перекаати-поле. Отец купил избушку у железнодорожника за сто пятьдесят рублей, и прожили мы в ней до сорок восьмого года. А когда родился мой брат Саша, то родители решили построить новый дом, тоже засыпной, но уже большой, пять на шесть, так говорил мой отец. Когда старую избушку снесли и положили оклад, на который должны были лечь новые стены, мама, держа на руках закутанного в пелёнки брата, с удивлением покачала головой:

— Куда мне такой большой...

Это поначалу нам казалось, что дом большой, поскольку сами мы были маленькими. Но уже через несколько лет и он стал нам мал. А поначалу места хватало всем, даже курам, на кухне под столом находился курятник, а когда отеллась корова, то мама принесла телёнка в дом, и он до весны, чтоб не замёрзнуть в стойке, жил рядом с нами и спал на подстеленной ему соломе.

На Релках, как и везде в послевоенной стране, люди жили в основном бедно, как говорили, “от получки до получки”. С той поры, сколько я себя помню, мама то и дело ходила занимать деньги по соседям. И они, в свою очередь, приходили по своим надобностям к нам. В те времена жили не таясь, всё зная друг про друга и помогая при случае, чем могли. Так совместно и выжидали. Но одно дело, когда идут к тебе, другое дело, когда занимаешь ты. Мне, например, это не нравилось. Думаю, не нравилось и моей маме. И однажды этим я вслух поделился с маминой подругой тётей Надей Мутиной.

— Я не буду жить так, как мои родители, — сказал я.

— А как же будешь ты жить? — поинтересовалась тётя Надя.

— Не буду занимать деньги, — подумав, ответил я.

Когда её муж Фёдор с моим отцом уезжали в тайгу на Бадан-завод заготавливать клёнки для бочек, она, чтобы ей было не страшно одной, брала меня к себе. В ту пору у тёти Нади ещё не было детей, дом у них был большой, можно было готовить уроки не при свете жировика, а при керосиновой лампе. И спал я у неё на отдельной кровати. В ту пору, когда я пошёл в школу, электричества на Релках ещё не было, и по вечерам всё совершалось вокруг керосиновой лампы. А если керосин заканчивался, то мама зажигала на блюде промасленный жгут. И чадил он на весь дом. Перед своим домом проветривали, а утром, частенько — в потёмках, каждый искал свою одежду. Если к тому времени уже топились печь, то мама открывала одну конфорку, и мерцающий над печкой огонь начинал прыгать по потолку, стенам, до неузнаваемости меняя наши лица.

Мама, когда я попросил у неё три рубля на билет в кукольный театр, который в кои-то веки приехал к нам в предместье и показывал в мылзаводском клубе сказку Ершова “Конёк-Горбунук”, вздохнув, пошла искать деньги по соседям.

После я возбуждённо показывал дома, как летал по воздуху Конёк-Горбунук, и, уже засыпая, совсем неожиданно для себя добавил, что и я, как Конёк-Горбунук, тоже летал во сне.

О том, что есть самолёты, я узнал с первого выхода на улицу. Прямо над нашим домом заходили на посадку самолёты, одни — на городской аэродром, другие — на заводской. А бывало, смотришь в окно: высоко за стеклом, оставляя за собой тонкий белый след, по своей надобности шли одинокие высотные самолёты. Местная ребятня, увидев летящую машину, начинала кричать: “Ароплан, ароплан, посади меня в карман!”

Мечтая попасть в карман аэроплана, кричал и я, увидев железную птицу.

— Это ты, сынок, растёшь, — улыбнулась мама, услышав мои рассказы о полётах во сне. — Я тоже летала, только это было давно.

Она сидела за швейной машинкой и вслух мечтала: вот бы сейчас выиграть по облигации сто тысяч рублей. Я спрашивал, что бы она сделала, если бы такой выигрыш случился. И тогда она давала волю своим мечтаниям. Но мне не нравилось, что, по её словам, почти все деньги она раздавала бы своим сёстрам и братьям.

— Мама, а мы богатые или бедные? — спросил я её.

— Мы? — она внимательно посмотрела на меня. — Мы — как все. Но всё в руках Господа нашего Иисуса Христа. Не мы одни такие.

Нет, так жили не все! Где-то в восьмом классе я зашёл к своему другу Витке Смирнову. Его отец работал директором “Скотоимпорта”. И увидел, что у Витки есть свой рабочий, накрытый стеклом стол, письменные принадлежности, рядом на стене — книжные полки, этажерка, а на стене — расписание уроков. А ещё у него была собственная кровать. А мы мостились на одной кровати вчетвером, укладываясь спать валетом. И стол был один, на котором обедали, делали уроки и на котором мама постоянно что-то пила на машинке. Надо сказать, машинка была хорошей фирмы — “Зингер”. По-моему, это была самая ценная, конечно, не считая отцовского баяна, в доме вещь. Перед тем, как мне пойти в школу, мама сшила мне штаны, да не одни, ещё и утеплённые из старой фуфайки, с обязательными ляпочками через плечо, курточку, рубашку и даже брезентовую сумку. А на ноги купила маленькие кирзовые сапоги, которыми я очень гордился, считая, что в них я похожу на настоящего солдата. Тогда мне хотелось поскорее стать взрослым и обязательно стать военным. Но обновки не держались долго, одежда буквально горела на мне, то и дело являя миру дыры на коленях и на задку.

— Ну, чего ты крутишься на одном месте, — вздыхала мама, накладывая очередную заплатку. Так, с заплатками на коленях и других местах, я и проучился десять лет. Конечно, заплатки не появлялись сами по себе, в тех же школьных штанах я лазил по заборам, крышам, гонял по улице мяч. Бывало отец, починив протёртую до дыр подошву валенок, смешно поднимая ноги, начинал показывать, как надо правильно ходить, чтобы обувь держалась дольше. Но его советы я помнил до первой ледяной катушки, по которой, разогнавшись, скользил на подшитых резиной валенках, как на коньках.

На выпускной вечер мама купила мне чёрные шерстяные брюки. А сама пришла в школу из магазина, где работала уборщицей, в серенькой застиранной кофте и такой же серой юбке, как собралась на работу, в том и пришла, её в буквальном смысле этого слова вытолкала в школу на мой выпускной вечер заведующая магазином Тыкманова Татьяна.

— Анна, иди, — сказала она. — Это и твой праздник — вырастить и выучить сына не такое простое дело.

Меня хвалили со сцены наша классная Елизавета Иннокентьевна, говорила, что я хороший, способный и умный, а я сидел, сжавшись, и думал: уж это точно не про меня. Мама присела на лавку с краю, чуть отодвинувшись от остальных родителей, где посреди зала, напротив президиума, в праздничных нарядах расположились Смирновы, всем своим видом демонстрируя, что они здесь чуть ли не главные участники торжества.

После выпускного вечера мы с Виткой Смирновым и Володькой Саватеевым подадим документы в лётное училище. Но поступлю только я. А тогда, на выпускном вечере, мама, забрав у меня аттестат зрелости, поцеловала меня и незаметно ушла. О чём думала она тогда? В тот день, когда для меня прозвучал последний звонок, хоронили моего отца. Его убили в тайге за мешок орехов. Перед этим они с мамой решили строить новый дом, он уехал в тайгу на паданку, чтобы заработать и купить доски, цемент — всё, что нужно для строительства нового дома.

Конечно, мама радовалась, что я окончил школу, сходу, один на всё предместье поступил в лётное, и горевала, что отец не дожил до этого дня. Обо всём, что она чувствовала в то горькое для неё лето, много позже рассказала наша соседка Валентина Оводнева, вспоминая мою маму, добавив, что мною мама гордилась. И я запоздало пойму, что мой выпускной вечер был для моей мамы наполнен тихой, не наряженной в шелка радостью.

Когда на маму сходило хорошее настроение, она могла горы свернуть, становилась на редкость расторопна и деловита, торговала кедровыми орехами и ягодой, которую из тайги привозил отец. А если дела у того шли хуже некуда, и в доме, как говорили, самое время класть зубы на полку, она собиралась и ехала в свою родную деревню. Но вначале ехала в город и закладывала в ломбард своё единственное выходное пальто. На вырученные деньги покупала дрожжи и уезжала на железнодорожный вокзал. Там она саж-

лась в “Колхозник” и ехала до Куйтуна, а дальше шла пешком или на попутной подводе добиралась до Бузулука, чтобы уже среди своих, деревенских, обменять дрожжи на яйца, сметану, деревенские сало и хлеб. А мы её потом с отцом встречали на вокзале во Втором Иркутске.

И ещё была в ней, как говорили наши многочисленные родственники, “простодырость”. Придут гости — она всё, что привезла, ставила на стол. Да ещё даст в дорогу гостинцы: сало, банку с вареньем, кастрюлю с огурцами. И гостей на ноябрьские и в Новый год набивалось столько, что половницы гнулись от деревенской родни. И все они, приезжая в город, почему-то останавливались у нас. Думаю, что расчёт был прост: люди идут и едут туда, где хорошо принимают. Да и городские родственники были не прочь погулять на Релках день-другой. А ещё приходили жившие неподалеку папины и мамины друзья и знакомые, каких-то случайных людей привечал отец, и они жили иногда месяцами. И мамины подруги прибегали, когда их суженные, напившись, гнали из дома.

Гостей она любила — тогда она становилась центром разговора, и можно было обсудить все поселковые новости, поделиться, кто и как учится, какой фасон платья нынче в моде. Купить и поносить — это уж как Бог даст, а вот помечтать и обсудить наряды Ладыниной или Серовой и помыть косточки местным модницам — это всегда пожалуйста. Мужчины тем временем за бутылочкой обсуждали войну в Корее, атомную бомбу, китайских добровольцев, которые чистят морду дяде Сэму. Тут поднимался папа и читал собственноручно сочинённые строки:

*Ах, дядя Сэм сорвался с кондачка
И бросился в истерику.*

Тут папина рука взлетала вверх, чтобы через секунду с высоты точно топором по чурке рубануть воздух и показать, что будет с поджигателями новой войны:

*Россия атомом крепка —
Дерёт теперь Америку!*

Откуда-то из-за печи, где я сидел около патефона, ожидая команды крутануть очередную пластинку, я внимательно смотрел и слушал, чтобы потом в школе пересказать и показать ребятам, как я тоже ладонью рублю воздух. Каким-то непонятным образом ту сцену пересказали учительнице Клавдии Степановне, на другой день маме приходилось оправдываться за меня и за отца.

— Что же он у вас такой простодырый? Что услышит, то выскажет, — посочувствовала учительница. — Вы уж скажите ему: не обо всём нужно рассказывать в школе, что происходит дома. Недавно я его попросила прочитать про крейсер “Варяг”, так он читал так, что мы решили послать его на конкурс чтецов. Думаю, что там он всё расскажет без картинок.

— Нет-нет, он понятливый, — с облегчением поддакнула мама. — Всё покажет, как надо.

— Не изба, а клуб, — сообщила она о визите в школу, — и свои артисты.

— А меня вот в школьный хор записали, — похвасталась старшая сестра.

— Я и говорю, артисты погорелого театра, — вздыхала мама, словно речь шла о чём-то неизбежном — дожде или снеге. И тут же добавляла: — А, ничего, один раз живём! Только ты, отец, прежде чем что сказать, сто раз подумай.

— Зато все теперь знают: Россия атомом крепка, — отшучивался отец, пытаясь скинуть вверх правую руку. — Николай! — предостерегающим голосом останавливала папину руку мама.

Гости были разными, порой и опасными. Однажды к нам на несколько дней заехала красавица Галя, которую выслали с Западной Украины на поселение в Сибирь. Бывшие бандеровцы работали на заготовке клёпки далеко от

города, в глубине сибирской тайги. Отец с Фёдором Мутиным ездили туда вольнонаёмными, там можно было хорошо заработать. Чернобровой, с певучим и почти непонятым для меня выговором Гале нужно было показаться врачу, и отец предложил ей остановиться у нас. На ноябрьские праздники к нам приехала родня из деревни. Когда гости подвыпили, дядя Артём, узнав, что его соседка — с Западной Украины, сообщил, что до сих пор носит пулю, полученную от бандеровцев на Украине. И тут Галю точно взорвало. Видимо, ей в голову ударила вышитая бражка. Опрокинув стол, она начала ломать лавку и топтать попавшую под ноги посуду, выкрикивая что-то про самостийную Украину. Галю насильно утихомирили, связав руки полотенцем. Ошеломлённые гости смотрели на её выходку с той жалостью, с которой смотрят на умалишённых. Вечером, когда гости разошлись по домам, а дядя Артём по своей солдатской привычке расположился на полу, утихшая и освобождённая от полотенца Галья начала помогать маме утверждать на место порушенное, оправдывалась и очень переживала, что отец может заявить на неё или вытурить из дома.

— Успокойся, — тихо отвечала мама и, помолчав, добавила: — Только зачем было посуду бить?

— Я все верну. Шоп мне сдохнуть на этом месте, — скороговоркой начала частить Галья. — Шоп мне век ридной Украины не видать.

— Да ладно, иди спи, и тебе за печкой постелила, — устало сказала мама, — только потише, там сын спит.

Нет, я не спал. Да разве после такого уснёшь! Сидели, пили, пели песни, веселились. И тут на тебе! Сколько же надо было накопить в себе злобы, чтобы такое сотворить? Я пододвинул к себе утюг — так, на всякий случай.

Утром чуть свет, точно своих забот ей не доставало, мама повела Галю в больницу к знакомому врачу. И в этом для неё не было ничего особенного.

Какие-то выводы для себя я делал, и о том, что происходило в нашем доме, уже не трезвонил всему миру. Сидел на брёвнах, щёлкал орехи и поглядывал в ту сторону, откуда должна была появиться мама. Едва завидев её, бежал ей навстречу. Как всегда, она шла, нагруженная сумками. Нет, чтобы помочь, поднести — так я сразу в сумку: что там? — и тут же в рот.

Когда мама была дома, мы знали: будем сыты и накормлены. Обычно она жарила сковороду с картошкой и горбушей. Или мои любимые драники. От постоянной работы с ножом у неё даже на указательном пальце образовалась выемка. Только начистит, нарежет, накормит, как снова к станку, снова нож в работе, тряпки и кастрюли под рукой, и так каждый день: завтрак, обед, ужин. Когда всё было готово, она ставила большую чугунную сковороду посреди стола, а мы уже наготове с ложками. Отец, как и положено, садился во главе стола, вилок или тупой стороной ножа колот и раздавал нам кусковой сахар. А вот маму я почему-то не помню за столом: чаще всего она только подавала еду да мыла потом посуду. Наша задача состояла в том, чтобы быстрее опорожнить сковороду.

Отца я всего один раз видел плачущим. На Рождество мы всей семьёй сели за праздничный стол. Он, как всегда, в чистой, нарядной рубашке сел на своё место. И тут по радио начали передавать концерт знаменитого в те времена баяниста Логинова. Виртуоз, маэстро, отец его очень уважал. И слушая его карело-финскую польку, отец неожиданно расплакался: самой большой его мечтой было научиться играть на баяне, как Логинов.

Баян у нас в доме был главной достопримечательностью. Надо сказать, что отец был знаменитостью, для починки баянов к нему приезжали даже из города. Он и сам делал баяны, приносил бруски и доски из бука, вырезал латунные планки, вытачивал и клепал к планкам голоса. При этом делился со мной секретами мастерства:

— Чтобы голос был ниже — обтачиваешь у основания, выше — делаешь тоньше конец, — говорил он и тут же добавлял: — И уж если делать, то клавиши из перламутра, меха из прищипанта, а ремень у баяна должен быть кожаным с витой, узорчатой прошивкой.

Мама, да и мы все, очень любила, когда дома пели песни.

— Валенки, валенки, — подыгрывая себе на баяне, напевал отец, а иногда шутя переиначивал песню на свой лад:

— Катанки, катанки! Ох, не подшиты стареньки. — А потом, войдя в раж и вспомнив своё деревенское, кимильтейское детство, переходил на озорные частушки.

Мама тут же начинала ругать, мол, ты чего это, дуралей, распелся, ведь дети слушают. А он сидит у печки, в уголке рта прилипла потухшая сигарета, но поправку всё же делает, и уже наябрюет “Подгорную”. А потом улыбнётся и вновь запоёт свои любимые “Валенки”. Мама посмеётся и попросит, чтобы он сыграл:

Друзья, люблю я Ленинские горы.

Но больше всего мне нравилось, когда мама запевала песню фронтового шофёра, где были такие слова: *“Помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела!”*

Мама часто болела. Но когда она запевала, что помирать нам рановато, то мне казалось, что мама будет жить вечно, поскольку этой песней она не давала смерти своего согласия, чтобы она её забрала.

Отца часто не бывало дома, он любил тайгу, рыбалку, а вот работать долго на одном месте у него не получалось. Когда он был дома, то к нему шла вся улица: отремонтируй, запаяй, сделай горбовик, совок для сбора ягод, нож. И он делал. Особенно надоедали владельцы гармошек и гитар. Те могли прийти к нам не только днём, но и ночью.

— В самый неподходящий момент сломалась, — оправдываясь, говорили они. И показывали разбитую вдребезги гитару. Чуть позже выяснялось, что лирический инструмент был применён в пьяной разборке в качестве последнего аргумента, коим была удостоена голова Кольки, который уже ходит по улице перевязанный.

Отец заваривал казеиновый клей, выстругивал из бука или липы дощечки, освобождал струнный инструмент от изуродованных частей, затем вырезал из тонких заготовленных дощечек заплаты, вставлял и закреплял клеем поломанные части, заново покрывал гитару лаком и выдавал на руки уже пригодный для следующих ристалищ и сражений за женские сердца инструмент.

Куда более сложная работа была с баянами. Папа разберёт пострадавший баян на косточки, разложит на полу и начинает соображать, потом лезет на крышу, где у него оборудован верстачок, вытачивает и высверливает планки, голоса, клавиши. А тут мама придёт, и — на тебе, знакомая картина: не дом, а мастерская, прямо на самом видном месте. Нет бы починить, залатать забор, доски из которого часто шли зимой на растопку, накормить скотину, а тут одно и то же: муж работает на чужих дядей и тёток. Как известно, любому терпению есть предел. Вот и мама возьмёт и сорвётся, схватит эти планки и валики — и в огород.

И тут наступал конец семейной идиллии. Отец спускался с крыши и, увидев наведённый разор, начинал кричать:

— И кто тебе позволил такое сотворить? Это ж музыка!

— Да, музыка, но её в живот не запишаешь! — плача, говорила мама.

И мы тоже начинали в один голос реветь. Мама посмотрит на нас, на отца, махнёт рукой:

— Ушла бы, Николай, от тебя, куда глаза глядят, да вот их, — она показывала глазами на нас, — жалко.

Для мамы самыми главными праздниками были Рождество и Пасха. Перед Рождеством она затевала большую стирку. Помню, как она приносила с мороза чистое, пахнущее свежестью бельё. Я удивлялся, что мороз сушит мокрую ткань, вдыхал уличную свежесть; смотрел на стёкла, исписанные узорами, и пытался срисовывать их угольком на белёной печке, пока на ней не останется ни одного чистого места. Мама посмотрит-посмотрит на моё художество, вздохнёт, затем разведёт известку и набело покрасит ею тыльную сторону печи, где на сундуке, подстелив фуфайку, я засыпал среди белого дня. А после напечёт пирогов, а на Пасху — куличей, и к нам, зная мамино гостеприимство и умение готовить, опять соберётся многочисленная родня.

Мы же при первой возможности бежали на улицу — там, среди детворы, праздник был полнее и ярче. В святки мы обычно ходили колядовать. И здесь, как мне кажется, лучше всего проверялось, кто есть кто на нашей улице: кто прижимист, более того — жаден, а кто весел и щедр. Надо сразу сказать, что щедрых было немного. Бывало, на святки мы заходили в такие дома, которые в обычной жизни обегали стороной, уже зная, кто чем дышит и как там относятся к таким, как мы, попрошайкам. Но всё равно заходили проверить то, что было проверено не раз: ведь колядки же! Зайдешь и от порога писклявым голосом начинаешь причитать:

— Коляда, коляда, подай пирога, наступает торжество, с нами звезда идёт, молитву поёт.

А уж после и *Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...* — я замолкал, припоминая, что там дальше. И если хозяева начинали настаивать, чтобы я пел дальше, здесь по заранее разработанному плану вступал в дело мой дружок Вадик Иванов и пускал в ход придуманные сочинялки:

— Маленький хлопчик сел на снопчик. Соседи подали — здоровыми стали, а рядом не дали — коровы пропали!

Походило, конечно, на вымогательство, но помогало. Глядишь, хозяева начинали смеяться и подавали. Иногда спросят: кто научил? Пожмешь плечами: мол, чего спрашиваете — улица научила.

Бывало и по-другому: пропойшь, прокричишь и ждёшь, подадут или нет. Шмыгин, прежде чем дать, долго думал, как бы от нас полегче отделаться? Не дашь — скажут жадный, но всё же находил выход, срезал с ёлки конфету, и мы довольные высказывали, чуть-чуть стыдась за себя, да и за него тоже. Но чаще всего шли туда, где встречали и радовались празднику вместе с нами.

В нашем доме было по-другому. Отец подтаскивал к дверям мешок с орехами и всем, кто заходил к нам колядовать, отсыпал в карман по кружке калёных орехов. Да ещё ворчал, если карман оказывался дырявым. Вся уличная ребятня шла к нам гурьбой, дверь не закрывалась, улица знала: в нашем доме насыпают сполна. Некоторые даже умудрялись зайти по нескольку раз.

Отец смеялся и повторял мамины слова:

— Один раз живём, а ребятам радость — пусть щёлкают, ведь Христос родился.

После праздников отец обычно уезжал в тайгу и через некоторое время привозил огромный крапивный куль чистого ореха. Когда в тайге был урожай, мама могла уже не бегать по соседям занимать деньги, вдоль заборки стояли мешки с орехами, и двери в наш дом не закрывались от гостей. Теперь уже шли к нам посидеть, пощёлкать орехи, обсудить уличные новости и заодно озадачить моего отца обычными просьбами: почини, запаяй, отремонтируй. Как я уже говорил, за свою работу отец денег не брал.

Отец очень завидовал своим младшим братьям и сёстрам, которые были с высшим образованием. Все, за исключением Леонида, — тот пошёл по стопам отца, решил стать шофёром. Первые экзамены у него принимал отец. Достав деревянную толкушку, он изображал из себя регулировщика и строгим милицейским голосом требовал объяснить тот или иной жест орудовца. Когда Леонид сдал на права, они с отцом обмывали их с весёлыми разговорами, деревенскими частушками и шутками. Припоминается, что отец давал своему младшему брату и первые уроки игры на баяне. Пытался он обучить и меня, но ничего путного из этого не получилось — меня больше привлекала улица. А ещё помню, как отец сажал меня рядом и учил, как правильно подшивать валенки, как сучить дратву, как править гвозди. Я сидел на стуле и душил глазом в окно, за которым слышались ребячьи крики и смех.

Там, среди друзей, я находил применение другим, уже не музыкальным способностям. Сегодня, вспоминая, сколько я переделал общественной работы, грустно улыбаюсь: вот бы всю затраченную мною энергию направить на домашние дела — мне бы не было цены! Но, увы! Рытьё окопов, штабов, сооружение снежных крепостей, расчистка от снега пруда, укладка дёрна на футбольном поле, пилка брёвен, чтобы заработать на мяч, волейбольную

и футбольную сетки, гетры, майки. Учёба и всё прочее были на втором плане, так, всё на ходу, благо память была хорошей. Но слова отца, который говорил об упущенном времени, когда близок локоть, да не укусишь, засели надолго. Но не разорваться же! Хотелось одно, другое и третье... А вечером — лишь бы доползти до койки. Мама подойдёт, поправит одеяло.

— Совсем убегался, — скажет тихо, а потом по своему обыкновению прочтёт на ночь молитву, скажет: “День и ночь — сутки прочь”. И я проваливался в темноту. А утром вновь в школу, потом снова по огородам и боярышникам.

Мне нравилось, что она нередко нахваливает меня своим подругам. Чтобы получить очередную похвалу, однажды я прямо в ботинках бросился по воде на островок, собрал и принёс отложенные там утками яйца. За такую прыть мама отругала меня, поскольку на дворе было холодно, и я мог заболеть.

Если у меня возникали проблемы с учителями, то отец начинал стращать: будешь плохо учиться, придётся всю жизнь гайки крутить да сопли на кулак наматывать. Сейчас, вернись моё детство, я был бы самым прилежным учеником. Но локоть близко, да не укусишь. Однажды, когда на меня за очередное художество вновь нажаловались из школы, он велел стать в угол. Но этого ему показалось мало, он надел мне на голову эмалированный тазик.

— Ты думаешь, я тебя на божницу посажу. Стой здесь и знай: в следующий раз поставлю коленями на горюх.

Я уже привык к похвалам, а тут на тебе: выставлен на всеобщий срам! Впрочем, тот случай был единственным, но запомнился на всю жизнь. И всё же мною родители, в основном, гордились, мол, учиться хорошо, всё схватывает на лету. Мама часто ещё не то жаловалась, не то хвалилась учителям, что я зачитываюсь книгами буквально до утра.

Бывало, устраивали мы в доме по вечерам самодеятельность: мама сидит, вяжет носки, рукавички или кофту, отец у печки с баяном, а мы показываем им концерт, поём, читаем, наряжаемся в разные одежды.

— Хоть маленько, но красненько! — смеялась мама, когда я выходил на середину избы и объявлял, что сейчас будет выступать заслуженный артист из погорелого театра. И добавит: — Что не дурно, то потешно.

У отца были свои пословицы, они касались в основном его жизни, его представлений о том, что хорошо и что плохо.

Это были лучшие моменты нашей семьи, нашего совместного проживания в засыпном доме, который отец решил снести и построить новый, из шлакобетона, когда у нас родилась младшая — Лариса. Но этому было не суждено сбыться...

Отец и мама почти одновременно выехали из своих деревень, которые находились в Куйтунском районе. После революции, в начале тридцатых годов, отец батрачил на заимке на родного брата отца, дядю Алексея. Наш дед Михаил зарабатывал на прокорм многочисленных детей, а их у него было одиннадцать человек, тем, что ездил по деревням с фотоаппаратом и делал фотографии. С ним рассчитывались продуктами: кто насыплет в сумку картошку, кто положит кусок сала, пакетик крупы. Большим подспорьем и помощником в семье был мой отец. Он ловил рыбу вёдрами, собирал ягоды тоже вёдрами, орехи — мешками, бывало, приносил за один раз по восемь, а иногда и по десять зайцев. На них он ставил петли. И, как вспоминал его брат Владимир, любил подшутить. Тащатся они по тропе с добытыми зайцами, отец забежит вперёд, спрячется за пень и потом неожиданно выскочит и заорёт, как медведь. Мне, когда уже я стал ездить с ним в тайгу, такие проделки он устраивал регулярно. Но и за своих младших братьев и сестёр умел постоять, бывало, что даже укрывал от бича своим телом.

Дядя Кеша, когда на Радунцу мы встретились на кладбище на могиле отца, вспомнил, что в голодные тридцатые годы они с моим отцом и с младшей сестрой Анной собирали на поле колоски. И тут их застукал объездчик и начал хлестать нагайкой. Так мой отец, дядя Кеша называл его браткой, прикрыл его своим телом. Тогда они моего папу принесли домой на руках.

Много позже мне доведётся побывать на родине отца в Кимильтее. Я пройду по улице, где когда-то стоял огромный бревенчатый дом, загляну

в огород, где до сих пор тёмными окнами глядел старый сарай, затем зайду в церковь, где крестили отца, поставлю свечу. Уезжая, мы проехали мимо пруда, на котором отец в детстве, катаясь на коньках, как он рассказывал, не удержался и ударился головой об лёд. И я не раз падал на лёд, но я-то считал себя спортсменом, играл даже за хоккейную команду, а вот отец после того падения навсегда забыл о коньках, и мне было его по-настоящему жаль. Да и работать он начал гораздо раньше меня, уже в четырнадцать лет был кормильцем огромной семьи, где только детей было одиннадцать человек.

Позже отец уедет в город, даже не уедет, а сбежит с заимки. На заимку его отправил отец, то есть мой родной дед Михаил. Надо было кормить разрастающуюся семью, вот и пристроил он моего отца на работы к своему брату. Там, на заимке, вспахивая целину, отец не доглядел, и лошадь поранила ногу. Дядя Алексей кнутом жестоко избил папу. А было в ту пору отцу всего-то шестнадцать лет. И папа, по его словам, не выдержав издевательств, убежал с заимки, уехал в город, вернее, в его предместье Жилкино, где началось строительство мясокомбината. Там он устроился разнорабочим, а чуть позже выучился на шофёра. Я гордился, что отец может и лошадь запрячь, и огород вспахать, и делать многое-многое другое.

А то, что пахать землю совсем не простое занятие, я почувствовал на собственном опыте, когда купил в деревне Добролет участок и решил вспахать огород. Сосед одолжил мне лошадь с плугом, но поскольку он был не в состоянии после бани сделать и шаг, предложил мне пахать самостоятельно. В памяти у меня ещё осталась картина с отцом, который ловко управлял лошадию на нашем огороде. И я самонадеянно решил: уж если я управляю самолётом, то здесь справлюсь наверняка. Первую борозду я осилил с трудом, а вот параллельной не получилось, лезвие плуга скользнуло в уже проложенную борозду. И так в третью и в следующую попытку. Вся деревня собралась внизу и смотрела, как лётчик порхает вокруг лошади. Намучившись, я попросил вспахать огород соседа Вячеслава Седловского, пообещав ему привезти насос-малютку. Ударили по рукам. Седловский был сослан с Западной Украины и жил на том же Бадан-заводе, с которого приезжала к нам Галя. Был он сыном бандеровца и советскую власть, мягко говоря, недолюбливал. В Добролете у него было самое крепкое хозяйство, впрочем, и другие ссыльнопереселенцы с Западной Украины не бедствовали, у каждого было по несколько коров, бычков и тёлоч. Деревня и поросят. Но отношения с соседями были особыми: следили друг за другом почище любых агентов. С Седловским мы сошлись на том, что он, оказывается, знал моего отца по работе на Бадан-заводе, где ссыльные и наёмные из города заготавливали клёпку. Седловский работал подручным у моего отца, и тот частенько привозил ему из города разные инструменты и детали. Я как бы принял эстафету от отца. Седловского привлекало то, что я мог привезти вещи и механизмы, которые днём с огнём было не достать в нашем городе. Седловский подрегулировал плуг и показал, как надо правильно пахать землю. А вечером за столом, выпив пару, как он говорил, “румок” водки, признался, что правильно регулировать плуг его научил мой отец.

А мама после случайного убийства ножом в девятнадцатом году в селе Бузулук отца Семёна в деревенской разборке была вскоре отдана в няньки к своим дальним родственникам — Жуковым. А когда в Жилкино началось строительство мелькомбината, уехала из деревни. Произошло это в 1934 году. Она устроилась на стройку мелькомбината, тогда это была ещё деревня Жилкино, и там вместе с другими такими же девочками стала замешивать и носить жидкий раствор. Вот там-то, на Барабе, она и познакомилась с отцом. У них будут рождаться и умирать дети, всех я не помню, только первенца Юру да Веру, которых мама часто в разговорах с соседями называла ласково Юрочка и Верочка. Я ещё помню фотографию, где они с мамой стоят у покойного моего старшего брата. Отец в кожаном пальто, мама в тёмном пальто. Склонились в первом для них совместном горе...

Мама, которая помнила себя ещё по жизни в Орловской губернии, в деревне Полосково, рассказывала, что её маленьким ребёнком во время Столыпинской реформы привезли в Сибирь, в село Чеботариха, где им пришлось корчевать лес, строить дома. Некоторые не выдерживали и уезжали обратно

в Расею... Часто к нам приходила её старшая сестра Анастасия, которая вспоминала ещё о той, об орловской жизни.

— Орловцы — шалёные овцы, — так иногда в шутку называла она всю родню, которая приехала в Сибирь. Мне нравилось, как моя мама называла её детским прозвищем — “нянька”. В начале тридцатых годов тётка Настасья вышла замуж за Фёдора Приземина и переехала к его родне в Жилкино. Вскоре к ней на Барабу из Бузулука перебралась и моя мама.

Тётя Настасья вспоминала, что после знакомства с Николаем — моим отцом — мама вдруг засобиравшись обратно в деревню: у неё с отцом, когда они ещё не поженились, произошла размолвка, и она ушла от него к своей подружке Почекунихе. И отец пришёл к тёте Настасье и со слезами в голосе сообщил, что Нюра, так он называл мою маму, куда-то пропала. Тётя Настасья сказала, где её искать. И после этого они уже начали жить вместе, отец купил на Релках у железнодорожника маленький домик, в котором появились Алла, Людмила, затем я.

У моей мамы были красивые густые чёрные волосы, все женщины на Релках завидовали её волосам. А вот отец этим похвастаться как раз не мог. Она называла его отцом, Николаем, а когда разозлится — асмодеем. Что такое асмодей, я тогда не знал, но, взглянув как-то в словарь, прочитал, что таким словом издревле называли соблазнительей. Конечно, отца можно было ревновать, его часто приглашали на гулянки, и он возвращался домой под утро. А к баянисту, естественно, липли свободные бабёнки. Над отцом на улице посмеивались, называли его “Понимаешь” за частое употребление этого слова, которым отец то и дело перемежал свою речь. Но оглядываясь в своё прошлое, припоминая все наши разговоры, я думаю, что у отца был природный, сметливый ум, он мог найти выход из самой непростой ситуации, особенно если это касалось технических вопросов. Дело даже не в том, что он был умельцем, мастером-золотые руки, но Господь дал ему ещё и дар работать от зари до зари. Но только в том случае, если он видел в этом смысл. Сегодня я понимаю, чего ему стоило практически в одиночку построить дом, в котором мы выросли. И поговорить с ним можно было на любую тему: и про войну в Корее, и про американцев, которые задумали осушить озеро Байкал — в те времена ходила такая легенда.

— Куда им, кишка тонка. Думают, заимели бомбу, так всё могут. Если Байкал пойдёт, то все моря за собой поведёт, — с сомнением вмешивалась в разговор мама.

Куда он пойдёт и зачем поведёт моря, я так и не понял, но очень долго, вплоть до школы в разговорах с ребятнёй повторял её слова. Надо мною смеялись. А вот когда я впервые увидел Байкал, то мне стало ясно, почему мама так говорила. Не озеро, а настоящее море, от горизонта до горизонта.

В своей жизни мама кроме Ангары и Иркутка ничего не видела. И когда она с отцом поехала по ягоды на Байкал, его огромность и красота произвела на неё огромное впечатление. А тут ещё вовсе по Иркутску шли разговоры, что хотят взорвать Шаман-камень, чтобы побыстрее заполнить ложе Иркутской ГЭС. Люди беспокоились, что пойдёт вода, и никакая плотина её не удержит, и тогда все посёлки ниже Иркутска будут сметены водой. А мы все хорошо помнили, как зимой пятьдесят второго Ангара вышла из берегов и затопила все Релки. Даже у нас в подполье была ангарская вода.

Часто с отцом они ездили по ягоды. Мы обычно ходили их встречать. Однажды мы пошли встречать маму и отца на “Скотоимпорте”. Они с отцом приехали из Култука на “вертушке” — так назывался эшелон, который возил скот из Монголии на иркутский мясокомбинат. Мы стояли с одной стороны вагонов, а мама с горбовиком шла по настилу с другой стороны. Мы её начали окликать, она спустилась с настила и полезла к нам под вагон. И тут состав тронулся. Цепляя горбовиком днище вагона, мама заметалась между рельсов, горбовик мешал ей быстро выскочить из-под вагона. И уже в последний момент, когда казалось, что сейчас стальные колёса переедут её, она каким-то непостижимым рывком успела выскочить. Её трясло, а мы заревели во весь голос.

— Ну, чего ревёте! — дрогнувшим голосом сказала она. — Видите, всё хорошо, я с вами. Мы ещё поживём...

Перед тем как мне пойти в школу, она взяла меня с собой в деревню, и я тогда своими ногами понял, какую длинную дорогу приходилось ей одолевать, чтобы привезти нам кусок хлеба. Мы шли, вернее, она тащилась со мною и ещё какой-то своей знакомой от станции Куйтун до Бурука пешком. Между ними было где-то около сорока километров. Я впервые видел огромные сосны, ели, множество саранок и других цветов, но уже к вечеру они не радовали меня, дорога умотала меня настолько, что хотелось сесть на какую-нибудь колыду или попроситься к маме на руки. Но передохнув немного, мы шли, шли, шли по бесконечной, кое-где залитой грязными львами дороге, и казалось, что я умру и так не дойду до этого Бурука, где жил самый младший мамин брат — Иван. Уже у самого Бурука под вечер нас догнала какая-то машина, и через полчаса мы были у дяди Вани. Там я стал предметом особого внимания новой для себя родни, познакомился со своими двоюродными братьями и сёстрами. Жена дяди Вани напоила меня молоком, а мама начала раздавать подарки сёстрам — красивые цветные ленты. Помню, что меня охватила какая-то непонятная зависть; видимо, я привык, что все подарки полагаются только мне. На другой день дядя Ваня взял лошадь и повёз нас к другому мамину брату, Артёму. По пути я видел, как перебегает дорогу дикая коза, видел рабочих, которые гнали дёготь. А поздним вечером я познакомился со своими двоюродными братьями и сёстрами Ерккой, Раей, Зиной. Поздним вечером, когда на Броды опустилась темнота, они разожгли костёр, и при его пляшущем свете мы ходили колупать из упавшей лиственницы серу.

Как о самом дорогом воспоминании своего детства мама рассказывала, что однажды тёплым весенним утром она вышла в огород и шла, раздвигая руками туман, который был таким плотным, что ей хотелось лечь в него, как в перину, и смотреть в огромное синее небо, где звенели жаворонки.

Мама недолго любила коммунистические праздники. Часто к нам приходил священник, которого обычно на Релки приглашала приехавшая в Сибирь из далёкой Вологды тётя Люба Лысова, невысокого росточка, ходившая во всем тёмном и с клюкой. Она славилась на всю округу умением плести кружева из обыкновенных белых ниток. Почти все женщины мечтали иметь на наволочках, пододеяльниках и на платьях её кружева. Кстати, она прожила что-то около ста лет в постоянной бедности и нехватках. Постоянной гостьей у неё была неизвестно как попавшая на Релки Лиза-дурочка, которую все жалели, часто сторонились и побаивались, поскольку считалось, что она могла напустить порчу. А вот Лысова называла её “дитя Божье” и говорила, что мы все должны по возможности помогать ей в её непростой жизни.

— Вот её все кличут дурочкой, а душа у неё добрая, она ни одну собаку, ни одну больную кошку не пропустит, — говорила мама. — Всех несёт к себе. Я за ней понаблюдала, людей она видит насквозь. И судьбу может предугадать. Только кому это надо, каждый слушает самого себя.

Знали ли сама Лиза о своей судьбе, и что она предсказывала Лысовой и моей маме, меня, как и всех, не интересовало. В то время мы жили одним днём, одной минутой, а что будет завтра — узнаем завтра...

У мамы было несколько закадычных подруг. Соседка Нюра Сутырина, Мария Сутырина, которая была родной сестрой моего деда Михаила, Анна Ножнина, которая была уже родней моей бабушки, Феня Глазкова, Надя Мутина, Фрося Говорчукова, Паша Роднина, Валя Оводнева, Шима Иванова, Любава Мутина — тот круг соседей, с которыми она делила все невзгоды и все радости небогатой на события релской жизни. Все они, а часто и с мужьями, любили бывать у нас, посудачить, поворошить релские и жилкинские новости, а мужики — порасспросить отца о заветных грибных и ягодных местах. Мой отец места эти не тайл, предлагал всем ехать с ним в тайгу, добавляя, что тайги хватит на всех. И бывало, соберутся человек двадцать с корзинами и горбовиками, гуськом потянутся на “вертушку” и почти никогда не возвращаются пустыми.

Чаще всего отец брал мамину родню, а те прихватывали своих знакомых. Половина из них были подростки, девчонки и ребята. Ещё отец уступал моим просьбам, и я прихватывал своих друзей: Олега Оводнева или Вадика Иванова. Но предупреждал, что дорога дальняя, идти пешком что-то

около двадцати километров. И не по асфальту, а по таёжной тропе, через буреломы, болотную низину, Грязный ключ, да потом ещё в гору, тыкаясь носом в камни и выворотни. Таких походов за ягодой было много, но запомнился первый. Всего набралось восемнадцать человек, в основном мамыны товарки и родня мамино брата Кондрата. Кроме того, он решил угодить своему пожарному начальнику Остроумову и пригласил его поехать за ягодой с сыном. В незнакомой компании они держались обособленно, всем своим видом показывали, что делают одолжение, согласившись поехать с нами. Всё шло вроде бы неплохо, но когда стали перебираться через Грязный ключ, который после дождей расплывался до километра шириной, Остроумов, провалившись в жижу, чуть не потерял свой сапог. И тут началось!

Столько высказываний и язвительных замечаний — то не так, другое не так — я, пожалуй, ещё не слышал за свою короткую жизнь. И дорога не та, и ветки быют по глазам, и отдыхаем мало, и зачем только они согласились ехать; можно было сходить на базар и купить ведро-другое, больше не потребуется. Все молчали, посмеиваясь в кулак. Когда дорога пошла в гору, мама попросила меня собирать грибы.

— Придём на место, — сказала она, — грибы и сгодятся, я суп сварю. Вдоль тропы то и дело попадались подосиновики и даже белые грибы. За полчаса я набрал целое ведро свеженьких, без единого червя грибов.

Где-то к вечеру мы спустились к Иркуту, отец под скалой развёл костёр и, прихватив собственноручного изготовления совок, который он называл “комбайном”, ушёл проверять урожай брусники. Когда у мамы закипел грибной суп, он вернулся обратно. Совок был полон ягоды, да ещё был полон котелок. Отец высыпал бруснику в ведро, оно оказалось полным. Все начали пробовать ягоду. Настроение у отца было приподнятое — не зря, значит, мы проделали далёкий путь. А бывало, возвращались пустыми.

Когда мама начала разливать суп, то выяснилось, что многие не взяли с собой ложки. Отец тут же вырезал берестяные кружочки, свернул их кульком, насадил на палочку — и ложка готова. Суп оказался таким вкусным, что многие попросили добавку. Из своей природной тактичности все хвалили маму за то, что она так на ходу придумала это таёжное угощение. А чуть попозже, когда все, насытившись, побежали умываться и плескаться к Иркуту, Остроумовы улеглись в свою прихваченную из пожарной части палатку, достали свёртки и принялись уплетать прихваченную копчёную корейку.

К тому времени из рассказов отца я уже хорошо знал, что есть неписанные законы тайги: всё, что берётся с собой, передаётся в общий котёл; отставшего человека нельзя оставлять одного; сильный всегда поддерживает слабого и ещё многое-многое другое. Наступила ночь, и здесь отец преподавал ещё один урок из своей богатой таёжной жизни. Вначале под камнем он нам в радость развёл огромный костёр. Затем, когда сушины прогорели, отец сгреб ещё тлеющие уголья в сторону, заложил кострище пихтовыми ветками, поверх которых мы настелили мох. Таёжная перина была готова. Уже в темноте, при бликах маленького костра, мы улеглись на мягкую подстилку, укрывшись прихваченным брезентом и фуфайками. Мы лежали, смотрели на потрескивающий огонь, слушали шум близкой реки, отдалённые крики обитателей тайги, смотрели на близкое звёздное небо, и каждый понимал, что такого не увидишь и не услышишь в городе, где всё разгорожено заборами, укрыто бетонными стенами и шиферными крышами. Это были не те, привычные нам костры, которые мы разводили, запекая картошку. Тут мы напрямую соприкоснулись с первобытной, практически ещё не тронутой человеком природой. Начитавшись книг, я даже пытался сравнить это место с затерянным миром, где умение выживать, приспособиться имело особое значение. Такой перины и такого тепла не было в затерянном мире. Нам было тепло, даже, можно сказать, жарко от земли, пахнувшей хвоей, шёл жар, и вскоре мы заснули, как убитые.

Ягоды было столько, что уже к обеду прихваченная нами посуда была заполнена. Отец сделал для меня из бересты два туесочка, вскоре и они были заполнены. Остроумовы были без совков, да и горбовики у них оказались

какими-то неприспособленными для таких поездок. Поначалу Остроумов решил ссыпать бруснику в вещмешок, но мама сказала, ягода спелая и быстро подавится.

— Вся работа будет насмарку.

Услышав её слова, отец без слов и просьб отрезал кусок сгнившей березы, вытряхнул из неё труху, из той же бересты вырезал кружок, закрепил его тонкими прутиками и подал Остроумову:

— Здесь на полтора ведра. Если надо, я сделаю ещё.

— Только и всего, — удивлённо протянул Остроумов. — А не высыпется?

Отец улыбнулся и тут же высыпал из своего “комбайна” в туюсок бруснику.

— Проверяй!

— Ну, Николай, ну, умелец, — похвалил его Остроумов. — Может, ты мне его наполнишь, чего тебе стоит?

На лице отца появилась лёгкая усмешка, которую он тут же погасил добродушной улыбкой: такой откровенности он не ожидал.

— Осип, может, тебя ещё на руках поносить, — рассмеялся отец. — Здесь нет начальства, все равны. Таков закон тайги.

Ну, про закон он добавил для верности, чтобы его слова не показались грубыми. Меня сместило, что младший Остроумов всё бегал смотреть, где, в каком месте я так быстро нагребая свои совки брусникой. Знал бы он, что для нашей семьи это было привычным делом. Если в тайге был урожай, то мы всей семьёй делали три ходки под Иркут. Первая брусника шла на продажу, на вырученные деньги мама покупала нам школьную одежду, и вторая партия шла на продажу, а уже третью, самую спелую, засыпали в бочку, и она съедалась к весне. Набив свою посуду, отец ушёл помогать маме.

Когда мы спустились с горы к табору, выяснилось, что отец взял с собой сеть, и пока мы там, на склонах и буторках набивали свою посуду ягодой, он натаскал почти целое ведро хариушков. Все собрались вокруг его улова, дивились, брали рыбин за жабры. Пока у мамы созревал в ведре суп, отец вырезал удилище, привязал к нему снасть и начал показывать мне, как лучше всего подсекать стремительно бросающуюся на муху рыбу. Хариус хватал наживку, едва она касалась воды. Немного погодя, пыхтя, как паровоз, с горы спустился Остроумов. Лицо его при виде белопузых, серебристых рыбин стало лиловым.

— Ты что это, прямо здесь? — хриплым голосом выдохнул он.

— А где же ещё, — засмеялся отец. — Рынка здесь нет.

Остроумов начал суетливо рыться в своих вещах, затем ни с того ни сего накинудся на сына, который якобы забыл снасти. Отец протянул ему удилище.

— Чего шумишь, вот тебе струмент, иди, пробуй.

Остроумов колобком покати к Иркуту, долго подыскивал удобное место, но по тому, как он начал крутить над головой снасть, стало понятно: он перепутал её с брандспойтом. И сколько Остроумов ни хлестал леской воду, почему-то рыба наживку хватать не пожелала. Рыбачий пыл у Остроумова закончился быстро, он вернулся к табору и бросил удилище.

— Нет, ты чё сделал, — начал выговаривать он отцу. — Сам нахапал, а потом прогнал рыбу.

Отец молча освободил удилище от снасти, завернул её в свёрток и спрятал в карман.

— Быть дождю, — неожиданно сказал он, поглядывая куда-то в сторону заснеженных гольцов. — Надо срочно сниматься и выходить к тракту. Думаю, что будет снег с дождём.

— А как же обед? — спросила мама.

— Всё в темпе. Иначе застрянем здесь до морковкиного заговенья.

Что такое морковкино заговенье, я не знал, но понял, что это надолго.

Остроумов походил, потоптался вокруг кострища, затем сообщил, что у него скоро день рождения, будут важные гости, и он готов кушать у отца часть улова. Отец по-ребячьи снизу вверх посмотрел на Остроумова и, сложив в себе какую-то преграду, достал из ведра несколько крупных рыбин.

— Всё остальное можешь забирать, — сказал он.

— Но если я плачу, то я взял бы и этих, — начал Остроумов. — Или, может, ты ещё половишь?

— Меня в детстве учили: дают — бери, бьют — беги, — неожиданно жёстко ответил отец. — Через час пойдёт дождь, и я боюсь, что сегодня придётся ночевать в снегу. Дай Бог самим выбраться отсюда.

Начали спешно собираться. Отец, оглядев свою разношёрстную бригаду, неожиданно скомандовал: всем снять нижнюю одежду и спрятать в брезентовые мешки.

— Это ещё зачем? — удивились Остроумовы.

— До ночи дойти до тракта не успеем, придётся ночевать в тайге. Душаю, что там, на горе, будет снег.

Просьбу отца неохотно, но выполнили почти все.

— У нас непромокаемые плащи, — сказал Остроумов.

Я ожидал, что Остроумов предложит свои вещмешки под нашу одежду, но куда там. Тут сработал принцип: каждый сам за себя.

Как и предсказывал отец, дождь начался, едва мы покинули табор. И уже буквально через полчаса повалил снег. Очень быстро снег с дождём сделал своё дело: мы то и дело спотыкались, падали. Больше всех страдал Остроумов. Непривычный к таёжным тропам, к тому, что ноги то и дело разъезжаются в разные стороны, он начал допускать те крепкие выражения и матюки, за которые его маму уж точно не раз бы вызвали в школу, а потом поставили голыми коленями на горох в самый передний угол. Действительно, такого трудного подъёма с полной поклажей я ещё не знал.

— Отец, ему ещё жить, отсыпь, — на одном из перекуров, глянув на мое лицо, неожиданно жёстко сказала мама. — Или я сама у него заберу.

Я знал, что у отца была неподъёмная ноша, но он безропотно выполнил волю мамы.

Уже в темноте, когда среди девчонок начались всхлипывания и слёзы, мы, падая, съезжая по снегу и грязи на заднем месте, спустились с горы. Отец вывел нас к заброшенным на болоте покосам. Он снял свою поклажу и сказал, что ночевать будем здесь. Подойдя к засыпанному снегом зародам, он начал вырывать из стога сухое сено, делая что-то вроде норы. Затем приказал нам снять мокрую одежду, надеть сухую, и мы, как мышки-полёвки, постукивая зубами от холода, но всё же в сухой одежде забрались в нору, где в носшибануло сухое, пахнущее дурманом сено. Сон был ещё более крепким, чем на таёжной перине. Проснулись мы в зиме — вся тайга была под снегом. Но возле стожков уже дымил костерок, в большом походном котелке мама варила уху из тех харюзков, что оставил отец себе.

Что я вынес из этих походов в тайгу за ягодами? Тогда я этого не осознавал в полной мере, но что-то из увиденного откладывалось в голове. Главное: что можно делать, а чего — нельзя. А ещё терпеть нелёгкий путь по тайге, показывать всем, кто под руководством моего отца впервые пошёл нелёгкой тропой под Иркут, что здесь нет своих и чужих, все выходят на своих двоих. И когда мне уже не доставало терпелю, встречаясь глазами с отцом, я тихо спрашивал: сколько ещё осталось?

— Вот сколько прошли, осталось ещё столько же и полстолько, — улыбуясь, говорил отец. — Терпи, тебе в жизни это пригодится: уметь выживать в любых условиях.

Собственно, вся жизнь и состояла из уроков умения выживать. Конечно, основная нагрузка была на родительских плечах: нужно как-то выкрутиться, но чтоб утром на столе был кусок хлеба, а уж что к нему, как говорила мама, Бог подаст. Уже много позже я пойму, что жизнь будет сталкивать и усаживать рядом со мной, как в рейсовом автобусе, разных людей. За короткое время ты даже, возможно, что-то узнаешь о них, можешь даже поспорить, поругаться. Но вот очередная остановка, ты вышел или они, и уже никогда не встретишься с теми, кто сидел рядом. А впечатления от таких встреч, бывает, остаются надолго. Так было и с Остроумовыми. Никогда больше я не встречался с ними. Почему-то всё хорошее быстро забывается, а плохое сидит где-то в душе, как ржавый гвоздь.

Однажды, когда мама заболела, она попросила меня принести воды. Выпив воду, она поставила стакан на стул и неожиданно спросила:

— Вот когда я умру, ты будешь приходить ко мне на могилу?

Я оторопело посмотрел на нее: да такого быть не может, чтобы мамы не было с нами. Впрочем, размышления о неизбежном конце всего живого посещали меня, особенно когда к нам приходил мамин брат дядя Кондрат, чтобы помочь отцу заколоть свинью. Мы его называли Борькой, я ему иногда давал попить молока и даже пытался прокатиться на нём верхом, что ему не очень-то нравилось. И вот его, моего любимца, должны были зарезать. Я убегал в дом, чтобы не слышать его предсмертного крика и, закрыв уши, читал сказку про Колобка, который и от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл. А вот Борька не уйдёт. Но я очень хотел, чтобы он стал эдаким колобком. И всё равно в голову лезли нехорошие мысли, что придёт время, и мы все умрём.

Когда я приезжал в отпуск из училища, особенно в первый раз, всё в доме было, как и раньше, мама рассказывала, что после смерти отца пошла работать на комбикормовый завод, и там по неосторожности умудрилась запихать палец в дробилку зёрен. Она показывала неровно сросшийся палец, который ей размолотила машина.

Второй раз я приехал осенью, в начале октября. Было уже поздно, я приехал с вокзала последним автобусом. С Барабы по знакомым бутрам и кочкам, перепрыгивая через лужи, добежал до дома. Света не было, все уже, видимо, легли спать. Я полез на забор, чтобы открыть защёлку на воротах, и услышал сдавленный крик. Через ограду во тьме ко мне летела моя мама. Перед сном она пошла в туалет и увидела, что кто-то лезет через забор. Конечно, она догадалась, что это приехал я, вскрикнула, как подраненная, и уже через секунду обнимала и целовала меня.

— Наконец-то дождалась, — шептала она.

Потом всю ночь сидела возле меня на кровати, гладила, как маленького в детстве, что-то говорила, но в основном расспрашивала, как проходит учёба, как я летаю.

— А помнишь, как ты, завидев самолёт, кричал: “Ароплан, ароплан, посади к себе в карман”, — вспоминала она. — Должно быть, тогда в тебе зародилась мечта стать лётчиком.

— Да ты же сама говорила, что врач, принимающая роды, сказала, что родился лётчик, — грустно улыбаясь отвечал я. — И отец назвал меня в честь Чкалова.

— Я уже всё забыла, — ответно улыбалась она.

*Небо синее в горошек
Заслонила яблонь тень,
Я лежу, гляжу в окошко
На осенний день.*

*А из кухни запах хлеба,
Мама с радостным лицом,
Самолётик чертит небо
По стеклу резцом.*

*А пока он целит в раму,
Я прошу аэроплан:
— Прокати по небу маму,
Посадив к себе в карман.*

Это я напишу много позже, когда уже не буду летать, а буду, склонившись над чистым листом, вспоминать свои первые шаги в небо и тот приезд домой в свой курсантский отпуск. Через пару дней мама сделала мне встречу, накрыла для моих друзей стол, я ещё удивился: дома денег нет, мне надо ещё на обратный путь, а тут на тебе! Не ведал я, что она не только сделала мне встречу, но это был день её рождения, последний в жизни. А я тогда слишком много уделял внимания своей персоне, своим друзьям, хвастал-

ся курсантской формой, вставляя в свою речь новые, непривычные маминскому слуху словечки из лексикона нашего старшины с Черноморского флота, и она простодушно спрашивала: что такое галльон, кубрик и почему меня так часто посылают на шкентель.

По приезде я с ребятами пошёл на танцы, меня продуло на холодном ветру, и начались стреляющие боли в голову. Дома я спал на раскладушке, мама, чтобы облегчить мои боли, поставила возле головы включенную электрическую плитку. Немного, но всё же помогало. Она сидела рядом, и я чувствовал, что она носит в себе какую-то тяжёлую думу, но не мог себе даже представить, что она неизлечимо больна, и жить ей осталось совсем немного. Но она, как умела, сдерживала себя, чтобы я не догадался о её болезни и уехал в училище со спокойной душой. Даже съездила на вокзал и купила мне билет. Последнее, о чём она попросила меня, чтоб я на месте стайки выкопал курятник, поскольку был он у нас под кухонным столом, и от него всегда несло помётом. Я вырыл яму, обшил её досками, но не успел сделать крышу. Она пришла из больницы, оглядела мою работу, ничего не сказала, и я понял: ей уже не до курятника.

Ранним утром одиннадцатого ноября 1963 года в сильный мороз она вместе с моими сёстрами и другом Олегом Оводневым поехала провожать меня на вокзал. И когда поезд тронулся, я, увидев на её глазах слёзы, запел: “Вот и стали мы на год взрослей”.

Мне хотелось, чтобы она перестала плакать, ну, не нашёл я тогда других слов, чтобы успокоить её. И она, уже не сдерживаясь, разрыдалась.

Плакала она и тогда, когда в августе шестьдесят первого за столом собрались мои друзья и дядя Кондрат, чтобы проводить меня в училище. Я вижу её жалобные, искривлённые горем губы, замечая, что у неё уже нет коренных зубов. Плакала она, должно быть, вспомнив только что ушедшего в мир иной отца, который не дожил до этой минуты, чтобы погордиться своим сыном, первым на всех Релках лётчиком. А на вокзале она осмотрит место, на котором я поеду в училище, накажет моей соседке, женщине с дочкой, чтоб посматривала за мной.

Сейчас она не стала даже заходить в вагон, закусив шерстяной платок, она некоторое время сдерживалась и всё-таки не смогла сдержаться: из глаз потекли слёзы. После, приехав домой, она сказала сёстрам:

— Всё, я его больше никогда не увижу.

И слегла в постель. И больше уже не выходила на улицу, лишь иногда просила моего младшего брата Сашу, чтобы он помог ей выйти на крыльцо, подышать свежим воздухом. Там она усаживалась и просила поддержать ей спину, сил у неё почти не оставалось. Смотрела на снег, на забор, на крышу соседнего дома. О чем она думала? Наверное, как впервые приехала сюда, ещё в старую засыпнушку, которую отец купил у железнодорожника и которую разобрали сразу же после рождения Саши. Здесь, на Релках, она прожила почти тридцать лет, пережила войну, смерть нескольких своих детей. Здесь прошла большая часть её жизни. И вот дома холодно и голодно, нет уже сил, нет мужа, рядом трое девчонок и ещё маленький сын, который, хлопая большими глазёнками, смотрит на неё. Да ещё где-то там, далеко в Бугуруслане, другой. Она соберётся с силами и напишет мне письмо, очень беспокоясь о моём здоровье, понимая, что для той работы, которую я выбрал, быть здоровым — это главное.

“И если что случится, то вы не забывайте друг друга”, — написала она в конце. Я читал письмо, выходил на улицу и плакал.

В тот день был Старый Новый год. Было холодно, градусов под тридцать. Я пришёл из караула, почти тотчас была дана команда “отбой”, и я лёг, накрывшись поверх одеяла шинелью. Только я повернулся к батарее отопления, как услышал по коридору грохот ботинок и почему-то сразу догадался, что идут ко мне. Подошли старшины Боря Зуев и Толя Соловьёв и сказали, что умерла мама. Спросили, есть ли у меня деньги. Я достал из тумбочки три рубля. И тогда в казарме вспыхнул свет, товарищи собрали мне денег на дорогу — до Иркутска вполне хватало. Валерка Пелих написал записку своему отцу, мол, помоги этому парню, чем можешь. Затем мы пошли к дежурному по училищу, и на дежурной машине поехали на вокзал.

Там мой старшина Толя Соловьёв договорился с машинистом, меня посадили в заднюю кабину электровоза.

— Что поделаешь, парень. Не ты первый, и не последний, — сказал машинист.

И я остался наедине со своим горем. Электровоз шёл без остановок сквозь чёрную ночь, постукивая на стыках и пугая близкими гудками, которые разрывали мои путанные мысли.

К утру я доехал до Куйбышева, так тогда называлась Самара, сел на такси и помчался в аэропорт Курумоч. По доске объявлений я узнал, что через два часа должен был приземлиться самолёт из Одессы, который следовал до Иркутска. Но потом объявили задержку рейса по технической причине, и я просидел со своим горем в аэропорту почти два дня. Хорошо, что хватило ума взять билет до Москвы, и с ещё одним парнем, нашим курсантом из Хабаровска, мы на Ан-10 полетели в аэропорт Быково. Командир корабля пригласил нас в кабину и стал говорить, чтобы мы обязательно изучали английский язык. Но мне было не до языка, хотя кабину пилотов я осмотрел внимательно. Конечно, это уже была не кабина нашего маленького “Яка”. После посадки через весь город на автобусе мы переехали во Внуково. Я сидел и глазел по сторонам: на перекрёстках в таких же белых полшубках, как у моих земляков-сибиряков в сорок первом, когда они пришли защищать Москву, стояли постовые, и заученными жестами крутили чёрные в полоску указатели, регулируя потоки. В тот момент я почему-то вспомнил своего отца, который когда-то в нашем доме учил правилам дорожного движения своего младшего брата Алексея.

Так я впервые в жизни попал в столицу нашей родины. Во Внуково мой попутчик-курсант познакомился с каким-то проходимцем, и они начали вымогать у меня деньги, чтобы попить московского пива. И я чуть было не отдал, но всё же что-то остановило меня.

— Нет, ты же знаешь, что я еду на похороны, — сказал я.

После этого они потеряли ко мне всякий интерес. Позже я встретил моего случайного попутчика в учебно-лётном отделе училища, он прошёл мимо, как бы не узнав меня.

В Иркутск я прилетел ночью, взял такси, доехал до “Нефтегеологии” и по заснеженному полю, по узкой тропинке, по которой когда-то возвращался после занятий в планерном кружке, побежал домой. В эти часы Релки ещё спали. Я перелез через ворота, стукнул в окно. В доме зажёгся свет, началось шевеление. И неожиданно в окне я увидел маму. Сердце дрогнуло, но тут же до меня дошло, что это — мамина сестра, тётка Наталья. Они были очень похожи. Когда я зашёл в дом, начались слёзы, причитания, я увидел дядю Артёма. Они все ждали, когда я приеду, даже ездили в аэропорт встречать самолёт, но почему-то из Оренбурга.

Неожиданно я встретил взгляд моего брата Саши: его глаза смотрели на меня с какой-то непонятной мне, взрослой печалью. В тот последний для мамы день она попросила его сварить вермишелевую похлёбку. Для Саши это оказалось непосильной задачей, тогда мама стала руководить процессом. Сказала, чтобы он налил в кастрюлю воды, затем, когда вода закипела, попросила посолить, и он бухнул столько соли, что хлебать вермишель было невозможно.

— Как же вы будете жить без меня, — с горечью сказала мама. Вскоре пришла “скорая”, он помог маме одеться. Возле нашего дома проводить маму уже собрались соседки. Перед тем как сесть в машину, мама оглядела их, затем оглянулась на заледенелые окна своего дома. — Прощайте, девки, думаю, мы уже не увидимся, — сказала она и сделала по снегу шаг к машине. Уже из дверей она глянула на прилипшего к окну младшего сына, перекрестила его и сделала слабую попытку улыбнуться. То, чего не смогла сделать, когда провожала меня на вокзал...

ВАЛЕРИЙ ФОКИН



ЗАЗДРАВНАЯ ЧАША

ОГОНЬ С НЕБЕС

*Лучше быть гомофобом,
чем русофобом...*

Толерантное мнение

Всё приторней и липче разговоры
О том, что “всепрощение — наш бог”.
Но страшный грех Содома и Гоморры
И сам Господь простить уже не смог.
Но как живуче “голубое семя” —
Опять возшло
И снова сеет гнусь.
Огонь с небес,
Случись он в наше время,
То я запрет нарушу — обернусь.
За все грехи Господь воздаст сторицей.
Пусть со своей семьёй уходит Лот.
Я обернусь,
Чтоб лично убедиться,
Что эта гнусь опять не оживёт.
А Божий Гнев развеет смрад и мрак
В небесном очистительном огне.

ФОКИН Валерий Геннадьевич родился в вятском селе Пищалье. Выпускник Высших литературных курсов. Член Союза писателей России. Автор десяти поэтических сборников, книги прозы “Всего-навсего”. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Николая Заболоцкого. Живёт в г. Кирове (Вятке).

Я тоже грешен.
Но совсем не так.
Хотя судить, конечно же, не мне.
Я в ожидании Страшного Суда
Стою столбом.
Душа моя тверда.
И не страшна мне никакая боль,
Ведь вместо сердца —
Каменная соль.

ВОЛЬНОЕ МНОГОГОЛОСЬЕ

Уйду туда, где тропы лосьи
И птичий гам над головой,
Где вольное многоголосье
Звучит симфонией земной.
Туда, где вятских рек излуки:
Там наша Русь — там русский дух,
И отзвук мира в каждом звуке,
И ничего не режет слух.
Я ласточкой взлечу под крышу,
Чтоб ястребком упасть в траву.
Я жив,
Пока всё это слышу,
И радуюсь,
Пока живу.

САМО ПРОЙДЁТ

Как нарывала и болела
Заноза, встрявшая в ладонь,
Но строго бабушка велела:
“Само пройдёт — смотри не тронь!”
И я терпел — нарыв не тронул,
Хоть выдержал едва-едва.
Я, баба Лиза, поздно понял,
Насколько ты была права.
Мой опыт — всё моё богатство.
И если бьёт судьба под дых,
Не надо в ранах ковыряться —
И ни в своих,
и ни в чужих.
Остался только шрам на коже.
Я всё стерпел судьбе назло.
Не надо прошлое тревожить —
Оно болит,
Хоть и прошло.
Я рос и вырос при народе.
Был за народ.
И сам народ.
А вот уже и жизнь проходит.
Не тронь её — само пройдёт.
Само пройдёт — само собою...
Зачем ты шепчешь:
“Милый мой,
Пока мы вместе,
Я с тобою,
И это значит — ты со мной.

А все восходы и закаты —
Лишь отблеск Божьего Венца.
Пусть всё пройдёт,
Пройдёт когда-то,
Мы будем вместе до конца...”
Не надо ковыряться в ране,
Где рядом гной, и кровь, и пот.
Не верь любви — она обманет.
Не тронь её — само пройдёт.
Я принимаю жизнь как чудо,
Вот только знать бы наперёд,
Что ни о чём жалеть не буду,
Когда она совсем пройдёт.
Само пройдёт — само собою...
Увидеть только бы в конце
Деревню нашу,
Дом с трубою
И бабу Лизу на крыльце.

ЗАЗДРАВНАЯ ЧАША

Ну, какие ещё наши годы! —
До краёв чашу жизни налей:
Главный праздник весны и свободы
Веселей, чем любой юбилей.
Сок берёзовый.
Чистое поле.
Горизонта прозрачная нить.
Я ещё погуляю на воле —
Не спешите меня хоронить.
Погуляю,
Себе потакая,
В ярком свете весеннего дня.
Мы с тобою...
А кто ты такая?
И что надо тебе от меня?
Кто такие с тобою мы оба
С этой чашей, наполненной всклень?
“Будем вместе, мой милый, до гроба
И, обнявшись, умрём в один день...”
Что тебе — мало песен на свете?!
Так оставь,
Замолчи и не пой
Ты слова неуместные эти
С неуместной сегодня тоской.
Всё цветёт,
Значит, быть урожаю,
Ну, а это — основа основ.
Я тебя и без слов понимаю.
Ты меня понимаешь без слов.
Так давай же без лишнего слова
И другим в эту чашу нальём.
Будто с нами родители снова
За сколоченным в поле столом.
Не забудь дорогую подругу,
И друзьям моим хватит вполне.
Пусть идёт эта чаша по кругу,
Чтобы снова вернуться ко мне.
Пусть по кругу идёт эта чаша,

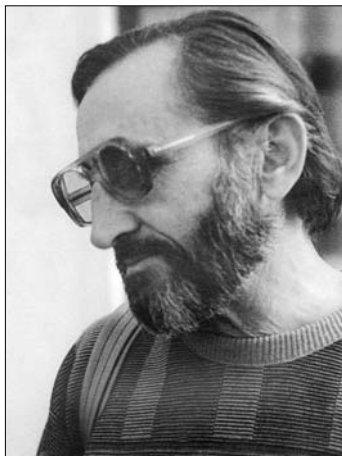
Чтобы крúгом пошла голова,
Чтоб слова похоронного марша
Позабыть.
Если есть там слова...

РОСПИСИ

Здесь орут вороны оголтело,
Соловьи восторженно поют.
Шрамами расписанное тело —
Для души лишь временный приют.
Не поможет никакая ксива
Обеспечить допуск к небесам.
Не просил я: “Сделайте красиво!” —

В меру сил пытался делать сам.
Представляя зримо и упрямо
Со своей душой наедине
Росписи поруганного храма,
Бабкой пересказанные мне.
Ни к чему мне росписи по шёлку,
Я вот эти росписи блюду.
И когда мне крикнули: “Пошёл ты!..” —
Я пошёл.
И до сих пор иду.
Это для меня совсем не драма,
Потому что осознал вполне
Росписи поруганного храма,
Бабкой пересказанные мне.
Крестный путь мой — дальняя дорога.
Позабыл — откуда и куда.
Разве что пугает (но немного)
Перспектива Страшного Суда.
В ус не дую.
И иду, не ною,
Переставив всё наоборот,
Потому и утречко земное
Над геенной огненной встаёт.

ЮРИЙ УБОГИЙ



ВРЕМЯ ВОКЗАЛА

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ*

Очень давно сидел летом у открытого окна и читал дневник позднего Толстого. Часто там встречается слово Отец. Отец, помоги, Отец, не оставь... К Богу он так обращался.

То читаю, то в окно смотрю рассеянно и вдруг явственно представлять, чувствовать начинаю, что Отец-Бог есть. И всё во мне и вокруг меня меняется. Во мне покой радостный возникает и растёт, а за окном, среди деревьев, кустов и травы некая особенная ясность, яркость, полнота появляется, смысл некий во всём, ещё не понятный, но несомненный. В вороне пролетевшей, в пичужке порхающей, в бабочках белых над травой... Такое чувство, словно и меня, и весь мир окружающий к какому-то мощному и благодатному источнику энергии и смысла подключили. И радость от этого, и покой в чудесной, волшебной, блаженной смеси. Исчезает же всё это вскоре после мысли: “Бога нет”. Энергия, всё менявшая и питавшая, исчезает, а в тебе и вокруг — всегдашнее, обыденное, плоское. Несколько раз я такое проделал мысленно: “Бог есть” и “Бога нет”. И перемена описанная происходила, но с каждым разом всё слабее, до исчезновения.

УБОГИЙ Юрий Васильевич родился в 1940 году в селе Красная Поляна Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более 20 лет работал психиатром и психотерапевтом. В “Нашем современнике” публикуется с 1978 г. Автор 12 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге.

Продолжение. Начало в №10 за 2014 год.

Возможно, это и есть так называемый религиозный опыт, который в самой основе веры лежит. Бывает чувство присутствия Бога в мире, значит, верующий ты человек, хотя бы в короткие и редкие эти минуты. Быть бы им почаще и подольше. А у истинно верующих людей чувство присутствия Бога и поэтому радостного покоя постоянно быть должно, как глубинная основа жизни.

Живут у нас, в восьмиквартирном нашем доме, две старушки-соседки лет восьмидесяти примерно. Одна — “светлая”, а другая — “темная”. Первая очень слаба, согбенна, одинока, но приветлива, радостна даже. Вторая крепка на редкость, при двух дочерях, которые её навещают, и угрюма всегда, будто чёрным каким-то кошаком покрыта. Не знаю, как у них с верой дело обстоит, но думаю, что первая, скорей всего, с Богом в душе живёт, может, толком этого и не осознавая, а вторая — без Него, если даже и молится регулярно.

И ещё жила рядом соседка — старушка, уже умершая. Тяжело озабоченной почти всегда была, напряжённой, мрачной, а в последние годы перед смертью меняться начала на глазах. Такой свет вдруг в ней проступать стал, такая доброта, такая благодность и смиренность!словно другой человек на глазах рождался. Вот я теперь и думаю, что к Богу она приблизилась под конец.

* * *

Есть у Честертона мысль о том, что, если вы не верите в Бога, то не сможете любоваться красотой цветка, а если любуетесь, значит, верите. Нелепо, диковато даже на первый взгляд, а потом, понемногу, и резон некий начинает в этом проступать. Ведь мы не только формой и окраской цветка восхищаемся, но и премудростью, и искусностью Творца, который его создал. А если он, цветок, просто так, сам по себе существует, то ценность и прелесть его в наших глазах резко падает. Некое силовое поле творческое, божественное, которое делает цветок таким прекрасным, исчезает.

* * *

Встретил соседа, которому недавно исполнилось восемьдесят. Крепок на редкость, такой валун-валунчик, чуть замшелый. Он и говорит: “Вот, думаю, чужой век, может, заедать начал?” И взгляд у него при этом необычный, виноватый и словно бы надломленный. А через некоторое небольшое время он и умер внезапно в городском автобусе. И вспомнилось, что подобный “надломленный” взгляд я не раз у старых людей встречал. Возможно, он, взгляд такой, и появляется, как предвестник скорого ухода, вместе с мыслью о заедании чужого века?

Есть у Пушкина: “И наши внуки в добрый час // из мира вытеснят и нас”. Мы же не должны сопротивляться этому вытеснению. “В добрый час”, — так ведь сказано. Может, в подобную пору слышать начинает старый человек некий глас трубы: “Пора, пора!” И уходит.

* * *

Внучка Дарья уехала учиться в Смоленский мединститут, который закончили и сын, и внук. Недавно посмотрели на неё во время городского парада выпускников, как когда-то смотрели и на сына, и на внука, теперешних врачей. И мы с Ириной — врачи, и такая семейственность-потомственность приятна. Есть, по крайней мере, что каждому ответить на Страшном суде на вопрос: чем занимался? Людей лечил. Хороший ответ, простой и достойный.

На параде бросился в глаза рост чинов у милиционеров (теперь полицейских) в оцеплении. На первом, с сыном, были сержанты, на втором, с внуком, лейтенанты, а на третьем, с внучкой, целый майор напротив нас про-

хаживался. Если так пойдёт, то на параде с правнуками и генерала, пожалуй, можно будет увидеть. Жаль, не дожить...

Росла от парада к параду и затейливость, пышность, роскошность в нарядах и причёсках девиц-выпускниц. И вызывало это странную какую-то к ним жалость. Сколько мечтаний, усилий, поисков, радостей и разочарований было испытано-потрачено для того, чтобы быть не хуже других. Казалось даже, появившись в этом бальном, словно из давних времён девиц-шестивии кто-нибудь в простеньком платьице ситцевом, вот оно-то и будет заметней и лучше всех.

А из собственного выпускного вечера запомнилось больше всего, что застолье проходило в том же классе, где и учились мы многие годы. То учебники с тетрадками были, контрольные работы, ответы у доски, а тут вдруг водка, вино, тарелки с картошкой, салом и красным, свекольным винегретом. Волшебное какое-то преобразование с греховным (так смутно чувствовалось) уклоном. Теперь, значит, можно, раз аттестат зрелости получили. И курить можно, что большинство парней и сделало в первый в жизни раз.

Курить выходили в коридор, угощая друг друга из одинаковых пачек “Беломорканала”, который удерживался потом в продаже в неизменном виде полсотни лет. Разговор же и за столом, и в коридоре вокруг одного и того же крутился — кто куда будет учиться поступать. Вот это только, возможно, до сих пор и удержалось с той давней нашей с женой поры. А пора-то важнейшая, не туда зарулишь — долго потом расхлёбывать ошибку придётся.

У меня, кстати, так и получилось — аж в Пятигорск заехал, в фармацевтический институт поступил. Соблазнил меня на это дядюшка по отцу комнатой отдельной и настольной чёрной лампой. Я как раз писателем решил быстренько стать, правда, неизвестно почему. Решил — и всё тут! Захотелось. А комната отдельная и лампа очень к решению такой задачи подходили. И город подходил, с Лермонтовым тесно, смертью самой, связанный. Глядишь, и это поможет — так чудилось...

Институт я бросил через две недели, и главная причина совсем уж дикая была: учились там сплошь девицы. Вот стыдно и стало целые годы в таком цветнике протопчаться...

* * *

Отмечали юбилей сына в областной картинной галерее. К концу подошёл ко мне Валентин Михайлович Белов, скульптор, народный художник России, — проститься. Руку пожал со словами: “Встретимся в мастерской!” Работает он ежедневно, бюст сказочника знаменитого Ершова лепит для города Тобольска. А лет ему 85.

Был на юбилее и старый наш друг Дмитрий Дмитриевич Марков. Выставил, а потом и подарил сыну прекрасные фотографии. Их много, но на каждой одно и то же: сын в Крыму. Во время их совместного там пребывания в этом году фотографии сделаны, в походах по горам. А лет Дмитрию 84.

Кстати, взгляда “надломленного” я не наблюдал пока ни у одного, ни у другого, а ведь должен когда-то появиться, надо только дожить. Интересно, как у меня с этим взглядом? Сам не узнаешь, а спросить нельзя — слишком дело интимное...

* * *

Взял машинально том Фолкнера, кем-то оставленный на тумбочке, раскрыл наугад, читать всерьёз совсем и не собираясь, и на какое-то время пропал: Лина из “Особняка” едет в поисках своего мужчины на повозках попутных, а кругом зной, пыль, хлопковые поля, лачуги издольщиков... Очнулся в том же кресле, у той же тумбочки. И вспомнилось, как лет тридцать назад пришёл в обеденный перерыв домой, поел плотно и, мучаясь от лет-

ней жары, присел в кресло. От одного представления о второй половине рабочего дня тошнило. Взял том Бунина со стола рядом, раскрыл, где придёт-ся, попал на “Худую траву”, к умирающему крестьянину Аверкию, да так и пробыл с ним до самой его смерти.

Вот один из верных признаков великой прозы: берёт она читателя мягко и плотно и к себе, в себя властно переносит. И держит, пока он не дочитает до конца или не вырвется силой, ошеломлённый и чуть уже другой, чем раньше.

И ещё похожее. Погас свет в разгаре какой-то интересной телепередачи. Пришлось зажигать свечку, брать книгу, какая подвернулась, и садиться к столу — читать. Оказалась “Война и мир”, примерно середина. Тут и освещение, наверно, помогло, скудность его и локальность, от всего постороннего отгораживающая: в такую глубину вдруг ушёл, как провалился, в такую мощь, в такую жизнь! Когда же свет вспыхнул, то так не хотелось к своей “интересной” передаче возвращаться. Но ведь вернулся!

* * *

Теплота самобытия... Сказал это философу Катагощину, и он оживился: интересно-де и даже глубоко. Какой-то центр жизни тут и главная её приманка.

А недавно узнал, что 10 процентов пенсионеров из дома не выходят, а пять постели не покидают. Тяжко, конечно, так жить, но ведь и утешение, и радость даже порой в такой жизни есть — вот эта самая теплота самобытия, она, в конечном счёте, прежде всего к жизни привязывает, и потерять её — жизнь потерять. В самой тяжёлой болезни, в самой глубокой беспомощности она чувствоваться должна — тёплый ты, значит, живой. Тогда, если сознание вполне сохранено, Бог к человеку ближе всего — так думается. Всё далеко отодвинулось или совсем ушло, Он, Единый, в тебе и над тобой. Есть у Бунина стихотворение, и страшное, и утешительное одновременно, последнее самое у него: “Никого в подлунной нет, // только я да Бог. // Знает только Он мою // мёртвую печаль, // ту, что я от всех таю...” Дожить только до этой встречи надо с верой в душе.

* * *

Из рассказа старого моего друга перед самой у него серьёзной операцией, когда он детство и юность вспоминал. Интересная, кстати, черта и довольно типичная: вспоминать такое в опасные минуты.

Ехали они вдвоём с матушкой в войну из костромской глуши в родную Калугу и ведро со свиной везли. И справка у них была, что матушка, врачом работавшая, имела на содержании поросёнка. О том, в сущности, что мясо своё, трудовое, а не ворованное или спекулятивное. Вот это был контроль! И страхок, и одновременно восхищение вызывает.

“Как же я этого поросёнка ненавижу!” — друга слова. Потому что кормить самому приходилось его постоянно. Билетов на станции не было, и уехать не могли, пока лейтенант-железнодорожник не сжалился и не пустил их в вагон, открыв дверь каким-то трёхгранным ключом. Так и вижу и лейтенанта, и этот ключ, и чувство тогдашнее друга моего испытываю: строга, сурова Родина, но вдруг и добра...

* * *

Никто не доволен своим состоянием, но все довольны своим умом. Вспомнишь английскую эту поговорку и улыбнёшься невольно. Правде, в ней выраженной, улыбнёшься. Ну, как, в самом деле, недостаток ума в себе признать, есть в этом что-то даже неестественное. Это ж надо из свое-

го же ума выйти и на него со стороны исхитриться посмотреть и оценить. Целый трюк акробатический получается, сальто-мортале какое-то. Так же трудно и тоже неестественно кого-то умней себя признать. Тебе ведь твоего ума вполне хватает, а если у другого вроде бы побольше, то это подозрительным представляется. То ли заумью какой-нибудь, то ли чем-то даже порочным, “от лукавого”.

Впрочем, если некая добавка к уму у тебя существует, то признать умственное превосходство другого человека гораздо проще. Пусть, скажем, он, другой, умнее, но ты зато талантливее, или красивей, или богаче. Или же на у тебя красавица и дети ангелы...

* * *

Жил я сорокапятилетним одиноко в Москве, и нашёл меня там Валерка Юрасов, друг детства с детсадовских аж времён. Оказались мы, в конце концов, у него в общежитии, где, похоже, он был единственным случайным постояльцем. В комнате — голые кровати с рулонами свёрнутых матрацев на них... Бомжовская такая картина. Так мы и спать легли под утро — снизу матрац и сверху матрац.

Утром, ещё среди матрацев лёжа, неожиданно разговорились с откровенностью не хмеля уже, а дурного похмелья. Я и сказал, что хотел бы в Тим (посёлок, где мы росли), приехать, спиться там и под забором умереть. Валерка, который в Тиму так жить и остался, был, конечно, сильно удивлён, но и обрадован. Поверил на какое-то малое время и желанию моему, и возможности его осуществить.

Жил я в ту пору вполне благополучно, и впереди никаких обвалов житейских никак не предвиделось. Так откуда же желание такое дикое? На хмель и похмелье я никак не мог его списать, потому что чувствовал его органическую реальность. Пусть совсем маленькое оно было, это желание, но очевидно естественное и живое.

Теперь же вот вспомнилось всё это в какой-то вполне понятной простоте. Вернуться к началу я хотел всего-навсего, круг жизни замкнуть. Так из дальних краев на родину люди иногда возвращаются, чтобы в родную землю лечь. Да, но зачем спиваться-то и умирать под забором? А для постепенности и полноты слияния с родиной, так можно ответить.

* * *

Время от времени, чаще всего осенью, встречаю в нашем прекрасном, живописном овраге с ручьём хорошо знакомого художника Арепьева. И вчера встретил — сидит, как всегда, под огромным синим зонтом, в одежде такой ладной, надёжной, полувоенной, и этюд пишет. На этюде точно то же, что и перед глазами, только лучше чем-то трудно уловимым. Светом, наконец догадываюсь я. День предзимний, серый с пятнами снега на умершей, чёрно-рыжей траве, а на этюде всё словно подсвечено из глубины — и склон оврага, и бережок ручья, и вода в нём. В натуре его нет, света, а на этюде есть. Так откуда же он? А из души художника, догадываюсь ещё раз, — ровный такой, умиротворённый свет.

Переговариваемся неспешно, а художник и работать продолжает: то там мазочек положит, то здесь. Я уже и озяб, а уходить не хочется: аура покоя, которая окружает Арепьева, удерживает. Всегда она при нём, хоть во время работы, хоть просто так, при любой встрече.

В последние годы он пейзажи прекрасные, классические, пишет, а не так давно модернистом-авангардистом был. Пилы двуручные расписывал, доски узенькие. Фузинки, по его определению. Прекрасно получалось, примитивизм такой с юмором добродушным. В ту авангардную свою пору он и самого себя однажды на выставке выставил — приклеил к стене выставочного зала лентами скотча. Так и стоял с непоколебимым своим спокойствием.

А вот теперь весь этот “модерн” и “авангард” он оставил и вернулся к тому, с чего и начинал, — к пейзажам с натуры. И я догадываюсь в третий уже за эту встречу раз, что возраст его к такой перемене скорей всего склонил. Седьмой ему десяток, уход уже не за горами, вот он к природе-погоде вновь и причалил. К тому именно, куда уходить.

* * *

Видел по ТВ встречу наших и английских моряков, участников Северных конвоев из Англии в Мурманск в войну. Какая бьющая в глаза разница: ухоженные, холёные даже лица англичан и изношенные предельно, корявые, шершавые, перекошенные какие-то лица наших. И нелепая из-за этой разницы неприязнь к англичанам, и за наших обида, боль и стыд. А, в конце концов, внезапная, острая, режущая к нашим морякам любовь. К лицам их этим, в которых такая яркая, светящаяся прямо-таки жизнь! Как книгу её можно понимать — читать. Можно читать её и по английским лицам, только в них она скучней и тусклее. Уверен, что это не только от того, что я в такой оценке поневоле пристрастен. Посторонний вполне, никак не заинтересованный человек мог бы тоже эту разницу увидеть и ощутить.

* * *

Прочитал “Избранное” Юрия Кузнецова и подумал твёрдо: великий поэт! Когда же раньше читал много раз его стихи, то думал всего лишь — крупный поэт. А разница такая в оценке потому, скорей всего, что он умер десять лет назад, и за эти годы перечитал я его впервые. Ушёл он к Богу, в небеса, и тем значение поэзии своей как бы приподнял резко.

Живой художник окружающими редко понимается как великий. И сам он, со всей его требухой житейской, повседневной, и жизнь его, такая неизбежно обыденная, настоящей, “объективной” оценке мешает. Взгляд на его творчество всем этим затуманивается, замыливается. И известное выражение “нет пророка в своём отечестве” по той же, наверное, причине возникло.

И ещё впечатление — как же он, Юрий Кузнецов, был чудовищно одинок! Словно стоял всю жизнь посреди родной своей, беспредельной кубанской степи, а вокруг никого. Лишь стихии бушевали — то природные, первозданной, геологической какой-то, мощи, то общечеловеческие с катаклизмами войн и революций, то любовные, где тоже война вечная природы мужской и женской. Разве Лермонтов лишь был так одинок, но ему хоть молодость держаться помогала...

* * *

Влюблённость, очарование, разочарование... Путь чувств, знакомый, наверное, каждому. Знакомый и даже неизбежный, если длится достаточно долго, надо только дожидаться, дойти. Но если человек по-настоящему для тебя талантлив, то программа эта даёт вдруг сбой. Как со стихами или с музыкой, или с живописью того, в ком ты разочаровался, быть? Они-то не изменились, не стали хуже? Решить, что в человеке ты разочаровался, а в его искусстве нет? Но ведь оно, искусство, самое главное, стержневое в этом человеке, а значит, и разочарование настоящее невозможно. Если искусство любить продолжаешь, значит, продолжаешь любить и художника-человека в самой глубине души.

Получается, что талантливые люди некую защиту, гарантию от разочарования в них имеют, и даётся она им за отвагу быть самими собой. А это и есть та песчинка, вокруг которой жемчужина таланта нарастает, и отпечаток её в словах, звуках, красках есть отпечаток именно самобытности, непо-

вторимый, как отпечаток пальцев. И вот эту-то самобытность неистребимую и любишь, и никуда от неё не денешься.

* * *

К мусорным бачкам подъехала машина — огромная, ярко-оранжевая, поблескивающая свежей краской. Из кабины выпрыгнули (именно так) два парня в новеньких, оранжевых комбинезонах и начали с бачками работать — катать, цеплять, отцеплять. По-спортивному быстро и точно всё у них шло, словно на секунды счёт времени был. Сначала я смотрел на это с недоумением, а потом понял — работать им так легче и интереснее. И в кабину они не влезли, а запрыгнули и уехали быстро. Молодцы ребята, живинку в своей малопрестижной работе нашли и ею утешаются.

К мусору же отношение у меня сложное. Злит не на месте выброшенный, до зубовного скрежета, но чем-то ведь и привлекает. Даже и нечто поэтическое, метафизическое порой в нём чудится, как в песке, воде текущей, снеге идущем... Исход, конец всему, что человеком бывает сделано. И с какой силой художественной писал о мусоре Андрей Платонов, и Андрей Тарковский его показывал. И почему-то всегда под слоем воды прозрачной — банки, склянки, железки мелкие... То ли от детских ещё впечатлений сильных это у него было, то ли символика некая подразумевалась. Мир был создан кристально чистым, как вода, а мы его изгадили, — так примерно.

Сортировка же мусора, которая уже у бачков начинается, напоминает спасательную операцию: вот это ещё так или иначе послужит, его спасём, а это уничтожению подлежит. И что тут важнее, сразу и не скажешь.

Вывешивают у бачков одежду, вполне ещё к употреблению годную, обувь крепкую в сторонке ставят... Если походить к бачкам неделю-другую, то можно и приодеться, и франтом по послевоенным нашим понятиям выглядеть. А ведь случается ещё и мебелишка, и телевизоры, и машины стиральные, тоже в сторонку, как обозначение их ещё годности, поставленные...

Мусора же в послевоенные годы как-то и не вспоминается. Всё использовалось-изнашивалось до исчезновения почти. Николай Фёдоров, известный философ-аскет, любил повторять пословицу: “Не гордись, тряпка, ветошкой станешь”. Но ведь и ветошка была ещё к чему-то годна, иначе б и обозначения — имени обиходного — не получила...

* * *

Забрался в троллейбус хмельноватый мужичок со здоровенной замороженной треской. Без обёртки, в голом, так сказать, виде. Тётка-соседка стала его ругать за это. Слушал он, слушал смиренно и, наконец, заговорил: “А ты! — начал и замолчал, затруднившись в продолжении. — А ты! — опять пауза, а окружающие притихли в ожидании. — А ты головка змеиная!” Все так и грохнули, признавая тем победу за мужичком.

В обочинной пыли на нашей окраине играют двое мальчишек, грязных, затрапезных, и подходит к ним третий, вполне ухоженный такой. Один из играющих посмотрел на него и сказал презрительно: “Уйди, лицемер!”

И ещё можно вспомнить нечто похожее, когда врывается вдруг в ситуацию вполне обыденную слово-другое издалека и, как вспышкой, освещает её иным, таинственным даже каким-то, светом.

Владимир Богатырёв, старый мой друг и прекрасный прозаик, гостил в детстве в орловской деревне у бедной очень тётки-колхозницы и залез с ложкой в запретный горшок со сметаной. Тётка (любимая его тётка!) это заметила и сказала: “А ведь ты, Вовка, *интересант*”. Не интерес же к сметане она имела в виду, а иное что-то, гораздо крупнее и важнее.

Случается нечто похожее и без слов. Есть у меня в нашем околотке знакомец, молодой ещё пенсионер по причине вредной работы. Сварщик или, как он говорит, “сварной”. Живёт один и спивается прямо на глазах. Хоро-

ший мужик, да еще и красавец могучий. Так вот, закуривает он у меня время от времени при встрече. Предложишь взять не одну сигарету, а побольше — замрут его пальцы на мгновение над пачкой и вытащат всё-таки одну. И я понимаю, что это принципиально для него важно: будешь по несколько сигарет вытаскивать, значит, начал “шакалить”, а он до этого ещё не упал, что и обозначает и для меня, и для себя тоже.

* * *

Недавно особенно угрюмое, тоскливое было настроение, и книгу захотелось на ночь почитать потеплей и поживее. Взял рассказы Василия Белова, прочитал “Весну”, “Скакал казак”, “Мальчиков”. Вологодская деревня, конец войны... Тяжесть работы и жизни героев предельная, каторжная прямо-таки, но ведь согрело! А потому что жизнь живая в рассказах, а она остаётся тёплой даже на самом-самом краю...

* * *

В толстовской “Смерти Ивана Ильича” Иван Ильич спрашивает в отчаянии кого-то, неизвестно кого: “Так зачем же всё это было?” — имея в виду прежнюю жизнь. И ему словно бы отвечает этот кто-то: “А так, ни зачем”. Ответ совершенно толстовский по нагой, беспощадной простоте. Жуткий прямо-таки ответ, но иного вне веры, вне Бога и дать, пожалуй, нельзя. Для потомков всё было — так если ответить? Но они, потомки, так же на него будут в свою очередь отвечать, то есть на своих уже потомков ответ перекладывать. И вопрос, в сущности, так и останется без ответа или всё к тому же страшному приведёт: “Ни зачем”.

Но есть в жизни моменты, когда вопрос этот не то чтобы ответ получает, но просто снимается, как ненужный, лишний, праздный. Улыбка ребёнка радостная, к тебе обращённая, например. Вот для этой улыбки всё и было — так можно ответить. И для твоей ответной, если она радостной была. Есть и другие случаи в жизни, которые вопрос этот страшный снимают, и на ходятся они в том же примерно слое радости и любви.

* * *

Душевная жизнь людей изучена психологами и глубоко, и подробно, и со всех сторон. И читать про это интересно, много информации получаешь и о себе, и о других. И остаёшься при чтении совершенно спокойным в своей собственной душе. А вот если читаешь именно об этом в прозе настоящей, художественной, то какое уж тут спокойствие! Отклик, сопереживание, напряжение душевное... Потому что глубже тут, тоньше, ярче? Отчасти и так, но главное в другом. В художественности текста, а её голос автора создаёт, голос Пушкина, Толстого, Чехова... Нет голоса — нет и художественности зачаровывающей, а есть лишь информационный текст. Та же самая разница между фотографией и картиной художника, написанной с той же самой натуры. Тут тоже “голос”.

Проза же самых больших, гениальных писателей узнаётся по нескольким всего фразам и опять по голосу. Аскетически-нагому у Пушкина, эпически-могучему у Толстого, печально-безнадёжному у позднего Чехова...

* * *

Любовь внесли недавно в классификацию болезней, принятую Всемирной организацией здравоохранения, и присудили ей шифр F63,9, а в двух штатах Индии запретили браки по любви из-за слишком большого при этом

количества разводов. Глядишь, плюнет на нас любовь из-за дел таких да и уйдёт куда подальше...

* * *

“Развязывается узел сердца” — из какого-то древнего восточного текста. О смерти, конечно, сказано. И как человечно, смиренно и даже художественно. И само сердце с этим словно бы соглашается: да, развязывается мой узел, и ничего тут не поделать. А как и когда он завязался — в утробе материнской или сразу после рождения — Бог весть!

Поразительно, что появление первых ступеней материи, “узлов” именно было одним из важнейших и изначальных моментов образования и развития Вселенной. Всё стало завязываться в “узлы” — вплоть до Земли, до жизни на ней и до человека. Великое такое соединение произошло, великая встреча. В конце же Вселенной по одной из двух всего космогонических теперешних теорий будет великое прощанье, когда исчезнут, “развяжутся” все “узлы” и останутся лишь элементарные частицы в вечном холоде и мраке. А вот в это не верится никак. Тут даже человек религиозный и атеист сблизятся, если не сойдутся: не может быть, чтобы всё стало, в сущности, ничем. То же самое человеческое сердце, само готовое “развязаться” со смирением, в это не верит.

* * *

Сороки к жилью из леса вернулись — каждую осень такое происходит. Иногда это замечаешь в пору первого снега, и кажется, что они его и принесли чёрно-белой своей пестротой.

Вспомнилось вдруг, как в студенчестве, будучи в колхозе на уборке кукурузы, попытались мы с приятелем сороку из ружья подстрелить. Совершенно дикая затея, но ведь было!

Долго ходили за маячившими вдалеке сороками, но на выстрел они нас так и не подпустили. Мужик, хозяин наш квартирный, объяснил потом, что это они ружья боялись, а если быть с пустыми руками, то подпускают гораздо ближе.

В конце позапрошлого уже века великая охота вдруг на сорок в России пошла — перья их на женские шляпки понадобились. Ну, тут хоть резон какой-то был, а мы-то зачем свою охоту затеяли? Ведь и ружье просили, и таскались потом с ним по буграм на виду у всей деревни. Неужели не стыдно было? Стало быть, нет, иначе б такого и не затеяли. Не верится теперь, но картина, вот она, перед глазами: косогорчик бурый, сарай заброшенный на нём, а рядом сороки прыгают и перелетают. Никуда не денешься, было...

И ещё вспомнилось. Лет 25 назад попал случайно на охоту на вальдшнепов. Ружья мне не досталось, просто так смотрел. Вылетает из-за кромки леса на поляну небольшая птица с особенным, дребезжащим каким-то, звуком, летит, снижаясь, на фоне вечернего, закатного неба, и тут-то её и сбивают. Но ведь не просто так птица летит, как мне тут же рассказали, а к самке, сидящей на поляне среди травы. Лучше б не рассказывали, настолько меня это задело.

Потом, в охотничьем домике уже, добычу охотники разглядывали, перья особенные из крыльев выдергивали. Нужные зачем-то, уж и не помню, зачем. Может, для тех же шляпок женских...

Подвыпили, и кто-то меня спросил о впечатлении от охоты. Ну, я и ответил. Представьте, говорю, что кто-то из нас на свидание с дамой идёт. Спешит, уже её и видит, и вот тут-то его и пристреливают... По окаменевшим вдруг лицам охотников и молчанию всеобщему понял, что бестактность сделал ужасную. Выручил меня егерь. Если б ружьё у вас было, сказал, то вы бы так не рассуждали. Тогда я не возразил, конечно, да и теперь думаю, что егерь был прав скорей всего, потому что ружьё в руках вещь особенная, опасная и даже страшная.

Стрелял я из ружья (из ружья именно) единственный раз в жизни, дома на студенческих зимних каникулах. Пошли вчетвером в лес с одним ружьём

на всех. На охоту — так мы, дураки великовозрастные, это для себя определили. А дичи, конечно, никакой и нет. Ружьё как раз у меня было, когда кто-то на птичку на ветке указал. Я и пальнул, не успев даже подумать, что делаю. Определить же, что за птичка, оказалось невозможным: комок перьев окровавленных под деревом лежал...

* * *

“На меня нацелилась груша да черемуха // — силою рассыпчатой бьёт меня без промаха”. Начало небольшого стихотворения Мандельштама (всего восемь строк), которое давно знаю и люблю. О чём оно? Точно-то не скажешь, как и всегда о настоящих стихах. О жизни. О смерти. О борьбе их вечной между собой.

Удивился, прочитав в воспоминаниях Натальи Штемпель, что жена Мандельштама сказала ей однажды: “Это о нас с вами, Наташа”. Ничего да же отдалённо похожего в стихотворении нет, а вот поди ж ты! Перечитал его, подумал — и вполне поверил. Непонятным только осталось, кто из них двоих “груша”, а кто “черемуха”. Да и то догадка забрезжила: “черемуха” — Штемпель, скорей всего, потому что вслед за этим идёт стихотворение, ей посвящённое, со строкой: “Есть женщины сырой земле родные...” У черемухи же как раз запах тления сладковатый.

Вот и пойми без подсказки, что написал поэт стихотворение о жене и молоденькой женщине Наташе, к которой, похоже, испытывал чувство влюблённости. Много у него таких “непонятных” стихов, где нечто большое, важное, бытийное выражено через житейскую, предметную конкретику. И стихотворение, словно ракета, запускается от самой-самой земли в самое-самое небо.

* * *

Истинная радость беспричинной быть должна или, точнее, иметь одну причину: то, что ты живёшь, первый и главный дар от Бога имеешь и в воле Его благой находишься. Такая радость сильней и чаще всего в детстве и старости бывает, когда заботы житейские или ещё не замутили её в начале, или уже отпускать стали в конце. По лицам это заметно вполне. В детских радость очевидна, а в старческих прикрыта привычным за долгую жизнь выражением озабоченности повседневной. Но в разговоре со старым человеком она, радость, часто прямо-таки вспыхивает тебе навстречу, напоминая ту самую, детскую, такую уже давнюю. Смыкается тут начало с концом, и в этом благо великое. Правильно, стало быть, жизнь прожита, с Богом и в Боге.

В зрелые годы способность радоваться ещё и страхом бывает придавлена по соображению житейскому: очень порадуешься, смотри, как бы очень погоревать не пришлось. В отместку, для равновесия. Поэтому ещё и мужество нужно для радости, подспудное, неосознанное. А ещё глубже — к Богу доверие. Что Бог ни делает, всё к лучшему — так говорится. Если даже это тюрьма или сума. Кстати, в “Архипелаге ГУЛаг” есть слова Солженицына о том, что лагерные годы были одними из лучших в его жизни.

* * *

Венедикт Ерофеев в эссе о Розанове пишет, как он покончить с собой решил, даже пистолет приготовил, да вдруг читать книгу Розанова стал. И передумал стреляться, слова Розанова как бы услышав: “Живи, Ерофеев, раз родился, чего там...” И у Дмитрия Галковского, автора “Бесконечного тупика”, та же самая ситуация описана с теми же почти самыми розановскими словами. Удивительно, что они, такие разные, именно на Розанове

в этом интимнейшем деле сошлись. Потому, пожалуй, что жалость Розанова к людям огромной, до безразмерности, была, всех людей без разбора покрывала. “Каждый человек достоин жалости” — его слова. А жалость настолько близка любви, что в народном понимании её и означает. Вот и получается, что потенциальный самоубийца, узнав, что его кто-то пожалеть и полюбить готов, намерение свое ужасное вдруг если уж не отменяет, то, по крайней мере, откладывает.

“Все мы несчастные сукины дети” — Фолкнер. О том же самом, в сущности. Раз дети мы сукины, да ещё несчастные, то жалости все и достойны. А там, глядишь, и любви.

* * *

Интересно бы выбрать нейтральные по содержанию, маленькие кусочки прозы разных писателей, пейзаж, скажем, какой-нибудь летний или зимний, и посмотреть, насколько они, кусочки, разнятся между собой. Насколько говорят о том, кто их написал? И окажется, уверен, что самые-самые большие писатели будут угаданы с первого же, быстрого прочтения. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Шолохов, Платонов...

И узнаешь, и не перепутаешь никак. Но почему, ведь подсказки со стороны содержания нет, природа-погода всего-навсего? А потому что слова употребляются разные, из собственного, своего писательского набора, и стоят они у каждого писателя в особенном, своём ряду. Главное же, конечно, — голос писательский, который хоть и не звучит, а всё-таки слышится — в тебе самом, читателе, при чтении. Вот тут-то вся тайна, вся суть художества, прозы высокой и заключена — в голосе этом. Индивидуален он и неповторим. Это именно и захватывает, прежде всего, при чтении, резонирует душа читательская и начинает звучать в ответ.

* * *

Шлейф метельный за краем крыши висит, треплется на ветру, то плотный, то тонкий, прозрачный, исчезающий почти. Всегда зрелище это за душу цепляло, особенно вечером, при свете окон или фонарей. Целый набор есть вот такого, “цепляющего”, и несёшь его через всю, в сущности, жизнь. И какой же он разный: то полевой, то речной, то небесный... Но должно же в нём, наборе, и что-то общее быть, раз “цепляет” как-то похоже, одинаково почти — тягучей, слабой и далёкой, как воспоминание, странно-приятной болью. Для меня это общее — зыбкость, краткость того, что видишь. И боль, может, именно от этого: вот есть оно, тебя “зацепившее”, а вот уже и нет. И вернётся ли когда-нибудь — неизвестно...

С пониманием и некоторым даже удовлетворением узнал недавно, что японцы ценят зрелище цветения сакуры ещё и за то, что оно кратковременно. Несколько всего дней — и всё.

* * *

Бывший начальник Бутырской тюрьмы, показанный по ТВ полковник внутренних войск, — лицо угрюмое, свирепое даже, в речи словечки проскакивают из уголовно-блатного жаргона, голос низкий, сипловатый. Вдруг улыбается — и такая вспышка яркая света и доброты, глаз потом уже от него не оторвать из-за этого...

Знаком я был когда-то с двумя воспитателями в детских колониях и преподавательницей литературы там же, напоминающих полковника по доброте. Самое подходящее для них всех место, ведь не просто преступники кругом, а “несчастные”, по народному определению. К ним-то, прежде всего, и надо с добром идти.

Но приходилось встречать в колониях и тюрьмах и иных совсем работников в мундирах, от лиц которых взгляд отдёргивался прямо-таки. Злоба в них была то откровенная, то прикрытая чуть. И таким колония и тюрьма тоже вполне подходят для самореализации, они туда, похоже, для того и идут. Нигде, может быть, добро и зло людское не встречаются так обнажённо и прямо, как в местах заключения. Сходятся полюса. А между ними, конечно, переходный, основной слой людей, в которых добро и зло перемешано в самых разных пропорциях, как и в жизни вообще.

* * *

Вдруг напомнили мне, что вино с водой, которое дают после причастия, называется по-простому, по-народному “теплота”. Кровь Христа, вино жизни новой. Пусть и кажется нам, что мы сами по себе живём, одиноко, но ведь и чувствуем то слабей, то сильнее эту “теплоту”, эту связь с Богом, Творцом всего... И нас тоже.

* * *

На днях пришлось быть в гостях в доме, уцелевшем с царских ещё времён. Солдат Незнамов им владел за верную и долгую службу. Дом перестраивался не раз, но дух, суть свою старинную каким-то чудом сохранил. И стоит чудесно — самый центр города, тихое место, Ока в двух шагах, виды вокруг прекрасные. Был сочельник Крещения, и от трёх церквей сразу перезвон праздничный слышался. А ещё ведь и сад при доме с двумя кедрами до неба...

Есть Родина — страна родная, есть малая родина — место, где родился и хотя бы детство провёл, но есть и родина мельчайшая — вот такой дом. Да если ещё в нём всю жизнь прожить!

Когда же придётся вдруг покидать его, то это ж как по живому резать! Вот люди в таких случаях и держатся за свои дома из последних сил, до крайнего самого предела. У двух моих близких знакомых матери на десятом десятке лет переезжать из таких домов наотрез отказываются и живут в них одиноко. И трудно такое представить, и понятно оно вполне. Дом второй кожей становится, вот и попробуй её снять...

Перестраивая дом, теперешний хозяин много чего обнаружил: изразцы с узором, замки, ключи, кованые гвозди, скобы, рукоятки щеколд, подкову... Разместил на бревенчатой стене эти вещи-вещицы мусорные, бросовые, и такая в них вдруг проступила давняя жизнь — глаз не оторвать!

Сталинград, кстати, дешевле, легче и проще не на прежнем месте было возрождать, а в стороне, в чистом поле, но возродили всё-таки на прежнем, и правильно сделали. Обжитое место — как церковь намоленная. Дух жизни самой возрождению погубленного помогает.

Хозяин же дома, изначально солдатского, ремонтируя его, оставил кое-что в первозданной наготе — балки потолочные, брёвна стенные, кладку кирпичную. И как же всё это радует и греет взгляд, уставший от ледяного, отталкивающего блеска современной пластиковой отделки.

* * *

Январь, мороз, безветрие, солнце. Дни-подарки.

Нужно было нечто вроде букета или икебаны смастерить из зимних растений ближних, подручных. Чуть не охапку набрал, а оставил лишь корявую, затейливо изогнутую ветку сливы и давно завядший, огромный цветок гортензии, шапку такую тёмно-серую. Получилось, по-моему, чудесно, лучше и не делал никогда. Раньше, лет, скажем, десять назад на такой аскетизм, пожалуй, и не решился бы, а теперь возраст позволил. Возраст, в ко-

тором всё почти вокруг представляется чудесным — и ветка нагая, корявая, и цветок, давно засохший. Всем можно любоваться, потому что всё творение Божье есть. И вот этот сдвиг в восприятии окружающего глубокое даёт удовлетворение как знак того, что путь души правильный — к Богу.

* * *

Рядом с участком в овраге, где мы в лихие девяностые выращивали на прокорм картошку, вдруг провалилась земля, кусок её семь на семь примерно метров и в глубину метра три. Удивительная картина, никогда ничего похожего не видел. Даже что-то символическое, адское что ли, в ней есть. И пожелание житейское, злобное вспомнилось: “Чтоб ты провалился!” Оказывается, вполне может такое быть. Стоял, стоял человек, да и провалился, исчез с лица земли...

Понятно, что пустота тут карстовая образовалась, вот в неё кусок земли и рухнул. Понятно, но всё равно жутковато от возможности попасть вот в такое “нужное место, в нужное время”... Хотя и крайне мала такая возможность, но ведь и реальна! И мысль о расплате за грехи может прийти даже и неверующему человеку. По пословице: “Бог шельму метит”. В старинном городе Ельце до сих пор рассказывают, как в давние времена провалилась на кладбище могила купца Талдыкина. И уж, конечно, добавляют, что купец этот большой жулик, большой грешник был.

Когда смотрел на “провал земли” в овраге, то вспомнилось, как в детстве выкопали мы, тоже в овраге, пещеру довольно большую, длиной до трёх-четырёх метров. “Штаб” для своей компании-команды там устроили и даже кое-какое барахлишко держали и добычу от набегов на сады. Вспомнил, и не по себе стало: ведь рухнуть бы могла такая пещера в любой момент. Вот сидим мы, двое-трое, в тайнике своём укромном, прохладном в жару, уютном, своими руками созданном, наслаждаемся — и вдруг исчезаем совершенно из мира живых, родных людей. Про обвал-то они бы и не узнали — место далёкое, глухое, никем, кроме нас, не посещаемое. А если б и нашли нас в конце концов, откопали, то о грехах, конечно б, не подумали. Не за яблоки же ворованные наказание такое...

Чувствуется в некоторых смертях привкус судьбы, рока — в земле, вдруг провалившейся под ногами, в сосулке с крыши, а то и в метеорите, на голову упавшем. И такое ведь возможно, хотя бы теоретически...

* * *

Есть в дневниках Пришвина поразительная запись, сделанная в самое тяжкое для него время, о том, что ему хочется уйти подальше в лес, выбрать самое глухое, малодоступное место, лечь там и лежать, пока не умрёшь.

Дело очень трудное, но в принципе выполнимое. Вот как оценить такую смерть? Как самоубийство? И да, и нет. Сколько ни думаешь, а всё к этому же и приходишь: и да, и нет. Отказ жить — так как-то в конце концов получается...

Вспомнилось по этому поводу, как много лет назад группа североирландских патриотов, боровшихся за независимость Родины, попала в тюрьму и объявила там голодовку. И стали они умирать от голода один за другим, пока не умерли все. Вот в этом случае вопрос о самоубийстве как-то и не возникает. Приняли смерть за Родину, за народ, за “друзи своя”, в конечном счёте, что есть высший подвиг в православной вере. А у Пришвина в его намерении уйти из жизни похожим путём были личные мотивы, поэтому мысль о самоубийстве и возникает.

Сделал эту запись и подошёл к окну покурить. Соседка Наташа появилась с двумя куриными яйцами в руке да мне их и отдала, как ни отказывался. Всучила прямо-таки, потому что “ещё тёплые”. И вправду тёплые, и чуть светятся изнутри тоже тёплым, каким-то живым, солнечного оттенка светом...

Один из самых любимых моих бунинских рассказов — “Пыль”. Совсем рассказ простенький, о том, как некий вполне благополучный господин, в сущности, второе “я” автора, проезжал город, в котором провёл несколько лет бедной, почти нищей юности (Орёл, конечно), и вдруг вышел в нём, чтобы побыть некоторое небольшое время до следующего поезда. И нашёл лишь затрапезность провинциальную и пыль, пыль, пыль...

Я и сам не понимал магического действия этого рассказа, пока, перечитывая его в очередной раз, не выделил вдруг место, все объясняющее. Герой едет с вокзала в город в трамвае: “Тусклое солнце жарко светило сквозь тусклое стекло. Хижины мелькали всё нищие, с высокими и гниющими, почерневшими тесовыми крышами. Навоз сушился перед ними. Над воротами торчали шесты с жёлто-седыми пучками ковыля. Хрущёв с радостью чувствовал, что всю жизнь будет любить всё это”.

Вот тут вся суть магии рассказа: в любви к тому, что, казалось бы, любить никак нельзя. Да ещё всю жизнь! А вот любитесь, несмотря ни на что. И каждому нужна, необходима такая любовь, неизменная и верная. Она-то и привязывает нас к земле и к жизни крепче всего...

Мастерская у народного художника России Валентина Михайловича Белова выглядит, на первый взгляд, как мастерская в самом прямом, обыденном смысле слова, в которой мастер что-то мастерит. Тут и беспорядок, и отходы от сделанной уже работы, и материал для новой. Столик, два кресла, два стула. Удивительно, что места, чтобы прилечь, отдохнуть нет, а мастеру скоро восемьдесят пять, и работает он почти ежедневно и целодневно.

Оглядевшись же внимательно и неторопливо, рассмотрев многочисленные скульптуры и картины, понимаешь, что мастер здесь не мастерит, а творит целый мир резцом и кистью. И главное в нём — люди: в счастье, горе, задумчивости глубокой, страдании, мечтах, в порыве самоотверженности...

При частом посещении мастерской начинает казаться, что, если бы окружающий, природный мир вдруг исчез, то Валентин Белов мог бы создать его заново своими руками.

Я приходил к нему много раз, садился в очень высокое креслице да и сидел часа по полтора. Моделью служил — так это вроде бы называется. Оно и утомительно, оно и приятно. Царьком себя эдаким чувствуешь, сидящим на троне. А рядом, рукой подать, ты же сам понемногу возникаешь из глины. И глиняный вариант часто казался лучше меня натурального, значительней, приглядней и умней. Мудрость даже некая проступала постепенно, которой отродясь в себе не ощущал. А поверить в это хотелось — раз художник такое в тебе увидел, значит, так оно и есть. Ему видней.

Удивительные были дни и часы. Мы много разговаривали, а работа у Валентина Михайловича как бы сама собой шла. Рассказывает он что-нибудь из своей жизни, а руки (одна в основном) работают. Что-то трогают, подминают, продавливают, прочёркивают. Кажется, что ничего от этих действий в портрете и не меняется, а посмотришь в конце сеанса — изменился: так он в чём-то едва уловимом, но очень важном.

За это долгое время работы мы и жизни свои друг другу порассказали, и совпадения многие во взглядах и вкусах нашли. Любовь к прекрасному, но малоизвестному писателю Борису Шергину, например.

Валентин Михайлович, кстати, автор книжечки афоризмов и мудрых, и едких, и смешных иллюстрированных воспоминаний о поездках во Францию и Болгарию, и других книг, написанных с зоркой точностью и благородной простотой, как подобает истинному художнику.

Скульптор же он изумительный, и главная сила его, по-моему, в портретах, в психологизме их глубоком и тонком. Вот портрет жены, полный тёплой, покоряющей женственности, да ещё и согретый материалом живым,

тёплым — деревом. Вот портрет старушки, изнурённой страданием, но не сдающейся, готовой терпеть, сколько Бог пошлёт. Вот маленькой дочери портрет с косичкой и поднятым к небу счастливым личиком, со лбом, словно повторяющим кривизной своей плавный небесный свод. А вот и мужское, рабочее, аварийное усилие предельное, от которого, кажется, зависит, быть миру и жизни или не быть... Это сколько же сил духовных, душевных, физических надо было иметь и потратить на многие десятки портретов, созданных мастером за долгие годы! И материал-то здесь не краска, а дерево, камень и металл. Можно подумать, что дружба-борьба с материалом создала на лице мастера и выражение целеустремленно-упрямое, и морщины глубокие прорезала. Отпечаток рабочего усилия длиной в жизнь — именно так. Напоминает чем-то его лицо лики святых на иконах, недаром прозвище у него было в детстве “преподобный”.

Двигается же он на редкость легко, будто не распечатал недавно восьмой десяток лет труда, начав его масленщиком в военные годы.

У Валентина Михайловича имеется и дом в деревне Горбенки, и сад-огород там, и пасека, и даже башня, которую сам построил не так давно для спокойной, уединённой работы. Нечто вроде пресловутой *башни из слоновой кости*, только из кирпича. Есть и картина о жизни его деревенской, написанная внучкой, где он изображён со здоровенной кувалдой в руках. Называется: “В. Белов на отдыхе”.

Он и с компьютером на короткой ноге, в мастерской его держит и уверенно на нём работает, и за литературой текущей успевает следить, и сам постоянно что-нибудь пишет. Если расклеишься и раскиснешь, то его надо вспоминать. Имеется такое средство лечебное — Валентин Михайлович Белов!

Висит на стене в мастерской изображение генеалогического древа Беловых, весьма ветвистого, а в корне его — кузнец Шумай. И так как-то хорошо, правильно по отношению к Валентину Михайловичу, что первый предок его и кузнец, и Шумай по прозвищу.

Добавил и он сам к этому древу очень даже немало. Сын — скульптор, дочь и внучка — художники-живописцы, вторая дочь — искусствовед. И все талантливы! Видел в мастерской и одного из правнуков его, славянина такого светловолосого, который возился в приготовленной прадедом для очередной работы глине. Кузнец Шумай наверняка был бы доволен такими потомками, если б узнал!

Прошлым летом встретил Валентина Михайловича у новой художественной галереи на улице Ленина. Идёт быстро с тростью, в шляпе светлой, в жилетке новомодно-старомодной, тоже светлой, седые волосы из-под шляпы живописно так торчат. Сошлись, поздоровались-обнялись, как всегда. Я и говорю: “Ты сразу и на Циолковского, и на Мичурина похож”. Он помолчал и ответил: “Я Белов”. Вот именно!

* * *

Экзамен в институте по организации здравоохранения, предмету редкой скуки и тоски. Юрка Пугаев, дружок мой, сдаёт его ассистенту кафедры — низенькому, толстенькому, с лисьим каким-то выражением лица. Вот Юрка встаёт, берёт зачётку и говорит громко: “Я вам не верю. Вы плохой человек”.

Трудно придумать что-нибудь оскорбительнее. Самые бранные слова до “плохого человека” не дотягивают. Брань — она и есть брань, “на воротах не виснет”, по пословице, а вот “плохой человек” — совсем другое дело. Тут ты весь целиком определён и зачёркнут.

В брани же слова порой употребляются страшные, но проходят вскользь, иногда даже и без желания ответить. Как-то под машину на велосипеде едва не попал и услышал от шофёра: “Урод!” И почти с такой характеристикой согласился.

А экзамен Юрка пересдал на другой же день заведующему кафедрой. Тот выслушал его молча и поставил “отлично”, что Юркиному ответу не соответствовало никак. Узнал, скорей всего, про Юркино определение своего сотру-

ника и его-то так высоко и оценил. И ещё о похожем. Иду как-то вечером мимо соседнего дома и вижу у его порога жильца, мужика знакомого. Стоит, покачиваясь, и всю “отливает”. Рывкнул прямо-таки на него за такое, а он и ответил: “Иди, иди, пиши свою “Малую землю”. Как ни зол был, но расхохотался, настолько понравилось. И с тех пор отношение к соседу улучшилось, потеплело — остроумный человек! Он потом и холодильник наш древний чинил два целых дня, и взял за это какие-то пустяки, по-приятельски.

* * *

Есть у Твардовского стихотворение: “Про солдата-сироту”. Семья у него погибла, даже письма некому написать. Другие-то рядом пишут... “А у нашего солдата // адресатом белый свет, // кроме радио, ребята, // близких родственников нет”.

В послевоенные годы очень важным было радио для многих, особенно для людей одиноких. Слышал тогда: “Это ж как человек живой с тобой живёт. Я его, почитай, никогда и не выключаю. А замолчит — аж не по себе. Думаешь, хоть бы поскорей опять заталдычило”. Были и критические замечания: “Музыка ихняя эта! Играют и играют, конца нет, а всё одно и то же. А то петь возьмутся наперегонки, а что к чему, не разберёшь...”

Теперь же, жалуются старики и старушки, сетевое, “проволочное” радио исчезает, почти исчезло. Приёмник надо покупать.

Ещё жаль давних отрывных календарей, висевших почти в каждом доме. Чудесная была вещь! Оторвал листок — и как черту под прожитым днём подвёл. И завтрашний день на календаре увидел, который непременно придёт, раз уж обозначен. А на обороте листка текст, который почти всегда читался, хотя бы вскользь. То про науку в нём что-нибудь краткое, то совет житейский, а то и стихотворение, обязательно хорошее. Пушкина, Некрасова, Исаковского, Твардовского... Читальня такая громадная была с десятками миллионов посетителей, забегающих в неё хоть и на минутку, но зато ежедневно.

* * *

Главный режиссёр нашего театра, человек редкого таланта и редкой душевной силы, очень тяжело болен, но продолжает работать. Месяц за месяцем, год за годом. Последний его спектакль — “Попытка полёта”. И название не только к его собственной жизни можно отнести, но и к жизни каждого человека вообще. Даже у самого заземленного, погрязшего в бытовухе, она когда-нибудь, да была, эта попытка — в первой любви, в стихах, по этой причине сочинённых... Да и сам человек целиком, вся жизнь его не есть ли попытка взлететь-полететь бесплодная? Даже Тютчев, великий поэт, написал о себе: “Жизнь, как подстреленная птица, // подняться хочет и не может...” Что уж о нас, бедолагах, говорить...

Может, лишь монах-отшельник способен настоящий, полный полёт совершить — в молитве, к Богу...

* * *

Интересное место — городской сквер, узелок жизни и частной, и социальной. Всех тут увидишь — и по возрасту, и по роду занятий, и даже по характерам. Края жизни особенно ярко и обильно представлены — дети и старики. Они то порознь, а то вдруг и вместе, парочками, взявшись за руки гуляют. Сходятся противоположности, как оно и должно быть.

“Посидеть на сквере” — так почему-то стариками говорится. Именно “на”, а не “в”. Может, из-за некоторой старческой отстранённости, отхода от житейской потной запарки в сторону свободы и покоя.

Много удивительного, сидя на сквере, увидишь, чего раньше в спешке рабочей не замечал. Знал, например, что голуби целуются, но думал, что это метафора, приложение такое человеческое к голубиной прелести и милоте. А на днях увидел: да, целуются в самом прямом, нашем смысле.

Вся картина, вся повадка та же: прижимаются друг к другу тесно, голубь клювом раскрытым клюв голубки пытается достать, а она, не отступая при этом, голову отклоняет то в сторону, то назад. Довольно долго это длится, пока он, наконец, не ловит клювом раскрытым её тоже раскрытый клюв. Сорвал-таки поцелуй, такой молодец! Голубка после этого в сторону отбегает и смешивается со стайей. Думаешь: всё, потерял, к другой теперь приставать начнёт. Но, нет! Находит её быстро в толпе голубиной, и всё у них начинается сначала...

Не только любопытно, но и душеполезно всё это увидеть. Чувство возникает неожиданно серьёзное и глубокое. Все мы братья и сёстры перед Богом — примерно так. Твари Божьи.

* * *

Накануне операции по удалению “неврома” тяжело больной Тургенев записал в дневнике: “Кто знает — я, может быть, пишу это за несколько дней до смерти. Мысль невесёлая. Ничтожество меня страшит — да и пожить ещё хочется... Хотя...”

Поразительная по глубине и ёмкости запись. Тут и неверие в Бога — в страхе перед “ничтожеством”, то есть перед полным уничтожением в смерти; тут и протест против неё — в желании ещё пожить. Особенно слово единое “хотя” поражает. И усталость от жизни в нём, и готовность к смирению, к принятию воли судьбы. После операции он прожил недолго, но нельзя исключить, что покорность судьбе успела всё-таки смениться в его душе покорностью Богу.

* * *

Константин Сергеевич Аксаков сравнил “Мёртвые души” Гоголя с древнегреческим, гомеровским эпосом, а его отец Сергей Тимофеевич Аксаков с этим согласился. На первый взгляд, такое сравнение кажется весьма странным, мягко говоря. Но поразмыслив, начинаешь в нём какой-то резон находить или хотя бы признавать возможность такого взгляда. А вот если сравнить “Тихий Дон” Шолохова с гомеровским эпосом, то сразу почувствуешь: да, вполне сравнимо! Григорий Мелехов и из дома уходит странствовать — воевать, как Одиссей, и домой, в свой хутор Татарский, в конце концов, возвращается, как тот в свою Итаку. Только вот Одиссей возвращается жить, а Григорий — погибать...

Да и мощь “Тихого Дона” совершенно гомеровская, с полным приятием жизни и восхищением ею, при всей неизбывной её трагичности.

Когда читал роман впервые, то удивило слово “Конец” в самом конце. Может, потому оно появилось, что поток жизни, её напор и сила в романе так велики и так, кажется, бесконечны, что надо было это обозначение, эту метку поставить. Жизнь продолжается, но закончен роман.

* * *

Лет с тридцати вспоминаются изредка два кусочка из рассказа Бунина “Худая трава” и прокручиваются в памяти, как стихи. Вот они друг за другом, как помнятся: “Первый снег, первый зазимок... В этом было что-то волнующее и знакомое, и с новой силой почувствовал Аверкий — сладка жизнь!” “Если Бог подымет, пойду в Киев, в Задонск, в Оптину. Вот дело чистое, лёгкое, а то незнамо зачем и на свете жил”.

С первым кусочком понятно, в общем-то. Свежий снег выпал, пусть и не первый, сладость жизни эта самая возникла-дрогнула — ну, и вспомнилось. А вот второй-то кусочек откуда, почему застрял во мне так рано, когда и мысли не мелькало по святым местам поездить-походить. Душа, наверное, почувствовала, что в них до Бога ближе всего, и кусочек этот придержала впрок.

В последнее время, смотря православные каналы по ТВ, ловлю себя на том, что чаще всего на передачах о монастырской жизни задерживаюсь. Тут уж ничего самому себе объяснять не надо — по возрасту такое в самый раз. И вспоминается, как поддержка и подтверждение, что сравнительно молодой ещё Чехов мечтал быть послушником, сидеть вечером на лавочке у монастырских ворот и колокольный звон слушать...

* * *

Стоял на мосту через Оку в сильный ветер и вдруг вижу: птица белая, крупная высоко над рекой с берега на берег летит. Успел даже полюбоваться чуть-чуть плавным и неторопливым её полётом, пока не сообразил, что это не птица, а целлофановый пакет, ветром надутый. И всё во мне погасло, словно оплеуху внезапную и отрезвляющую получил. Смотреть на пакет уже не хотелось, но я всё-таки проследил из любопытства, как он высоко-высоко и реку перелетел, и прибрежный лесок, и растворился, в конце концов, в небесной синеве. И вдруг подумалось: а не надо различать, птица это или пакет. Красивый был полёт, вот и хорошо, вот и спасибо на этом.

Потом вспомнился мусор, оставляемый после групповых выпивок в нашей пригородной природе. Ярость до скрежета зубовного он во мне вызывает, кажется, так и бил бы людей, его оставивших, по головам. А тут, на мосту, подумал: а что, если и на этот мусор так же, как на летящий пакет, постараться посмотреть? Есть же и в нём что-то привлекательное — цвет, форма... Картину с него можно даже попробовать написать с такой установкой. Только вот мусор нужно тогда воспринимать лишь как натуру данную, без всякого личного и социального приложения. Индусы, по рассказам сына, так к мусору и относятся. Как к среде обитания. Иначе при его количестве в Индии было бы просто невозможно жить.

* * *

В самом общем, метафизическом смысле добро есть сближение, объединение, а зло, наоборот, — разъединение, расхождение. Это и стран, народов касается, и отдельных людей тоже. Но в сближении, добре то есть, существует и предел, за которым добро начинает превращаться в зло. И предел этот — некое интимное пространство, существующее и для народов, и для людей. Для народов это язык, вера, обычаи, а для отдельных людей — зона личной свободы. И степень сближения необходимого и достаточного народов и людей нащупывается только в практике, мучительно и трудно. Мера здесь играет главную роль, та самая золотая середина.

* * *

Умер у знакомой старушки муж, пивший долгие годы и много. Жили же всё равно неплохо, а к концу даже и хорошо. И вот на поминках забыла она в хлопотах стопку с водкой для него поставить, как по обычаю полагается. Он и приснился ей в ту же ночь, за руку её схватил крепко, до боли, держит и молчит. Еле вырвалась, то поняла, что это он так обиду свою ей выразил из-за стопки не поставленной. Решив вину искупить, на девятинах целый стакан для него налила и бутылку с водкой рядом поставила...

Вот, хороша ли такая вера до деталей конкретных? Трудно сказать. Вроде бы и не очень, язычеством отдаёт. Но для самой старушки, конечно, хороша, облегчительна. Грань между этим миром и иным, в который муж её ушёл, прозрачной делает, стирает почти...

* * *

Без веры, без Бога народ не выживает, начинается хаос, диктатуры, репрессии, падение нравов вплоть до войны всех против всех. Вот именно поэтому, что высшего авторитета, высшего смысла, высшей скрепы нравственной нет. Пусть глубоко верующих, воцерковлённых людей мало (около пяти процентов), пусть большинство от церкви в отдалении стоит, но всё равно это уже некая структура, замкнутая на абсолютный нравственный авторитет. На Бога и Заповеди его.

Да и существование людей, совершенно лишённых веры, весьма сомнительно, разве что вырождаются какие-нибудь патологические. Если же есть в человеке хоть капля, хоть искра совести, то есть в нём и Бог, пусть он сам и не знает об этом.

* * *

Тоскуем, не видя долго, по реке, по воде текущей, потому что жизнь в воде когда-то зародилась и из неё на берег вышла. И по огню, по костру тоскуем тоже, по прапрапрапрародине своей. Из плазмы ядерной, огненной всё сущее создано, и мы в том числе.

Сидел недавно с сыном и внучкой у костра. Разговаривали оживлённо, а потом паузы стали возникать всё чаще и длиться всё дольше. Типичная ситуация, много раз в ней бывал. Огонь не просто зачаровывает, но и к себе, в себя зовёт, и мы откликаемся душой на зов. И тут не до разговоров...

Рассказали как-то, что на Магнитогорском металлургическом комбинате очень редко, но постоянно рабочие кончают самоубийством, бросаясь в жидкий металл... Жутко было такое услышать, конечно, но ведь и капля восхищения в этой жути была. Вот уж когда сливается тело человека с природой-родиной мгновенно и до молекул...

* * *

То лежа в больнице, то в иных трудных передрыгах приходилось для поддержки и приободрения вспоминать что-нибудь из самого-самого хорошего. И всегда это бывало что-то самое простое: природа-погода, прогулка с близким человеком, перекус какой-нибудь походный среди родных людей, вожделение внуков в детсад, ладошки их тёплые в твоей руке... Величие обыденного, вот именно. Уж и не помню, кто сказал так глубоко и прекрасно. Да кто угодно мог сказать, и мысль эта принадлежит, в сущности, всем...

* * *

Много лет назад шли с другом вдоль чудесной воронежской речки Усманки и остановились на ночлег. Высокий обрывистый берег, ласточки-береговушки так и мелькают над водой, взрослые вперемежку с молоденькими, лишь начинающими летать.

У костра заговорили о том, что земля, по данным науки, сгорит через несколько миллиардов лет в разбухшем до неё солнце. И помню, как меня это вдруг зацепило, будто я и сам в том огне сгораю. А сейчас думаю, что люди к той поре или давным-давно погибнут, или в другое какое-нибудь место переселятся. Для атеистов такое переселение утешительно, а для верующих

неважно, потому как они в Царствии Божьем надеются быть, никакому огню не доступном.

* * *

В молодости представление о неизбежном уходе из жизни вызывало недоумение и протест. Как же это? Всё останется жить-быть, а меня (меня!) не будет! Потом некая и самому мало заметная переделка шла годы многие и закончилась в старости прямо противоположным чувством: меня не будет, а всё останется — как хорошо! И успокаивает это, и умиротворяет, и даже бодрит.

Христианская по сути перемена, если даже мотив религиозный в ней мало звучал и была она простецкая, житейская, обыденная. Побыл-пожил — и хватит, пора и честь знать. Другим дай пожить, освободи место.

Франц Кафка, судя по дневникам, жил мучительнейшей душевной жизнью и получил облегчение лишь в последний год, когда узнал, что болен неизлечимо и смерть близка. Дневниковые записи этой поры очевидно об этом говорят, и одна из последних — о детях, двух девочках, которых он встретил на полевой дороге. Очень светлая запись о том, что новые подрастают нам бойцы...

К старости детей замечаешь всё чаще и всё дольше взгляд на них держишь. В них именно и облегчение, и надежда.

Старый, что малый, — так говорится. А имеется в виду, что ума у ребёнка ещё мало, а у старика — уже мало, тут-то они и сходятся. Есть тут правда, но лишь отчасти. Главное, пожалуй, в другом — в первичности и остроте восприятия мира при знакомстве с ним, но и при прощании тоже.

* * *

“Что, наконец, найдёт надменный ум // на высоте всех опытов и дум? // Что? Точный смысл народной поговорки”. Долго считал, что это Твардовский: и слова, и особенно суть — именно его. И узнал вдруг — Боратынский... Твардовский же, по воспоминаниям о нём, прочитав строчку поэта Алексея Прасолова: “И трав стремленье штыковое, // и кротость детская листа”, — сказал с удивлением: “Странно, что это не я написал”. Очень даже понятно.

Можно и ещё подобные примеры приводить, и говорят они о том, что, кроме яркой индивидуальности каждого истинного поэта, существует ещё и некий общий дух поэзии, который объёмлет собой всех и внутри которого поэты перекликаются из самых дальних друг от друга уголков.

* * *

Есть в прозе Чехова особенная, завораживающая притягательность, и суть её — в её ритмичности. Не очевидной, а прикрытой, приглушённой, которую улавливаешь шестым каким-то чувством. Если же вникнуть “прицельно”, то она, проза эта, начинает сама по себе выстраиваться в свободные, “белые” стихи. И именно прикрытость, “таинственность” ритма этой прозы усиливает его воздействие на читателя. Нечто похожее на эффект 25-го кадра в кино получается, который не осознается из-за краткости показа, но тем сильнее влияет через подсознание.

А редкую даже среди классиков популярность прозы и пьес Чехова можно отчасти объяснить тем, что жизни и любви чеховских героев большей частью не удаются. Поманила их жизнь и любовь, да и обманула. Эта обманность, несчастье судьбы близка очень многим, вот потому она в душах многих и отзывается.

Самые счастливые люди, согласно опросам, живут сейчас в Коста-Рике. Вот уж, наверное, райский уголок! Хотя и там ведь всё та же “юдоль слёз”, только посуше. Мы, кстати, в этой *табели о счастье* на 120-м месте.

Самое глубокое суждение о таинственном счастье человеческом, на мой взгляд, у Толстовского Платона Каратаева: “Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету”. Как раз к жизни многих чеховских героев такое приложимо.

* * *

Какое чудо чеховская “Степь”! Шедевр, созданный в 28 лет на переходе от Чехонте к Антону Чехову. Тут и сама степь, бесконечная и вечная, тут и множество людей, от графини и богача до полубродяг-обозников. А мальчик Егорушка, как поплавок по степи и по людям пущенный. И как едино всё, плотно, лезвия ножа, кажется, между фразами не вставить. Степь всё и вся собой соединяет, словно строительный раствор. Всё просто в повести, но и какой масштаб от мелких бытовых деталей, от лирики тончайшей, до грозных привидений-великанов до тоскующего зова самой степи: “Певца, певца!” Лирический эпос — так можно сказать на литературоведческом языке. Не случайно Сергей Бондарчук, воплотивший в кино эпос “Войны и мира”, в конце жизни прекрасно поставил и “Степь”. Угадал душой тайное родство этих таких разных шедевров.

Читая повесть, не только сам радуешься, но и чувствуешь радость автора, с которой он её писал. И за него тоже радуешься.

С верой у Чехова было сложно. Жил он как христианин, а веру истинную всю жизнь настойчиво и неустанно искал. В письме Миролюбову написал о том, что если веры нет, то надо её искать, искать, искать, одиноко, один на один со своей совестью... О себе сказал, конечно. А вот во время работы над “Степью” она, вера, с ним, скорей всего, и была, потому что вещь получилась боговдохновенная.

* * *

В “Вишнёвом саде” чеховском, в самом конце слуга Фирс бормочет: “Про меня забыли... Ничего... я тут посижу...” В недавней же постановке пьесы в театре “Ленком” Фирс кричит отчаянно, истошно, изо всех своих старческих сил: “Про меня забыли!” Режиссёр решил, видно, таким “прочтением” усилить воздействие последнего этого эпизода на зрителей. Не говоря уже о грубом нарушении всего духа пьесы, он и этой своей цели не только не добился, но получил, скорей всего, нечто обратное. Да и вообще тихо сказанное слово часто действует сильнее любого крика. Был я когда-то учеником токаря на заводе и “запорол” деталь важную, и станок вдобавок повредил. Подошёл учитель мой, здоровенный мужик Николай Садчиков, всё оценил мгновенно и прошептал: “Уйди, а то убью”. И я от него прямо-таки отпрыгнул, а от крика самого громкого разве что голову бы повинную нагнул.

* * *

“Любовь и голод правят миром”. Давным-давно, впервые прочитав это, почувствовал, какая тут глубокая, жестокая, непрекесаемая правда для всего живого, включая людей. Как клещи железные, в которых все зажаты. А слово “любовь” как же, думаю теперь. А оно в этом ряду лишь материальный, физиологический имеет смысл, лишь как борьба за право продолжить род. Любовь же христианская, Божественная совсем другая, она отдаёт, а не захватывает, и в ней единственное спасение, выход из железных, страшных этих клещей.

* * *

Если есть у народа крупный писатель, которого ты читал и любишь, то это приближает этот народ к тебе и даже любовь к нему вызывает, как, к примеру, случилось у меня с армянином Грантом Матевосяном, киргизом Чингизом Айтматовым, абхазцем Фазилом Искандером. Нет такого писателя, то и народ остаётся далёким, пусть даже тебе пожить в нём какое-то время пришлось. Если же живёт с тобой в одно время писатель великий, масштаба мирового, как Шолохов или Маркес, то это создаёт ощущение некоей всемирной крыши над головой, защищает словно бы и хранит. Есть кому посмотреть на нас, бедолаг, с высшей какой-то точки и что-то важное и нужное при необходимости нам сказать. Вот умер недавно Маркес, и словно сквознячком холодным бездомья потянуло. Появление же нового писателя такого масштаба весьма сомнительно — уж очень теперешний мир для этого плохо пригоден.

Перечитал недавно повести Валентина Распутина — какая глубина и какая высота! Особенно “Прощание с Матёрой” — всемирного звучания вещь о крестьянском “Материке”, который где-то давно уже утонул, а где-то только тонуть начинает. Вот за неё ему бы и дать Нобелевскую премию, но где уж... Патриот, да ещё и Герой Соцтруда. Вот если бы при советской власти в тюрьму его посадили по обвинению в антисоветчине хотя бы на неделю...

* * *

Вчера отпраздновали в Воронеже юбилей нашего институтского выпуска — 50 лет. В последний раз был на 25-летию, а теперь не поехал — слишком велик временной разрыв: то были привлекательные ещё вполне женщины и бравые ещё мужики, а теперь увидел бы полужнакомых стариков и старух, которые бы меня не сразу и узнали. Страшно, попросту говоря. Да и дальнейшее представляется не лучшим: пить будут до грусти мало, и если кто вдруг и выпьет крепко, то и это не порадует — плох пьяный старик. А в разговоре главным будет — кто ещё работает, а кто (большинство подавляющее) уже нет. Да сколько внуков, да есть ли правнуки...

Будет, конечно, и хорошее. В том, главное, что старость уравнила всех, что все чины и регалии позади и существенного значения уже не имеют. В молодости студенческой все были равны, а теперь старость всех уравнила. А впереди совсем уж стрижка под одну гребёнку — уход...

Прощанье же видится особенно неловким, тяжёлым, тут уж не скажешь: “До следующей встречи!..”

Михаил Исаковский посетил в старости родные смоленские места и написал об этом прекрасное стихотворение с такими последними строчками: “Хожу, брожу, смотрю, но только “до свидания” уже не говорю”. Вот именно.

Всё так, но ведь и иное совсем можно представить: встретился со старушкой, и вдруг девушка давности полувековой стала проступать в её голосе и взгляде...

* * *

Жили мы с приятелем в платоновских и мандельштамовских местах на квартире графини Жонголович — так мы звали хозяйку между собой за некую барственность повадки. Дом был полуразвалившийся, но с остатками былой стати, с окнами большими, классических пропорций, с лепниной на высоких потолках.

Мы были бедны по-студенчески, а Мандельштам и Платонов, жившие где-то поблизости, были, конечно, и того беднее. В письме Мандельштама жене видно, что оторвавшаяся подметка была для него целой проблемой. Но он же

тогда и написал: “В роскошной бедности, в могучей нищете // живи спокоен и утешен. // Благословенны дни и ночи те, // и сладкогласный труд безгрешен”. Вот откуда такая сила и оптимизм, да ещё если топор карательный над тобой висит? От счастья работы, наверное, которая шла у него в Воронеже, как никогда, может быть, раньше. А платоновские, самые близкие ему герои, вообще ничем материальным не дорожили в жизни, имея лишь душу, правды-истины взыскующую, да суму на плечах, да посох в руке.

* * *

Старушка идёт по дорожке сквера. Вид вполне народный — платочек белый, кофтёнка древняя полузабытого цвета, тапочки заношенные. В руках — пакет пустой. Из церкви, похоже, идёт, которая рядом. Остановилась вдруг резко, что-то поразглядывала в траве у края дорожки и как пнёт ногой по футбольному! Из травы мячик зелёный выскочил, выкатился на чистое, видное место и так хорошо лёг там, словно всего этого только и ждал. Ай да бабушка, подумал я, детство, видать, вспомнила. А потом сообразил: нет, мячик просто из травы выкатился; придут искать, а он вот он! Поступок пустяковый, но ведь как хорош! И старость у бабушки должна быть, скорей всего, хорошая, добрая, христианская. Проводил я её взглядом и о Валерии Чкалове, летчике знаменитом, вдруг подумал. Очевидец вспоминал, как, стоя у открытой двери вагона, выронил он наружку перчатку и мгновенно вторую следом бросил. И объяснил: пусть уж обе кто-нибудь найдёт. Тоже мелочь житейская, а как хороша, получше даже бабушкиной. Впрочем, сравнивать в таких делах не стоит, неправильно это как-то...

* * *

В рассказе Юрия Трифонова “В грибную осень” бабушка-гардеробщица говорит главной героине, у которой только что умерла мать: “С печалью тебя!” И чуть иное приходилось слышать: “С горем тебя!” Странное высказывание, но лишь на первый взгляд. Есть в нём и смысл, и глубина редкая. “Бог посетил”, — и так ещё говорят в подобных случаях, и тут-то смысл и проявляется. Всё мелочное, наносное горем-бедой отбрасывается, и обнажается основа жизни в её страдании неизбежном и необходимости принять его и претерпеть. В дневнике Толстого это выражено по поводу смерти пятилетнего любимого сына с поразительной, ошеломляющей глубиной: “Смерть Ванечки была для меня... проявление Бога, привлечением к нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжёлое событие, но прямо говорю, что это (радостное) — не радостное, это дурное слово, но милосердное от Бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к Нему событие”. Прочитавшь это, примеришь к себе и подумаешь, что нет, не дорос до такого чувства и понимания и лучше, пожалуй, до него и не дорастать. Есть тут что-то страшное, нечеловеческое уже. Что-то, напоминающее готовность библейского Авраама сына своего любимого убить в угоду Богу. Всегда, кстати, этот эпизод из Библии у меня протест и возмущение вызывал, если вспоминался.

Человеку простому куда уж до толстовской глубины-высоты, ему лучше и как-то правильнее при горе-печали своей оставаться.

А вот последняя фраза в рассказе Трифонова: “Одна женщина сказала, что Надя за эти дни заметно похудела и что ей так гораздо лучше”. Хороший конец с надеждой призрачной неизвестно на что...

* * *

Молодой, огромный соседский пёс Антар прыгнул вдруг на меня и носом скулы коснулся. Ощущение было такое, словно юная девушка меня вдруг поцеловала.

Весёлый пёс, добрый, а отец у него был угрюм и злобен. Дважды хозяйку сильно покусал. Какой разброс в характерах не только в пределах породы, но даже и рода. Совсем как у людей.

Вообще, к старости разница между людьми и животными не представляется такой уж непреодолимо громадной. И это приятно. И как-то по-христиански правильно. Братья нам они и сёстры меньшие — так чувствуется. А глядя в глаза собаки или лошади, думаешь порой, что не говорят они лишь потому, что гортань и язык у них не так, как у нас, устроены. И веришь, что дикие медведи руки у старцев-пустынников покорно лизали, и что Франциск Ассизский совсем не зря птицам учение Христа проповедовал.

* * *

Видел на днях по ТВ, как давно и близко знакомые мне супруги, прожившие вместе 60 лет, идут прямо на зрителя в конце фильма о них. Он чуть впереди, а она руку на его плече держит. Чем-то похожи, как бывают похожи люди, прожившие вместе так долго. И улыбки похожи — светлые, чуть грустные и чуть виноватые.

Подумал вдруг, что, сколько бы они ещё ни прожили (дай Бог побольше!), кто-то уйдёт первым, оставив в одиночестве второго. И протест странный возник — нехорошо это, неправильно как-то. В один день уходить заступили они право, как Филимон и Бавкида.

* * *

Священников в советские времена только в церкви, бывало, и увидишь. Или около церкви на лавочке. Помню двух таких в украинском селе Юнаковка и в моём родном Тиме. Они и похожи были — средних лет, грузные, краснолицые. И такие на своих лавочках одинокие. Очень мне, молодому совсем тогда, хотелось подойти и поговорить о вере, о Боге, спросить кое-что, но так и не решился. Одинокость их была уж очень особенной, зачарованной, пугающей почти.

Теперь же иное совсем: в жизни всеобщей они, священники, вращаются свободно, как и все мы. Недавно настоятель нашей, ближайшей церкви даже сам, первый, со мной заговорил. И хорошо, стоя на солнышке, поговорили. А спросить что-нибудь о Боге и вере мне и в голову не пришло. Вопросы-то есть, но они все богословского какого-то плана и задавать их было бы бестактно. Священник — не богослов, он службу свою церковную, вполне определённую несёт. А когда расстались весьма дружелюбно, то я подумал, что богословские проблемы, вопросы скорее мешают вере, чем помогают ей. Путаться в них начинаешь, как та сороконожка, которая задумалась, с какой ноги она идти начинает, да так и осталась на месте. Верь, на Бога уповай, в грехах кайся — вот и всё. А богословское оставь богословам. И вспомнился вдруг герой рассказа Бунина “Худая трава” батрак Аверкий, который подумал перед смертью: “Бог не любит высоких мыслей”. Прав он был, пожалуй, потому что гордость в этих мыслях “высоких”, гордыня та самая...

* * *

Свой первый рассказ я написал лет в восемнадцать о том, как старый лесник не захотел умирать в больнице и ушёл самовольно в лес, домой, да там и умер. Второй, о том же примерно — о смерти заблудившегося в пустыне человека.

Сам же я был в ту пору редкостно здоров, энергичен, жизнерадостен. И спортом усердно занимался, и с девушками не ленился общаться. Так откуда же начало писания такое странное, совсем вроде бы мне не подходящее, взялось? Сам тогда на себя удивлялся и не понимал. А теперь думаю, что от

той же силы жизни, для которой смерть была обратной стороной медали. Очень жизнь любишь, тогда и смерть будешь чувствовать поблизости всегда. Как в песенке прекрасной: “Две верных подружки, любовь и разлука, не ходят одна без другой”. Два слова надо только заменить, понятно, каких.

Пушкинское отношение к жизни и смерти это чем-то напоминает, у него они, как пальцы рук переплетённые, — не растащить. И одно неумовимо как-то перетекает в другое. Даже и в предсмертных словах: “Жизнь кончена, кончена жизнь...”.

* * *

“Смерть, как солнце, на неё не глянешь”. Народная поговорка мудрая... Есть, однако, люди, которым приходится на смерть в упор смотреть — врачи. И врач Чехов так же на неё смотрел, с трезвостью профессиональной. В роли же писателя констатировал её, чаще всего, как факт, не углубляясь психологически в процесс умирания, в отличие от Толстого. А вот ход болезни описывал подробно и даже “со вкусом”. В рассказе “Тиф” это особенно заметно. Когда же бывший его университетский учитель, профессор, похвалил это описание с точки зрения врачебной, то был польщён очень.

Вообще, трезвость взгляда на что бы то ни было — характернейшая чеховская черта. На вопрос, что такое жизнь, он ответил в письме с предельной прямо-таки трезвостью: “Это всё равно, что спросить, что такое морковка? Морковка и есть морковка и больше ничего”. Хотя тут, скорее, не ответ, а уход от ответа. Частый у него в похожих ситуациях приём. И не случайно не вёл он дневников, опасаясь, может быть, их затягивающей, невольной откровенности.

* * *

Навестил старого друга незадолго до его смерти. Совсем лежачий, и наёмная нянька в соседней комнате его сторожит. Напротив кровати — большая фотография недавно умершей жены, с которой больше пятидесяти лет прожили. Заметил мой взгляд на неё и сказал: “Не отпускает!” А ведь жили сложно-сложно, мягко говоря...

Вскоре ещё одна встреча, и ситуация похожая, только умер муж. И тоже прожили за 50. Вдова-старуха рассказала, как он пробормотал как-то: “Если первая умрёшь, то я знаю, что делать: десять бутылок водки куплю”. Зачем — вполне понятно...

И ещё похожее вспоминается. Вот что это такое? Великая любовь? Великая привычка до невозможности физической одному жить без другого? Или и то, и другое вместе? Умер один, а второго словно пополам перерубили. Вот и выживай, как знаешь...

У друга детства отец несколько лет лежал совершенно беспомощный и с головой “набекрень”. И как же жена, мать друга, за ним самозабвенно ухаживала без всяких признаков раздражения или недовольства! А когда, наконец, умер, сказала: “Пора следом и мне...”

В юности, помнится, вопрос можно было услышать: “Ты веришь в любовь?” Теперь же вопрос такой представляется странным: да сплошь она вокруг, только присмотришься...

* * *

Мужичок, встрёпанный такой, идёт-бежит, озираясь по сторонам. Меня вдруг заметил.

— Присмотрите за мелкой моей, я быстро за пивом!

Пожимаю плечами недоуменно.

— Да вон, вон, на детской площадке, в платье жёлтом! — И ушёл-убежал.

Сообразил я, наконец, что “мелкая” — это девочка лет пяти, по лесенке наклонной лазающая, и до неё — метров сто. В каком смысле должен я за ней присмотреть? Не упала чтобы? Так лесенка низкая, да и не помочь с такого расстояния... Потом догадываюсь: не увели чтобы, не украли, вот зачем надо мне смотреть!

Вспомнились давние-давние, частые просьбы в залах ожидания вокзальных, обращённые к соседям, за вещами присмотреть, если отойти нужда была. Далеко мы продвинулись в этом деле — от узлов и чемоданов до детей...

* * *

Первая любовь не забывается — все с этим согласны, как с чем-то очевидным. Но почему? Потому что первая? Да, но это только часть ответа, и не главная. Главное, потому, что объект любви видится тогда в наиболее идеальном виде, самом близком к Божьему замыслу о нём. В любовях же последующих взгляд наш затуманивается, “загрязняется” опытом жизни, теряет прежнюю зоркость и чистоту. Вот и остаётся первая любовь навсегда в памяти, как некий впервые обрётённый и вскоре потерянный, “погубленный” жизнью идеал.

Очень редко первая любовь приводит к браку и долгой и даже счастливой семейной жизни. Но и тогда начало любви вспоминается, как нечто главное, как первая вспышка долгого потом огня. И для обоих за обликом и пожитого, и старого уже спутника жизни всё равно проступает время от времени та девушка и тот паренёк...

А последняя любовь? Она тоже не забывается уже потому, что последняя — заслонить её уже нечему. Да ещё и по яркости своей особенной на тёмном фоне недалёкого ухода. В пору прощания с миром случившаяся вдруг любовь становится центром этого прощанья, который и греет, и обжигает человеческое сердце.

* * *

Отшельник, уходя в пустыню, уходит от всех людей, но одновременно и приходит ко всем людям через обретаемую в пустыне близость к Богу. И люди, интуитивно чувствуя это, тянутся к нему, к Богу поближе, в сущности. Так образуются монастыри, а там и поселения, и даже города. Выходит, надо уйти от людей, чтобы потом их же вокруг себя и собрать. В Боге, ради Бога.

* * *

В жизни человеческой несколько событий “выпускных”. Первое — само рождение. И здоровый ребёнок при этом непременно кричит. Есть у Гегеля мысль, что этим криком он властно заявляет о своём приходе в мир. Но можно и иначе подумать: предчувствует новорождённый, что жизнь не сахар. Недаром психологи о травме рождения говорят из-за резкого перехода из одной среды в другую, в которой надо уже автономно, самостоятельно жить и терпеть.

А потом “выпуск” из раннего детства в учёбу, а из учёбы — в работу, а из работы — на пенсию. Последний же “выпуск” для атеистов — в природу для слияния с ней, а для верующих — к Богу, на Страшный суд. Вот тут, как и при рождении, тоже закричать основания есть...

* * *

Выигрыш Россией паралимпиады для меня важнее был, чем выигрыш олимпиады обычной. Зрелище соревнований паралимпийцев не только бод-

рит, но и душу лечит в самом прямом смысле. Стыдно становится киснуть и горестям своим очень уж предаваться.

Вспоминаются инвалиды послевоенья в нашем посёлке: то на деревянной толстенной ноге, похожей на огромную бутылку, то на платформочке с подпирниками и с “утигами” деревянными в обеих руках — для толчка и управления... В очень бедной жили стране, понятно, но такого нельзя было допускать, грех. Потерявших же руки и ноги (“самоварами” их называли), поселили на острове Валаам, к Северному полярному кругу поближе. Да и с глаз долой. Не самый, конечно, большой грех у Советской власти, но какой-то подлый, если можно грех так определить...

Слышал рассказ о том, как оказался валаамский инвалид на верхушке колокольни и бросился вниз с криком: “Это я!” Сумел-таки человек о себе заявить, только кому? Товарищам по несчастью?

* * *

Чехов написал в письме вслед сестре уехавшей: кто ж теперь мне будет ногти на правой руке подстригать? Шутка, но ведь и серьёзность тут есть, тайна и глубина интимного быта. Целый мир, и хорошо, если в нем участвуют родные, любящие друг друга люди. Да, но ведь за деньги сделают тебе всё, что хочешь, не только ногти подстригут на правой руке. Прекрасно сделают, только вот люди будут чужие, наёмные. А может, так и лучше? И уход последний, предсмертный, они обеспечат, возможно, лучше родных. Пришлось недавно наблюдать такое: очень хороший уход за очень хорошие деньги. А когда-нибудь в будущем роботы, глядишь, всё это будут делать лучше живых людей. Не исключено, только представить такое страшно...

* * *

“Попытка полёта” — пьеса такая в нашем драмтеатре идёт. Да и в жизни она сплошь, эта попытка, — в вере, в любви, в творчестве... Попыткой вечной она и остаётся. Разве что чуть-чуть над землёй иногда приподняться бывает дано и тут же вновь на ней оказаться. А полёта настоящего, вольного — нет как нет... Старость же и попытки гасит понемногу и из-за прошлого опыта безуспешного, и из-за убыли сил. Тут уж одна, главная, остаётся надежда — на то, что тело, в конце концов, пойдёт в землю, а душа к Богу полетит...

Перечитал недавно “Чевенгур” Андрея Платонова — там ведь тоже попытка чевенгурцев взлететь и очутиться побыстрей, “к осени”, в Царстве Божьем, которое называлось у них коммунизмом. Падением она и закончилась, как же ещё...

* * *

Лиственная зелень разных деревьев если и не одинакова, то очень похожа, зато осенью какое разнообразие цветов и оттенков! И желание различать, определять их порой становится томительным, мучительным даже. Откуда оно? Может, от надежды неосознанной, определив точным словом кусочек красоты, тем самым уроднить его себе, приблизить, присвоить?

После первого ночного заморозка листья, передавленные в черенках морозом, начинают прямо-таки рушиться на землю, оставляя на ней круги, как сброшенную одежду. Листопад, и какой же он разный у разных деревьев! Листья клёнов раскачиваются из стороны в сторону широко и вольно, листья ракии сверлят воздух в штопорном вращении, листья берёз и лип падают вниз смиренно... “Как я завидую тебе! // Ты высшей красоты достигнешь // и упадёшь, кленовый лист”. Японское стихотворение, конечно.

И правда в нём есть несомненная: да, завидуешь и жизни листа, такой кротко-чистой, и уходу, такому быстрому и свободному, как последний вздох...

Поставил в вазу кленовые листья огромные и скоро заметил, что они корёжиться, скручиваться стали мало-помалу. Хотел выбросить, но в последний момент присмотрелся — да это же как бронза литая, прихотливо изогнутая, узорчатая, прекрасная!

* * *

В долгом-долгом браке, в конце его случается некое частичное повторение того, что было в самом начале. Дела плотские поотодвинулись, а вот близость душевная приобретает давнюю, полузабытую, затёртую раньше житейской морокой силу. Парочкой такой неразлучной старой делаются супруги, как когда-то были парочкой молодой. Видно, что и молчать рядом им хорошо, и разговаривать не хуже. Даже и болезнь тяжёлая такую близость не нарушает порой. Рассказывал приятель, что лежат его тесть и тёща в одной комнате на соседних кроватях, беспомощные вполне, а как войдёшь к ним — говорят, наговориться не могут. И ещё узнал, что развели стариков-супругов по детям, по городам разным, так они бунт целый подняли, чтобы воссоединиться, и добились своего.

* * *

Гулял утром с собакой и лошадку игрушечную, брошенную на обочине дороги, увидел. Большую такую, двухлетнему ребёнку как раз впору на ней скакать и сабелькой помахивать. Подошёл почему-то вплотную, порассматривал внимательно. Роскошная лошадка, белой масти в розовых яблоках. И как-то застряла она во мне на всю прогулку, промелькивала в глазах навязчиво.

Дома уже вспомнилось, что лет семьдесят назад, в глухой курской деревушке зимой, в войну, ждал я возвращения матушки из райцентра именно с игрушечной лошадкой на колёсиках. Так обещано было — наверное, чтобы не плакал. Я и не плакал, а смотрел целый день из окна на тропинку, через снежное поле уходящую за горизонт. Ждал возвращения матушки с лошадкой, и не было, может, потом ожидания напряжённой. Вот и не пропало ожидание моё, только подзадержалось с осуществлением на целую жизнь.

Вечером того же дня рассказал про этот забавный и чем-то грустный случай сыну, и мы решили лошадку взять и в саду своём поставить. На память о той зиме, войне, деревушке Красный Камыш. Но лошадка уже исчезла. Упустил я дар запоздалый...

* * *

Есть от нас неподалёку посёлок со смешным и милым названием Кукареки. Один, может, такой на всю Россию. Недавно открылся там сильный родник, освятили его даже почему-то, и пошёл-поехал к нему народ за водой. Очередь постоянная.

Идёт старушка с рюкзаком за спиной, а вторая её окликает:

— С родника, что ль?

— С родника.

— И опять на голой спине бутылки несёшь? По такой-то жаре такой холод! Тряпки подкладай, говорила ж тебе...

— Да по жаре хорошо, прохлаждает...

— Дура, это ж простуда самая!

— Авось, Бог милостив. И вода ж освящённая...

— И опять дура! Бог-то Бог, да не будь сам плох, не знаешь, что ли? Филипповна от чего померла? Застудилась под бутылками этими!

— Да, придётся, видно, тряпки какие под них класть, твоя правда...

Уходит виновато, даже руку за спину заводит и под рюкзак подсовывает.

Есть неподалеку и ещё святой источник — у кладбища, где матушка лежит. Над ним и беседка высокая, железная, с иконой Пресвятой Богородицы на самом верху. Наше место и совершенно чудесное: луг большой, ракиты на нём древние, громадные. То стоящие внаклон, то лежащие уже, но с порослью живой по стволу. Поблизости от источника — стол просторный с лавками, поминальный, похоже, стол.

Душа здесь отдыхает на редкость, да где ж ей и отдохнуть, как не у кладбища, всякое житейское попечение оставив хоть ненадолго...

* * *

“Тот, который не поймёт — // смерть для жизни новой, — // хмурым гостем проживёт // на земле суровой” — Гёте. Пантеист, язычник, в сущности, а какая мысль глубоко христианская! И Марк Аврелий язычником был с душой христианина, что хорошо видно в его записках “Наедине с собой”. Но ведь гонителем христианства суровым себя проявил, то ли не угадал близости христианства своей душе, то ли пренебрёг ею ради государственных, имперских интересов.

А какое горение душевное вспыхнуло у первохристиан! Раньше был все страх, страх, а тут вдруг — любовь! Бог есть любовь — истинно новое слово было людям сказано, невысказанное, невероятное, ошеломляющее. Легко представить, как они оставляли всё прежнее и шли на это слово любви. На свет его и тепло.

* * *

Телефонный разговор с близким человеком, интересный, оживлённый, и вдруг — пауза в нём неожиданная и продолжительная. Много вмещается в такую паузу, гораздо больше, чем если бы время её словами густо заполнено было. А если разговор такой же с глазу на глаз, и та же пауза, и глаза собеседника перед тобой, то всё ещё полнее и глубже — будто в иной, волшебный мир переносишься мгновенно. В глазах другого человека всегда тайна влекущая, но и грозящая чем-то. Вот-вот откроется, и что тогда? То ли очень хорошо станет, то ли очень плохо...

* * *

Творческий вечер старейшего нашего поэта. И публика в основном старенькая, и это грустно. Большинство из собравшихся сами пишут стихи и читают их по ходу вечера. Стихи плохонькие почти сплошь, и это ещё грустней. Но понемногу всё начинает меняться. Грусть эта самая как-то улетучивается, сменяясь едва ли не радостью. Как же это всё-таки хорошо — писать стихи всю жизнь, как это её украшает! И что плохонькие они — не беда. Для кого-то они и очень даже неплохи, для авторов, по крайней мере.

Бытовала когда-то в литературной среде фраза Твардовского, сказанная им о начинающих, бездарных поэтах: “Котят надо топить слепыми”. Сурово и даже жестоко. И правды тут нет, потому что всегда ошибиться можно. Он и ошибался очень крупно — в оценке стихов Николая Заболоцкого, например.

* * *

Не раз слышал истории похожие и вполне удивительные. Была юношеская любовь, да и сплыла, как водится. А потом, через тридцать, сорок лет, находит один другого, с великим трудом иногда, и сходятся, и начинают

жить. Продолжать, в сущности, начатое жизнь тому назад. Догадываются и чувствуют, наверное, люди, что такое уже давнее, молодое сближение имело в себе нечто особенное, глубокое, что уже не повторилось потом. Особенность эту пытаются вернуть — и вдруг удаётся. Чудо чудное совершается!

Поразительная же в теперешнее время распространённость поисков в сети одноклассников, однокурсников говорит не только об одиночестве людском, но ещё и о надежде на вот это самое чудо.

Кстати, чем больше времени с момента разлуки прошло, тем и вероятность успеха при встрече больше. Проверка чувства строже была.

* * *

Сложны и глубоки отношения человека с животными. И тайна в них есть, часть тайны человека вообще.

Всем известна частая похожесть собаки на хозяина. В книге о Пришвине он сфотографирован рядом со своей любимой охотничьей собакой, крупно, головы рядом, почти ушами соприкасаются. Похожи так, что оторопь берёт. Одно лицо, только у Пришвина человеческое, а у собаки — собачье.

Вот откуда такое? Не выбирают же “под себя” при приобретении? Или выбирают всё-таки подсознательно? Или долгое и тесное общение эту похожесть исподволь создаёт?

Не только во внешности, но и в поведении нечто подобное замечается порой. Много лет гуляя с нашим шнауцером Луи, заметил, что он часто, отпущенный побегать свободно, садится на место повыше и вдаль подолгу смотрит. Вроде меня самого во время перекуров при наших прогулках. Или разминаешься в саду утром, а он напротив сидит, смотрит. И подумаешь вдруг: ну, как сейчас начнёт лапы свои передние сводить-разводить, как я руки, а потом и скажет что-нибудь...

Так это собака всё-таки, а у Мандельштама в стихах с птичкой малой нечто похожее: “Мой щегол, я голову закину, // поглядим на мир вдвоём. // Зимний день, колючий, как мякина, // так ли жестк в зрачке твоём?”

А характеристики людей путём сравнения их с животными? Едва ли не полней они тех, которые официально пишутся, да ещё в одном слове. То “медведь”, то “свинья”, то “голубка”, то “корова”... Помню, жена друга, крупная, добрая, спокойная, умная женщина, так и сказала о себе: “Я корова”. Мы, смеясь, согласились с ней охотно и уважительно.

Ещё интересно и познавательно, кто каким животным хотел бы стать, если б можно и нужно было. Случались и такие разговоры, и поэтому привожу ответы реальные: “слоном”, “мышкой в скирде соломы”, “вороном”. А муж той женщины, которая считает себя “коровой”, хотел бы стать “альбатросом”. Какая пара!

Самое же удивительное пожелание выразил мой друг-философ, покойный, к сожалению, — стать котом в нашей семье. Приятно было такое услышать.

Ну, это всё поверхностно весьма, а вот в книге прекрасного, но малоизвестного писателя Олега Базунова “Окно” есть удивительные по психологической глубине описания собак, кур и двух петухов-соперников. Петухов особенно — люди прямо-таки! Кстати, гена чисто человеческого, отличающего людей от животных, так ведь пока и не нашли...

* * *

Есть неподалёку от нашего дома короткий кусок дороги, заасфальтированный и совсем короткий. Протянули да и бросили почему-то. А вокруг поле, кусты и деревья на нём вразброс. Уютное такое местечко и потому вечное тут машины на обочинах стоят. Бежишь или на лыжах идёшь, или просто гуляешь — стоят себе подолгу. Когда-то давно это у меня даже раздражение нелепое вызывало: понаехали тут, дом свиданий прямо-таки устроили, понимаешь... А сравнительно недавно летним, жарким днём встречаю па-

ру, она с сумочкой, он с большой сумкой. Ему вокруг сорока, ей немногим меньше, вид интеллигентный вполне. Остановились, помялись в нерешительности и вдруг “ломанули” через бурьян высоченный к кустам невдалеке. Весьма доброжелательно и сочувственно смотрел я им вслед, представляя, что хорошо им будет, как в комнате зелёной, закрытой... Сместилось восприятие таких вещей с возрастом и, по-моему, в хорошую сторону. А на днях совсем вижу: выбегает из магазина парень, ставит на асфальт почти у дверей какой-то флакон, рядом что-то маленькое, чёрное кладёт и скрывается за углом магазина. Вслед второй, такой же встрёпанный, появляется, на корточки садится и начинает туфли чистить: прыскает из флакона и щёткой трёт. Торопливо, но тщательно, задники туфель осматривая. Потом, выбросив в урну флакон и щётку, убегает за тот же угол. Понятно, девах каких-то упустить молодцы эти боязся, но и предстать перед ними в лучшем виде хотят. Тут уж хоть вслед им кричи: “Счастливо, ребята!”

* * *

Есть у меня при оценке людей (мужчин именно) один небольшой и странный на первый взгляд признак: любили человека девушки в юности-молодости или нет? Так буквально и подумаешь порой — ну, этого-то точно не любили... Плоховаты они часто, такие мужчины, в ту именно пору нелюбимые, а иногда и очень плохи. Да и ужасные должны среди таких чаще обычного встречаться. Почти уверен, что если разобраться глубоко в личностях и жизнях злодеев и тиранов, то это подтвердится.

Ну, и что, даже если и так? Девушкам, что ли, рекомендовать в любви щедрее и терпимее быть? Что ж, хорошо бы, если б было возможно такое. Всякое по любой причине увеличение любви в жизни улучшает её. Был, кстати, в уголовной среде, а может, и сохранился культ любви к матери. И наколка, помню, самая популярная была: “Не забуду мать родную”. Всех, может быть, человек ненавидит, но одно исключение всё-таки делает, иначе и жить невозможно...

* * *

Перечитываю Андрея Платонова, оторваться не могу. Самые сильные места те, где он описывает запустение, разруху, тлен, голод, смерть... Какая-то поразительная по мощи поэзия ухода и исчезновения. Он и гибель человечества, и гибель Вселенной мог бы написать, как никто. Но и совершенно противоположное есть — порыв ввысь, к звездам, к Богу, в которого он вроде бы и не верил.

Иосиф Бродский в статье “Катастрофы в воздухе” написал, что Платонов подобен альпинисту, покорившему Джомолунгму, а Набоков — цирковому канатоходцу. Резко сказано, но ведь и правда какая-то тут, несомненно, есть.

* * *

Семь уже лет, как главный мой собеседник по делам метафизическим и философическим Всеволод Катагощин из жизни ушёл, а мне до сих пор остро иногда его не хватает. Что-то обсудить, о чём-то спросить, просто поговорить на уровне “высоком”... Удивительно крепка связь именно духовная между людьми, и если она есть, то не рвётся и даже не стареет от самых долгих разлук. Бывало — годы не виделись, а встретились и, кажется, можно разговор, так давно прерванный, тут же продолжить.

Написал, да и засомневался. Что уж такого особенного в этих разговорах “высоких”? Другое что-то, главное к нему влекло и привязывало. Суть некая человеческая, загадочная и живая. Перечитал недавно в журнале последнюю

его статью “Проблема существования зла”, посмертную уже публикацию, и как голос его услышал, который оказался вдруг для меня важнее мыслей и смыслов статьи. И тут же вспомнилось, как он пел песни Вертинского, неумело, беззащитно-искренне и совершенно покоряюще. И как однажды смеялся, соглашаясь, когда я припомнил местечко из Василия Розанова: “Что мысли? Мысли бывают разные...” Цену же мыслям, уж конечно, знал, но знал, что есть и иное, важнейшее. Бог, любовь, загадка души человеческой...

* * *

Увидел старушек, собирающих из мусорных урн бутылки, и так это меня вдруг по душе царапнуло. Много уже лет такого не встречал, и вот оно вернулось. В девяностые, в первой половине особенно, за пустыми бутылками охотились прямо-таки. Около мужиков, пьющих пиво, часто кто-нибудь стоял в ожидании, в урнах бутылок почти не увидеть было. А теперь что ж, по новому кругу пошло? Смена времён, а сбор бутылок примета этого мельчайшая? Может, и соль уже кто-то впрок закупает, старушки те же самые, войну помнящие?

Приметы времени... Вот они, приметы, в стихах Твардовского, по которым время едва ли не до года узнать можно:

*В вагоне пахнет зимним хлебом,
Гремят бидоны на полу.
Сосет мороженое с хлебом
Старуха древняя в углу.
Полным-полно, народ в проходе
Бочком с котомками стоит.
И о лихой морской пехоте
Поёт нетрезвый инвалид.*

Много примет и все такие памятные, тяжкие, знобящие...

* * *

По воспоминаниям очевидца (Бахраха, кажется), Бунин незадолго до смерти сказал вдруг, что всегда считал первым поэтом России Пушкина, а вот теперь думает, что это Лермонтов. Как-то даже задело такое, когда прочитал. Лермонтов великий поэт, несомненно, но чтобы Пушкина отодвинуть...

А потом показалось, догадался о причине такой, скорей всего, и для самого Бунина неожиданной перестановки. Предсмертное томление, когда жизнь становится бременем несносным, его к этому склонило. Никогда он, наверное, жизнью не тяготился, жизнелюбом великим будучи, и вдруг тяготиться стал. А чувство это гораздо сильнее выражено у Лермонтова, чем у Пушкина. Томление в жизни земной и тоска по иному, высшему миру: “И звуков небес заменить не могли ей // скучные песни земли”. О душе человеческой, принесенной ангелом из иного мира, сказано. И другое есть подобное, многое.

Вот и совпало предсмертное томление бунинское с этим устойчивым лермонтовским мотивом, он перестановку наших главных поэтов и сделал. Вполне возможно, что это лишь под влиянием состояния и настроения случилось ненадолго, а потом всё вернулось на прежние места.

* * *

Документальный телевизионный фильм “Прощённый день” посмотрел с таким глубоким и острым интересом, которого не испытывал давно.

В воронежском селе, в крохотной квартирке живут два брата и сестра, слепые от рождения. Возраст у всех вокруг сорока. Был старший брат, их

опекавший, но умер. Они же отказались переезжать в инвалидный дом и живут самостоятельно.

Квартирка вида совершенно нежилого, обшарпана и ободрана крайне, но мусора и даже беспорядка нет. В комнате три железных кровати, стол кухонный послевоенного образца, у стола табуретка и рундучок для сиденья. На кухне столик, табуретка и газовая плита. Кажется, всё...

В самом начале фильма братья ходят медленно-медленно по кругу, каждый у своей кровати, и что-то монотонно поют — гнусавят. Слов не разобрать, но что-то религиозное, псалом, может быть. Потом сидят на кроватях, монотонно покачиваясь взад-вперёд, уже молча.

Потом перебивка, и поход сестры в магазин с палкой в руках и рюкзаком за спиной. Покупка еды самой простецкой и возвращение. Вернувшись, сестра играет, сидя в кухне на полу, с собакой и двумя щенками. Очень увлечённо и нежно играет.

Опять перебивка, сестра ставит на плиту огромную кастрюлю и долго не может зажечь газ — спичкой до горелки никак не может достать. С четвёртой спички удаётся. Потом умывает одного из братьев и бреет его. Потом братья едят похлёбку из мисок, с зеркальной похожестью друг на друга.

Перебивка. Все трое лежат на кроватях и слушают по приёмнику какую-то русскую сказку. Выражение лиц при этом (и во всё время фильма!) у всех примерно одинаковое-спокойное с едва уловимой улыбкой...

А кончается тем, что они втроём песню нежно-грустную тихо и неразборчиво поют. Или опять псалом?

Смотрел я фильм, не отрываясь, удивлённый собственной не просто заинтересованностью, а зачарованностью какой-то. Потом думал: откуда она? И лица вспоминались — да, спокойные, с намёком на улыбку...

К Богу они ближе стоят, чем мы, зрячие, вдруг мелькнуло. Этим и зачаровывают. Для них всё, что они имеют и сделать могут — Божий дар несомненный. И спокойствие, и постоянная улыбка от этого именно. От близости к Богу и благодарности Ему...

* * *

Перечитал “Солнце мёртвых” Шмелёва. Не только шедевр, но и чудо! Показан с редкой силой ужас жизни, самый край её перед гибелью и одновременно прелесть её, красота, радость... И колеблется это, как на весах, и сливается почти неразличимо. И в оценке конечной сомневаешься: чего в ней, жизни этой, тебе показанной, больше — ужаса или радости?

Вещь всечеловеческого охвата и дыхания, потому, наверное, и эпопеей названа автором при весьма небольшом объёме. Прекрасные же его романы “Лето господне” и “Богомолье” на такой уровень всё-таки не поднялись. Даже в стиле и языке они уступают “Солнцу мёртвых” из-за длиннот и переизбытка слов уменьшительных. А в “Солнце мёртвых” язык отточен, как алмаз, и прямо-таки сверкает. Может, мука и ужас пережитого и изображаемого его и отточили?

* * *

В “Воине и мире” Толстой видит жизнь с высоты, как с полёта орлиного, всё замечает в ней и обо всём пишет: от мельчайшего до крупнейшего.

И как она полна, эта жизнь, и как, в конечном счёте, гармонична! Кажется, что по роману, как по плану и чертежу подробному, можно целый мир создать, и всё в нём будет на своих законных и единственных местах. И сам Толстой в пору работы над этим романом жил так полно и гармонично, как ни до, ни после уже не жил.

В “Анне Карениной” нет уже той полноты и гармонии, мир толстовский перекашивается, кренится, как лодка, черпающая бортом. И озарение веры внезапное у Левина в самом конце романа воспринимается как попытка ус-

тановить некое равновесие, устранить перекося и крен. Толстой же, как и герой его Левин, жил в это время в мучительных поисках веры, то находя её, то вновь теряя. И в жизни его никакой гармонии в ту пору не было.

В “Воскресенье” же виден нашедший свою, именно свою, личную веру Толстой, который и видит, и судит жизнь с позиции этой веры. И от этого суда всё в романе резче, уже, суше, односторонней. Конец же, последняя глава, состоящая из евангельских цитат и размышлений над ними Нехлюдова, не удовлетворяет, оставляя чувство произвольной оборванности романа. “Слишком по-богословски”, — написал о конце романа Чехов.

А вот последняя художественная вещь “Хаджи-Мурат”, над которой Толстой работал многие годы и оставил неопубликованной, есть в чём-то главным возвращение к “Войне и миру”. Тот же взгляд с высоты, но с ещё большей, та же всеохватность от солдат и крестьян до императора, и та же, в конечном счёте, гармония при резчайших контрастах внутри неё.

Поражает совпадение в судьбе Толстого и его героя Хаджи-Мурата. Оба бежали тайно, и оба обрели в итоге смерть...

* * *

Много про лень нашу русскую написано. Тут и Иванушка-дурачок, и Емеля, и Илья Муромец, который тридцать лет на печи пролежал-просидел, а потом вдруг подвиги геройские поехал совершать. И Обломов с вечным его диваном и халатом... И всегда предполагается, что лень — черта нравственная, от самого человека зависящая. Человек же волен быть то ли ленивым, то ли деятельным. Но для врача и психолога лень — объективная данность, от воли человека зависящая мало. И причин для неё много самых разных: темперамент, тип личности, гормональной системы работа...

Мнение же о лени народа в целом, высказанное даже Пушкиным: “Мы, русские, ленивы и нелюбопытны”, — тоже имеет во многом объективную, природную причину: авральность сезонной крестьянской работы в зоне рискованного земледелия и необходимость отдыха потом. А ещё и зима долгая, когда напряжённой работы почти нет.

Вышло у меня нечто оправдательное, а оправдываться-то и не в чем. Такого усилия предельного, долгого и самоотверженного, которое совершил народ в войну и первое послевоенье, не совершал, может быть, никогда ни один другой народ в мире. И такого пространства громадного и сурового не осваивал упорно, из века в век. Да и ломка “поперёк” всей жизни своей в начале и конце прошлого века — тоже занятие не для ленивых...

* * *

Тяжко и сложно сейчас России приходится, а я вот всё пишу туманные эти заметки. Но всё-таки думаю и надеюсь, что есть в них нечто от того воздуха жизни повседневной, который почти не замечаешь, но без которого не обойтись. Чем-то это песни про любовь на войне напоминает. И не до них, и без них нельзя, иначе и воевать, в конечном счёте, не за что будет. Без любви и в самом широком, и в самом узком смысле всё теряет смысл. Тогда только из-под палки можно и работать, и воевать. Да и жить, пожалуй...

Видел недавно по ТВ фильм про выборы Патриарха Тихона. Был спор, нужны ли они вообще, эти выборы. Последним выступал крестьянин, который спор и прекратил. Сказал, что народу нужно кого-то любить. Царя отняли, а Синод любить нельзя. Вот поэтому Патриарх и нужен — для любви.

* * *

Василий Розанов многие годы резко критиковал не только Церковь, но и само христианство, называя его “бессеменной” религией, угрожающей

самому существованию людей. Незадолго же до смерти изменился в этом отношении совершенно, причащался и соборовался несколько раз. Поверил, стало быть, и по-христиански, и по-церковному. Даже под письмами, в ту пору написанными, ставил: “Васька-дурак — Розанов”. Каялся как бы этим в многолетней своей глупости по отношению к христианству и Церкви. А перед самой-самой смертью, накрытый Павлом Флоренским платом с раки Сергия Радонежского, прошептал, что ему хорошо, как никогда не было в жизни.

И читал, и слышал о чём-то похожем и раньше, и казалось в первый момент, что хватаются люди за обряд церковный, как утопающий за соломинку. А потом думалось — нет, слишком уж просто, плоско так считать. Именно страдание предсмертное к озарению веры иногда приводит и к облегчению потом...

* * *

“Моя душа соткана из грязи, нежности и грусти”, — тоже Розанов. “Я ещё не такой подлец, чтобы думать о морали”, — и это он. Несовместимые, кажется, самооценки — грязь и такая моральная чистота, что о ней и беспокоиться не надо. Возможно, что считал он грязью житейские мелочи, неизбежно налипающие на человека из плоти и крови, а моралью — нечто иное, крупное, высокое, восходящее, в конечном счёте, к любви и ненависти, добру и злу. Богу и дьяволу. И вот тут-то, во втором варианте, и не чувствовал себя греховным. Да и писал, что зла людям никогда не желал и сознательно не делал, скорее предпочёл бы умереть. И ведь веришь в это, не стал бы он лукавить при такой степени откровенности.

* * *

В студенчестве ещё мелькнула мысль о таком случайном совпадении атомов, при котором ты вновь возникнуть можешь точно таким, какой есть, вместе со средой окружающей. Ведь вечность для подобного совпадения в запасе, в ней всё может успеть произойти.

И вдруг недавно узнал, что существует математическая теория, по которой такое допускается. Вероятность этого неисчислимо мала, стремится к нулю, но ведь не полный нуль! Удивительно, что это бодрит даже как-то. И для убеждённых материалистов-атеистов какой-никакой, а шанс даёт. В шутку последнее написалось, но ведь и доля серьёзности тут есть. Та самая, которая к нулю стремится, но всё-таки не является им.

Если же оставить физику с математикой и к душе человеческой обратиться, то есть для атеистов и иной шанс продолжить жизнь после смерти. В заключительных строчках стихотворения, автора которого, к сожалению, не помню, он так определён: “А будет это с нами или не с нами, в конце концов, не так уже и важно”. Только ведь тогда других людей надо любить до отождествления с ними, а это уже признак веры христианской, для которой Бог и есть любовь.

* * *

Сколько ни читай исследований научно-исторических, но всё равно самый яркий и прочный отпечаток в памяти оставляют вещи художественно-исторические: “Капитанская дочка”, “Война и мир”, “Тихий Дон”... Именно здесь особенно видна сила художественности, которую ничем не превозмочь, не заменить. И если ты прочитал убедительное научно-историческое исследование, которое даёт иную картину, чем вещь художественная, всё равно со временем начинает всё сильнее вновь проступать картина художественная, оттесняя научную. Не раз такое приходилось испытывать со стран-

ным удовлетворением. Оттого, может, что живая жизнь пересиливает сухость науки и даже самой истины научной.

* * *

Везде предновогоднее многолюдье, толкотня, очереди, ёлки в мигающих, подмигивающих даже огоньках. На лицах людских оживление и надежда, которая сбывается так редко, но держится так упорно. На чем? А на священной “глупости” человеческого сердца, только бы не скудела она!

* * *

В последние годы стал замечать: возьмёшь книгу какого-нибудь прекрасного, любимого, но иностранного писателя, полистаешь, да и отложишь. Нет, своё, родное теперь нужно. Прислониться, согреться... А родней всего Пушкин, несмотря на двести почти лет после его ухода. Всё другое кругом, но суть-то глубинная осталась — русский дух, который у него самый густой, крепкий и душеполезный.

Почитал громадную (объёмистей и не видывал!) книгу Вересаева о нём, состоящую в основном из документов, писем и свидетельств современников. Немало там есть о “теневых” сторонах жизни и личности Пушкина, и это задевает за живое. Такое чувство, словно близкого, родного человека оскорбляют-обижают на твоих глазах. И надо вступить, защитить...

Потом, поостыв, думаешь, что есть там, в книге, и ошибки, и напраслина, и клевета прямая, но есть и правда, не денешься никуда. И деваться не надо. Было и было. Человеку такого накала, такой полноты жизни душевной и телесной как же без грехов? Но ведь каялся искренне и глубоко, чем прощения и заслуживает...

Главные его грехи в делах любовных лежат, но ведь их он и искупал, хотя бы частично, в своих же стихах о любви. Земную тёмную страсть возгонял снизу вверх, переплавлял в свет до самоотречения: “Я вас любил так искренно, так нежно, // как дай вам Бог любимой быть другим”. За одно это многое простить можно.

Ночью, перед тем как лечь в постель, случается иногда такая тоска зелёная. Сделаешь гугульки хороший глоток — и вроде бы легчает. И опять Пушкин: “Невидимо склоняясь и хладея, // мы близимся к началу своему”. Молока ведь выпил по-детски, пусть и стужённого...

* * *

Скоро год, как сидит Украина в голове, словно гвоздь забитый. Есть и личная причина — в реестровом списке казаков Войска Запорожного (так именно) за 1754 год целых пять Убогих. И уж кто-то из них наверняка родич кровный. О теперешних же родственных связях многих что и говорить...

Тяжёлым был прошлый год для всех, и новый облегчения не обещает, а люди стали как-то пободрей и друг к другу вроде бы помягче. Сближает общая тягота и общая опасность...

* * *

Летом семьдесят второго года прошлого века жил я с женой и сыном в палатке на берегу Угры. Жуткое было лето, с жарой беспощадной, с пожарами торфяными в Подмоскovie. Но мы-то не знали, что оно жуткое, и хорошей, устойчивой погоде лишь радовались.

Пошёл в ближний посёлок Тихонова Пустынь съестного купить. Тропа торная через сосновый бор, разогретой хвоей пахнет и даже грибами лисичками. С изумлением их обнаружил при такой-то сухости и жаре...

В центре посёлка были огромная, полуразрушенная церковь и здания монастырского вида, приспособленные под какую-то мирскую нужду. Тяжело всегда было подобное видеть. Строили люди для души, для Бога, а потом в этих их строениях размещались склады, мастерские, конторы.

В магазине людей оказалось неожиданно много, и были они явными инвалидами почти все. Это ошарашило, но потом вспомнил, что в посёлке сельхозтехникум есть и именно для инвалидов. В зданиях около церкви он, скорее всего, и находился, покупатели же студентами были...

А на днях смотрел фильм из цикла “Женщины Православия” по каналу “Спас”. Та же Тихонова Пустынь, монастырь в ней восстановленный, паломники, монахи, служба. И женщина лет шестидесяти, героиня фильма. То в церкви она, то во дворе монастыря, то у святого источника, рядом с которым преподобный Тихон Калужский когда-то жил в дупле дуба, то в магазине, игрушки внуку покупающая. Очень приятная на вид, с лицом светлым, глазами чистыми и ясными. Только рук у неё нет, совсем нет — родилась такой.

Мать сразу после рождения оставила её на попечение государства и исчезла. Попечение было, как и должно быть, — детский дом, техникум для инвалидов (тот самый, что я видел когда-то), работа в местном совхозе после его окончания. Потом двое детей, рождённых вне брака, дочь и сын. Вырастила их, внука от дочери дождалась... Но как же без рук-то все это сделать? Она и объяснила: зубами, ногами, шеей, головой... И показала многое: как газ зажигает, грядки поливает, на машинке швейной шьёт, пишет с ручкой в зубах...

Если расскажут такое, не поверишь, но глазам-то своим не верить нельзя. И фактам, и детям, и внуку. И всё равно вновь спросишь, хотя бы самого себя: как же возможно такое? Ответ же она спокойно и привычно даёт: Бог помог. И преподобный Тихон Калужский. Так просто, по-свойски она ему перед его иконой сказала: “Молись, молись за нас”. И добавила подтверждающее: “Он молится, а как же!”

После фильма прикинул годы, и оказалось, что она вполне могла быть в той, такой давней магазинной очереди из инвалидов, которой я так ужаснулся...

* * *

“Лирическая обречённость” — мелькнуло как-то это выражение по радио да и запомнилось, смысла много в этих двух словах. Если лиричность в музыке или в стихах не даёт ощущения краткости, преходящести всего лучшего в жизни и оттого горечи, то будет всё сладко-сладко и скучно по этой причине. Ложка дёгтя необходима в такой бочке мёда — поменьше, побольше, совсем большая... А в жизни реальной наоборот, пожалуй, — бочку дёгтя мы чаще всего перед собой имеем, а в ней — ложка мёда, то поменьше, то побольше. И эта ложка тоже необходима, иначе б никто и жить не захотел.

Действие же лиричности на конкретного слушателя пропорция мёда и дёгтя определяет. Кому ближе и нужней горчинка в сладости, кому — сладина в горечи.

Если же совсем широко взять, то обречённость не только лиричности свойственна, но и любви, и жизни самой. И на ней-то она как раз и держится в самой своей сути неким таинственным, парадоксальным образом. В определении любви Томасом Манном что-то похожее видится: “Любовь есть чувственная взволнованность краткосрочностью бытия”.

* * *

Гулял давным-давно ранним утром в Коктебеле, навстречу старец, с которым сидели за соседними столами в литфондовской столовой. Здоровались при случае, но и только. А тут вдруг он улыбнулся широко и сказал: “Поздравляю

вас!” Ну, у меня и мелькнуло в голове про какой-нибудь мой литературный успех, хотя ожидать в этом смысле совершенно нечего было. “С чем?” — спрашиваю. “Утро прекрасное, и мы с вами живы!” — ответил он.

И так стыдно стало мне за жалкую мою суетную мыслишку...

* * *

По ночам в корпусах коктебельского Дома писателей постоянно пишущие машинки стучали-стрекотали. И слышать это было и приятно, и успокоительно. По поговорке армейской: “Солдат спит, а служба идёт”. И вдруг днём, вдалеке от корпусов, среди сирени цветущей слышу рядом всё тот же стук-стрёкот. Оказалось, скворцы его разучили и вовсю наяривают.

Ушли машинки пишущие и как будто эпоху целую с собой унесли вслед за перьями гусиными и стальными...

* * *

Исчезают незаметно из жизни всякие-разные милые черты, ничем другим, кажется, не заменяясь. Хорошо замёрзшее окно, например. Какие узоры на нём бывали! То геометрически точные, сухие, то растительные какие-то, летние, листья папоротника напоминающие чаще всего. А сверкали они как сложно, разноцветно, алмазно, если свет на них падал! Или без узоров слой инея на стекле сероватый, ровный, как степь, и вдруг в дальней глубине искра огнистая — одна, другая, третья... Замёрзшие окна в трамваях случались чаще всего. Сядешь к такому окну на ледяное сиденье деревянное, а в нём дырки уже протёрты-продышаны. Сам подышишь-потрёшь вдобавок и смотришь наружу с неким особенным, подглядывающим интересом...

Галоши новые очень хороши были с чернотой скользкой, блестящей снаружи и угольно-красным нутром. Украшали они прямо-таки послевоенный скудный быт. А если вдруг две-три пары таких галош оказывалось, то словно костерок теплился в углу, гаснущий уютно.

И белесый, плотный дым из трубы маленького домика был чудесен, то стоящий столбом до самого неба, то сносимый ветром так, что начинало казаться, будто домик тронулся с места и плывет куда-то, как корабль...

* * *

Если представить себе мироздание в виде пирамиды, то в основании её будет лежать неживая материя. Из этой материи зарождается жизнь. Вершина жизни — человек с его разумом, душой и духом. Суть духа в поиске Бога и обретении его. А Бог в христианском вероучении есть любовь, которая поэтому и венчает всю пирамиду бытия.

Главный закон неживой материи — закон гравитации, притяжения всех вещей материальных друг к другу. Вот и чудится здесь некая связь таинственная между материальным основанием пирамиды с её законом всемирного тяготения и её духовной вершиной, которая есть любовь.

* * *

Два у меня самых любимых места в нашем околотке: сквер с детской площадкой и двор, с которого хорошо видны купола нашей церкви Вознесения Господня. И два занятия любимых: смотреть на играющих детей и на церковные купола с крестами на фоне неба. В церковь же захожу довольно редко — дети, кресты и небо больше душе говорят.

Есть в работе Павла Флоренского “Иконостас” удивительное место об отношении преподобного Сергия Радонежского к небесной лазури: “Он по-

стиг небесную лазурь, невозмутимый, неотмирский мир, струящийся в недра ветвей совершенной любви как предмет созерцания и заповедь воплощения во всей жизни, как основу строительства и церковного, и личного, и государственного, и общественного”.

Именно на небо больше всего любил в жизни смотреть. И было понятно, почему: разнообразие живое, красота, лазури небесной особенно, глубина её влекущая...

Но всё-таки постоянно оставалось в тайнике души ещё что-то о небе, не-прояснённое, невыразимое, но главное. И вдруг текст Флоренского прояснил это: неотмирность небесной лазури, божественность её...

* * *

В детстве очень любил и был большой мастак с высоты в воду вниз головой прыгать — с обрывов, с деревьев прибрежных. Как только шею не свернул в славном этом занятии!

А через много-много лет сиживал подолгу на плотине нашего пруда, наблюдая, как местные пацаны прыгают в воду с высокой ограды стока. Смотрел и оторваться не мог — до блаженного ощущения, что это я сам с каждым очередным пацаном на ограду взбираюсь, стою секунду-другую, пошатываясь, а потом вниз лечу, в прохладу воды врезаюсь, вынырываю, к берегу плыву, чтобы всё повторить сначала...

Поздравляем нашего верного автора Юрия Васильевича Убогого с 75-летием!

Всё, что написано его талантливой рукой за последние двадцать лет — повести о Пушкине, Тургеневе, Чехове, Гоголе, Бунине, — напечатано в “Нашем современнике”, как и повесть “Ангелы на велосипедах” и размышления “Время вокзала”.

Юрий Убогий — лауреат многих литературных премий: Большой литературной премии компании “Алроса”, премии имени Леонида Леонova, имени Братьев Киреевских и др.

С юбилеем!

ОЛЬГА КОРЗОВА



...И СЛУШАТЬ ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМНОЕ

* * *

Я не отдам полцарства за коня.
К чему мне конь? Их нет уже в помине.
Пусть иногда найдётся в рыжей глине,
как будто след давнишнего огня,
истёртая и ржавая подкова, —
сулит ли это счастье для меня? —
Наверно, нет. Я помню, как без крова

скитались две последних на селе,
ненадобных совхозу лошадёнки.
С шестых уроков бегали девчонки,
чтоб накормить их. Жил навеселе
последний конюх. Став разнорабочим,
недолго он держался на земле,
сошёл на нет, подобно многим прочим.

КОРЗОВА Ольга Владимировна родилась и живёт в глубинке, в Архангельской области. По профессии — педагог, учитель русского языка и литературы. Без малого четверть века отработала в сельской школе. Автор двух сборников стихов. Выступает с прозой и публицистикой. Печаталась в альманахе “Белый пароход”, журналах “Двина”, “Север”, “Наши современники”, “День и ночь”, “Знамя”. Ряд её последних стихотворений переведён на украинский язык. Входит в редколлегию журнала “Двина”. Член Союза писателей России.

Скосило с девяностых полсела:
болезни, водка... Благо, если старость.
А скольких деревушек не осталось —
исчезли, точно выгорев дотла.
Что лошади, когда для государства
обузой — люди? Всё бы отдала,
чтоб прекратились беды и мытарства.

Но не было и раньше у меня,
да и не будет царства иль полцарства...

* * *

Чего жалеть? Для завтрашнего дня
недостаёт проворства мне и силы.

А всё же вспомню: брат привёл коня
и к плугу встал, а бабушка учила
и хмурилась: ломает борозду.
Хотелось ей, чтоб внук освоил дело.
Пошло на лад, и радостно смотрела
вокруг она, лошадку в поводу
ведя домой.

А ночью во дворе
хруст сена... —
генетическая память,
усни навеки! —

...утро в октябре,
век двадцать первый цепкими сетями
меня оплёл, и вырваться невмочь,
а хочется, к чертям пославши сети,
вернуть тот день и, повторив точь-в-точь,
услышать конский топот на рассвете.

* * *

Метался снег, и ветры голосили,
и выстыл дом — ни капельки тепла.
И словно я одна была в России,
да и Россия маленькой была.

Зажатая нахлынувшею тьмою, —
домашний свет едва мерцал во мгле, —
я вспоминала небо голубое,
цветы и травы на родной земле.

Мерещились вокруг чужие станы,
в окно глядела мутная звезда.
И думалось, что скоро жить устану,
а утро не наступит никогда,

что середина жизни, как печатью,
межвременьем тягучим скреплена,
что раньше срока постарели братья,
что без войны давно у нас война,

и если горизонт зальётся алым —
не разобрать, пожар или восход.

Храни, Господь, причалы и вокзалы,
детей храни — хотя бы в Новый год...

НА ЗАДВОРКАХ

Осипла ворона.
Её безнадёжное “кар”
висит на задворках,
над местом бывшего остожья,
где набок склонился
торчащий из снега стожар,
забытый людьми,
точно вся задичавшая пожня.
Послушай, ворона!
Нельзя воскресить старину.
Не будем кричать
над останками прежних угодий.
Без боя отдали
и прошлое мы, и страну.
И сыты, и пьяны,
а пуще того — в новогодье.
Чего ж тебе надо?
Какого ты просишь житья?
Хрипишь еле слышно
над лугом и брошенной пашней,
и словно болит
неусыпная память твоя,
а нам будто вовсе
не больно, не горько, не страшно.

* * *

Знаешь, ни с кем говорить не хочу,
ехать за тридевять вёрст спозаранку.
Мне бы прижаться к родному плечу,
думку свою бы шепнуть, неганданку.

Только зачем эти думки тебе?
Вольное слово у нас под запретом.
Маюсь в своей пятистенной судьбе,
вяну, как травы пылающим летом.

ЗАПАХ БЕДЫ

А старухи опять
запасаются мылом и солью.
Запах близкой беды
им доподлинно с детства знаком.
И молчит в ожиданье
пустынное русское поле,
а с окраины тянет
и порохом, и табаком,

И дома называю
хозяев именем,
пусть дымок
не над каждою крышей
тянется.
А весною стою
над морями синими.
Кена, Чурьега, Сондола —
все красавицы.

А когда повезут —
будет день —
дорогами
в наволоцкий край,
на моё пристанище,
мимо серых поженок
с перелогамии...
Нет, не мимо! —
Со мною они останутся
навсегда...

Поздравляем Ольгу Владимировну с юбилеем!

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ



ЭТО НЕ ПРОИСХОДИЛО НИКОГДА

РАССКАЗ

То, о чем я собираюсь рассказать, никогда не происходило. Вообще никогда.

А теперь начнём.

Я познакомился с Леной и Вениамином в интернете, на одном литературном портале — не важно, каком. Кажется, был объявлен литературный конкурс, в котором все мы решили поучаствовать. После окончания конкурса, лавров на котором я так и не стяжал, знакомство наше сохранилось, несмотря на то, что физически мы друг с другом никогда не встречались; тут сказалась некоторая общность мировоззрения, взаимный интерес к творчеству и то, что мы были примерно одного возраста — близкого к пожилому.

Лена жила в Рязани, я в Гомеле, а Вениамин Бычковский был из затерянной в глухом белорусском Полесье деревушки Бобровичи.

Мы быстро перешли на “ты” — это поясняет, почему я уважаемых и почтенных людей называю просто Лена (а иногда и Ленка) и Вениамин, а не Елена Юрьевна и Вениамин Николаевич.

Вениамин радушно приглашал нас приехать в гости: Бобровичи располагались на берегу большого озера, где он в качестве плавсредства имел личную, по его словам, байдарку и обещал незабываемые впечатления: отдых на воде и изумительную уху, конечно же, по фирменному рецепту. С проживанием проблем тоже не предвиделось: у нашего друга имелся довольно

ФЕДОРОВИЧ Дмитрий Леонидович родился в 1954 году в посёлке Ладан Прилуцкого района Черниговской области (Украина). Окончил физический факультет Гомельского государственного университета. Печатался в журнале “Нёман”. Живёт в Гомеле.

просторный дом, и плюс к тому — местный краеведческий музей, который он же и основал. Вернее, это был даже не музей, а непонятного назначения строение, в котором он собирал различные предметы старины, воссоздавая крестьянский быт прошлого и одновременно используя как гостиницу для приезжих. А гостей у него, особенно летом, бывало предостаточно.

Однако наши с Леной годы, как я уже говорил, только приближались к пенсионному сроку, и поэтому мы могли распоряжаться своим временем лишь в пределах отпускного периода. А он у нас, как правило, не совпадал.

И вдруг получилось так, что — наконец-то! — всё сложилось наилучшим образом. Теперь, после всего того, что я намерен описать, я думаю, что наша встреча состоялась не случайно — не случайны были и наше знакомство, и занятия литературой, и сроки, которые судьба положила нам для встречи. Мы — все трое — были отмечены; каждый по-своему, конечно, но было в нас нечто общее, то, чего не хватало нам по отдельности и что совпало и проявилось, когда мы, наконец, собрались вместе. Я говорю об отношении к тем странным явлениям, среди которых мы живём, но которые человечество с поразительным упорством не желает замечать, и, может быть, в этом нежелании как раз проявляется спасительный закон самосохранения.

Сколько раз тебе, читатель, попадалась информация о непонятных феноменах, которые наука, несмотря на свои выдающиеся достижения, объяснить не может? Я говорю об НЛО, полтергейсте, о странных способностях, присущих некоторым людям, среди них, согласен, множество шарлатанов... О явлении дежавю, о загадках исчезновения людей, о неуловимых йети. О парадоксальных случаях исцеления, наконец, которые происходят от чудотворных икон и мощей святых.

Конечно, можно отмахнуться от таких фактов. Как правило, во время, когда происходит то или иное событие, не укладывающееся в нашу обыденную логику, на месте не оказывается ни видео- и звукозаписывающей аппаратуры, ни точных приборов, позволяющих феномен надёжно зафиксировать, ни, на худой конец, достаточного числа достойных доверия свидетелей. К тому же политика властей всегда направлена на то, чтобы такие факты не становились достоянием общественности: во избежание паники, невычислимой реакции толпы и бог знает чего ещё.

Что я могу сказать?

Реакция властей понятна и в чём-то даже оправдана. Недоверие и скептицизм людей тоже имеют под собой основания: я и сам ни за что не поверю, допустим, в летающую тарелку, если про неё мне расскажет полупьяный бомж, клянись он хоть чем угодно... Да беда в том, что эти самые тарелки я видел своими глазами, причём неоднократно.

Вот что было в нас общего: мы, все трое, безусловно, знали, что некий тайный мир сосуществует с нами, находится где-то рядом; более того, не раз сталкивались с его проявлениями, с его влиянием на свою жизнь. И бывали в нём, — как правило, такое происходит помимо воли человека, его просто забрасывает туда. Не в реальном теле, нет. Это происходит обычно на границе сна и яви, когда мозг уже освободился от докучливых дневных забот, но ещё не погрузился в сон. С лёгкой руки Лены мы стали называть такие проникновения Полуявью. А что, термин как термин, ничуть не хуже любого другого.

В Полуяви у каждого из нас был свой мир и свои излюбленные места. Но как же я изумился, когда однажды Лена подробно описала мне мой мир (то есть тогда я ещё думал, что это только мой мир)! Как же так, выходит, это не порождение моей фантазии, раз такое вижу не только я?! Значит, Полуявь не есть нечто чисто субъективное?!

Не есть. Конечно, она для каждого путника своя, иначе и быть не может, наверно, но какие-то общие для всех области, личности и закономерности в ней, несомненно, присутствуют. И допускают туда только в те места и обстоятельства, для которых конкретный человек предназначен.

Мы были разные. Бычковский, например, по молодости побывав в одной из уральских аномальных зон, получил контакт, за который ему пришлось платить здоровьем. Но взамен он приобрел расширенное понимание

происходящих рядом с ним событий. Лена имела амплуа сталкера-спасателя, выводящего завязшие в Полудяви души из опасных мест. Я же, достаточно успешно практиковав упражнения с биополем, мог чувствовать ауру человека или места. Например, указать, где проходит водяная жила, — это если нужно определить место для колодца. И, в принципе, чуть-чуть управлять энергетическими потоками.

Сразу оговорюсь: такие способности не даются просто так. И когда начинаешь отсекал жгуты присосавшихся вампиров, затягивать дыры в биополе или насаивать его на предмет, можешь быть уверенным, что дело закончится сердечным приступом. Не болью (хотя и такое может быть), а слабостью и перебоями пульса — брадикардией. Поэтому производить такие опыты не советую никому. Ни к чему это.

Третьей рукой я обзавелся давно. Случилось это после скоропостижной смерти брата, когда я впервые познакомился с Библией. Беда застала меня в командировке. Так получилось, что, когда я, прорвавшись через снега и толпы пассажиров из Киева в Ленинград, очутился в его притихшей от горя квартире, оставшуюся до похорон ночь мне было просто некуда деть. Нервное напряжение требовало выхода, сидеть просто так было невозможно, и тут кто-то сунул мне в руки черную книжицу: “Почитай Экклезиаста...”.

Надо сказать, что я всегда был склонен к метафизике. Более того, меня как бы подталкивали на этом пути, вели: то упавшая книга, раскрывшись на нужной странице, давала ответ на мучающий вопрос, то в автобусной давке чей-то голос на задней площадке бросал слово, недостающее для завершения выстраиваемой логической конструкции...

Библия пришлась кстати. Слово упало на подготовленную почву. Я сделал выбор. И отказался от неприемлемой практики — работы с тем, с чем человечество работать пока рано. Да только эта практика от меня не отказалась.

Давно прошло то время. Я помню, как тайно творил молитвы по дороге на работу и обратно (я и сейчас так делаю): другого времени, когда я был бы всецело предоставлен самому себе, у меня не было. По церковным канонам после завершения молитвы следовало наложить на себя крестное знамение и поклониться, а как? Как это сделать? И как на меня посмотрели бы в том же переполненном автобусе, вздумай я креститься?

Так появилась третья рука. После тайного (про себя, с закрытыми глазами) обращения к Богу я крестился мысленно, так же мысленно совершая поклон в сторону ближайшего храма.

Оказалось, что эта воображаемая рука очень полезна в Полудяви. Она могла быть сильной и длинной, она могла проникать сквозь предметы и стены (ну, этим-то там никого не удивишь), она могла появляться и исчезать по моему желанию. Она была, как я понимаю, овеществлением моего желания. И, одновременно, моим тайным оружием.

Не сомневаюсь, и у Лены, и у Вениамина были свои тайны и приёмы, но встретиться нам хотелось не поэтому. Всё же на девяносто девять процентов мы принадлежали этому, вещественному миру, и интерес наш носил самый что ни на есть вещественный характер. Одно дело — знать человека по фотографии, и совсем другое — встретить вживую. Я, например, был страшно удивлен, что Ленка слегка грустит — ну, никак я этого не ожидал! Стихи её были простыми и красивыми и лились, как вода. Впрочем, я-то на своей шкуре знаю, чего стоит такая кажущаяся простота.

До Вениамина удобнее всего было добираться через Пинск. Поезд из Гомеля добирался до Пинска утром: ехать приходилось ночью. Многие, я знаю, посчитали бы такое расписание удачным: как же, вечером лёг, утром встал, и пути как не бывало. Но я не люблю спать в поездах. На меня тягостно действует, когда состав замедляет ход и останавливается; я непременно просыпаюсь и нетерпеливо жду, когда он снова тронется. Зато мне нравятся поездки дневные: смотреть в окно можно бесконечно, пусть даже вид будет однообразен и уныл.

Прогрохотав по мосту через Ясельду, поезд сбавил ход и через несколько минут затормозил у вокзала. По обстоятельствам выходило очень удачно: московский прицепной вагон, в котором ехала Лена, цепляли как раз к

моему поезду Гомель—Брест, так что прибыли в Пинск мы вместе. А поскольку все манипуляции с подвижным составом производились ночью, то встретиться мы уговорились уже по прибытии, на вокзале, и дальше двигаться вместе: на автобусе до Телехан или Выгоноц (это сельсовет, к которому относится деревня Бычковского), а если повезёт, то и до самых Бобровичей. Но на такое везение рассчитывать не стоило: кто его знает, как тут дела обстоят с автобусными рейсами!

Было свежо: солнце только-только встало. Я вышел на перрон, глубоко вздохнул, выгоняя из лёгких спёртый воздух тамбура, и медленно побрёл назад. Вагон у неё последний, лицо я по фотографии вроде как помню (у меня особенность: плохо запоминаю лица; могу, поговорив с человеком, назавтра его не узнать. Знакомые знают и не обижаются), да Лена и сама меня вычислит, внешность у меня своеобразная: полностью седой, в очках, морда наглая. Не перепутаешь.

Не перепутать было легко: кроме нас, сошло всего человек пять, так что разминуться было невозможно. Ленкину спортивную сумку, не очень увесистую, я повесил на плечо, а пакет с провизией — ну, как же женщине без пакета? — она оставила при себе.

Прежде всего, мы ознакомились с расписанием местного автотранспорта. Чтобы попасть непосредственно в Бобровичи, пришлось бы ждать нужного рейса почти до вечера, зато на Выгоноц маршрутка отправлялась всего через час. По гугловским картам выходило, что пешком оттуда до Бычковского мы бы добрались даже быстрее, чем на автобусе. Дорога пролежала среди леса, пеший туризм я люблю (моя попутчица, как оказалось, тоже), все мои вещи уместались в одном рюкзаке, да и Лена тоже не была навьючена, как ишак — чего же ещё? А если что не так, попутный транспорт тоже никто не отменял.

Так и получилось: последний этап мы проехали на старых “Жигулях” — повезло, двое местных любителей направлялись на рыбалку, так что в Бобровичах мы оказались часам к двенадцати. Конечно, Бычковский не утерпел и вышел нас встречать к околице (я позвонил ему и сообщил, что мы вот-вот будем) в резиновых сапогах, куда были заправлены серые рабочие штаны, рубашке-толстовке, соломенной шляпе и с шикарной кудлатой бородой. Вениамин заметно прихрамывал и опирался на трость: последствия давней травмы, с которыми современная медицина мирно уживалась, поскольку устранить не могла.

— Ну, молодцы! Долго ж вы собирались, я уж не чаял дожждаться, — прогудел он. — Пошли, вон моя хата... Дай, помогу, — он попытался забрать у меня Ленину поклажу — безуспешно, потом у неё самой пакет — с тем же результатом.

— Ну, да, конечно, сейчас мы всё на твою спину взвалим! — отозвалась Лена. — Ничего, Димка дотащит, он здоровый.

Я мельком скользнул по его сознанию — типичная реакция, чуть новорожденная: ну, как-то отнесутся гости к новым условиям, быту, гостеприимству? Не забыть бы чего, короче, обычная галиматья в голове у человека, к которому прибыли гости — не уже привычные гости, а именно те, которые впервые.

— Нормально отнесутся, — пробурчала Лена; не вслух, а мысленно, но так, чтобы и я, и хозяин услышали.

Вениамин хитро посмотрел на неё и улыбнулся. Дескать, чем богаты, тем и рады, назвался груздем — полезай в кузовок.

— Обедать! — объявил он. — Обед прежде всего. Вы, поди, есть хотите, знаю я эти дорожные перекусы.

— Обедать так обедать, — не стали мы спорить.

Несмотря на больную спину хозяина, пространство перед домом и двор были умело выкошены. Забор отсутствовал, да он был и не нужен: хозяйство Бычковского стояло слегка на отшибе, и отгораживаться от соседей не было нужды. Земли здесь хватало всем.

— А вот и нет, — возразил Вениамин. — Почитай, все свободные участки приезжие раскупили. Фазенды лепят... Скоро, думаю, тут и места сво-

бодного не останется. Так что времена деревенские у нас кончаются, начинаются дачные да коттеджные... Приехали бы на пару лет позже — всё, не видать бы вам ни тишины, ни отдыха. Строятся! А местным даже на моторах плавать запретили — как же, урочище у них тут... Того и гляди, рыбалку платной сделают.

Отношение его к новоявленным хозяевам было ясно, да он его и не скрывал.

Жильё у Бычковского оказалось не слишком велико размером, но уютно и чисто той лесной чистотой, которой присущи солнечные зайчики на полу и запахи смолы и сушёных трав: зверобоя, земляники, медвежьих ушек. В красном углу — иконы, украшенные вышитыми крестиком рушниками. Лампадка отсутствовала. Кому-то из нас предстояло жить здесь, другому — в той самой избе-музее, где уже было приготовлено спальное место.

Я ожидал, что на обед будет подана та самая знаменитая уха, но ошибся. Вениамин сам не рыбачил (удочки же держал только для гостей), а у соседей тоже свежей рыбы не нашлось — так уж вышло. Зато картошка с жареными грибами оказалась просто изумительной.

— Да они тут на каждом шагу, чуть не у порога растут, — улыбался хозяин. — Я вас по таким местам повожу, что ахнете!

Мы послушно пообещали ахнуть, тем более — было от чего. Дом стоял на холме, и прямо из окна открывался ошеломляющий вид на озеро, большущее, ярко-синее, в котором отражались неподвижные громады белых облаков. Противоположный берег еле просматривался тёмной полосой леса на горизонте. Справа всё тоже было покрыто лесом, слева раскинулась деревня.

— Тут хорошо, — заметив наши взгляды, сказал Вениамин. — Дышится легко. Я как из города приеду, надышаться не могу. Люблю эти места! Да вы за стол садитесь, нечего церемонии разводить. У меня тут для встречи кое-что есть... Вы как, не против?

На столе появилась старинная литровая бутылка и рюмки. Самогон, конечно, но не мутный, как утрированно показывают в фильмах, а прозрачный, жёлтый, настоящий на травах. Зубровка.

— Благослови, Господи, трапезу! — провозгласил он, наливая.

— Ой, мне чуть-чуть! — пискнула Лена.

— А я с удовольствием, — сказал я. Освобождённый от дорожной клаксы, я сидел на крепком стуле, за крепким столом, в хорошей компании, и ближайшее будущее обещало замечательные впечатления, так отчего бы не расслабиться? Не так много в жизни у нас моментов, когда можно вот так бросить всё: заботы, обязанности, надоедливые мысли — и наслаждаться тёплым летом, солнцем, тишиной и покоем.

Напиток тоже оказался крепким, но пился легко, видимо, хозяин тщательно профильтровал и очистил его от посторонних примесей, а зубровка придавала ему приятное послевкусие.

— Берётся только небольшой кусочек стебля, возле корня, там, где розовая полоска, — пояснил Бычковский. — Если класть всё растение, сеном будет отдавать.

— Ну, всё, — сказал я, налегая на грибы. — Теперь мне нынешней ночью Полудявь обеспечена. Они, знаешь ли, любят в этом состоянии по мозгам шарить. По крайней мере — со мной так. Довольно-таки часто.

— Алкоголь, ослабление самоконтроля, — отозвалась Лена. — Не бойся, мы рядом будем.

— А чего мне бояться, сестричка? Чай, не первый раз!

— Ну-ну, — сказал Бычковский. — Давай-ка лучше по второй.

Выпили по второй.

— Я вас сегодня далеко не поведу, так, по опушке побродим, — продолжал он. — Тут у нас дуб заповедный есть, ему больше полутыщи лет, так биологи говорили. Приезжали, как же, и студенты на практику привозили. Флору-фауну изучали... Здесь у нас хватает разной живности: немногочисленно, соседние села далеко, так что много кого в лесу повстречать случается. Вот свожу вас к дубу, покажу. Правда, болеет он: дупло в нем здоровенное,

и какая-то кривая душа огонь было в нём развела. Боюсь, теперь погибнет... Так вы как — гулять пойдёте или, может, отдохнуть после поездки желаете?

— Пойдём, конечно!

— Ну, и лады. Доедайте, а я пока схожу к соседям за молоком. В погреб поставим, вечером холодное будет...

Вениамин ушёл, а мы с Леной, развалившись в блаженной истоме, продолжали сидеть за столом, вяло ковыряя вилками в тарелках, обменивались ничего не значащими замечаниями и лениво оглядывали обстановку. Было нам хорошо, уютно и как-то мягко на душе.

Обычно в подобных случаях пишут “поражало обилие книг” — это своеобразное клише, когда автору надо подчеркнуть духовность описываемого персонажа. Но здесь такое было неприменимо: у нас тоже домашние библиотеки были не маленькими, поэтому особого впечатления книжные шкафы ни на меня, ни на мою спутницу не произвели. Я лишь отметил для себя, что некоторые книги были на польском — опять же, удивляться не стоило, Польша-то — вон она, до границы не так далеко. Кстати, интеллигентом Вениамин внешне не выглядел до тех пор, пока — скажу, забегаю вперёд, — не принимался рассказывать или спорить. Тут его знания и логика рассуждений вызывали уважение. Правда, спорил он достаточно редко, предпочитая отмалчиваться и поглядывать на собеседника уважительно, но колко и цепко.

После обеда мы, несколько разомлевшие, отправились знакомиться с окрестностями. Посмотрели музей (и лежанку, на которой предполагалось спать Лене), часовню, возведённую стараниями нашего неугомонного хозяина, да и просто прошлись по лесу, выйдя на старое песчаное городище на берегу: тут было место древнего поселения, и даже время от времени производились раскопки.

Тишина и покой. Собственно, вот за этим мы и приехали: сменить обстановку, отдохнуть, не спеша поговорить, набраться впечатлений.

На нас обрушилось беззаботное лето — из той детской поры, когда куда не нужно торопиться, когда разговор с птицей или жизнь гусеницы являются невероятно важной частью бесконечно-счастливого дня, и каждый следующий день обещает новые и новые открытия, а мир вокруг всячески показывает, что любит тебя. Сознание слоилось, горячим воздухом текло между зацепившимися за песок кустиками красных диких гвоздик, летело над тёплой озёрной водой с запахом кувшинок и розовых цветов стрелолиста. Тонкие стрекозки садились на качавшиеся листы рогоза и тут же взлетали, испуганные промелькнувшей тенью птицы. Рыбья мелочь теребила упавшего в воду жука.

— И вот почему-то это место не зарастает, — сказал Вениамин. — Не живут тут деревья. Я уж сколько лет наблюдаю — только трава, да и та не везде.

— И не должны, — тут же откликнулась Лена.

— В этом месте большая беда случилась... когда-то... давно, — поддержал я.

— Во время войны фашисты сожгли в округе четыре деревни, — возразил Вениамин. — Но это не здесь, а дальше.

— Нет, это раньше, — сказал я. — Много раньше. Уже почти ничего не разобрать, а земля помнит.

— Давайте уйдём отсюда, — сказала Лена. — Почему-то мне кажется, что нам тут находиться не надо. Может, обойти озеро и посмотреть другой берег? До вечера успеем.

Солнце уже зацепилось за лес, и по замершей водяной глади побежал красный закатный блеск, когда мы, пробравшись местными “тайными тропами”, ведомыми только местным жителям, вышли на берег с другой стороны. Ветер стих совершенно. Кусты ивняка стояли неподвижно, выделяясь на фоне заката чёрным узором, как на гравюре. Мы присели на сухом стволе какого-то дерева и некоторое время, отдыхая, молча любовались уходящим днём.

Начинали робко проглядывать звезды. Приближалась ночь, но уходить отсюда никак не хотелось, несмотря на не сдерживаемых более солнечным

светом комаров. Мы сидели, наблюдая, как скрывается за чёрным частоколом леса потерявший былую яркость остаток тёмно-багрового диска, как меркнут разводы неподвижных горизонтальных облаков.

Похолодало. Над озером потянуло туманом, сначала несмелым, стелющимся по самой воде, а потом входящим в полную силу, клубящимся и наступающим волнами. Было в нём нечто нереальное, словно в фантастическом фильме о какой-то иной планете.

— Ладно, пошли, — поднялся Бычковский. — Эх, теперь нам по темноте да лесом...

— погоди, — вдруг каким-то напряжённым голосом произнесла Лена. — Смотрите, что это там?

— Где?

— Вон, как раз напротив полуострова... Да выше, выше!

Несмотря на туман, мы разглядели над водой слабо светящийся шар. Он неподвижно висел, не меняя ни цвета, ни своей светимости, мертвенной и тусклой. До него было около километра — так мне показалось, но точно оценить размеры и расстояние из-за недостатка освещённости было невозможно. В воде шар, — а может, не совсем шар, четких границ у него не было — не отражался. Или отражение скрадывал туман.

— НЛО, — сказал я.

Вообще-то неопознанные объекты я видал и раньше. Неоднократно. И все прежние случаи оканчивались чем-то вроде разочарования: мы, люди, для них ничего не значили; эти аппараты невозмутимо делали своё дело и исчезали, не обращая внимания ни на что. Но теперь всё было иначе. Всем своим опытом экстрасенсорики, пусть примитивным, я мог поручиться за то, что на этот раз за нами наблюдают. Мои спутники это тоже почувствовали.

— Смотрите... — пробормотала Лена.

Бычковский промолчал, нахмурившись и вглядываясь в парящий над озёрной гладью шар, который быстро скрывался туманом, плотным, густым, подобного которому я никогда прежде не видел.

Сейчас, когда я возвращаюсь туда памятью, я спрашиваю себя: почему мы не были особенно удивлены происходящим? Может быть, неведомый режиссёр, поставивший эту мизансцену, посчитал, что наши излишние эмоции могут ему помешать?

Вскоре исчезло всё: и шар, и лес за нами, и даже ближние кусты. Опустилась глухая тишина, не было слышно ничего: ни собачьего лая, ни случайного звука деревни, и это невзирая на то, что ночью над водой даже самый негромкий голос разносится достаточно далеко. Оставалось различимым только небольшое пространство вокруг нас да узкая полоска неподвижной чёрной воды.

Внезапно что-то изменилось. Вверху произошло движение, и в сплошной пелене тумана образовалось свободное пространство — как раз над нами; стало видно чистое звёздное небо, и стало заметно светлее: это выглянула полная луна.

— А ведь сегодня новолуние, — пробормотал Вениамин.

Вот как. Новолуние. Что же, получается, они могут и время смещать?

Это соображение пришло откуда-то извне. Я ощущал некое единство с Вениамином и Леной — мы стали острее чувствовать друг друга, и то, что приходило в голову одному, сразу же становилось достоянием всех. Для этого даже не надо было обмениваться словами. Я чувствовал не только их настороженность, но и привычную ноющую боль в спине — это Бычковский — и существенную усталость, которую вовсе не предполагалось показывать остальным, — Лена. И ещё я почувствовал узнавание: когда-то давным-давно Вениамин уже встречался с тем или с теми, кто сидел там, в шаре, и наблюдал за нами. Та, прошлая, встреча закончилась болезнью, от которой он так и не смог полностью освободиться до сих пор.

— Тише! — шепнула Лена. — Слышите?

Мы слышали. К берегу приближалась лодка — гребец торопился, лихорадочно орудуя веслом, и когда лодка показалась в сфере видимости, оказалось, что правит ею худенькая девушка, одетая в рубище, похожее на ста-

рую ночную рубашку. Она на мгновение испуганно замерла, увидев нас, но тут же умоляюще протянула вперёд руки, которые замелькали в черед непонятных жестов.

Глухонемая?

Лодка уже ткнулась носом в песок, и девушка, шагнув в воду, пыталась вытолкнуть её подальше на берег, призывно махая рукой.

Она была не одна. На дне лодки ничком лежал юноша — голый торс, короткие штаны из грубого рядна. Он был без сознания. Из спины торчало древко стрелы.

Стрелы?!

Стало быть, это всё — настолько из другого времени? И что теперь делать? Если вмешаться, не приведёт ли это к изменению событий уже в нашем времени?

— Не приведёт, — мотнул головой Бычковский. — Настоящее уже таково, каково есть. И изменить его никакое прошлое не может.

— Кроме того, если мы ничего не сделаем, это точно так же будет воздействием на прошлое, — добавила Лена.

Вообще-то да. Какая разница, от чего может измениться прошлое: от нашего воздействия на него или от отказа от такого воздействия?

Мы с Вениамином вытащили раненого на берег. Было ясно, что без немедленной помощи дело закончится плохо. Впрочем, если даже здесь каким-то чудом оказалась бы бригада реанимации, я всё равно не рискнул бы дать стопроцентный положительный прогноз.

— Сначала надо вытащить стрелу, — предложил Вениамин.

— Нет! — решительно воспротивился я. Я уже мысленно “прощупал” рану и знал, что дело гораздо хуже, чем даже казалось на первый взгляд. — Там наконечник с зазубринами. Будем тянуть — зацепим сердце.

— Как же быть?

Девушка стояла, глядя на нас с надеждой. По лицу её текли слёзы.

— Это её брат, — сказала Лена; она не теряла времени даром и уже знала, что произошло. Собственно, всё можно было уложить в одно предложение: ночь, нападение, побег, шальная стрела. А может, не шальная.

Туман еле заметно окрасился жёлтым — с той стороны, откуда приплыла странная пара.

— Там пожар, — глухо проронил Бычковский. — Деревню подожгли.

— А эти, ну, которые напали, — спросила Лена, — они сюда не приплывут?

— Вряд ли. Они ведь не знают, куда плыть — темно, а на воде следов нет... Скорее уж могут решиться на рейд вокруг озера. И то, если конные.

Конечно, мы не знали, кто напал на деревню: там, в средневековье, откуда прилетела стрела, это могли быть и лучники Золотой Орды (да, они сюда доходили), и отряд немецких рыцарей-храмовников, и казацкая вольница Хмельницкого, и каратели царя Ивана... Да какая разница! Перед нами умирал человек, а мы ничего не могли сделать. Железный крюк так просто из тела не вытащить.

Бычковский вдруг выпрямился и сжал кулаки. Я ощутил его ментальный посыл. Кому? Неужели тем, в шаре?

И вдруг стрела исчезла. Я чувствовал: там, возле сердца, бывшего слабыми толчками, колбочки больше нет.

Раненый застонал, по спине тонкой струйкой потекла кровь.

Что ж, кажется, пришло моё время... Я понимал, что то, что я собираюсь делать, превышает мои силы. Знал и то, что потом буду валяться, прижимая руки к груди и пытаясь остатками энергии удержать своё собственное сердце. Но отступить уже не мог.

Несколько глубоких вдохов перекатом от диафрагмы. Зачерпнуть праны — больше, ещё больше... Активизация — ладони привычно потеплели. Как же долго я не пользовался биоэнергетикой! И надеялся, что делать этого никогда уже не придётся. Но знакомые ощущения не забылись, энергия послушно прибывала, я уже ощущал её, как тёплый шарик, катающийся между ладонями. Пора.

Я закрыл глаза и сосредоточился на ране. Прокол был глубокий, стрела разорвала несколько крупных кровеносных сосудов, и прежде всего нужно было их затянуть, коагулировать кровь. А для этого ох сколько усилий надо! Ну, ничего, ничего, мы потихонечку, полегоньку...

Получилось. Я открыл глаза, перевёл дух и только тут заметил, что Бычковский стоит сзади, положив руки мне на плечи и подпитывая меня. Выглядел он неважно, впрочем, наверняка, и я тоже. Но дело было ещё не закончено, необходимо было провести обеззараживание раны — иначе не надо и гангрены, тут малейшее воспаление — и конец: слишком уж близко перикард.

Я добросовестно прошёлся по всей глубине раны, выжигая возможную заразу тем особым огнём, который позволяет поднять температуру тела до сорока градусов, а субъективно воспринимается как настоящий огонь. Бациллам, проникшим в рану, не поздоровится. Мне, впрочем, тоже: выжигание буквально пожирало энергию.

Я держал огонь столько, сколько мог. И даже чуть-чуть дольше. Когда я поднялся на ноги, глаза застилала такая тьма, что не разобрать было ни берега, ни земли. Я лишь чувствовал, что рядом, за спиной, на песке сидит Бычковский, слабо мотая головой. Ему тоже было нехорошо. Лена, выудив из сумочки валидол, торопливо совала таблетку ему в рот. Я остановил истечение энергии (руки полусогнуть в локтях, большой и безымянный пальцы — в кольцо), хотя какое уж там истечение, какая энергия! Жалкие остатки! Затем сунул руки ладонями под мышки: если вдруг что-нибудь ещё просочится, пусть замыкается через тело — на питание сердечной мышцы. И отрубился.

Я же предупреждал, что ничего из того, о чём я намеревался рассказать, никогда не происходило. И вообще — существовало ли, случилось ли оно, это не наше время, в которое мы были погружены чужой волей? И зачем погружены, для чего? У меня не было и нет ответа.

Если судить по тому, что мы все трое — применю тривиальное сравнение — были выжаты той ночью, как лимоны, то да, всё, несомненно, случилось и произошло. И так же несомненно, что этого никогда не было для всего остального мира, кроме разве что тех двоих несчастных беженцев, кстати, мы так и не успели узнать их имена. Удалось ли им спастись? Выжил ли тот, кому мы так старались помочь? Сейчас, когда мы находимся в своём месте и времени, мы обречены размышлять и строить предположения, которые не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты.

Бычковский, например, утверждает, что всё случившееся было опытом с целью проверить, правильно ли каждый из нас пользуется своим даром, и мы трое совсем не случайно были тогда собраны вместе. У каждого из нас, дескать, есть задание, которое предназначено только ему. Лена отмалчивается, предпочитая не докапываться до смысла происшедшего. Ей предстоит ещё долго разбираться с теми, кто подвергся нападению, и пытаться, как она выразилась сухо и сдержанно, “минимизировать урон”. Уж что она под этим подразумевает, мне непонятно; подозреваю, что задача эта вовсе не проста. Но она справится.

Что предназначено сделать мне, я не знаю. Возможно, просто написать об этом, чтобы кто-нибудь тоже задумался о том, зачем он существует, кому это нужно и к чему судьба избрала именно его.

ЮРИЙ ФАТНЕВ

КЛЮЕВ

Ни Блок, ни Есенин, ни Анна Ахматова —
Нёс Ключев Россию сквозь мусорный гам,
Как соты, какие для всех запечатаны,
Открыты его чародейным устам.

Никто ведь не ведал, что так он расколется,
Как с дуба сорвавшись, громоздкая борть —
И ах! Медуницей пропахла околица
И в сладкий полон государства берёт.

Вы чудо, конечно, опять прозеваετε,
А он себя с лебедем старым сравнил,
Не раз осенявшим словесные заводи
Во тьме светозарными вспышками крыл.

Он Блоку кружил волхованьями голову,
В Ахматовой видел жасминовый куст.
Есенина вёл он шляхами раскольными
И Пашку кормил, словно птенчика, с уст.

И слово повесил гремуче-цветистое,
Пускай колоколится шея-дуга.
Россию такими украсил монистами,
Чтоб помнила щедрость его, жениха.

Горел, как перстёнок, никем не прирученный,
В котором мерцали мемфисские сны.
А канул в тайгу неоглядно-дремучую —
Попробуй найди его и оцени.

* * *

Можно жить и здесь, беды не зная,
Обрести и славу, и уют.
Но в Россию снова зазывая,
Облака на Брянщину плывут.

То Клинцы под ними, то Унеча,
То Трубчевск, то Стародуб, то Мглин.
Но нигде друзей своих не встречу,
Я один на родине, один.

И никто на Брянщине любимой
Не заметит, не расслышит зов.
Это я скользнул сегодня мимо,
А не только тени облаков.

ИННА СПАСИБИНА

* * *

Всё снопы да скирдочки
На юру —
Я пшеницу веяла
На ветру.
Чтобы ветры веяли
Помогли,
Я Ваюну кланялась
До земли.
Ох, не та пшеница уж!
Ох, не та:
Вперемешку с мятликом —
Лебеда.
Закрома по осени
Все пусты...

Как же будешь, Господи, веять Ты?!

Я об этом думаю
Уж давно:
А в моём-то колосе
Есть зерно?

ОБЕРЕГИ

Солнце ясное,
Солнце красное!
Научи меня
Словам ласковым,

Позабывшим мной,
Позаброшенным —
Для любимого,
Для хорошего.

Ах ты, небушко
Необъятное,
Подскажи слова,
Да понятные!

Ой ты, реченька —
Стынь гающая,
Подари слова,
Да певучие!

Росна травушка
Ты целящая,
Мне шепни слова —
Настоящие!

Суждено им стать
Счастья вехами —
Для любви моей
Оберегами.

АНЖЕЛА БЕЦКО

* * *

А молодость бьёт каблуками
упрямо, задорно и зло.
И мерит большими шагами
планету. Как ей повезло!

А старость плетётся коротким
шажком (нет грустнее шажка!)
до лавки ближайшей, где тётки
судачат о зле каблучка.

* * *

Весна. Начнётся всё сначала.
Растает мёртвый, стылый лёд.
И баржа встанет у причала
и брюхом к отмели прильнёт.

И будут жить на длинных палках
в скворешнях шумные скворцы,
и солнце плавиться в фиалках,
и строки строиться в столбцы.

Долой назойливые шубы!
Портнихи станут платья шить.
И серость душ пойдёт на убыль.
Вот только б зиму пережить...

ОЛЕГ САЛТУК

ПЕЧАЛЬ

Не выразить словом печаль,
Которой больней не бывает.
Лежит необъятная даль.
Мечтаю, ищу, догоняю.

Там где-то затерянный след
В черёмухах белых на взлесье,
Заря нерастрченных лет,
Извечная мамина песня.

Свою вспоминаю любовь,
Надеждам вернуться желаю.
Мне в чудо поверить бы вновь,
Да только чудес не бывает.

И всё как-то быстро прошло,
Тропинкою стала дорога...
Как в небе высоком светло
И как далеко нам до Бога!

ЮЛИЯ ЛОГВИН

* * *

Здравствуйте вам, не сумевшим себя уберечь от соблазна!
Здравствуйте вам, так бессовестно предавшим верных людей!
Можете клясться, что это уже не случится ни разу,
Только напрасно — ошибки хранятся в истории дней...

Здравствуйте вам, оступившимся в пропасть, но спасшимся — чудом!
Здравствуйте вам, заблудившимся в серости и пустоте!
Можно забыть, но другие — увы — не забудут!
Глупо твердить, что того, что случилось, никто не хотел...

Здравствуйте вам, затерявшимся путникам в улицах тёмных!
Здравствуйте вам, отыскавшим случайно спасительный свет!
Можно прожить, не почувствовав горечь ошибок свершённых...
Здравствуйте вам, и, надеюсь, прощайте на тысячу лет...

ВИКТОР КУЦ

КРАСНАЯ ГЛИНА

Травой заросший
Глиняный карьер.
Лесной массив
Полукольцом широким:
Земля трагичных
Судеб и потерь,
Забытый Богом
Угол злого рока...
Крутой подъём.
Полянка. И сосна,
Застывшая над
Красной пастью ямы.
Из года в год
Промокшая весна
Багрянцем глины
Красит дол упрямо...
Одно лишь помню я
Со слов отца:
Здесь по ночам
Бесились автоматы...
Молчит сосна,
Немая от свинца.
Молчат и те,
Что на штыках распяты.
Следы от пуль
Шершавы и остры.
Кора в рубцах
Диковинных и длинных.

А лунной ночью
Светятся костры
На красных жилах
Выветренной глины.
Давно уж души
Приютил Господь,
Полеглих здесь
За Родину и Веру...
А сколько их —
Без имени, — чью плоть
Навек укрыли
И молчат карьеры?..

* * *

Красная смородина,
Домик у реки.
Как распутать
Пройденных
Мной дорог клубки?
В памяти натруженной
До сих пор мила
Та дорога с лужами,
Змейкой из села.
Милая дороженька,
Взгляд из-под руки...
Что так настороженно
Смотрят старики?
Не могу иначе я:
Радуга в глазах...
Шёл я за удачею:
Без неё — назад.
Сто дорог объезжено,
Тысяча — пешком.
Ягода ты нежная,
Только в горле ком.
Дворик неухоженный,
Не туман-дурман...
Красная смородина:
По рублю — стакан.

КАТУСЬ ЖУК

Я ВСПОМНИЛ

Январское утро. Хрустящий снежок.
Очерченный инеем, высится город.
Кварталы и улицы меряя в холод,
Отцовский припомнил я вдруг кожушок.

И кликнули дали лесной стороны
Меня в отчий дом, где в узорах окошки,
И капли смолы, как янтарные крошки,
На шрамах посаженной дедом сосны.

Там сани берут от крылечка разбег,
Там лето в стогу, его впрок накосили.

А спустится вечер, ядрёный и синий, —
Синеет печально сосняк, словно снег.

Как славно, что есть за лесами село,
Где жёрнов крутил я когда-то проворно —
Так быстро, что гул его, вечно мажорный,
Как песню, над мирной землёю несло.

* * *

За селом, на вечерней меже,
Привиденьем взметнётся берёза...
Разольётся тепло на душе,
Умиленья уронятся слёзы.

Оторвись от забот на бегу
И замри, околдованный тишью.
Слышишь: шепчутся листья вверху,
Птиц в зелёных ладонях колышут.

Этот луга хмельной аромат
Льётся в грудь — наслаждайся и слушай.
И ручей, что бежит наугад,
Звонкой радостью просится в душу.

Миг раздумья!.. Сквозь роздыми лет
Возвращаться мне к этим истокам,
Где оставил навеки свой след
Вешним нивам, лугам и дорогам.

* * *

Детишки кормят во дворе коня.
В прищурах глаз — и радость, и смятение.
Конь смотрит на мальцов с благоговеньем,
Не замечая взрослого — меня.

А я теперь в заоблачной стране.
Кормить коня — неужто не потеха?
И, удивлённый звонким детским смехом,
Расхохотался аист на сосне.

ОЛЬГА БАЗЫЛЕВА

* * *

Закружит мягкий снег,
Набросит покрывало
На сонные дома,
Весь приутихший свет.
О лете загрустишь,
Но, как уже бывало,
Признаешь, что зиме
Конца и края нет.

Зима — как чистый лист.
Минувшего страницы
Опять переписать
Желанный редкий шанс.

И натканы холсты,
Чтоб нам принарядиться,
И явлена звезда,
Чтоб обнадёжить нас.

На маминых руках
И плачет, и смеётся
Младенец Иисус
Над грешною землёй.

Ты глаз не отведи,
И на тебя прольётся
Неугасимый свет
И неземной покой.

*Перевод с белорусского
Георгия БАРТОША*

ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ

ОЗАРЕНИЕ

Мне показалось, океаны все
И реки в миг один остановились,
Когда твои глаза во всей красе
Сияньем лучезарным озарились.

Остановилось время на земле,
И замерло небесное светило,
Когда глаза в пьянящей тишине
Мне улыбнулись празднично и мило.

Был таинством наполнен этот миг,
На свете ни на что нисколько не похожий.
Казалось мне, я истину постиг
И словно вечность в миг единый прожил.

О, мой святой, мой милосердный Бог,
Благодарю тебя за озаренье,
За то, что вопреки всему я смог
Увидеть это чудное виденье.

За то, что звуки во Вселенной всей
Вдруг замерли, застыли, замолчали,
И лишь глаза одни — во всей красе —
Божественной мелодией звучали.

ПТИЧЬЕ ПЕНЬЕ

Я птиц люблю родные голоса
И чувствую такое упоенье,
Когда сады, луга, поля, леса
Заполняют дружно птичье пенье.

Создания Божьи в мире не молчат:
Обида ль гложет или давит мука,
Они, как могут, выдохнуть спешат
Рождённые в горниле сердца звуки.

И льётся в выси чистая струя...
Неведомой никем взбодрившись силой,
Вдруг певчей птицей и душа моя
На крыльях мощных в небо воспарила.

Какой полёт, какая глубина!
И ширь земная — без конца и края!..
Поёт моя душа, поёт она,
Глухую боль в себе преодолевая.

И на земле, и в небе в дивный час
Божественное пенье раздаётся...
Но лишь по-настоящему сейчас
Я понимаю, как та песнь зовётся.

ОЛЬГА ПЕРЕВЕРЗЕВА

* * *

Их разделяют три войны.
Но кровь — не шутка-то на деле:
Иваны оба, и видны
Две схожих родинки на теле.

И Ванька-внук, когда разбит
Курносый нос шпанюю местной:
“Мне, дед, лишь родинка болит.
Мне и не больно, — скажет, — честно”.

Великий Май. Парад Побед.
Под вечер все медали спрячут.
И Ванька-внук: “Где больно, дед?”
“Мне Родина болит”. И плачет.

АЛЕКСАНДР МОСИЕНКО



О ТОЙ РАСПРОКЛЯТОЙ ВОЙНЕ

РАССКАЗЫ

МЕТЕЛЬ В МАРТЕ СОРОК ПЯТОГО

В конце февраля Мария Худякова слегла. Каждый день газеты и радио кричали о победоносном шествии Красной Армии, рвавшей в логово фашистского зверя. До победы оставалось рукой подать. Гитлеру “капут”. В этом уже никто не сомневался. Те, кто получил похоронки или уведомления о “пропавшем без вести”, еще надеялись на чудо. У Марии не было вообще никаких вестей от отца. Целых полгода! Ни слуху, ни духу. А тут простуда, да еще какая-то чертовина ела ее изнутри. Мария исхудала — ничего почти не осталось от той бедовой, всегда веселой хохотушки. Не до смеха было: мальчишки ее, Шурка и Юрка, совсем от рук отбились, ничего по дому не делают. Одно на уме — улица. Хорошо, что школу не бросили. Шурка в третьем, а Юрка во втором классах. И оба успевают, хотя усердия никакого. Сразу после школы — на улицу, как говорила Мария, гойдать, попросту — гулять. А дома не убрано, коровка не поена, не кормлена, ревет на все дворы, пока кто-нибудь из соседей не покормит.

Сама же Мария ни дня, ни ночи не знает — все в колхозе, а толку-то: труднейшей много, но ими сыт не будешь. Коровка в этот год не телилась, и молока всего два литра дает, да и то приходится сдавать государству. Вла-

МОСИЕНКО Александр Алексеевич родился в 1935 году в станице Зольской Кировского района Ставропольского края. После службы в армии окончил филологический факультет Пятигорского государственного пединститута иностранных языков. С 1966 года по настоящее время работает главным редактором газеты "Учитель". С 2006 года — "Наши университеты". Выпустил в свет 21 книгу. Заслуженный работник культуры России, член Союза писателей России, лауреат губернаторской литературной премии имени Андрея Губина, член Союза журналистов РФ, лауреат премии имени Германа Лопатина. Живёт в Пятигорске.

сти не верят, что так мало — даже комиссию присылали. Убедились. И снизили — пол-литра разрешили детям оставлять. А что с ним, этим пол-литром, делать, когда ничего другого нет. Вот и пошла Мария на необработанное поле кукурузы, хотя это каралось тюрьмой. Будь что будет, не помирать же ребятишкам с голоду, да и сама в чем душа. Были февральские “окна”.

Мария чуть свет отправилась с подругой, у которой и того больше ртов: четверо детей, свекруха и собственная мать. Все на ее шее. Едва только рассвело, а они уже наполнили свои небольшие котомки и счастливые возвращались домой. Еще вчера они пронюхали, что объездчика не будет — в город уехал. Значит, их никто не арестует, не отберет кукурузку. Подруги не шли, — летели по степи со своими котомками и не заметили, как испортилась погода. Снега давно не было — стоял еще в январе. Хотя и холоднова-то. И вдруг пошел дождь, почти как летом, сильный, не прекращающийся, но холодный, переходящий в снег. Промокшие до нитки подружки радовались: в такую погоду хороший хозяин собаки со двора не выгонит, а не то чтоб объездчик какой поехал оберегать гниющее социалистическое имущество.

Домой они пришли не по улице, а через сады-огороды, чтоб меньше видели, потому что обязательно найдется добрая душа, которая подкажет объездчику или уполномоченному, как он промучал расхитителей.

На радостях Мария, у которой уже зуб на зуб не попадал от холода, не стала переодеваться в сухое, а стала рушить кукурузные кочаны, чтобы потом смолоть на самодельной мельнице-втулке и наварить детям мамалыги. Когда мамалыга была готова, Марию всю трясло, температура поднялась до сорока, и ее непослушные Шурка и Юрка, уплетая вкусную мамалыгу, не сразу заметили, что Мария не села за стол, а, укрывшись тулупом, легла прямо на неразобранную постель.

— Мам, а что ж ты не ешь с нами? — спросил старший сын Юрка.

— Я, наверно, приболела, — ответила Мария. — Шурик, принеси, сынок, хину. На припечке порошок лежит. И водички.

Шурка все исполнил немедленно. Из-за стола вылез уже насытившийся Юрка, подошел к кровати.

— Мам, а хочешь я тебе мамалыги в кровать принесу? Поешь, пока горячая.

— Спасибо тебе, мой золотой. Спасибо вам, мои хорошие, — ответила Мария, — я потом. Согреюсь и потом поем.

— Хорошо, мам. Я чугунок накрою тужуркой, чтоб не остыла. Ладно? — спросил Шурка.

Мария погладила его по головке и только потом благодарно кивнула. Сыновья стали убирать со стола, помыли черепянную чашку — тарелок в доме не было. И тогда Мария подозвала к себе Шурку:

— Шурик, ты же старший?

— На целый год старше Юрки.

— Вот я как к старшему и обращаюсь к тебе. Сходи в сарай и подюжи Буренке сена. А потом как съест, возьми ведро и напои ее. Сам к колыду не подходи, попроси тетю Полю или еще кого. Ладно?

— Ладно!

— Я на тебя надеюсь.

Мария думала, что ее простуда быстро пройдет. Но ей становилось хуже. Скоро прибежала подружка Полина.

— Ты чего это, кума, расквасилась? Не имеешь права. У тебя вон какие орлы. Глядишь, и Петро с фронта скоро заявится. Не раскисай. Давай-ка разберем постель, раздевайся, я сейчас еще печку подтоплю, воды нагреею, ноги попарим. Не раскисай! Сейчас сбегу домой — у свекрухи где-то граммулька козьего жира есть — грудь натру, очень помогает.

— Не шебурнись, Поля. У меня малярия.

— Все равно не смертельно.

Мария встала с постели. Разобрала кровать, разделась и залезла под одеяло. Полина еще сверху положила тот же тулуп. Потом сбегала домой, принесла пару кизяков, три-четыре щепки, растопила печь, тепло снова пошло. Время от времени Полина, сидя у изголовья Марии, поправляла одеяло, ук-

рывала плечи, дала еще один порошок чудом сохранившейся хины. И когда увидела, что Марии стало немного лучше, заторопилась:

— Ну побегу, а то дома тоже надо управляться. А вечером я еще зайду.

Болезнь Марии затянулась. На работу она уже не ходила, хотя бригадирша не раз звала ее:

— К севу готовиться надо. После войны болеть будешь.

— Я бы рада, — тихим голосом отвечала Мария. И невооруженным глазом видно было, что ей еще лежать и лежать. Она с ужасом думала о том, что через неделю кончится кукуруза. Чем кормить детей? А сена почти не осталось — дня на три, не больше.

С отчаяния и чтобы не доводить до полного опустошения сарай, Мария все с той же Полиной однажды ночью запрягла Буренку и съездила в поле. Набрали небольшой возок стеблей кукурузы, лабузы по-местному. Поделили поровну. У той тоже с кормом плохо. А коровы хорошо едят лабузу. Мария теперь снова вспоминала об этой удачной поездке и корме, который уже на прошлой неделе кончился и пришлось давать понемногу сена, оставленного на самый крайний случай. При одном воспоминании об этом Марию снова трясло, и поднималась температура.

А тут еще горе: перед самым вечером безрукий почтальон, который полдня кружил вокруг двора Полины, наконец, вручил ей похоронку на мужа. Неистовый крик Полины Мария слышала сквозь сон — на какое-то время она вздремнула, и вот слышит крик. Сразу поняла, что это подруга и что за беда настигла ее. Мария вскочила с кровати, и, накинув на себя какую-то одежку, побежала к подруге. А та до хрипоты кричала одно слово:

— Не-ет! Не-ет! Не-ет!

Мария обняла подругу, стала гладить ее по голове, по спине. Успокаивать.

— Да не надо, Поля. Может, ошиблись... Я сон видела, забыла рассказать. Хороший сон. Будто мы идем где-то в поле. Я, ты, мой Петя, твой Иван и наши дети, твои, мои. Такая ясная погода... успокойся, Поля, день такой ясный. И поле. Все в тюльпанах. Красных-красных. А я говорю: Давай нарвем. А ты говоришь: зачем же такую красоту портить. Пусть себе растет и всех радует. И не сорвали. Ни ты, ни я... Такой сон только к добру. Не может быть, чтоб так вот. Иван живой. Вот увидишь.

— Не-ет! Не-ет! — снова закричала Полина.

— Поля, ну послушай меня. Бывает такое. Сколько случаев. Я недавно в газетке читала... Да что там читала — вон у Надьки Тарасовой. Пришла похоронка, а вчера — письмо с дороги. Домой едет. Вот увидишь, ошибка...

В дверь сильно застучали.

— Боже, что случилось? — испугалась Мария.

— Мам, скорей домой иди, папашка с фронта приехал! — пискливо кричали Шурка и Юрка.

— Вы чего там буровите? — ничего не понимая, взволнованно спросила Мария.

— Правда, скорей: он ждет!

Полина вытерла слезы, поправила волосы и говорит:

— Твой пришел, чего стоишь, Мария?! Иди же.

И Мария побежала. Не заходя во двор, перед калиткой, на костылях, без одной ноги, в выдавшей виды шинели, с вещмешком за плечами и патефоном в руке стоял ее Петя, Петр Кириллович Худяков. Мария бросилась на него, чуть не сбив на землю. Петр едва удержался на костылях и одной ноге, а Мария истерично закричала:

— Петечка пришел! Прише-е-ел! Поля, мой Петя-а-а... — и сама потеряла сознание. Полина, отключившись от своего горя, прибежала выручать подругу. Кто же еще поможет ей? А безногий Петр Кириллович, бросив один костыль, опираясь на другой, неуклюже топтался вокруг и повторял: "Ма-ша, Маш, я ж с тобой!" Полина, дети, Петр и еще кто-то из оказавшихся здесь взрослых внесли Марию в хату. Кто-то нес, а кто-то вприпрыжку сзади двигался. Откуда-то нашелся нашатырный спирт. Дали понюхать, потерли виски, и через две-три минуты Мария очнулась.

— Напугала как, — улыбаясь, сказал Петр. — Так и думал, без жены останусь. Всю войну прошел и дома такое...

— Ну здравствуй еще раз, моя хорошая. — И он стал целовать Марию, детей, заплаканную Полину. — Здравствуйте, все!

— Здравствуй, Петенька, — виновато радовалась Мария. — Пришел?

— Пришел, — отвечал Петр, сидя на табуретке. — А Ивана нет? Придет и Иван, — бодро, еще не зная о похоронке, сказал он Полине. Но та в слезы.

— Вот, сегодня принесли, — показала она похоронку, которую так и не выпускала из рук. Видя ее рыдания, чувствуя некую вину перед ней, он все же успокаивал Полину:

— Пустая бумажка. Не такой Иван, чтоб в конце войны погибнуть. Придет. Еще немножко осталось. Надо просто подождать. Это меня отпустили: безногого. А здоровые добивают Гитлера. Добьют и придут, Полечка. Не надо так...

Было около трех часов пополудни. За столом сидела счастливая семья. Мария, Петр Кириллович, Шурка и Юрка. Гостей пока не приглашали. Петр достал из вещмешка консервы, хлеб, колбасу, словом, сухой паек, и вот теперь изголодавшиеся дети, да и Мария, улыбаясь до ушей, ели. А Петр только наблюдал за ними. Мария подложила ему мамалыги.

— Вот какой у нас харч. Да и то слава Богу...

Далее она стала хвалить детей, какие они у нее помощники, а Шурик прям отца заменил. И воды принесет, и за коровкой посмотрит, управится. И Петр радовался, то и дело щекой прижимался к жене, сыновей похлопывал по спине, слегка подергивал за вихры:

— Молодцы, так и надо.

Шурка и Юрка цвели от похвалы родителей и верили, что они такие и есть на самом деле. И вовсе никуда они на целый день не уходили, и коровку без поила и корма не оставляли, и в хате раскордаш не устраивали, когда мама уходила в степь, в бригаду.

Но Петр уже знал, что корма корове осталось дня на три, а самим — на недельку, ну, может, паек чуть продлит сытую жизнь. Он думал о том, что завтра пойдет в стансовет, в правление колхоза, куда угодно, но чтоб дали ему работу, и тогда все будет в порядке. Мужик он или кто? Хоть и безногий. Мария не могла наглядеться на мужа и поглядывала на часы: до ночи еще далеко. Оба они истосковались друг по дружке. Даже если б Петр Кириллович и без обеих ног пришел, она радовалась бы не меньше: живой! Сколько их не вернулось. В каждом дворе один — два, а кой у кого и по трое навсегда остались в полях или болотах, в России, Польше, Германии... А Петр пришел. Насытившись, дети еще некоторое время сидели за столом, любуясь папkinsкими орденами-медалями.

— А пластинки есть? — глядя на патефон, спросил Шурка.

— Есть, — ответил отец.

— Давай поставим! — хором выпалили Шурка и Юрка. Отец улыбнулся, раскрыл патефон, достал ключ, сделал несколько энергичных оборотов. Потом взял пластинку, поставил ее. На всю хату и даже на улицу разносился голос знаменитой певицы Лидии Руслановой:

*...По морозу босиком
К милому ходила.
Валенки, валенки,
Ох, не подшиты, стареньки...*

Счастливые Шурка и Юрка с наслаждением слушали певицу. Мария подошла к патефону и остановила пластинку.

— Потом, ребятки, потом. Неудобно. Вы же видите, что у тети Поли горе?

— Ладно. Завтра поставим. А еще есть пластинки?

— Есть, есть, — ответил отец. И мальчики побежали на улицу хвастать наградами. А Петр и Мария жарко обнимались-целовались, предвкушая ра-

дось любовной игры без оглядки. Но удержаться до ночи они не смогли. Мария посмотрела в окно: Шурка и Юрка в окружении своих друзей очень энергично жестикулировали. Мария подошла к двери, закрыла ее на крючок и, забыв о своей малярии, быстро разобрала постель...

А события на улице развивались не менее стремительно. Проходившая мимо тетка Нюся Голубева упрекнула как бы невзначай счастливых мальчишек:

— Отец с фронта пришел, без ноги, а вы вместо того, чтоб по дому помогать, уже на улицу выскочили. Вон корова голодная ревет... Что ж это вы так, мужики?

И пошла себе дальше. А Шурка и Юрка сразу посерьезнели и вскоре ушли домой. По дверь была заперта. Стучаться не стали. Шурка как старший внес предложение: “Давай лабузы привезем? Запряжем Буренку в коляску и быстренько смотаемся в степь. Тут недалеко”.

Сказано — сделано. Взяли серп, вывели из сарая корову. Она послушно вошла в оглобли небольшой тележки и (не впервой) друженько побежала по дороге. Шурка погонял, Юрка сидел рядом. Холодало. С неба посыпал снежок. Пока они доехали до края станины, снег усилился. Кукурузное поле в двух километрах. Ерунда какая. Шурка вошел в роль возницы и уверенно покрикивал на Буренку, а она, словно понимая, что в поле ждет ее лафа, кукурузные стебли, да может, и кочанчик где попадется, торопилась вперед. Вот и поле. Кочаны убраны, а стебли хорошие. Мальчишки заехали прямо в середину поля, остановили свою тележку, не распрягая Буренку, и стали жать лабузу, складывать ее в кучки, потом носить на телегу, складывать кучку в кучку.

А снег тем временем пошел такими большими хлопьями, что Буренку почти не было видно. Шурка и Юрка, увязав свой возок старой веревкой, решили ехать домой, но вдруг увидели, что кругом метет, и они не знают, в какую сторону ехать. Устроившись впереди возка, они было приказали Буренке идти. А она остановилась, не идет.

Снег и ветер усиливались. Уже закружило, закрутило, как говорят, зги божьей не видно. Как-то быстро наступила ночь, то есть это была еще не совсем ночь, но потемнело, и все сливалось в едва различимой круговерти. Шурка и Юрка только сейчас почувствовали, что у них промокли ноги, что вообще очень замерзли. Станицы не было видно, хотя если бы это было в погожее время, все, даже церкви, с этого расстояния просматривалось хорошо. Шурка как старший слез с возка, подошел к Буренке и стал просить ее:

— Буреночка, поехали!

Она вытянула шею и протяжно промычала: “Му-у-у-у!” Но с места не сдвинулась. Снег продолжал валить шапками. На длинных ресницах Буренки были уже комья мягкого снега. Она, жуя, моргала и сбрасывала, эти комья, но проходило две-три минуты, и глаза снова залепляло снегом. Снегу стало по пояс Шурке. Он, обнимая Буренку за шею, по-прежнему просил:

— Ну Буреночка, поехали домой. А то мамка заругает. И папанька жалдался...

— Шугани ты ее хворостиной и быстро пойдет, — посоветовал Юрка с возка.

— А где ж я тебе хворостину эту возьму? — удивился Шурка. И вдруг его осенило: он залез на Буренку, как на коня, и, ударяя ногами по бокам, стал кричать:

— Поехали, Буренка, поехали!

И та стронула с места, метров сто прошла и снова остановилась. Шурка пискливо кричал:

— Че стоишь, тебе же хуже будет — замерзнешь, дура!

Буренка сделала еще шагов сорок и остановилась как вкопанная. Ни уговоры, ни пинки в бока, ни пискливые приказы на нее не действовали. Шурка даже вспотел и забыл про свои мокрые ноги. Зато Юрка начал упрашивать брата:

— Шур, я замерз, иди погрей меня.

— Отстань ты, мерзляка, — отвечал Шурка. — Ехать надо, пока нас тут совсем не замело. Ночь на дворе.

И он снова стал бить Буренку своими окоченевшими ногами по бокам:

— Поехали, Буренушка, поехали!

Буренка послушалась и на этот раз прошла метров двести. Ребята обрадовались. Но преждевременно: больше Буренка не сделала ни одного шага. Снега намело слишком много, а тележка на железных колесах. Снег прилипал, колеса не крутились. Снег продолжал падать шапками. В темноте и в горячке наездник Шурка не заметил, как потерял один промокший ботинок. Дырявый носок быстро обледенел. Шурка слез с Буренки и полез к Юрке.

— Нога замерзла, не могу. Может, сходишь посмотришь, где дорога, а я пока отогрею ногу?!

— Я боюсь, — начал умолять Юрка.

— Чего ты боишься: станица рядом.

— Волков боюсь, отговаривался Юрка.

— А они есть тут?

— В степи зимой всегда волки ходят.

Шурка подумал и ответил:

— Они на людей не нападают.

— А Буренка? Как с ней? Нас же мамка убьет за Буренку, если они съедят ее.

— Ладно. Давай помолчим и согреемся немножко.

Закопавшись в лабузу на своем небольшом возке, мальчики прижались друг к другу и стали прислушиваться. Разыгралась сильная метель, пурга. Ветер свистел в углях. Быстро темнело. Была сплошная белая тьма.

— О, слышишь, к вечерне звонят, — сказал Шурка. — Значит, еще не совсем ночь. Слышишь?

— Слышу. Но к вечерне не так звонят, даже часто. Может, нам сигнал подают? — спросил Юрка. — Слышишь — и звонят, и звонят. Как будто на пожар.

Шурка и Юрка не знали, что очнувшиеся от счастья отец и мать их вдруг вспомнили, что детей нет дома. Мария вышла на улицу. Не видал ли кто. Видали — они куда-то на телеге поехали. В оглоблях — Буренка. Мария, сама еще больная, стала ходить по дворам, с кем бы пойти на поиски. Полина правильно вычислила, что они недалеко, но метель и не видно. Надо подать какие-то сигналы. Нашлось человек десять — двенадцать, которые вышли на окраину станицы и стали стучать в разные железки, звать:

— Шура! Юра-а-а!

А Петр Кириллович догадался послать к старому глухому звонарю церкви, чтобы тот с колокольной звонил без перерыва. Это нужно и тем, кто пойдет на поиски, и может, ребята услышат да поймут, в какую сторону им надо идти. Часа два люди ходили, ходили, стучали, кричали и разошлись по домам, потому как никто не знал, где искать, а степь большая. Тьма крошечная и метет, метет.

У Марии снова поднялась температура. Она раза три теряла сознание и все вырывалась на поиски. Петр Кириллович, не отходявши я от нее, едва удерживал Марию и все успокаивал ее:

— Все будет хорошо. Ребята смысленные. Сама ж говорила: взрослые, помощники. Значит, просто далеко уехали. Бурю пересидят где-нибудь под скирдой и приедут вместе с Буренкой.

Но все произошло иначе: прижавшись друг к другу, братья Худяковы, обессилев, стали замерзать. Ноги у обоих давно ничего не чувствовали. Едва-едва ощущалось тепло друг друга, но и оно постепенно уходило. Свистевший ветер все выдувал. Шурка и Юрка сидели, не разговаривая, ничего не боясь, так как уже не было никаких чувств, даже инстинкт самосохранения не работал. Им отчего-то вдруг стало тепло, как дома, на русской печке. Оба они заснули. Юрка сразу, а Шурке снился приятный сон: лето, он с отцом, у которого обе ноги целы, на пруду. Ныряют, а потом загорают на берегу. И отец все рассказывает, рассказывает, как воевал, за что ордена-медали получил, как домой добирался, и обещает купить Шурке и Юрке по велосипеду. Уже большие. Пора и на велике кататься. Шурка уже знает, кому даст

покататься, а кому ни за что. Сеньке Коняеву, например. Он жадина-говядина, соленый огурец. Сон продолжился очень долго, а потом все ушло с экрана памяти.

Их нашли утром, первого марта тысяча девятьсот сорок пятого года. Буря и метель утихла. Был ясный день. Выпал такой обильный снег. Все говорили:

— К урожаю!

В этот день еще кто-то пришел с фронта. Да, Иван Федотов. Тоже инвалид. Руки-ноги целы, а на голове вмятина и тонкая пленка вместо кости. С детскую ладошку. Тоже радость вперемежку с горем. Но все же радость. А тут прямо беда.

Мальчики Худяковы, прижавшись друг к другу, окоченели, сидя в домашнем возке, закопавшись в лабuze.

Нераспряженная Буренка, моргая длинными ресницами, стояла вся в снегу, возле возка, и рядом с ней намело огромный сугроб. Только заиндевевшая голова с сосульками у бороды торчала из снега.

В тот день еще двое инвалидов вернулись с войны, три матери получили похоронки на своих сыновей. А в семью Худяковых вслед за вчерашней радостью пришла самая большая беда, какая может постигнуть только двух людей, так преданно ждавших конца этой распроклятой войны.

ПОСЛЕДЫШ

I

Сады цвели необыкновенно густо: куда ни глянь, кругом белым-бело. Словом, весна достигала разгара. И неутомимые пчелы, и прочие насекомые, и щеглы, и скворцы своими голосами как бы напоминали людям: смотрите, как все молодо, красиво, гармонично. Настоящая жизнь.

А мы с другом Анатолием сидели за праздничным столиком на скромной даче Раисы Федоровны, уже десять лет как овдовевшей, но так и не устроившей новую семью. Да и живущей не в своей однокомнатной квартире (отдала её дочери с пятнадцатилетней внучкой), а здесь, в дачном домике с площадью шесть квадратных метров.

“Мне и одной хорошо. Такого, как покойный муж, не найти, а создавать видимость не стоит... Ну а мы с Эдиком, — она кивком указала на сидящего рядом пожилого мужчину, — просто друзья. По старой памяти”.

Ее другу Эдику, Эдуарду Вардзаповичу, уже за восемьдесят. Тоже вдовец, фронтовик... Они крепко дружили семьями. Потом, когда эти семьи наполовину сократились, в память об ушедших Раиса Федоровна и Эдуард Вардзапович продолжают дружить, не переходя прежних границ. Отзывчивость, взаимопомощь — норма отношений старых друзей.

Рядом с дачным участком Раисы Федоровны громоздился трехэтажный особняк с гаражом на пять авто. Там, во дворе соседа, крупного предпринимателя, шустро скупившего за бесценок ваучеры сотрудников обувной, мебельной фабрики, кирпичного завода, открывшего своё дело, и теперь он с братьями и сестрой владелец самых крупных рынков в городе — в его скромной усадьбе уже начался праздник. Большой праздник — День Победы. Гремела музыка, песни, в которых невозможно разобрать ни одной фразы. Лишь иногда прорывались слова обитателей особняка:

— А что ты хочешь? Это же бизнес. Да, да, бизнес. Надо будет замочить и замочу!

Потом музыка перекрывает своими децибелами все человеческие голоса. И уже невозможно без напряжения говорить даже здесь, на почтительном расстоянии от источника. Хочется уйти, но нельзя: старые друзья позвали нас разделить с ними тихую праздничную трапезу. Им необходимо общение — дети давно взрослые, у них свои семьи, а тут мы, вроде бы единомышленники. Во всяком случае, в вопросах дачных дел. Мой друг Анатолий превзошёл всех нас по дачному искусству. Каждую свободную минуту он

отдает грядкам, деревьям, парникам. И при наших встречах один из первых его тостов: “За нашу землю”. Ну а я, работающий пенсионер, всего один раз в неделю прихожу на свою шестисотку. Понятно, что особо хвалиться нечем... Однако для здоровья полезны и такие занятия, да и кое-какая прибавка к общему бюджету.

Мы сидим, попиваем вино, говорим о Дне Победы — кто как и где встретил этот светлый день. Поминаем всех, кто действительно сотворил её, но до этих дней не дожил.

Эдуард Вардзапович, седой, угрюмый человек, смотрит на нас:

— Вот вы говорите о Победе. Хорошо. Молодцы. Видно, кое-что знаете. Но они, — он старческой рукой указал на соседнюю усадьбу, — похоже, ничего не знают. Ну, может, из книг, кино. Но там столько вранья, особенно в последнее время. Кому-то хочется стереть из памяти человеческой все подвиги, все наши потери, приписать Победу тем, кто сбоку-припеку был ко-ло войны. Те же американцы — второй фронт открыли, когда миллионы советских солдат уже погибли или попали в плен, а главное — было видно, что Гитлеру не устоять, победа будет за нами... Вот тогда и они присосе-дились — как бы не потерять германский кусок. И потом, позже, даже дого-ворились до того, что рассказали своему народу о войне, которую якобы они, американцы, выиграли. Без них русским была бы крышка. Брежнев все это. Да, американцы, хоть и с большим запозданием, помогали нам техникой, продовольствием. Помогали. А погибали, в основном, русские. Около трид-цати миллионов наших и шестьсот тысяч американцев. В пятьдесят раз меньше. И они победили. Но ведь внушают же эту чушь.

Вдруг музыка соседей прекратилась. Видно, они решили отдохнуть от неё. Зато зазвучали хрипатые голоса: “Да мне по барабану, что нет у тебя бабла. Сроки. Ты понимаешь: сроки! Все. Время пошло”.

Кто к кому предъявлял такие вовсе не праздничные претензии, мы не знали. Ясно одно: соседи Раисы Федоровны слишком крутые и никакого им дела нет до Дня Победы. Это лишь повод собраться для своих разборок.

Вскоре загудели моторы. Одна за другой машины стали выезжать из га-ража. И, наконец, наступила полная тишина.

— Эдуард Вардзапович, вы, конечно, правы. Но как вы думаете, зачем все это делается? Ведь уже договорились до того, что Зоя Космодемьянская не герой, Гастелло не герой, Александр Матросов не герой, зато предатель Власов — герой, Бандере, убивавшему тысячи украинцев и русских, памят-ники ставят, национальным героем сделали. Почему?

Тяжело вздохнув, Эдуард Вардзапович произнес:

— Это большой вопрос. Коротко на него не ответишь. Причина прежде всего в тех, кто развалил Советский Союз, кто продолжает разваливать Рос-сию. Я вот в одной газетке прочитал, что во всех войнах, в том числе и в Отечественной, мы не понесли такого урона, как в нынешней тотальной, где уже лишились четырех миллионов квадратных километров территории страны, что значительно больше, чем вся Германия, Италия, Испания вмес-те взятые. Вот где враги наши. А если говорить о Победе, то я скажу: она была нужна всем нам — русским, украинцам, армянам, казахам, татарам, всему человечеству. И мы её сделали. Слишком дорогой ценой, но сделали. О цене расскажу на примере одной моей семьи. Послушайте.

II

Веточка цветущей черешни касалась плеча Эдуарда Вардзаповича, и он, подтянув ее к своему лицу, тихо восхитился: “Как пахнет”. А потом начал свой рассказ:

— Ну так вот, послушайте. Рая знает мою историю, а вы — нет...

Раиса Федоровна пододвинула к нему тарелку с закуской, Анатолий ос-вежил стаканы, мы вышли за Победу.

— Если я чего-нибудь пропущу, Рая подскажет... В нашей семье было семь душ детей. Четверо папанов и три девочки. В голодовку девчата поуми-рали, а я с братьями как-то выжил. Хотя тоже наголодались: ели мерзлую

репу, весной лебеду, дикий чеснок, конский щавель, корни солодника, цветы акации, кашку, по праздникам — жмых. В общем, выжили. А тут война. Первыми на фронт ушли отец и старший брат. Мы тоже рвались вслед за ними, но нас не пускали. Малолетки: Вагану семнадцать, Вазгену шестнадцать, мне — пятнадцать.

Война гремела вовсю. Первую похоронку мама получила в сорок первом. На брата. Погиб под Тирасполем. Потом пришло письмо от отца. Они с братом в одной части служили. “Крепись, мать, — писал он. — Нет нашего дорого Рустама. Он погиб как герой — до последнего патрона держался, а когда его раненого схватили, подорвал себя и четверых фашистов... Горе наше большое. Но это война... Верь и сыновьям скажи — пусть готовятся. Может, и им придется повоевать. Силища на нас прёт такая, что не удержаться. Но мы держимся. И будет на нашей улице праздник. В общем, крепись и еще раз крепись, родная. А за Рустама я отомщу. Мальчикам скажи, что я на них надеюсь. И страна тоже надеется. Целую. Твой Вардзап”.

Мы наизусть запомнили это письмо. Оно было для нас как присяга.

Мама всю ночь проголосила. На всей улице слышно было. Мы не отходили от неё. Кулаки чесались — хотелось мстить и мстить.

Ваган сумел год приписать и уйти на фронт раньше срока. Как мы ему завидовали. Он попал в снайперскую группу — у него ещё до войны был первый разряд по стрельбе. Всего два письма от него получила мама. Нам же он не писал. Некогда. Как она радовалась этим письмам. Всем соседям показывала. “Представляете: снайпер. Бьёт гадов. Уже и медаль “За отвагу” получил. Мстит за брата”. Вот-вот должно прийти третье письмо.

Но пришла похоронка. В тот день мама чуть не умерла от горя. Если бы не тетя Катя, сестра её, точно умерла бы. Она все время сидела с ней рядом, успокаивала: “Ну что поделаешь — на войне убивают. У тебя еще два сына есть и муж. А у меня один-единственный сын был и тот погиб. Осталась я совсем одна. Больно, горько, но жизнь продолжается. И надо держаться. Давай вместе будем держаться”.

Мама перестала голосить. Тетя Катя обняла её, и так они до поздней ночи просидели на кровати. А мы во дворе под раскидистой орешней строили планы, как поскорей уйти на фронт, не дожидаясь своего срока.

Не успели мы наплакаться по Вагану, как подошла очередь третьего брата. Вазгену не хватало одного месяца до совершеннолетия, но он уговорил военкома. “Пока я буду добираться до фронта, и месяц пройдет. А я уже на месте. Готов сразу в бой”.

Опять рыдания, вопли матери, но брат был неумолим. “Не мешайте мне. Я знаю, что делаю”. В общем, проводили его. Дома траур. Одна радость — хоть редко, но приходили письма от отца. И мама по-прежнему читала их соседям, рассказывала. “Бог хранит моего Вадзапа. Ни одного ранения. Не слезит бы. А что ждет Вазгена? — вслух размышляла она. — Молодой, горячий. Только одна надежда — на милость Божию”.

Курс молодого бойца, писал Вазген, прошел за месяц. И сразу в бой. Точной информации не было. Может, именно в том первом бою он и погиб. Была лишь похоронка. И краткое письмо от командира взвода. “Ваш сын героически пал в бою под городом Ровно...”. А вслед за этими бумагами — письмо от отца. Он уже знал о гибели Вазгена. И так писал: “Помни, ты не одна. У тебя есть еще я и Эдик. Мы скоро увидимся. Сомнений нет — Гитлеру точно капут. Гоним его, как бешеную собаку. Получит он свое за наши потери. Надеюсь, Эдик увидит, как эти нелюди сами взывают от боли. И боль эта будет от наших рук. Крепись, моя хорошая. Я все время думаю о вас и о павших: Рустаме, Вагане, Вазгене. Будем гордиться ими. До свидания. Целую. Твой Вадзап”.

Война уже шла к своему завершению. У большинства было хорошее настроение. А похоронки, хоть и реже, но приходили исправно. Мама последнее время носилась со мной как с писаной торбой... “Эдик, джан, почему не покушал?” Мне хотелось отдать ей свою порцию баланды из гнилой кукурузы. Но она не отступала: “Как воевать будешь? Плохо ешь — откуда силы?”.

— Не беспокойся, мама, есть у меня силы. Посмотри, какие мускулы.

— Вай, не смеши меня. Мускулы. Да это же тряпки какие-то. Кушай, пожалуйста. Сынок, кушай, кушай. Война еще не кончилась... А призвуют, что делать будешь этой тряпкой.

И она потрепала свисавшую кожу на моем хилом теле.

— Мама, у меня автомат будет. ПППШ. Не беспокойся за меня. А стрелять я не хуже Вазгена умею.

За трехметровым забором снова шум, суета. Видно, вернулись драгоценные соседи Раисы Федоровны. Было слышно, как одна за другой въезжали в гараж иномарки. Других машин у “новых русских” не было.

Из-за забора из желтого кирпича слышались взволнованные голоса:

— Ну сбил ты старуху. Ей все равно помирать. Зачем с места ДТП уехал? Не остановился помочь...

— Какой помочь? Скорость сто сорок.

— Так. Бери зеленые и давай к ментам: надо всё уладить немедленно. Поезжай на моей машине. Вот ключи. А я займусь ремонтом твоей. У меня есть хороший мастер... Все заделает, будет как новенькая.

— А что со старухой делать?

— Дебил. Ей уже не поможешь. О себе думай.

Снова загудел мотор “Тойоты” и грохот закрывающихся железных ворот гаража.

“Новые русские” врубили музыку, но теперь она звучала несколько потише.

И голоса крутых соседей стали невнятными, не резали слух, сливались в общее гудение, из которого не выудить ни одной фразы.

Эдуард Вардзапович и мы молча жевали, пили вино. Было понятно, что преступники рядом, но взять их невозможно. Доложить в милицию — себе дороже.

— Что вы, что вы? — запричитала Раиса Федоровна. — Мне здесь жить. Если вмешаться, то они мою лачугу спалят. Нет, нет, пусть уж лучше сами разбираются. Давай, Толя, наливай, и пусть Эдик продолжит свой рассказ. Это интереснее.

Эдуард Вардзапович поднял стакан и опять глубоко вздохнул:

— Вот видите: их ничто не берёт. И никто не возьмёт — они нынче хозяева жизни. А разве за такую жизнь мы воевали? Я все время рвался на фронт, весь кипел. Но когда принесли повестку, впервые задумался: вот сейчас уйду, а мать останется одна. В пустой хате. Вы не представляете, что такое пустота в душе и в хате, где еще недавно на все лады раздавались голоса пяти мужчин... Держу я повестку в руке и говорю: мам, вы возьмите к себе бабушку. Чего она одна? А вдвоём вам будет легче, веселей....

Тут он вытер глаза левой рукой и закончил: давайте выпьем за то, чтоб никогда ни у кого не было такой пустоты... И за Победу, за всех ее героев — павших и живых.

Выпили. Помолчали. Закусили. Потом Эдуард Вардзапович, отодвинув цветущую веточку черешни, которая свисала над его головой, продолжил:

— Никогда не забуду, как мама провожала меня на фронт. Стоим мы с нею на платформе. Вот-вот поезд должен отходить. Она держит мою руку и говорит:

— Доведется увидеть отца, передай: советы его выполняю, как могу, держусь и жду живого. Вас обоих, живых. Так и передай, мой последний, моя последняя надежда, Эдюшенька.

Я освободился от её руки, крепко обнял, поцеловал её и убежал в вагон-товарняк. Я не выдержал её наставлений, не хотел, чтоб она увидела слезы на моих глазах, и уже из вагона крикнул ей: “Береги себя, мама-а. Я вернусь”. А потом, когда поезд тронулся, я очнулся и стал ругать себя — зачем я так? Надо было сказать: мы с папой вернемся, но исправить ошибку уже было невозможно.

Музыка за трехметровым забором из желтого кирпича звучала по-прежнему, однако в общем шуме стали различаться и женские голоса: “Дура, что ты делаешь? Черную икру надо с блинами, а красную — на бутерброды”. Этому голосу отзывался другой: “Прям сразу и дура... Понаставили тут всего и разбирайся, как хочешь — где, что”. Вмешался третий голос: “Да выключи ты эту дребедень... Давай “Ламбаду””.

— Эдуард Вардзапович, — вмешался мой друг Анатолий, разливая вино. — Чего это мы прислушиваемся, что там за забором творится? Давайте лучше выпьем за ваше здоровье.

— Здоровье — это хорошо. Спасибо, — отозвался Эдуард Вардзапович. Без него — никуда... Спасибо вам, ребята.

Зазвенели стаканы.

— Ну что, рассказывать свою историю дальше?

— Не вопрос. Рассказывайте, — ответил мой друг.

— Правда, Эдик. Пусть послушают. Да и мне интересно, — добавила Раиса Федоровна.

— Ладно... Вот жизнь: только зацвела черешня, а пчёлка уже тут как тут. Труженица.

Он отодвинул цветущую веточку в сторону и пересел поудобнее, чтоб не мешать пчёлке.

— Освоился я быстро. Через пару недель принял присягу и — в бой. Это было уже под Варшавой, в составе 1-го Белорусского фронта. Вот сейчас польская пропаганда орет: “Советский Союз — оккупанты. Бедную Польшу оккупировали...” Да если б не мы, не Красная армия, рухнул бы весь Краков, заминированный немцами. Да и Варшаву бы стерли с лица земли. А мы не допустили этого. Шестьсот тысяч советских солдат полегло, из них триста тысяч только в боях за Варшаву. А они пищат: оккупанты, оккупанты. Хотел бы я посмотреть на эту страну, если б не мы, не наша армия... Так вот здесь я узнал, что в одной из частей 1-го Белорусского фронта воюет мой отец. Замполит даже пообещал организовать нашу встречу. Может, даже в его часть перевести меня. Я так обрадовался, что успел маме короткую писульку отправить — пусть порадуется за нас. Но случилось все иначе. Тот же замполит сообщил мне, что в городе Жирардуве, недалеко от Варшавы, героически погиб капитан Миносян, мой отец. Конечно, похоронка без задержки была отправлена маме. Но как мне ее утешить? Как поддержать? Я же помню, как она провожала меня, самого младшего из всех ее детей, как ласково называла меня “мой последний”, как я обещал ей обязательно вернуться... И вот мы уже идем на Берлин. Знаю, что бои предстоят страшные... Но я обязан уцелеть. И воевать должен на пределе — отомстить за братьев, за отца.

Прошел февраль, март сорок пятого. Ни одного ранения, а на груди уже медали “За отвагу”, “За взятие Варшавы”. Вскоре бросили нас на Зееловские высоты. Самый сильный и последний укрепрайон фашистов. Атака за атакой, потери боевых товарищей, а он, гад, не сдается. Нашему отделению приказано подавить одну недостижимую огневую точку. Мы под шквальным огнем всё же подползаем к ней. Вот уже у цели. Пули свистят — “тик-тик”, а мы ползём. По команде одновременно закидали дот гранатами. И он затих. Но в этот момент по нам бабахнули из миномета. Четверо ребят насмерть. Я лежу раненый, теряю сознание и слышу протяжное “ура-а”. Догадываюсь, что мы действительно подавили фашистский дот.

— Анатолий, плесни-ка еще винца — что-то в горле пересохло, — попросил Эдуард Вардзапович. — Выпьем за моих боевых друзей, что остались там на этих проклятых высотах... А что со мной было дальше, я не помню. Уже война кончилась, а я еще полгода валялся по госпиталям. Как позже узнал, меня тоже за убитого приняли и послали маме последнюю похоронку. Когда оклемался, узнал, что случилась долгожданная Победа, что меня похоронили как героя. Вот, думаю, порадовать маму. Уцелел её последний. Живой. Выполнил обещание — вернуться.

III

За трехметровым кирпичным забором гремела “Ламбада”; похоже, танцевали там до упаду. Хохот, веселье, праздник. А чего хмуриться? Это вот мы под впечатлением рассказа Эдуарда Вардзаповича, сами того не желая, превратили праздник в тризну. Праздник на то и дан, чтоб веселиться.

— Эдик, расскажи, как ты с фронта домой вернулся, — попросила Раиса Федоровна.

— О, да это совсем не праздничная история...

Анатолий освежил стаканы, а Эдуард Вардзапович предложил тост:

— За вас, мои дорогие. Я рад, что общаюсь с такими понимающими людьми... Ваше здоровье. А теперь закончу свою печальную историю.

Возвращался домой с одним солдатским вещмешком за плечами.

Подарков особых не было — матери пуховый платок, отрез на платье, да с десяток разных консервных банок — шпроты, сгущенка, говядина, пару колясок колбасы да банка кофе. Вот, думаю, обрадую мою дорогую мамулю.

В город приехал ночью. И сразу домой. Стучу. В хате нет света, но слышен голос:

— Кто это?

— Я, Эдик.

— Нету никакого Эдика. Иди своей дорогой.

— Mam, это я, Эдик. Я с фронта, прямо к тебе.

— Эдика нет. Он погиб на войне.

— Mam, ты что... это я твой сын.

Я тогда еще не знал, что в то время по всему югу России свирепствовала банда под названием “Черная кошка”. Бандиты приходили в дома, где были демобилизованные с войны мужчины. Как правило, большинство из них привозили целые чемоданы трофеев — одежда, часы, аккордеоны, платья и прочее.

Бандиты заранее наводили справки о таких семьях и, вооруженные холодным оружием, ставили всех на колени, всё выгребали из сундуков, чемоданов, и если оказывалось сопротивление, убивали на месте, потом исчезали, оставив на дверях рисунок черной кошки. Поэтому всякие ночные гости пугали население. Все боялись грабителей.

Не зная ничего из этого, Эдуард Вардзапович стучал в дверь родительской хатки на окраине города:

— Mam, ну хватит мучить меня. Это я, твой Эдик.

Свет по-прежнему не зажигался. Темный силуэт женщины просматривался в оконной раме. Конечно, это была мама.

— Mam, ну, пожалуйста, открой сыну-фронтовику, чего ты боишься?

— Мужчина, скажи, как звать твоего отца? — прозвучал вопрос из-за двери.

— Вардзап, — ответил Эдуард.

— А брата?

— У меня их трое: Рустам, Ваган, Вазген. Все они и отец погибли. А я живой, вернулся.

— Не может быть: на тебя похоронка приходила.

— А я живой. Как обещал тебе, вернулся.

— Мужчина, последний вопрос: как меня зовут?

— Аревик Суреновна.

— Вай, внучек мой, Эдичка, это я твоя бабушка. Не узнал. А мамки твоей нет. Не дождалась. Когда получила похоронку на тебя, в тот же день и скончалась. “Ждать больше некого”, — сказала и умерла. Вай, вай, мой дорогой внучек. Входи, входи...

Дверь распахнулась, и солдат, вернувшийся почти с того света, и его родная бабушка Варсеник, крепко обнявшись, долго-долго стояли у порога. Теперь они не могли произнести ни одного слова.

А наш рассказчик, Эдуард Вардзапович, закончив свое грустное повествование, предназначенное вовсе не для такого праздника, произнес последнюю фразу:

— Вот такой ценой доставалась победа.

А за кирпичным забором вдруг стихла музыка. Было слышно, как в гараж въезжал виновник ДТП.

— И как, получилось? — спросил кто-то из невидимых нам мужчин.

— Обижает, брат. Зелененькие решают любые проблемы.

И вновь на всю мощь загрела музыка. Звучал очень любимый всем народом марш “Этот День Победы”.

ВЛАДИМИР СКИФ

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Везло мне в моей жизни по-всякому. Везло на хороших людей и на случайные встречи. И, конечно же, большим везением, а если говорить прямо — то великим счастьем я считаю свою женитьбу на Евгении Молчановой, младшей дочери известного иркутского поэта Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского. Когда знакомился с ней, конечно же, не догадывался, что она — дочь писателя, и что у неё есть родная сестра Светлана Ивановна, которая замужем за самим Валентином Распутиным! Да и поначалу эта родственность никак не повлияла на наши отношения. Более того, мы ничего и никого не видели вокруг, а стремительно, сломя голову, летели в водоворот наших страстей, встреч и расставаний, трепетных свиданий и желания никогда не расставаться. Только потом уже до меня дошло, что у нас с Валентином Григорьевичем жёны — родные сёстры и что мы стали родственниками, то есть свояками.

И вот как неотъемлемая часть нашей с Евгенией Ивановной жизни и любви к нам ворвался Байкал. Валентин, Валя, а по-родственному — Валюша — так все мы называем его в нашей большой семье — в начале семидесятых купил дачу на Байкале. Это оказался небольшой, но крепкий, из толстенных лиственничных брёвен дом (их всего восемь в стене — и уже восьмое бревно идёт под крышу) с летней кухней и стайкой (через несколько лет я эту стайку обобью изнутри саночной рейкой, и получится замечательная деревенская баня). А пока Распутины вчетвером: Валя, Светлана, семилетний Серёжа и маленькая Маруся уезжают летом на Байкал на желанную дачу.

И вот именно здесь, то во флигельке, то в основном доме Валентин Григорьевич пишет свои великие повести “Прощание с Матёрой”, “Живи и помни”, рассказы “Наташа”, “Не могу!”, “Что передать вороне?” Приведу небольшой отрывок из “Вороны”, где В. Г. описывает свой, ставший ему родным байкальский домик, его окрестности, Байкал и неразделимое с Байкалом небо:

“Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница, с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несёт прохладой и едва различимым запахом подгнивающего дерева. Сейчас этот запах проступал сильнее — верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не пришло ко мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была — как в праздник для стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, всё оставалось на месте — и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалёку от дома, и большой

сухогруз напротив на Байкале со склонённой к нему стрелой замершего портового крана, и сидящая на брёвнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдающая за мной, не понимая, как это можно подниматься столь поздно... Байкал успокаивался. На нём ещё вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белёсо-задымленному, вяло опущенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день ещё не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какой-то другой, более важной переменной, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределённо и тягостно...

Наверно, немного великих чудес на свете. Но то, что Валюша и Асланочка (так мы с лёгкой руки нашей маленькой дочери Даши — стали называть Светлану Ивановну) в 1982 году подарили нам свой домик на Байкале — это, действительно, великое чудо! Хотя до оформления дарственной мы и так часто бывали у них в гостях со своими детьми. Старшей дочери Кате в 1977 году было десять лет, а дочь Даша только-только родилась. Валя к тому времени написал свои выдающиеся, вызвавшие интерес во всём мире, произведения, а в 1978 году получил Государственную премию СССР за повесть "Живи и помни". Ему платили хорошие гонорары, и Распутины два раза отдыхали за границей: один раз — в Болгарии, на Золотых песках, другой раз — в Венгрии, на озере Балатон, а потом купили дачу поближе к Иркутску — на 28-м километре Байкальского тракта, на берегу Иркутского водохранилища.

А пока мы в отсутствие Распутиных с радостью спешили на Байкал. Нас ждали грядки, которые надо было прополоть и полить, ждал чистейший, хрустальный родник, бьющий прямо из горы в распутинский двор. Издалека призывно манил великолепный байкальский пляж, туннели, в которых наверняка жили души русских каменотёсов, ждал лес на горе, в котором водились белые грибы и чёрные грузди. А какой на горе нас ожидал старинный французский маяк! Его железное нутро скрывало внутри себя волшебную винтовую лестницу, а наверху нас ждала круглая площадка с крепким стальным ограждением, куда мы вместе с детьми забирались и обзоревали наши светонесные байкальские окрестности.

В то время, когда домик был ещё распутинский, мы с Валею по весне вдвоём выезжали на дачу сажать картошку, править похилившийся забор, вкапывать новые столбы, менять прожилыны на пряслах, вскапывать поле, пилить дрова, в общем, делать всё то, что и обязан делать деревенский мужик: содержать в порядке своё пусть и невеликое подворье.

Разговорить Валею было всегда не просто, да я и не старался нарушать его молчание или докучать своими расспросами. Работаем, молчим, обедаем — молчим, изредка перекинемся двумя-тремя словами и опять молчок. Ну, а если уж сам разговорится, то успевай слушать да мотать на ус. Однажды он довольно подробно стал рассказывать о своей родословной.

— Как-то, — начал вдруг Валя в час послеобеденного отдыха, — решил я отыскать своих прародителей — дедушек, бабушек, прабабушек. Узнал я, что в моей родове намешано множество разных кровей: есть польская кровь и цыганская, есть эвенкийская, возможно — тунгусская и, конечно же, — русская кровь.

Рассказывает он про свою родословную, а я невольно думаю, что это всё не случайно в его судьбе, что слияние разных кровей, их столкновение и взаимообогащение дали такой невероятный всплеск таланта, такой удивительный полёт мыслей и чувств, такое понимание происходящего на земле и в душах человеческих, что становится то сладко, то знобко от поистине гениальных страниц его повестей и рассказов.

— Моя прапрабабка, — продолжает Валентин, — цыганка была взбалмошной, весёлой и талантливой. Она пела в кабаках, и там её высмотрел ссыльный польский студент. Он вечерами тихо сидел у столика с нехитрым ужином и наблюдал за красавицей-цыганкой. Сидел, страдал и страдался до того, что влюбился в неё не на шутку и предложил красавице руку и сердце. В том, что она согласилась выйти за него замуж, ничего не было странного. Студент был молодым, красивым, мужественным и образованным. Произошло то, что произошло: они поженились, буйная цыганка нарожала ему кучу детей и сгинула из его жизни с проезжим купцом навсегда. Это была моя прапрабабка, а польский студент оказался моим прапрадедом. Он поднял детей, воспитал их, дал образование, вывел, как говорится, в люди. Одна из дочерей это-

го странного союза впоследствии станет моей прабабушкой. Да, в моей коренной сибирской родове, в разных браках, как со стороны отца, так и со стороны матери были цыгане, поляки, эвенки и даже тунгусы, но основной стержень всегда составляли русские.

Сидеть бы так бесконечно и слушать Валу, но мы идём ставить в заборе последнее прясло. А за вечерним чаем он поведал мне ещё одну историю, которая была посерьёзней первых двух. Зашёл разговор о читательских письмах, о том, как читают его произведения и что пишут многочисленные поклонники нашумевших в Отечестве повестей и рассказов уже известного по большому счёту писателя Валентина Распутина.

В то время некоторые его произведения уже стали экранизировать. Самым первым в 1969 году вышел в прокат короткометражный фильм Динары Асановой “Рудольфо” с Юрием Визбором (Рудольф) и юной девочкой Еленой Наумкиной (Ио) в главных ролях. В 1978 году появился на экране блистательный фильм Евгения Ташкова “Уроки французского”, а в 1979 году кинорежиссёр Лариса Шепитко подготовила к съёмкам сценарий фильма по знаменитой повести “Прощание с Матёрой” с великолепной актрисой Стефанией Станютой в главной роли. К великому сожалению, случилось непоправимое: 2 июля 1979 года на 117-м км Ленинградского шоссе киносъёмочная “Волга” на пути к городу Калинин утонула в мчавшемся навстречу грузовик. Погибли Лариса Шепитко, оператор Владимир Чухнов, художник Юрий Фоменко и их ассистенты. Завершил работу над фильмом муж Ларисы Элем Климов, назвавший картину “Прощание” (1982).

Бурятский кинорежиссёр Александр Итыгилов снял в 1980 году фильм “Сколько стоит медвежья шкура”, в который были приглашены Стасис Петронайтис, Борислав Брондуков и другие известные актёры. Кинорежиссёр Ирина Поплавская в 1981 году показала фильм, поставленный по трогательному и глубокому рассказу “Василий и Василиса”, где собралось целое созвездие лучших русских актёров: Ольга Остроумова и Михаил Кононов, Наталья Бондарчук и Майя Булгакова, Андрей Ростоцкий и Татьяна Догилева.

За чаем я спросил у Вали:

— Я знаю, что тебе пишут очень много доброжелательных и восхищённых писем. А есть ли письма, в которых тебя ругают?

— Случается, — коротко ответил он. — Однажды пришло просто разгромное письмо. Это было после публикации повести “Живи и помни”. В нём автор разносил меня в пух и прах, грозился обратиться с письмом в соответствующие органы за подрыв советской идеологии и с просьбой, чтобы меня наказали за разрушительную работу против СССР.

— И что? Ты ответил? — коротко спросил я.

— А зачем? — Валя замолчал.

— А подпись? Подпись была? И кто автор письма, он указал — кто он?

— Некто Иванов Николай Петрович, фронтовик, орденноносец.

— Тебе, наверно, стало худо от этого письма...

— Было, конечно, очень неприятно. Но потом я привык. Такие письма теперь для меня — не редкость.

— Да, странно.

— Ничего странного. Мне-то понятно, кто водил рукой того же Иванова.

— А где это письмо?

— Я выбросил. Я всё выбрасываю.

Мужики в посёлке Порт “Байкал” с великим уважением относились к Вале. Некоторые изредка, стеснясь, заходили к нему занять три рубля на бутылку, и Валя никому из них не отказывал. Как-то раз в моём присутствии постучали в дверь. Я готовил ужин, а Валя сосредоточенно сидел за рабочим столом.

— Войдите! — глуховато сказал он.

Тихо-тихо, один за другим вошли три деревенских мужика и, как будто споткнувшись о взгляд Распутина, остановились у порога, но Валя приветливо воскликнул:

— Проходите, что ж вы!? — И поднялся навстречу мужикам.

— Да мы это... посмотреть на вас...

Валя смущённо засмеялся:

— Я же не афиша, проходите!

Один мужик двинулся в комнату, где стоял стол с рукописью, а второй сдёрнул с ног сапоги и стал разматывать длинные белые портянки. Тут и я не выдержал:

— Господи! Зачем вы ругались?

Мужик в не до конца развёрнутых портянках шагнул в комнату, портянки потянулись за ним. Третий толкнул его в спину и засмеялся:

— Ну, ты! Рыбный расстегай!

И тут мы все громко расхохотались.

Мужики подошли к столу и стали смотреть в Валину рабочую тетрадь. Один, присмотревшись, вдруг произнёс:

— А это что за линии? Зачем вы их чертите?

Другой, видимо с более острым зрением, тоже наклонившись, почти вскричал:

— Дурень! Это же строчки.

— Какие строчки?

И все они сгрудились у стола, начали охать и удивляться менее чем би-серному почерку Распутина, который можно рассматривать разве что через увеличительное стекло. Я вспомнил немецкий журнал "Freie Welt" ("Свободный мир"), в котором был помещён фотоочерк о Распутине "Валентин Распутин — сибирский характер" (№ 2, 1978), где среди десятка фотографий я обнаружил фото распутинской рукописи с возлежащей на ней лупой. Там, сквозь лупу, мельчайшие буквы были чуть виднее, чем в рукописи.

В конце концов, мужики, обозрев и писателя, и рукопись, удалились, унося в кармане драгоценные для них шесть рублей, которыми Валя наградил их за смелость.

Нынче не посёлок, а сам порт Байкал разрушен до основания. Уничтожен почти весь могучий байкальский флот. Часть судов распилена и в виде металлолома продана в Китай, остальная часть приватизирована частными лицами. Напротив нашего дома на погрузочастке красовались три мощнейших немецких порталных крана. Флот и порталные краны работали бесперебойно, то осуществляя северный завоз, то перевоза грузы на БАМ, то на другую сторону Байкала, в Бурятию.

Погрузочасток был заставлен железнодорожными контейнерами, завален каменным углём и лесом. Краны мы называли "гансами", поскольку их производила знаменитая немецкая фирма "GANS". И они почему-то очень часто работали по ночам. Я однажды сочинил короткую эпиграмму:

*В порту "Байкал" стальные краны,
Покой Распутина поправ,
С акцентом явно иностранным
Грохочут, головы задрав.*

Помню, Глеб Пакулов, спустившись с горы прямо во двор к Валентину, громко прочитал это четверостишие, выделяя особой интонацией слова "с акцентом явно иностранным" и исподтишка погрозил "гансам" кулаком.

— Да, — согласился Валя, — если они грохочут все вместе, то уж тут точно не до сна.

Зато теперь ни кранов, ни флота, ни погрузочастка — чисто. Теперь напротив нашего дома расположился завод по разливу байкальской воды. Но он тоже, как многие заводы в стране, почти не работает. У него трое хозяев, и они, построив завод, теперь воюют между собой, пытаясь достаточно прибыльное, если бы не междоусобицы, предприятие с итальянским оборудованием отобрать друг у друга.

В 1982 году, когда уже мы с женой стали полноправными хозяевами байкальского домика, Валя со своим гостем из Болгарии писателем Кириллом Мончиловым приехал на Байкал. Договорился с Глебом Пакуловым, чтобы он на своей лодке свозил их на 94-й километр Кругобайкалки за синей ягодой, голубикой. Взяли с собой и меня. У Глеба была хорошая лодка "Сарепта" с мотором "Вихрь", на которой мы вчетвером и отправились за ягодой. У него есть рассказ "По ягоды", посвящённый друзьям-ягодникам — писателю Альберту Гурулёву и издателю Николаю Есипёнку. И есть ещё другой рассказ — "Век живи — век люби" — про мальчика Саньку, который по незнанию набрал голубики в цинковое ведро, а взрослые, видя это и зная, что нельзя собирать ягоды в такое ведро, не подсказали Саньке заменить его — в цинке ягода очень сильно окисляется и ею можно отравиться. Это рассказ о человеческой чёрствости, о постижении взрослого мира подростком со светлой, доверчивой, незамутнённой душой, о тех первых душевных ранах, которые рубцуются, но и тогда ещё долго не заживают.

Итак, мы мчимся в лодке по Байкалу, взяв под ягоду горбовики, съестные припасы, бутылку водки, а я прихватил с собой фотоаппарат и зачем-то любимую на тот момент книгу Василия Белова "Воспитание по доктору Споку".

Глеб ещё в лодке заявил, что за ягодой не пойдёт:

— Я ваш извозчик. Буду лодку караулить да с удочкой сидеть, может, омуля или харюзка поймаю вам на уху.

— Мы тебе выпить нальём, варёные яйца, хлеб ну и, конечно же, горячительное.

— Я когда выпью, — не остался в долгу Глеб, — совершаю подвиги.

— Бросаешься на амбразуру? — усмехнулся Распутин.

— Да! Вот только все амбразуры в порту "Байкал" остались.

Приплыли на 94-й, выгрузились, запалили костерок и сели перекусить. Достали огурцы, помидоры, варёные яйца, хлеб ну и, конечно же, горячительное. Болгарин вынул из рюкзака кружок плоской, приплюснутой, как блин, колбасы, оказавшейся твёрдым болгарским сервелатом.

Наконец-то мы перекусили, попили духмяного чайку и по узкой тропе стали подниматься по распадку вверх, в глухую тайгу. Я знаю, как Валя собирает ягоду. Он, во-первых, редко пользуется совком, зато берёт ягоду двумя руками да так легко, быстро и аккуратно, что еле успеваешь следить за его движениями. И пока я набираю одну кружку, он таких ссыпал в горбовик примерно четыре. По тайге он двигается ловко, расторопно, бесшумно. Пока мы с Кириллом Мончиловым, как два медведя, в одном направлении ломимся по распадку, он уже взлетел на перевал и спустился вниз. Бродим мы часа три-четыре. Тяжелеет горбовик, но ещё не полон. Валя зовёт нас из-под высокой лиственницы, где обнаружил самое ягодное место.

— Я уже набрал свой горбовик, собирайте и вы. Тут место хорошее ещё и для привала: сухой мох, валежина удобная — можно присесть.

Мы с Кириллом минут двадцать обираем рясные кусты, но уже еле стоим и падаем на мхи. Валя разжигает костёр, разворачивает пакет со снедью, я лезу в рюкзак и всё содержимое вываливаю на таёжную траву: конфеты, хлеб, сало, свежие дачные огурцы. Вместе с едой из рюкзака выскальзывает книжка Василия Белова.

— А это что? — показывает на книгу Валя.

— Как что? Василий Белов. "Воспитание по доктору Споку".

— Ты что же, на ягодах читать собрался?

Я смущаюсь и бормочу, что, мол, да, на привале собирался почитать.

— Кто же с книгами за ягодой ходит, чудак-человек, — шутливо ворчит Валя, заваривая смородиновым листом закипевший на костерке чай, — хотя Белову бы это понравилось. Даже в глухой сибирской тайге он воспитывает своих читателей по доктору Споку.

— Володя — лучший в вашей стране читатель. Таких во всей Болгарии не сыщешь, — добавляет Мончилов, — меня в тайге точно не читают.

— И меня тоже, — смеётся Распутин.

За ягодами мы, конечно же, ходили не один раз. И чаще всего поначалу путь начинался на лодке. Ездили на лодке и с известным иркутским фольклористом Валерой Зиновьевым, и с отчаянным, могутым лесничим Виктором Николаевичем Носыревым, которому портовские мужики дали прозвище медведь-сохатый. Носырев не построил — воздвиг! — рядом с Глебом Пакуловым такой же, как и он сам, могучий дом, перевезя с нежилой кругобайкальской станции здание заброшенной начальной школы.

Как-то в середине сентября, когда мы с Валею выкопали картошку, Носырев со своей женой Натальей причалил почти у самого дачного дома и позвал нас за брусникой. Мы охотно откликнулись, собрались, взяли горбовики, сели в лодку, и Носырев что есть духу рванул в открытое море. Буквально через полчаса нашего пути поднялся страшный ветер и начался шторм. Байкал опасен своей непредсказуемостью. Не успели мы оправиться от первых порывов шквалистого ветра, как Байкал уже раскачался, и вокруг нас заходили громадные, величиной с двухэтажный дом волны. Лодка ухнула в бездну, потом взлетела на гребень волны. На лице у Носырева не дрогнул ни один мускул. Он только заулыбался и направил лодку поперёк волны. Мы опять взлетели наверх и опять с обмирающим сердцем покатались вниз, казалось — на дно Байкала. Я потерял дар речи и молча вцепился в борт лодки, Валя тоже молчал, а Наташа закричала:

— Виктор! Ты что делаешь? Ты думай, кого везёшь! Ну-ка, прижимайся к берегу!

Носырев как будто её и не слышал, и продолжал разрезать гребни волн, то опускаясь вниз, то поднимаясь вверх по крутым водяным горам. Тут уж и Валя не выдержал:

— Витя, давай к берегу! Там, если перевернёмся, то, может, и выплывем. Носырев выбрал вдали пологое место, лихо причалил среди шумного прибоя. Мы выбрались из лодки бледные, с дрожащими от напряжения ногами и молча сели на крупные прибрежные булыги. Носырев бодро возвестил:

— Вот мы и на земле. Извините, ребята! Я вообще-то опытный штурман, так что не надо было волноваться. А теперь вперёд за брусничкой, — и он почти бегом кинулся в тайгу.

— Сумасшедший! — сказала Наталья, и мы, чуть-чуть оклемавшись, двинулись за нашим “сохатым” в лес. Байкал бушевал недолго, часов пять. За это время мы набрали отборной, спелой, тёмно-красной брусники и без новых приключений вернулись в родную гавань.

А с Носыревым мы больше за ягодой не ездили. Неповторимое, неизгладимое впечатление у меня осталось от той поездки. Теперь ни в чью лодку не сажусь. А Виктор Иванович Носырев ведь так и погиб в Байкале. В девяностых годах, в самый разгар перестройки, его затёрло вместе с лодкой весенним, взбесившимся байкальским льдом.

Весной мы приезжаем на Байкал и копаемся то в огороде, то в доме, стараясь поскорее придать жилой вид нашему байкальскому пристанищу. Как-то в середине девяностых в начале мая я, как всегда, переехал на пароме в порт “Байкал” и направился к дому. Идти мне совсем недалеко от причала, менее километра. Подхожу к дому, вижу группу ликующих людей, разливающих по бокалам шампанское и кричащих “Ура!” Иду мимо них, чтобы открыть калитку, и вдруг меня кто-то из них спрашивает:

— Вы Распутин?

— Нет, не Распутин.

— Жалко. Нам деревенские сказали, что это его дом.

— Да, это был его дом, а теперь мой.

— А это правда, что он здесь жил и писал свои книги?

— Правда.

Они снова закричали “Ура!”

— А мы из Питера. Выпейте с нами шампанского и давайте сфотографируемся.

— Но я же не Распутин.

— А кто вы? Родственник.

— Родственник...

И снова туристы грохнули “Ура!”

В 1974 году, когда мы с Валею ещё не породнились, я впервые побывал у него в байкальском доме и был очарован Байкалом настолько, что едва вспомнил себя: кто я и что со мной?

С неба сбегал яркий весенний день. Он распахнул свои крылья над Байкалом, обнял нежным теплом посёлок, спешащих в школу детей, теплицы, первые чёрные грядки, рассаду в горшочках, улыбчивые лица людей, дорогу вдоль Байкала, ручеёк, бежавший прямо из горы в распутинском дворе, и самого Валентина Григорьевича с его простыми человеческими делами, которыми он занимался в тот день, и где у Байкала были свои заботы, а у Распутина — свои.

Байкальский день!

Ах, как он разгорался!

Ах, как он плавил слиток Ангары!

Его лучи оранжевою краской

Раскрашивали дачные дворы.

Его лучи — нектаром благодатным

Одаривали почки и цветы.

Из крепких ульев

Над селом нарядным

Летели пчёлы в дачные сады.

Байкальский день. Натянута верёвка.

Хозяйки сушат дачное бельё.

Дотошный день. Посажена морковь,

Чтоб дети летом хрумкали её.

*В искрящемся, ликующем затоне
Байкальский лёд на иглы разделён,
И у Байкала тянутся ладони
Осыпать мир холодным хрусталём.*

*Мне кажется, Вселенную разбудит
Гремучая байкальская волна...
В тугую грядку Валентин Распутин
Бросает золотые семена.*

*Он Слово Вдохновенное посадит,
Которое не зарастёт быльём...
Хорошей жатвы,
Мудрый наш писатель,
Тебе в байкальском домике твоём!*

Осень 1997 года сохранилась в моей памяти навсегда.

От моего дома до Хамар-Дабана ширился Байкал, ровный и спокойный, в нём спала ясная небесная бирюза. Ощущение было такое необыкновенное, что казалось, будто небо и Байкал поменялись местами. Природа, словно обманутая, подкидывала мне во двор свои волшебные подарки. Видимо, ничего не понимая, что с ними происходит, заново расцвели одуванчики, жарки и колокольчики, загорелся малиновым пламенем багульник. Трава и не думала жухнуть и желтеть, а напротив, зеленела даже на дорожках. Хотя ночью, украдкой, по щекам распадков ударяли первые морозцы, и щёки-склоны начинали краснеть, пламенеть, будто стесняясь, что сладко спали и прокараулили появление резвых ночных разбойников.

Я приехал на дачу копать картошку, рассчитывал прожить на Байкале три дня, а прожил целый месяц.

Это была моя байкальская “болдинская осень”.

Когда я уже дописался до ручки, со мной произошло невероятное. Шла последняя неделя моего пребывания на Байкале, и тут в одну из ночей на даче приключилась довольно странная история. В очередной раз я работал до двух часов ночи. Дописал стихотворение “Флоксы”, отложил в сторону бумагу и ручку, расстелил постель и лёг поспать. Не засыпалось. Более того, в кромешной темноте прямо над собой я услышал долгий, воистину живой звук натянутой струны. Звук был не громкий, но очень тревожный. Прошло полминуты, снова раздался звук струны, потом ещё и ещё, раз за разом чудились мне невероятные, странные, медленно уходящие в темноту звуки. Я поднялся с кровати, звуки продолжали являться из ниоткуда и тревожить всё моё существо. Неужели, думаю, я схожу с ума? Дописался. А струна продолжала звучать.

Тогда я встал, вышел на улицу и стал искать эту непостижимо звучащую субстанцию. Было тихо, даже Байкал едва шелестел в тёмном космическом пространстве. Может быть, это гудит берёза, которая прижалась к распутинскому флигельку, или позванивает сам флигельк, вспоминая неторопливого хозяина, его шаги и слова. Послушал берёзу, потрогал её. Но берёза молчала. Флигельк тоже не издавал ни звука.

Я ведь вправду, как полоумный, стал исследовать всю проволоку, какую подвешивал на гвоздь, вбитый в стену дома возле мастерской. Но это же не струна, а свёрнутая в мотки проволока. Как она может звучать?

Полежав ещё минуты три, я встал, включил свет, сел к чистому листу и почти без помарок написал стихотворение:

*Я ночью, пробудившись ото сна,
Лежу один во тьме несокрушимой.
В ночи звучит негромкая струна...
Откуда этот звук непостижимый?*

*Быть может, это Ангелы во тьме,
Создателем отпущенные к миру,
В предутренней осенней кутерьме
Несут мою истерзанную лиру.*

*А может, это у меня Господь
С души покровы тёмные срывает.
Наверно, Он, обретший кровь и плоть,
Струну небес негромко задевает.*

*А может, сон царапает сосна?
Поводит ворон крыльями из жести?
Наверно, эта странная струна —
Забытых предков тайное известье.*

*Их слово заповедное — во мне,
Их вера мне передалась в наследство.
Вновь наяву, а может быть, во сне
Под звук струны я проживаю детство.*

*И кажется — расходится стена,
И светлячками бездна расцветает.
Звучит над бездной вещая струна,
И над струною Ангелы летают.*

В пятом часу утра я лёг спать. Уронил голову на подушку, прислушался. Струна перестала звучать, и я с облегчением заснул.

Прошла неделя. Я вернулся домой, вывез картошку и успел на наш знаменитый праздник русской духовности и культуры “Сияние России”. В доме литераторов мне случилось прочитать несколько стихотворений, среди которых была и “Струна” — гостям праздника и Валентину Распутину, который вёл в Доме литераторов вечер встречи. После того, как закончился вечер, Валя похвалил меня за стихи и подарил только что изданную книгу “В ту же землю”.

Эта книга и особенно одноимённый рассказ потрясли меня настолько, что я долго ходил с кровоточащим сердцем и не мог найти покоя несколько дней. Каким же надо обладать даром, какой несоизмеримой ни с чьей болью за своё Отечество и каким пронзительным чувством сопереживания с родной землёй и её людьми, чтобы так горько, так больно рассказать о происходящем с нами и со страной!

И ещё меня поразила необыкновенная рассказ-загадка “Видение” о звучащей тёмными, осенними ночами струне, которая, по всей вероятности, являлась совестливому писателю для осмысления душевных болей и тягот, для постижения нашего несовершенного бытия на увенчанной Господними красотоми, но истерзанной русской земле.

“Стал я по ночам слышать звон. Будто трогают длинную, протянутую через небо струну, и она откликается томным, чистым, занывающим звуком. Только отойдёт, отзвучит одна волна, одноголоса, пронизывающе вызванивается другая. Я лежу, полностью проснувшись, весь уйдя во внимание, охваченный тревогой, и вслушиваюсь: чудится это мне или не чудится? Но почувдаться может однажды, дважды, а не каждую ночь с редкими перерывами. Чудиться может и днём, а днём этого не бывает. Я отчётливо слышу возникающий где-то надо мной от нарочитого и осторожного прикосновения струнный звук, растекающийся затем в слабое, печальное гудение. Я не знаю, он ли будит меня, или я просыпаюсь чуть раньше, чтобы слышать его от начала до конца. Странно, что ни разу мне не удалось взглянуть на светящийся циферблат маленького будильника, стоящего совсем рядом, на столике, — достаточно повернуть голову, чтобы проверить, в одно ли время я просыпаюсь. Вызывающийся, неведь откуда берущийся, неведь что говорящий сигнал завораживает меня, я весь обращаюсь в слух, в один затаившийся комок, ищущий отгадки, и обо всём остальном забываю. Страха при этом нет, а то, что повергает меня в оцепенение, есть одно только ожидание: что дальше? Что это? — или меня уже зовут?..”

А какая в рассказе, как будто кистью художника и одновременно словами поэта явлена картина осени, описание которой во всей её совершенной красоте подвластно было разве что Александру Сергеевичу Пушкину! И, наверно, не случайно здесь упомянута строка из его стихов:

“Люблю и я “пышное природы увяданье”... Да и как не любить его, если весь год для того, кажется, и набирался, наливался, готовился, чтобы выставить под приспущенное, тоже словно отяжелевшее небо дивный разукрас земли, освобождающийся от бремени. Горячо рдеют леса, тяжелы и душисты спутанные травы, туго звенит, горчит воздух и водянисто переливается под солнцем по низинам; дали лежат в отчётливых и мягких границах; межи, опушки, гребни — всё в разноцветном наряде, и всё хорошится, важничает, ступает грузной и осторожной поступью... И всё роняет, роняет семена и плоды, устилая землю. “Бабье лето” теперь помолодело: весна вдвигается в лето, а лето в осень, в сентябре ещё зелено, ядрено, крепко, осенью и не пахнет, а снежный саван между тем приготавливается без промедления. Через неделю после Покрова ударит мороз, а потом будет мокнуть, ворочаться с боку на бок, томиться. А потом и вовсе обсохнет. И весь на опоздках сохранившийся убор густо полетит-заметелит крупным пестрым сеевом, обнажая всесветную чуткую печаль. В эти дни чаще всего вспоминают Бога.

Тут и наступает самая близкая, самая желанная мне пора: моя осень. Та, что приходит после дождевых и ветровых трёпок, высквоженная, облетевшая и тихая, прошедшая через волнения и боли, смирившаяся уже и полуобмершая. Остывающее солнце ещё пригревает, воздух кажется застывшим, последние листочки срываются и падают медленно, выкланиваясь и крылясь; земля порыжела и пригнула к себе травы, в высоком дремлющем небе медленно и важно проплывают большие птицы, оставшиеся на зимовку. Сладко пахнут дымы, стелющиеся понизу, тенётся высохшая и выбеленная паутина, вода в реке глянцево замирает, затихает ночной звездопад, обронив летние светлячки; избы по деревням стоят присадисто — точно пустили на зиму корни. И вся тяга вниз, к земле... Солнце заходит с бледным заревом и подолгу дремлют сумерки, подсвечиваясь дневным настоем. Это особая, неразгаданная пора; в эту пору, когда сезонное отмирает, рождается что-то вечное, властное, судное...”

Это был самый короткий во всём творчестве Распутина и, действительно, самый мистический, глубокий рассказ, где писатель перемещается в пространстве и во времени таким образом, что видит себя в себе и тут же наблюдает себя со стороны. В то же время он размышляет о происходящем реально, спокойно и даже буднично, как может писать только Валентин Распутин:

“В такие мгновения, когда возникает и удаляется стонущий призыв, я ко всему готов. И кажется мне, что это моё имя вызванивается, уносимое для какой-то примерки. Ничего не поделаешь: должно быть, подходит и мой черёд. Сколько раз за тридцать с лишним лет своей сочинительской работы я заигрывал с этим чувством готовности, воображая его услужливым, при котором бы ничего не менялось. Я входил в роль, самоотверженно и вполне искренне играл её, всё существо моё умело меня убедить, что до отмеренной мне черты простирается бесконечная даль с бесконечным же вкушением радостей жизни. Но теперь-то я знаю, что обман в бесконечность кончился, никого из оставшихся в нашем корню старше меня нет, и глаза мои всё чаще обращаются вовнутрь, чтобы различить прощальный пейзаж. Я способен ещё на сильное чувство, на решительный поступок, ноги мои могут вышагивать легко, и наслаждение от ходьбы я не потерял, но что же лукавить: свежим силам возобновляться неоткуда, и всё, что предстоит впереди, — это жизнь на сухарях. Всё чаще застаю я себя в одиночестве в стенах, уже ставших мне знакомыми, но не мною выбранных, а точно бы какою-то силою под меня поставленных. Я нахожу там любимые предметы, собственные вещи, чтобы легче было привыкнуть, но никто из родных ко мне не заходит, и я не жду их, а долгими часами смотрю в огромное, во всю стену, окно на одну и ту же картину.

И картина знакомая, только я никак не могу припомнить, откуда она. Я много ездил, многому из увиденного отдавался с такой любовью, с такими умиленными слезами, что готов был раствориться в нём вслед за теми, кто, добавляя красоты и неги, растворились там до меня. Может быть, это что-то из мимолётного и яркого прошлого, из зрительных впечатлений, оставивших отпечаток в душе, — не знаю. И это что-то из осени, совсем поздней осени.

Я вижу себя в небольшой, вытянутой к окну комнате с двумя боковыми стенами. На месте лицевой стены окно от пола до потолка, на месте задней — дверь, огромная и высокая, двустворчатая, с лепными квадратами в три яруса

и двумя фигурными медными ручками; за такой дверью тоже должно находиться что-то огромное. Но мне почему-то ни разу не приходило в голову заглянуть за неё. Моё место у окна в низком лёгком кресле, старом и продавленном, с обрывающимися подлокотниками. Кресло из моей домашней обстановки, оно из тех вещей, неведомо как здесь оказавшихся, которые примиряют меня с этой комнатой. Его давно следовало отправить на свалку, но я привыкаю к вещам и боюсь с ними расставаться. Слишком много в них меня. И когда я проваливаюсь в кресле чуть не до пола, мне кажется, что я удобно устраиваюсь в себе. . .”

Через несколько дней мы ехали с Валею на его дачу, что расположена на 28-м километре Байкальского тракта, и заговорили о струне.

— Валя, как же так случилось, что мы почти в одно и то же время написали об одном и том же?

Валя улыбнулся и, как всегда, легко отшутился:

— В этом виноваты наши жёны!

Может быть, это и так. Но я-то думаю, что не случайно мне так легко пишется в распутинском доме. Много в этих стенах и во дворе мне напоминает о нашем давнем совместном бытовании то весенними, то летними днями, а то и скороспелой осенью. Вот рябинка, которую он посадил. А вот скамеечка между двух лиственниц, тоже сделанная его руками. Рябинка за эти годы вытянулась и превратилось в высокое, с кистями красных ягод дерево. А одна ветка изогнулась таким образом, что ушла в сторону от материнского ствола и распласталась над скамейкой, засыпая её по осени длинными, узкими багряными листьями. Здесь он любил сидеть вечерами с кружкой горячего, до черноты заваренного чая и долго, неотрывно смотрел на Байкал, поднимающий свои валы, как живые мысли. В этом доме Валя во всём, куда ни глянь! Его мистическое присутствие, его дыхание, человеческое тепло и сила таланта — они, несомненно, какой-то ощутимой частью живут в его бывшем доме.

Я это знаю, я верю в это.

ВИКТОР БРОНШТЕЙН

ТАМ, ГДЕ КРУТИЛИСЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ...

Из записок иркутского предпринимателя

От автора

Спустя двадцать с лишним лет после начала самостоятельного плавания в мире бизнеса я, взявшись за перо, смотрю на свои первые шаги в мире лихих денег с позиции умудрённого немалым опытом и обрамлённого сединой весьма зрелого то ли предпринимателя, то ли поэта, то ли социолога, а может быть, с позиции этого странного и нечастого в нашем мире триединства.

В голове крутятся немало вопросов, которые хочется задать своему ушедшему навсегда в наивное советское прошлое сорокалетнему двойнику. И один из главных вопросов: почему этот прошлый “Я” начал бизнес с чистого листа и не попытался использовать свои прочные знания и связи, наработанные за двадцать лет на трёх крупнейших предприятиях области: “Радиозаводе”, “Востсибэлементе” и в объединении “Иркутсктяжмаш”?

Этому, по-видимому, есть несколько объяснений. Основное — это всё же впитанная от предков истинно социалистическая мысль о том, что личный заработок на ресурсах, созданных не тобой, а государством, больше похож на мошенничество и грабёж, нежели на предпринимательство.

Второе обстоятельство в том, что крупные предприятия акционировались несколько позже, чем родилась моя фирма, и левые заработки коммерческих служб если и были, то, как правило, по секрету. Участвовать в таких схемах я не хотел.

Наверное, поэтому я и начал свой бизнес в совершенно незнакомом мне безбрежном море продовольственного рынка страны.

На начальном этапе постсоветской перестройки, где-то до 1993–1995 годов, сохранялась, хотя и довольно быстро слабеющая, эпоха дефицита. Искусство торговли требовало, прежде всего, умения добыть нужный товар...

1. Сахарное дело

Тесно работая с Молдавией по поставкам вина и фруктов, мы с моими коллегами по бизнесу Батразом и Гайдой познакомились и даже сдружились с руководством “Молдконтракта”, дающего разрешение на вывоз продукции. Эта государственная организация имела двойственное подчинение: и республиканскому правительству, и доживающему свой век Госснабу СССР. Её как бы “старшим братом” была московская организация “Росконтракт”, с коей

мы познакомились уже через своих молдавских друзей-приятелей. Представили они нас как надёжных партнёров, умеющих выполнять договорные обязательства, то есть вовремя оплачивать полученную продукцию. Основным дефицитом, тормозящим торговлю в пору гайдаровских реформ, были оборотные средства — финансы. Госпредприятия их быстро теряли благодаря законодательному ограничению наценки на произведённую продукцию двадцатью пятью процентами и безудержной инфляции. Новые же структуры ещё не встали на ноги достаточно прочно. Поэтому все основные поставки шли без предоплаты, и репутация надёжного плательщика в ту безденежную пору была главным капиталом.

Ожидаемых Батразом вина и фруктов, на которых он специализировался, в свободном распределении “Росконтракта”, несмотря на долгие обещания, не оказалось. На местах уже начали проявлять предпринимательскую самостоятельность разные мелкие перекупщики, и большая часть ходовой продукции пошла мимо централизованного распределения, присущего уходящей эпохе.

Но зато “Росконтракт” вскоре предложил новый для нас товар — сахар, причём в огромном количестве — от 20 до 40 вагонов.

Батраз не проявил к сахару особого интереса, так как не знал ни конъюнктуры, ни цен. Огромные опасения, правда, совершенно другого рода, возникли и у меня. Вдруг к моменту прихода наших вагонов в городе будет избыток сахара? На сливочном масле немало предпринимателей по причине дефицита, неожиданно перешедшего в избыток, разорились. Так и сахар могут приобрести по “тепличной” схеме вёртки ребята из “Иркутской биржи”. Дружба с чиновниками обеспечивала этой так называемой бирже особую “валюту” — попрочней, чем американский доллар. Этой “валютой” были весьма дефицитные нефтепродукты, в том числе бензин, производимые на мощнейшем в масштабах России нефтехимическом комбинате города Ангарска. Поскольку государственная цена на нефтепродукты была в разы ниже рыночной, то продавать продукты для области хозяева биржи могли и по заниженным ценам, не забывая, конечно, и про свой, как выяснилось позже, немалый “припёк”. Вино не являлось товаром первой необходимости, и его по этой схеме не завозили. Не замораживались они особо и на рыбе, не хотели, по-видимому, связываться со скоропортящейся продукцией. Сахар же совершенно другое дело. По идее он, будучи социально значимым в преддверии сезона заготовки ягод, должен быть их товаром. Но с другой стороны, если они и привезут сахар, то ниже устоявшихся рыночных цен продавать его вряд ли будут. Бескорыстие, активно проповедуемое в социалистическую эпоху, с наступлением либеральной свободы моментально испарилось.

После этих быстро промелькнувших мыслей я решил играть почти по максимуму и согласился заключить, как всегда рискованный, договор аж на 35 вагонов; в денежном выражении это была огромная по тем временам сумма, но сейчас она может показаться весьма и весьма скромной — настолько подешевел рубль: если для простоты восприятия её выразить по курсу 2013 года, получится более двух миллионов долларов, а по курсу начала 2014 года — уже менее полутора миллионов. И ведь рубль продолжает катиться вниз, как с ледяной горы, с ускорением, полученным от украинских событий.

Как тут снова не вспомнить “юбилейную” столетнюю давность — переломный рубеж в истории России, с которым целый век сравнивали уровень развития экономики (особенно в советское время) — стабильный 1913 год и трагический 1914-й, когда при вступлении в Первую мировую войну империя подстерегла военная и экономическая катастрофа. Неужели экономическая пропасть подстерегает нас и ровно сто лет спустя?..

В сахарную пору 90-х годов, полную надежд на хорошее будущее и для себя, и для окупившегося в рынок всего Советского Союза, подписывая рискованный договор, я рассуждал арифметически просто. Всё же сахар не рыба и не масло, хранится намного проще, если его не подмочат, конечно... Но отчего бы и не рискнуть? И я лечу в Иркутск организовывать предстоящую приёмку и хранение более двух тысяч тонн ранее незнакомого продукта.

В накурленном салоне самолёта начала лихих 90-х, в салоне, больше похожем на дешёвый кабак, дорвавшаяся до свободы публика галдела так, что, казалось, ещё немного, и она пойдёт в последний пляс с битьём иллюминаторов для остроты ощущений. Я был готов к такому шестичасовому “комфарту”. Поэтому надел тихие наушники, из сырой марли сделал подобие воздушного фильтра для дыхания и погрузился в недалёкие воспоминания.

Вспомнилось, что ведь и я легко мог быть в активе биржи, а может быть, даже и её председателем, и в хорошей компании проворачивать самые хит-

рые бартерные сделки. Покупал бы товары, подчас не выходя из кабинета, за нефтепродукты, выделяемые по так называемым областным квотам, а не мотался бы по всему постсоветскому пространству от Камчатки до Таджикистана в поисках товара и не натёкался бы на рогатки, вольно или невольно подстроенные новоявленной биржей.

Вряд ли кто-то из сегодняшних “биржевиков” знает, что у самого истока создания их организации были мы с другим изобретательным производственным Вениамином Киршенбаумом.

У него дома на заре перестройки обсуждали мы почти фантастическую для той поры идею создания первой в Иркутске биржи. В Москве кое-какие шевеления в данном направлении уже начались. Был в нашей компании ещё и Борис Драгилев, традиционно отдыхающий летом в Иркутске на старенькой родительской дачке. В ту пору у него ещё не было авторских спектаклей одного актёра, хотя его бардовские песни в собственном исполнении не раз звучали даже по центральным каналам радио и телевидения. Был он и весьма эрудированным кандидатом технических наук, правда, столицу покорял не формулами, а гитарой. Интересно, что, имея хорошую квартиру в центре Москвы и престижную иномарку, в Иркутске он ностальгически хотел оставаться в атмосфере детства. Жил в тесной насыпной дачке с родителями, а позже только с мамой и братом, и при этом ездил на стареньких допотопных папиных “Жигулях” с почти старинными чёрными номерами. Не раз приходилось спасать его заглохшее авто, посылая механиков, а иногда и запасной современный автомобиль на какой-нибудь из оживлённых перекрёстков. Во всём остальном, кроме этой причуды, Борис был очень даже продвинутым москвичом.

После нашей “тайной вечера” по созданию биржи мы решили провести расширенное организационное собрание уже не на кухне у Киршенбаума, а в центре города, в старинном особнячке (угол улиц Киевской и Дзержинского), который в скором времени был отвоёван в собственность биржевого начальства. Борис в ту пору укатил уже домой в Белокаменную, зато на оргкомитет пришло много других новаторов, рвущихся в капитализм. Среди новичков был и безработный Эдуард Розин. За неделю до нашего сбора он приехал в Иркутск, отработав несколько лет в Монголии. Его как самого свободного мы и решили выбрать председателем оргкомитета по рождению биржи. По нашей российской традиции первым делом он напрочь рассорился со своим “библейским земляком” и председателем инициативной группы Киршенбаумом и вскоре стал полновластным хозяином биржи.

Я в ту пору работал заместителем директора по экономике арендного предприятия при Иркутском заводе тяжёлого машиностроения. На собрании мне предложили стать неосвобождённым пока заместителем председателя оргкомитета биржи. Я попросил несколько дней на раздумья и категорически отказался. По здравому рассуждению я пришёл к выводу, что вреда от этой зародившейся в Москве новации для экономики Иркутска, да и России в целом может быть много больше, чем пользы. И когда руководство области поймёт суть этой хитрой структуры, то позора и, не дай Бог, уголовной ответственности не избежать. Рисковать престижем фамилии моего отца и дяди — орденосносных, широко известных руководителей крупных предприятий — я просто не имел права. А того, что путь разрушения экономики вскоре станет официальной столбовой дорогой движения России, я и предположить не мог.

Выбранный нами председатель биржи неожиданно развил бурную деятельность, пригласил заместителем своего брата — молодого в ту пору, но уже крупного руководителя строительной отрасли. За ним потянулись и другие весьма способные молодые руководители, жаждущие новых возможностей самореализации. Некоторые из новоиспечённых биржевиков до этого прошли школу комсомольских вожаков, а потому научились более чутко, чем я, улавливать волю правителей, в одночасье заменивших КПСС. Не отягощены они были и кандидатскими диссертациями по экономике и избыточными знаниями, сигнализирующими, что большинство новаций — дорога в никуда.

Через несколько лет напряжённой работы председатель биржи, он же главный контролёр финансовых потоков, успешно перековался из коммуниста в заправского капиталиста. Вскоре он, очевидно, почувствовал, что его способностям, а особенно деньгам тесно в Иркутске, и укатил на ПМЖ к тёплым берегам защищённой со всех сторон Америки. Правда, большая удалённость от Иркутска и моря-океаны не спасли нашего путешественника. Не все сочли его финансовый взлёт справедливым, и вскоре на “новой родине” ему очень настоятельно предложил поделиться капиталом от непыльного бизнеса

один из иркутских товарищей по работе, правда, с хорошими криминальными связями. Предложение было сделано в весьма представительной компании с участием главы преступного мира — Япончика. Последний, как известно, мелочами не занимался и вполне успешно ряд лет встречал в Америке беглых российских богачей. Сам он выполнял, по-видимому, роль незабвенного Бендера, предлагая беглецам щедро поделиться награбленным в России богатством. В результате “дележа” экс-председатель биржи остался, говорят, еле живой и изрядно похудевший финансово.

На этом злосключения биржи, олицетворяющей первые капиталистические успехи иркутского бомонда, не закончились. Между оставшимися биржевиками, каждый из которых по натуре был лидером, началась нешуточная борьба за соблазнительный финансовый поток и другие наработанные богатства, включая и особняк. Эта нешуточная борьба за раздел “пирога” едва не закончилась братоубийственной стрельбой недавних товарищей...

Такие воспоминания навеяла в самолёте моя рискованная сахарная сделка. По-хорошему, перед заключением контракта следовало, конечно, позволить и поинтересоваться планами владельцев “нефтехимической валюты”. Но вся их деятельность была окружена, во-первых, завесой тайны, а во-вторых, и они в нашей переходной неразберихе были склонны к экспромтам. Подвернётся сахар — привезут и его.

По прибытии в Иркутск я убедился, что сахар пока в остром дефиците. И уж что вовсе было неужиданно — меня, очевидно, с подачи приятелей, работающих в администрации, среди других солидных руководителей пригласили к заместителю главы областной администрации по сельскому хозяйству и торговле Колодчуку Александру Васильевичу. Он проводил совещание по предизменному заводу продуктов. Магазины в новых капиталистических условиях никак не приближались тогда по изобилию к западноевропейским стандартам, а скорей, откатывались назад — к Северной Корее. Старое порушили, как всегда, по-кавалерийски быстро, а новое ещё только рождалось.

Первой позицией продуктового дефицита на совещании был назван... сахар! Основным ответчиком по этому вопросу выступил заместитель директора мощнейшей, недавно акционировавшейся организации “Росбакалея”.

Хорошо поставленным голосом социалистического хозяйственника он заявил, что у их базы никаких проблем с сахаром не предвидится: они, как и в прошлые годы, готовы к сезону заготовок и к зиме, а значит, примут и отгрузят по назначению, в том числе и на север Иркутской области и в Якутию, до 150 тысяч тонн сахара. После этого почти торжественного заявления меня кинуло в холодный пот от названных страшных цифр, готовых, как я понял, обрушиться на Иркутск. Победно оглядев собравшихся, докладчик, иркутский представитель “Росбакалеи”, хотел было сесте, но хозяин кабинета задал простой и очевидный вопрос: “Каковы сроки прихода столь необходимого жителям области продукта?”

Нисколько не смутившись, руководитель-капиталист, недавно ушедший вместе с базой в свободное от министерства торговли и местной партийной опеки акционерное плавание и быстро “мастеривший” на “своих” бескрайних складах рынок, ответил, что сахар будет в магазинах немедленно... после того, как он его получит. Но когда получит — ему неизвестно, так как в министерстве торговли идёт полнейшая то ли реорганизация, то ли ликвидация, а никто другой сахар ему пока не отправляет. В Москву по этому вопросу он никогда ранее и, естественно, теперь не выезжал и где добывать сахар — понятия не имеет. “Привезут — переработают!” — бодро заверил выступающий, изрядно повеселив присутствующих.

Все остальные участники заседания, в том числе и “биржевики”, пообещали, что приложат все силы к поиску сахара. Когда дошла, наконец, очередь и до меня, то я к всеобщему удивлению скромно сказал, что ожидаю несколько тысяч тонн сахара... дней через десять. На какое-то мгновение воцарила полная тишина.

Сразу же после совещания я выяснил, что сахар уже отгружен с Украины, и вагоны “громяхают” на стыках где-то недалеко от Уральских гор. Через четыре дня после совещания сахар был в городе и расхватывался магазинами за немедленную оплату прямо с колёс, да ещё и с хорошей наценкой.

Московские кабинеты умирающего Госснаба ещё несколько раз вознаграждали сахаром наши неустанные мытарства по, увы, также доживающей свой век некогда могучей и обширной империи.

Через год ни “Росконтракта”, ни “Молдконтракта” уже не было, и поставка сахара в Россию, в том числе и с Кубы, и с Украины, и из других стран пе-

решла в руки вёртких иностранных фирм или совместных с иностранцами предприятий. С некоторыми из них мне удалось установить прямые связи. В результате лет семь-десять моя фирма “СибАтом” была крупнейшим поставщиком сахара, муки и круп в родной город.

В эти же годы мы первыми из иркутских предпринимателей начали развивать и свою торговую сеть, купив и взяв в аренду несколько десятков магазинов. Наряду с торговлей продуктами запустили мы и своё хлебное производство, и крупный цех полуфабрикатов, и цех пивоварения, открыли также несколько ресторанов, несколько мебельных магазинов и в Иркутске, и в Ангарске. В конце 1990-х — начале 2000-х годов “СибАтом” стал, пожалуй, самой значительной и известной коммерческой фирмой г. Иркутска на продуктовом фронте.

2. Банановый арбитраж

Впервые о существовании арбитражного суда услышал я совершенно случайно дома, хотя был преуспевающим студентом-машиностроителем. Я на “отлично” сдавал марксистско-ленинские общественные науки, разоблачающие варварство бездушного капитализма, вариант которого в самом чистом виде мы, кажется, самым мистическим образом и накликали на свою многострадальную Родину. Во многих других капиталистических странах в общественном устройстве есть изрядная примесь социализма и, как результат, — **значительно большая, чем у нас, социальная справедливость**. С устройством же родного государства, на просторах которого предстояло жить и работать, в студенческие годы я был, как оказалось, совершенно не знаком.

Судился, причём весьма напряжённо и нервно, в социалистическую пору мой отец — директор мясокомбината и к тому же юрист по образованию. Я видел, как он лично вникал во все детали и редактировал дома тексты подаваемых в суд документов. При наличии на комбинате юридического отдела его непосредственное участие в деле казалось мне странным, как надуманным и очевидным казался и сам предмет спора, в котором отец был, конечно, прав на все сто. Судите сами.

Московский мясокомбинат направил отцу в “порядке взаимовыручки” несколько секций мяса. Но анализ ветеринарной лаборатории показал его, мягко говоря, не первую свежесть, а значит, полное несоответствие техническим условиям и ГОСТам. Хотя что-то не очень качественное из него можно было исхитриться произвести — “по-нашенски на авось”. Но это, как говорится, похмелье на чужом пиру. “Кто испортил, тот пусть и рискует”, — так рассудил отец и отправил вагоны назад в Москву. За время путешествия мяса, по-видимому, испортилось окончательно. Кто из двух директоров виноват в немалых потерях общенародного добра, и явилось, как я понимал, предметом спора. Московский директор оказалась с прекрасными связями в подкармливаемой ею столице, где и рассматривалось дело. Несмотря на всё красноречие и напористость отца, правдами, а больше неправдами дело выиграли оппоненты. Отец оказался “стрелочником”. С учётом большой суммы убытков его тут же приказом министра отстранили от директорства, к тому же он второй раз оказался на волоске от уголовного дела. Таким подавленным из-за потери любимой работы, а значит, из-за разрушения всего образа жизни и жуткой несправедливости я его ещё никогда не видел.

Но горе продолжалось буквально сутки. Первый секретарь обкома партии Н. В. Банников, вникнув в суть дела, приказал отцу продолжать работать, заверив, что отстаивает его перед московскими очковитателями. Суть его разговора с министром, как мы узнали позже, была проста: “Вы сняли — вы срочно и присылайте не менее сильного и заслуженного директора”. Но таких в “кубышке” министерства, естественно, не оказалось. Хорошие директора, как известно, “продукт” штучный. И буквально через три дня приказ министра был отменён, причём выговор для порядка влепили обоим не поладившим директорам. Из этого случая я сделал вывод об “объективности и неподкупности” московских судей, а также, что “судись — рядись”, а всё на местах решают “партийные князья”, если руководитель в их поле зрения, то есть “номенклатура”.

В наше время нет ни всевластных обкомов КПСС, ни отраслевых министров, хотя чиновного люда стало больше. Поэтому решение арбитражного суда теперь окончательно, с той оговоркой, что дело рассматривает три, а иногда и четыре инстанции, правда, не всегда более объективных, чем при

социализме. Последней инстанцией иногда является Высший арбитражный суд Российской Федерации.

Суть нашего дела была слегка схожа с отцовским. Мы получили целую секцию испорченных бананов, тонн так 120–140. Убыток — около ста тысяч долларов, что весомо всегда, а в начале коммерческого пути особенно.

Естественно, что у меня по аналогии сразу же мелькнула мысль предъявить иск фирме-отправителю фруктов. Но это не мяскокомбинат, есть ли у неё чем ответить? Внимательно изучаю договор, а юрист, работавший в ту пору на полставки, пытается выяснить информацию по предполагаемому ответчику. Фирма оказалась вполне состоятельной, недвижимость и материальные запасы были. Позже большинство торгующих предприятий начали перекидывать все материальные ресурсы на “боковые” фирмы, чтобы в случае налоговых и других “наездов” можно было вмиг опустевшую фирму бросить или безбоязненно обанкротить. Наиболее нахальные фирмы, не заботящиеся о своей репутации, — их, к счастью, меньшинство, — подобным образом “кидают” всех кредиторов, не расплачиваясь, в том числе, и за поставки продукции.

Но радоваться было нечему. В договоре указывалось, что наша ответственность наступает с момента получения продукции непосредственно у продавца и погрузки её в секции. Маленький юридический “зазор” в этой формулировке, как показалось, есть. Получение продукции — это одно действие, и происходило оно в их складе. Погрузка — другое, и отстают эти события друг от друга на полтора суток. Складское хранение и погрузка — всё же их задача.

Консультации со специалистами шанс уцепиться за этот повод и выиграть спор сделали почти призрачным. Наши малоквалифицированные приёмщики подписали все документы и рассчитались, окончательно приняв бананы на складе ещё до погрузки в вагоны.

В разговоре с нашими приёмщиками, очень далёкими от товароведения, выяснилось, что бананы в момент погрузки выглядели, мягко говоря, не идеально. Вкус их был, как говорится, на любителя. Что с ними будет через неделю-две, они не задумались и не проконсультировались ни на месте, ни с нами. Да и мы сами усвоили много позже, что бананы нужно грузить недозревшими, а доходить до зрелости они должны при газировании углекислым газом в специальных камерах, причём складывать фрукты необходимо партиями по мере подготовки к продаже. По такой технологии мы стали работать много позже, когда фрукты перестали продаваться с колёс, а между поставщиками началась битва за вход в магазины и особенно в торговые сети. Если на заре рыночных отношений продукты с трудом “доставали”, а магазины расхватывали их наперегонки, то теперь всё наоборот. Поставщики официально платят миллионы рублей за вход в сетевые супермаркеты, а по вину ещё и в рестораны, затем выплачивают ежеквартальные или годовые бонусы, а нередко (по секрету!) и “взятки” коммерческим директорам и менеджерам. Правда, для закона подношения негосударственному служащему не являются взяткой. И никакой юридической ответственности мздоимец не несёт. Хозяева бизнеса и здесь оказываются без поддержки государства, добывающего предпринимательство непомерной налоговой чехардой.

Получили мои представители мзду за приёмку не доехавших “живьём” бананов или нет — военная тайна. Да и в любом случае возместить они смогли бы только несколько потемневших в пути коробок. Неужели круг полностью замкнулся, и компенсировать огромные убытки никак не удастся?

Оказалось, что не совсем так. Шанс, как всегда, есть. Выяснилось, что ещё одна сторона отвечает за качество доставленного, а главное — и отправляемого груза. Эта мощнейшая и, конечно, платёжеспособная организация — железная дорога. Ура!

Если бы груз везли на холодильных фурах, как делали не раз, такого бы шанса не было. У железнодорожников правила другие, не изменившиеся с недавних социалистических времён.

К счастью, этот путь спасения удалось выяснить буквально за несколько часов после начала разгрузки. Время в данном случае — действительно деньги. На улице жара. Срочно нужно пригласить нейтральный контролирующий орган для разрешения подобных споров — торгово-промышленную палату. Благо, там работал мой хороший знакомый. Вместе с ним уже поздним вечером объезжаем несколько его сотрудников и уговариваем, чтобы они с приборами вышли в вечернюю смену. Подобная суeta с заездами домой, когда на тебя с подозрением смотрят родители, а ещё хуже — мужья молодых особ,

была наказанием ещё на родном радиозаводе, когда я работал и мастером, и начальником цеха. Не привыкать организовывать неурочные смены. Почти к утру солидный акт о некондиционности груза был готов.

Назавтра, не мешкая, срочно отвозим акт в отделение железной дороги. Но вопреки ожиданиям, никто от дороги не прибежал к нам и даже не позвонил в течение нескольких дней. Удивительно спокойная реакция их юридической службы. Неужели для железнодорожного монстра сто тысяч долларов не деньги? А может быть, наши действия с торгово-промышленной палатой настолько грамотные, а главное, оперативные, что всё равно не оставили им шансов улизнуть от ответственности? На радостях я выплатил юристу немалую премию и столько же пообещал после возмещения нам убытков. Вскоре подготовили все документы и впервые с момента рождения фирмы отдали их в арбитражный суд. Месяца через полтора-два с предвкушением лёгкой победы идём с юристом на заседание суда. Правда, немало волнуясь, всё же суд, а в коридорах — строгие женщины в чёрных мантиях. И мне, сорокалетнему бойцу коммерческого фронта, вспомнилась почему-то Катюша Маслова на заседании суда присяжных.

Каково же было моё удивление, когда вместо быстрого рассмотрения по существу акта торгово-промышленной палаты и вынесения совершенно очевидного для меня решения началось инициированное противником нудное рассмотрение наших договоров на перевозку с железной дорогой, на закуп — с продавцами бананов, а также наших доверенностей на представление интересов в суде. Оказалось, что названия и координаты фирм из-за нашей небрежности не полностью соответствуют друг другу. По мнению противоположной стороны, покупатель, перевозчик и участники дела — разные организации с похожими названиями, а значит, нет стороны для хозяйственного спора и нашу жалобу следует отклонить по этому формальному признаку.

Но судья, слава Богу, а может быть, благодаря небольшому знакомству с юристом, не приняла безоговорочно это жуткое для нас предложение опытных противников и милостиво дала нам месяц, чтобы подготовить доказательства идентичности фирм.

Время пролетело быстро, идентичность фирм мы доказали. Но после этого на заседании разорвалась следующая “бомба”, совершенно неожиданная для меня и, возможно, для юриста тоже.

Оказывается, что для их единственного, отвечающего за качество доставляемого груза ведомства, по давнему постановлению Совета Министров, подписанному ещё председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным в брежневскую эпоху, акты торгово-промышленной палаты не действительны, если не соблюдено ещё одно условие: мы должны были в течение суток уведомить телеграммой их ведомство и пригласить на разгрузку или хотя бы на освидетельствование испорченного груза. Их исполнители, конечно, узнали сразу же, что груз испорчен. Но “слово к делу не пришьёшь”. Акт мы вручили им под роспись на вторые сутки, опоздав, как выяснилось, часов на шесть. По бледности, вдруг разлившейся на лице юриста, я понял, что мы со своей правдой о действительно некондиционных бананах тонем в водоворот их ведомственных правил. Но по привычке не сдаваться без боя я, не дав опомниться юристу, заявил с места, нарушив, таким образом, регламент, что телеграмму мы отправили немедленно после того, как открыли секцию, а дошла она или нет — вопрос другой. Не особенно поверив моей реплике, так как квитанции в деле не было, и сделал мне замечание, судья, тем не менее, объявила очередной перерыв для выяснения обстоятельств.

Была или нет формальная телеграмма ценой в сто тысяч долларов для фирмы и премиальной месячной зарплаты для юриста, ранее работавшей в городской администрации и неплохо знающей многих руководителей, я так до конца и не узнал.

Судя по словам — была, а по неожиданной бледности — её явно не было. Но, как бы то ни было, через месяц, к следующему заседанию суда квитанция о приёме телеграммы, выданная центральным телеграфом, появилась. Причём впоследствии этот потёртый листик выдержал даже долгую, как всегда, прокурорскую проверку, инициированную железной дорогой. Только после завершения проверки, месяца через четыре, а может, и через пять месяцев суд приступил к рассмотрению дела по существу.

Перед нами судом всё же была поставлена задача доказать, что бананы могли быть испорчены во время следования по вине железной дороги, рассудив, что за первоначальное качество должны отвечать всё же мы сами. Юрист в этом нестандартном, почти техническом вопросе оказалась совершенно бес-

помощной. Я сам искал доказательства того, что в нашей секции, как, собственно, и в большинстве других, не работали предусмотренные правилами автоматические регистраторы температуры, не вёлся положенный в таких случаях бортовой ежедневный журнал записей температуры и влажности. Доказал, что не было также записей в журналах и станционных контролёров температуры по маршруту следования груза. Только после обстоятельного знакомства с этими сугубо организационно-техническими деталями, гарантирующими сохранность груза, и убедившись, что не всё, оказывается, ладно в суперведомстве, судья, месяцев через семь после начала процесса, вынесла решение в нашу пользу. Ещё четыре-пять месяцев ушло на кассационный и апелляционный суды, оставившие решение в силе.

Но оказалось, что решение — это ещё далеко не деньги. Время неумолимо шло, а судебные приставы были совершенно не в состоянии взыскать выигранные нами средства с всемогущего ведомства. Если арестовывался один счёт, их финансисты легко пользовались другими. В кассе к моменту прихода приставов, долго минующих ведомственную охрану, денег тоже, как всегда, не оказывалось.

Особенно изворотлив в вопросе неотдачи выигранных нами средств был первый заместитель начальника дороги. Хотя на этапе обращения в Высший арбитражный суд, когда приставам удалось один раз добраться до их кассы и арестовать небольшую часть долга, мы полюбовно договорились, что по мелочи их не дёргаем, но если окончательно выиграем процесс, то они обязательно рассчитаются. Крепко пожали друг другу руки, честно и открыто глядя друг другу в глаза.

Но увы: даже и в этом случае выражение “Честь имею!” оказалось чужеродной формулой для высокого и весьма перспективного руководителя. К слову сказать, вскоре он получил немалое повышение в должности.

Только честная позиция начальника ВСЖД, почётного гражданина г. Иркутска Геннадия Павловича Комарова, глубоко уважающего моего отца и других руководителей из семейной династии, позволила получить нам практически через полтора года большую часть выигранных во всех четырёх инстанциях средств. От начисленных судом кредитных процентов мы, по его просьбе, добровольно отказались.

Кстати, выиграть дело в Высшем арбитражном суде на московской земле нам помогло только то обстоятельство, что в кассационной инстанции дело рассматривал лично председатель суда Сергей Михайлович Амосов. Его объективность и высочайший профессионализм были известны всем, в том числе и председателю Высшего суда. Думается, что только по этой счастливой для нас причине “дело” выдержало натиск суперведомства и устояло. Впоследствии Сергей Михайлович заслуженно стал заместителем председателя Высшего арбитражного суда Российской Федерации и из талантливого рассказчика превратился в замечательного писателя, стал моим товарищем и по литературному цеху, и по жизни. Жаль, что таких чиновников, чудом сохранивших в себе дореволюционную интеллигентность и Честь, практически не осталось. Не стало в 2014-м и самого арбитражного суда как самостоятельной структуры. На мой взгляд, это был последний экзотический островок, где ещё сохранялась в немалой доле непредвзятость и справедливость тонущей экономики России. В новой системе оказался лишним и Сергей Михайлович, ушедший профессорствовать в институт и писать книги.

3. Новый турецкоподданный

Как-то одна из давних моих приятельниц — Надежда, фамилию умолчим — пришла со своим другом в офис. Представила спутника предпринимателем, отец которого — крупный бизнесмен в Турции. “Почти турецкоподданный, прямо как Остап Ибрагимович”, — пошутил я. Выглядел он достаточно респектабельно: одет с иголочки, приобрёл для папы дорогую китайскую собачку в Иркутске, что характеризовало его как достаточно домовитого человека и заботливого сына. Одежда, наличие купленной дорогой собачки, близкое знакомство с приличной иркутянкой — всё располагало к нему. Но что-то и настораживало. Я был занят делами и поручил эту бизнес-тему и взаимоотношения с ним одному из своих помощников — Владимиру, можно сказать, заместителю, который имел большой опыт работы на радиозаводе в должности заместителя директора по коммерческим вопросам, начальника производства, начальника финансового отдела. К тому же у нас работала и его жена Татьяна, также прошедшая немало должностей на госпредприятии. Они

опекали гостя в течение недели: возили на Байкал, ужинали с ним, водили его в театр. Их резюме гласило, что человек он вполне достойный доверия, с ним можно работать, тем более что сделка была очень заманчивая. Он предлагал поставку всевозможной продукции из Турции: фрукты, вино, макароны, в общем, широчайший ассортимент продуктов питания, причём, что особенно подкупило, без предоплаты. Предварительно оплатить нужно было только железнодорожные расходы. Ну, а аппетит без предоплаты всегда немалый. Вот мы и подготовили заявки аж на десять вагонов. Подписали договор. У него была доверенность от папиной турецкой фирмы, печать. Сумма железнодорожного тарифа набралась, конечно, немалая, но гипнотизировало то, что сама продукция оплачивалась с большой отсрочкой, примерно на полгода. При таких заманчивых условиях наличные деньги на тариф нашли быстро. В переводе на сегодняшние деньги это 2,5–3 миллиона рублей — мелочь!

Ударили по рукам. Татьяна с этими немалыми деньгами вылетела в Краснодар, чтобы вместе с новым другом оплатить тариф. Владимир уже потирал руки, что с его участием, а значит, и с премиальными состоится такая крупная сделка.

Вдруг у меня среди ночи звонит телефон. Тогда ещё не было сотовых телефонов и привычки отключать обычный. Телефон звонил круглые сутки, как на передовой. Я беру трубку и слышу плач. Оказалось, звонит Надежда, которая нас познакомила с “полутурком”. Она знала, что Татьяна с деньгами уже вылетела и скоро должна приземлиться в Краснодаре. Дама в панике и ужасе сообщила, что “жених” пропал среди ночи перед встречей самолёта со всеми вещами и с собакой. Жили они в роскошном трёхкомнатном номере, она спала и ничего не слышала. Проснулась случайно, а его нет. Прямо как у Гоголя. Осталось меньше часа до посадки самолёта, а значит, до грабежа или чего почище, в общем, ситуация экстремальная. Стало совершенно ясно, что турецкоподданный и впрямь оказался Остапом Бендером, недавно сбежавшим из Рио-де-Жанейро. Что делать? Счёт времени шёл на минуты. Недолго думая, я мгновенно одеваюсь и — минут через двадцать пять уже в областном управлении внутренних дел. С дежурным по области полковником мы не были знакомы. Подключить кого-то из знакомых ночью не удалось. Но дежурный принял меня безотлагательно и проникся серьёзностью вопроса. При мне он начал срочно звонить по специальной связи в Краснодар, где должен был приземлиться самолёт. Краснодарский дежурный по УВД тоже оценил опасность ситуации. Я был уверен, что они обязательно спланируют операцию по аресту, судя по всему, проходимца, а может быть, и опасного преступника. Но это, по-видимому, требовало больше времени для подготовки и дополнительных ночных усилий. Выпускать Татьяну в качестве приманки сочли опасным. Да и для меня главное было — отвести угрозу от Татьяны и спасти немалые средства. Остаются считанные минуты, а дежурного милиционера по аэропорту, как водится, найти не могут. Хотя вроде бы он и находится где-то на территории, да, видно, дрыхнет где-нибудь в каптёрке. Наконец-то, минут за пять до посадки, он объявляется заспанный, выходит на связь и записывает фамилию, имя, отчество нашего курьера. В минуты опасности я мгновенно вспомнил все данные о рейсе, вплоть до номера и места. Он записал и вскоре доложил, что принял срочные меры к задержанию, но не преступника, а нашей Татьяны в зоне досмотра с тем, чтобы не выпустить её на неохраняемую территорию. Минута в минуту её успевают перехватить, и она остаётся ожидать обратного рейса в зоне, закрытой для посторонних. Через несколько часов она благополучно вылетает в Иркутск. “Прокатавшись” почти сутки, спасённая, уставшая, но счастливая Татьяна попадает в объятия встречающих.

Позже выяснилось, что наша приятельница, чтобы сохранить репутацию, сохранила, что знакома с авантюристом четыре года. На самом деле срок был — одна неделя, но для любви это вечность! Очень дорого для фирмы и, не дай Бог, для здоровья и жизни нашей Тани могли обойтись женские хитрости и недостаточная проницательность двоих вроде бы опытных руководителей, правда, никогда не работавших ни мастерами, ни начальниками цехов, где требуется особая интуиция. У моего помощника и писателя Геннадия Гайды ни одного подобного прокола не было, хотя он десятки раз выезжал “тестировать” партнёров. Выводы из данной ситуации мы сделали самые серьёзные.

С тех пор никогда деньги не возил тот, кого встречали или кто занимался делами и расчётами. Более того, Геннадий или я летели на одном рейсе, а “кассир” в лице доверенного охранника — на другом, он даже селился нередко в соседней гостинице. Нужные суммы денег за продукцию, в том чис-

ле и такую дорожную, как “Волги” Газ-24 или грузовики, которые на определённом этапе мы также поставляли в Иркутск, появлялись, как по волшебству, непосредственно в момент расчётов.

4. Партнёр из ада

Предосторожность с “кассирами” страховала нас от “грабежей”, а возможно, и от более серьёзных неприятностей. Убийств в крутые 90-е было не счесть. Даже в родном городе в своё ресторанное заведение на обед мы нередко ездили с двумя вооружёнными охранниками, с ними же совершали прогулки. Жили, словно в КПЗ, одновременно и как подследственные, и как надсмотрщики. Официальный паспорт был и у меня. Для этого по трудовой книжке я был оформлен заместителем начальника службы безопасности в своей фирме.

Уберегало меня, прежде всего, то, что никогда прибыль я не ценил выше добрых человеческих отношений, не имел несогласованных с кредиторами долгов и сам не давал никому заоблачные займы. В любых спорных вопросах, начиная с заводских должностей и до сегодняшнего дня, находил такую аргументацию, которая давала бы мне неоспоримый перевес хоть по бандитским понятиям, хоть по понятиям совести.

Вот несколько примеров.

Почти двадцать лет длилось весьма серьёзное противостояние по нескольким моим немалым объектам и земле на пограничье с крутыми соседями в Ангарске. Их главный аргумент состоял в том, что я нахожусь в зоне их оптового рынка и нахально пользуюсь огромными потоками привлекаемых ими клиентов. Определённый резон в этой аргументации, безусловно, есть. Но и у меня была своя правда. Мои объекты крайние и выходят на весьма проездные улицы города, их хорошо видно с дороги, а следовательно, покупатели подъезжали бы к ним ещё с большим удовольствием, нежели в рыночной толчее машин. Далее, не я “оседлал” действующий рынок, а наоборот. Все объекты я приобрёл задолго до открытия рынка. И третий аргумент — поток машин на их рынок беспрепятственно въезжает через “мою” землю и по “моему” асфальту, при этом я никогда не мелочился и не просил у них долю денег ни за асфальт, ни за налог на землю, а главное, не пытался взимать немалую плату по договору сервитута. Благо, что мне когда-то удалось правдами и неправдами этот проезд перевести из аренды в собственность.

Несколько раз у нас с ними был даже как бы третейский суд, который протекал, правда, в форме дружелюбно-напряжённого чаепития. Один раз “судьей” был заместитель мэра, а в другой раз — наш общий товарищ, бард Борис Драгилев, проживавший много лет в Москве и не понаслышке знакомый с понятиями “волчьего” мира, а главное — дружный с совестью и честью.

Интересно, что с ним мы знакомились в этой жизни два раза. Причём о первом знакомстве вспомнилось буквально на подсознательном уровне. Как-то, основательно посидев в московском ресторане, мы начали вспоминать детство. Неожиданно у меня в глубинах памяти всплыла картина женщины, держащей за руку мальчика девяти-десяти лет с коротенькой стрижкой и прямым чубчиком. Дословно вспомнились и её слова, обращённые к тренеру по спортивной гимнастике с просьбой принять его в секцию и сделать из него настоящего мужчину.

В секции мальчик Боря долго не задержался, но просьбу матери услышал, видимо, сам Господь, и настоящим мужчиной он стал, причём с гитарой, с поэтическим и актёрским дарованием, с многочисленными знакомствами и даже дружбой, в том числе с легендарным золотодобытчиком Вадимом Тумановым, с друзьями Владимира Высоцкого, да и что уж греха таить, также и со столпами преступного мира — незаурядным Япончиком и другими. Вот только свою личную жизнь он смог основательно устроить лишь в районе 55-ти лет и наконец-то насладиться ни с чем не сравнимым чувством уже зрелого отцовства. Может быть, в этом невольная оплошность его мамы, не попросивший у Господа сына ещё и личного счастья. Вот оно и запоздало слегка, но зато увековечилось в стихотворении “Счастье”.

*Я мог утонуть, быть зарезан давно,
А мог бы и попросту спиться,
Разбиться я запросто мог на авто,
А мог бы совсем не родиться.*

*Я мог бы уехать в чужую страну
И стать там разносчиком pity,
А мог бы призываться на чью-то войну
И быть там банально убитым.
Я банк мог ограбить и сгинуть в тюрьме,
И мог бы в болезнях пропасть я.
Но нет, обошлось всё, и выпало мне
Ни с чем не сравнимое счастье.*

*Я, правду сказать, и магнатом мог стать,
Картёжником с фартом железным,
А мог бы, к примеру, роман написать
И слыть человеком полезным.
Я мог в королевской родиться семье,
Быть просто облаканным властью.
Но нет, обошлось всё, и выпало мне
Ни с чем не сравнимое счастье.*

*Меня для него, видно, случай берёг,
Я это теперь только понял,
А, может, взглянул в мою сторону Бог:
Бежит ко мне счастье, бежит со всех ног,
Смётся — ей годик, звать — Соня.*

Очень добрые отношения связывали Драгилева и с другой стороной земельного конфликта. Так что он, как никто другой, подходил на официальную роль третейского судьи. Внимательно выслушав обе стороны, Борис не поддержал просьбу-требование нежелательной для меня и несвоевременной продажи объектов или ограничения их эксплуатации.

Но если бы всё ограничивалось мирными чаепитиями, то это была бы не Россия. На нашу беду, с рынком у нас общие инженерные коммуникации, на которых почему-то чаще, чем где-либо, случаются аварии, а иногда и возгорания. Хорошо, хоть возгорания были как бы щадящие, точечные, без попыток сжечь содержимое складов и магазинов. Соседская порядочность! Хотя поджог машины одного из помощников чуть-чуть не вышел за пределы небольших убытков. Машина стояла рядом с другими, возле офиса, и если бы огонь перекинулся из салона на бензобак, то от взрыва загорелись бы и соседние машины, а за ними, возможно, и здание. Это был бы уже явный перебор и огромный урон. Но не пойман — не вор!

Защищать своё дело приходилось иногда почти военными методами. Правда, “вооружение” использовалось не огнестрельное, а холодное, и не металлическое, а деревянное. Для того чтобы подключиться к городским коммуникациям, проходящим по нашей, но сопредельной с соседями проездовой неогороженной территории, пришлось сколотить более полусотни щитов и в четыре часа утра, вооружив ими пятьдесят человек, охранять экскаватор, чтобы прокопать траншею на своей земле. Причём все необходимые разрешения от властей были у нас на руках.

Но не тут-то было! В четыре утра, как по военной тревоге, минут за пятнадцать-двадцать со стороны “противника” подоспели также десятки людей. Они прорвали оборонительные щиты и заняли позиции под экскаватором. Один из их “бойцов” на машине помчался на толпу, кто-то не сумел увернуться и получил перелом ноги, раздались истошные крики. “Мерседес”, сопровождаемый ударами десятков рук и ног, выехал из толпы и умчался. Прилетели “скорая помощь”, вневедомственная охрана, экипажи милиции. Причём если скорая сработала, то охрана и милиция взяли на себя роль наблюдателей. Один из милиционеров признался, что нет у них команды остановить беспредел, а есть указание не вмешиваться.

Через несколько часов противостояния милиция, казалось бы, наконец-то сработала и вытащила одного из начальников противоборствующей стороны из-под ковша экскаватора. Мы обрадовались. Но преждевременно. Ангажированные носители погон запретили работать экскаваторщику якобы до выяснения обстоятельств: уточнения границ участка и т. д. В случае начала работ экскаваторщик, как было сказано, будет задержан для выяснения личности.

Милиция фактически помогала блокировать любые работы, чего, в конечном счёте, и добивались наши противники. Продержаться им нужно было несколько дней, а может быть, и недель, пока город закопает основную траншею под водопровод и возобновит автомобильное движение.

После этого снова раскапывать и останавливать движение по дороге к огромному числу арендаторов, возмущение которых легко организуют, нам вряд ли дадут. Поведение милиции объяснялось активнейшим покровительством той стороне главным милиционером области при полном невмешательстве действующего в ту уже далёкую пору губернатора Иркутской области. О том, что крепчайшая дружба была основана не на огромном духовном родстве, говорить излишне.

Официальная позиция милиции была сформулирована как спор хозяйствующих субъектов до решения суда. Благо, один из наших друзей имел “бизнес” с милицейским начальством и разъяснил ему, что это не спор хозяйствующих субъектов, а прямое хулиганство: срыв согласованных с городом работ на нашей земле. Сработало и грамотно составленное мной письмо на имя губернатора и главного милиционера о противозаконности чинимых препятствий. Удалось через приятелей попасть на приём и к заместителю губернатора по работе с силовиками и организовать звонок главному милиционеру. Друзья с телевидения пытались помочь, сняв ночной бой, но показать его не удалось. Слишком большие гонорары были заранее выплачены СМИ с той стороны. Уже давно пресса зарабатывает не только на новостях, но и на отсутствии новостей с компроматом в адрес своих богатых спонсоров. Только общими усилиями, накалив обстановку докрасна, нам всё же удалось добиться прекращения хулиганства и подключить воду, а через год-полтора и дополнительную электроэнергию, купив проложенный другой организацией резервный кабель. Через суд удалось получить и некую компенсацию за отключение “добрыми соседями” нас от электроэнергии.

Таких историй, вплоть до убийств основателей фирмы, в 90-е годы было немало. Раскрывались они крайне редко, хотя все вокруг, да и сама милиция в первую очередь, доподлинно знали заказчиков похоронной музыки.

Один знакомый “предприниматель” как-то, подвыпив, жаловался моему другу, что убитый (наверняка по его заказу) нефтяной партнёр почти каждую ночь с упрёками и обещаниями ада являлся ему во сне. Сон стал мукой. Не помогали и наркотики, к коим он успел пристраститься.

В 90-х годах было в городе немало случаев “бандитского вхождения” в чужой бизнес. Некоторые бандиты и крупные по нашим меркам предприниматели ездили в бронированных джипах с несколькими машинами сопровождения и целыми взводами охраны. Немало среди их охранников, и особенно среди начальников служб безопасности, было бывших силовиков. У некоторых нечастые выезды из офиса в обязательном порядке сопровождался серьёзным обследованием объектов прибытия, как это делается у высших должностных лиц государства. В больнице, куда этот контингент попадал с ранениями, моментально выставлялась вооружённая охрана, а на окна операционной и отдельной палаты вешались даже железные жалюзи.

Многие кровавые истории в городе знали все. Но увы! Главная черта “героев нашего времени” — полнейшая беспринципность и руководство лозунгом “моя хата с краю”. Выражение офицеров “честь имею” жило совсем в другой России.

АНДРЕЙ ФУРСОВ

РОССИЯ, МИР, БУДУЩЕЕ

Наш собеседник — известный русский историк, общественвед и публицист, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, автор 400 публикаций (включая 11 монографий), член Союза писателей России.

— Андрей Ильич, начнём издалека. Ваши первые большие работы датированы рубежом 90-х — нулевых годов. Когда к Вам начало приходить понимание того, что же произошло в 1991 году, хотя мы теперь прекрасно знаем, что всё начиналось гораздо раньше..?

— Начну с того, что мои первые крупные работы появились не на рубеже 90-х и нулевых, а в середине 1980-х годов. В начале 1990-х я написал две большие работы — “Кратократия” и английскую версию “Колоколов Истории”. Тогда я занимался проблемой социальной природы советского общества и его господствующей группы — номенклатуры. Результатом стала работа “Кратократия”, опубликованная в двух десятках номеров журнала “Социум” в 1991–1993 годах и ставшая с тех пор библиографической редкостью. В конце 1980-х меня интересовал генезис и нормальное функционирование номенклатуры, её базовые противоречия. Осмысление того, как эти противоречия, породившие структурный кризис 1970-х — начала 1980-х годов, превратили его в конце 1988 — начале 1989 года в системный, пришло позже. Значительную роль в осмыслении сыграло то, что в 1993–1994 годах я работал в США и во Франции и, с одной стороны, смотрел на ситуацию в РФ извне, а с другой — наблюдал за реакцией Запада (СМИ, политики, профессура) на происходящее в России.

Кроме того, очень важно следующее: взгляд со стороны позволил увязать события в СССР и в РФ на рубеже 1980–1990-х годов с тем, что происходило на Западе, в ядре капиталистической системы. Разрушение СССР — не изолированное событие, это центральный элемент в историческом переломе, верхняя точка хронологического водораздела, суть которого в том, что это уже не XX век, но ещё не XXI. Результатом анализа советского социума не только самого по себе, но и в качестве элемента мировой системы, в качестве системного антикапитализма стала краткая версия работы “Колокола Истории: капитализм и коммунизм в XX веке”, написанная весной 1994 года по-английски и отчасти по-французски. В 1996 году я начал делать русскую версию и лишний раз убедился в справедливости мысли автора “Крёстного отца” Марио Пьюзо: “Rewriting is a whole secret to writing”. То есть, грубо говоря, переписывание — это написание совершенно новой вещи. В результате из 160 страниц англо-французского текста получилась 460-страничная книга, совершенно новая.

В “Колоколах...” я писал о том, что разрушение системного антикапитализма, которым был СССР, — это очевидное начало конца капитализма, показатель его быстрого приближения к историческому финалу, предвестник тяжелейшего системного, терминального кризиса. В 1996 году такой прогноз вызывал, мягко говоря, удивление, однако в 2008-м ситуация изменилась.

Методологически эта работа в основном — побочный продукт “Кратократии” и “Колоколов...”. Уже в конце 2001 года я переосмыслил целый ряд положений “Русской системы”, доведя её до XX века. В переосмыслении, написанном осенью 2001 года, большое место занял анализ феноменов опричнины и сталинской системы.

— **Скажите, существовала ли за всю историю социализма альтернатива сталинскому проекту?**

— Я бы добавил к Вашему вопросу ещё один: существовала ли в России 1920–1930-х годов альтернатива сталинскому проекту как реальной форме воплощения системного антикапитализма?

Социалистический мир в XX веке на планете Земля возник как расширение и продолжение сталинского проекта. Никакой другой социалистический проект самостоятельно не реализовался. Другое дело, что вплоть до 1948 года, когда США начали реализацию плана Маршалла, то есть экономического оргоружия, прямо направленного на закабаление Европы и косвенно — против СССР, Сталин был противником социализации Восточной Европы, не говоря уже о Западной (Франция, Италия); тактически его больше устраивали умеренно левые буржуазно-националистические режимы, дружественные по отношению к СССР. Однако 1948 год всё изменил; затем в 1949–1950 годах ЦРУ провело спланированную Алленом Даллесом операцию “Split”, подтолкнув советские спецслужбы к уничтожению умеренных коммунистов в восточноевропейских странах; в СССР суть провокации поняли слишком поздно.

Что касается нашей ситуации 1920–1930-х годов, то вопрос стоял очень просто: **либо** СССР, подобно позднесоветской России, остаётся сырьевым придатком Запада с отчётливыми перспективами установления над ним внешнего контроля, распада страны и — в конечном счёте — физического и метафизического исчезновения русского народа и других коренных народов России; **либо** СССР стремительно, в течение 10 лет, превращается в военно-промышленного гиганта, в один из центров мирового индустриального развития, что и было сделано к концу 1930-х годов. Средства жестокие: коллективизация и индустриализация, проходившие внутри страны на фоне холодной гражданской войны и острой, смертельной борьбы внутри правящего слоя, вне её — на фоне обострения межимпериалистических противоречий и стремления западных хищников, прежде всего британских (а также немецких), решить свои проблемы за счёт России. Но иначе и нельзя было в жестоком мире, окружавшем СССР. Речь шла о выживании русского народа во враждебном капиталистическом окружении. Сталинская система была средством этого выживания. Альтернативы — бухаринский ублюдочный капитализм и перманентная мировая революция Троцкого — вели СССР к гибели. Кроме того, сталинскому режиму пришлось в сжатые сроки хирургически решать те задачи, которые самодержавие не могло или не хотело решать терапевтически за предыдущую сотню лет.

— **А цена выживания?**

— У выживания одна цена — само выживание, это всегда дорого стоит. Но не настолько дорого, как в этом старались и стараются нас убедить лживые антисоветчики-вруны типа Конквеста или Солженицына и их бездарные последователи со своими фальшивыми якобы квазиисторическими “хрониками”.

Да, более 4,5 миллиона человек, прошедших через лагеря в период с 1922 по 1953 год, — это немало, но это не десятки миллионов, о которых нам врут. Кроме того, не всё просто и с четырьмя с половиной миллионами: далеко не все из них сидели по политическим статьям, хватало обычных уголовников; расстреляно и умерло в лагерях чуть более миллиона. Количество “жертв режима” антисоветчики постоянно преувеличивают, лгут по поводу числа репрессированных в армии в канун Великой Отечественной, по поводу штрафников, по поводу побывавших в плену. Нас, в частности, пытаются убедить, что всех побывавших в плену после проверки злодеи-энкаведешники ставили к стенке или — в лучшем случае — отправляли в лагерь. Цифры говорят совершенно об ином: 91,7% благополучно прошли проверку, 3,2% направлены в штрафбаты, арестованы 4,4%, умерли — 0,7%. Элементарный непредвзятый анализ ломает антисоветское враньё на раз.

– **Вы пишете о базовых противоречиях коммунизма как системы. Они касаются только шкурных вопросов, в них совершенно нет идеологии? Это доказывает то, что правящий класс, а он всегда опирается на интеллигенцию, мечтает только о шкурном интересе? Можно ли из этого сделать вывод, что исторический коммунизм был обречён?**

– Во-первых, никакой господствующий класс или слой никогда не опирается на интеллигенцию; последняя является либо его функцией, что бы она о себе ни думала, либо существует в порах социума. Во-вторых, идеология это и есть идейно закамуфлированный под общий интерес шкурный интерес господствующего слоя. В-третьих, не стоит вслед за интеллигенцией и вообще интеллектуалами преувеличивать значение идеологии в жизни общества, особенно низов и верхов. Как заметил Дж. Оруэлл, если для интеллектуала социализм – это вопрос теории, то для работника – это лишняя бутылка молока для его ребёнка. А для представителя верхов, добавлю я, это вопрос власти, которую интеллектуальная обслуга должна обосновать. В-четвёртых, обречены – в том смысле, что, раз возникнув, когда-то умрут, – все социальные системы; вечных систем нет.

Советский коммунизм, возникший как двойное отрицание-преодоление – самодержавия и капитализма – просуществовал 70 лет (что само по себе очень немало по масштабам и скоростям XX в.), а его гибель не была естественной смертью от системной старости. Структурный кризис 1970-х – начала 1980-х годов горбачёвская “команда”, за которой скрывались советские и западные кукловоды, превратили в системный. При этом даже в 1988 – начале 1989 года точка возврата формально (по крайней мере, с экономической точки зрения) не была пройдена. Приглашённый горбачёвской шайкой именно в это время нобелевский лауреат по экономике Василий Леонтьев не оправдал надежд “приглашающей стороны”: он заявил, что у экономики СССР есть ряд серьёзных **структурных** проблем, но нет ни одной **системной**, требующей изменения системы в целом. А ведь именно системная трансформация была целью кластера интересов, представленного частью номенклатуры, госбезопасности, теневиков. Мало кто из них стремился разрушить СССР (разве что прямая западная агентура глубокого, со времён Коминтерна, залегания и их “питомцы”, вышедшие на сцену в 1950–1960-е годы); речь шла о смене строя с обязательным оттеснением КПСС от власти, однако это было невозможно без помощи со стороны определённых кругов Запада, которые играли свою игру – ставили на разрушение не только строя, но и советской державы как исторической формы существования России.

В 1989 году западные поделщики перехватили процесс управляемого хаоса у советских контрагентов, слепили новую (ельцинскую) команду (взамен горбачёвской), целью которой было разрушение СССР, недаром Мадлен Олбрайт главное достижение Буша-старшего обозначила как управление разрушением Советского Союза. Добавлю: разрушением-ограблением России занялась уже другая бригада, выступившая контрагентом новой – клинтоновской – команды, победившей в 1992 году на выборах в США. Надо также отметить, что сам структурный кризис и военно-техническое ослабление СССР как необходимые условия победы Запада были следствием целого ряда внешне непродуманных и случайных (но на самом деле являющихся продуманными, “проектными случайностями”) решений советского руководства в области военно-технического и технико-экономического развития СССР между 1965 и 1975 годами. Эти решения, по сути, спасли Запад и, прежде всего, США тогда, когда СССР мог если не раз и навсегда, то надолго уйти в отрыв и обеспечить себе военно-техническое господство на планете на много десятилетий.

– **Вы подчёркиваете, что корпоративные интересы властной верхушки в СССР начали складываться ещё в начале 60-х годов. В частности, вопрос сверхвыгодной торговли советской нефтью за валюту...**

– Торговля нефтью стала лишь точкой роста, с которой стартовало формирование кластера интересов определённой группы советской номенклатуры, превратившейся, по крайней мере функционально, в советский сегмент (прото)глобальной корпоратократии. Но было и другое: вывоз и размещение на Западе советской верхушкой активов, которые невозможно было хранить в СССР, – драгметаллы, предметы искусства, рублёвая масса, валюта и т. п. Ясно, что ценой были некие компромиссы, и эта линия взаимодействия (в том числе и через сеть совзагранбанков) определённых сегментов советской и западной верхушек была по-своему не менее важна, чем сырьевая.

– **А корпоратократия – это что за “птица”?**

– Корпоратократия – это молодая и хищная фракция мирового капиталистического класса, которая стала быстро формироваться после окончания Второй мировой войны. Речь идёт о той части буржуазии, бюрократии и спецслужб, которые тесно связаны с транснациональными корпорациями и интересы этих последних выражают в большей степени, чем интересы государства. Государственно-монополистическая буржуазия, завязанная на государство, а следовательно, в определённой степени ограниченная – при всём мировом характере капитализма – государственными рамками, была готова к относительно длительному сосуществованию с социалистическим миром, стремясь, в конечном счёте, к его уничтожению. В отличие от этого корпоратократия исходно возникла как агент глобального, а не просто международного масштаба, эдакие глобалисты до глобализации. В планах их “прекрасного нового мира” места системному антикапитализму – СССР, мировой системе социализма – не было. Корпоратократия была заточена на глобальную экспансию, причём не столько по линии государственной (государству отводилась, прежде всего, роль военного кулака), сколько надгосударственной, транснациональной – корпоративной, рассекавшей на сегменты целые страны, классы, слои.

Корпоратократия вступила в политико-экономическую борьбу за власть с госмонополистической буржуазией. Первым главным театром “военных действий” стали США. В результате ползучего переворота, начавшегося убийством Джона Кеннеди (1963) и завершившегося импичментом Ричарда Никсона (1974), корпоратократия пришла к власти, посадив в 1976 году в Белый дом своего человека – незадачливого Джимми Картера. Разумеется, эта победа, перелом середины 1970-х годов во внутрикапиталистической борьбе была победой не нокаутом, а по очкам, то есть достигнута на основе компромисса, как это обычно бывает в столкновениях на самом верху; плоды компромисса можно увидеть в последовавших за Картером президентствах.

Однако ещё раньше, чем был свергнут Никсон – последний президент США как в большей степени государства, чем в большей степени кластера транснациональных корпораций, – корпоратократия начала осваивать советскую зону.

С конца 1950-х годов СССР сначала по политическим (“удар по реакционным арабским режимам”), а затем всё больше по экономическим причинам резко активизировал торговлю сырьём – нефтью, а затем газом. Так началась интеграция небольшого, но приобретавшего всё большее влияние сегмента номенклатуры в мировой рынок, на котором всё большую роль играли ТНК и корпоратократы. Так начиналось формирование советского сегмента корпоратократии (часть номенклатуры, госбезопасности), и неважно, что она была невелика по численности, ведь “мир – понятие не количественное, а качественное”, как говаривал А. Эйнштейн, к тому же нужно учитывать сверхцентрализованный характер власти в СССР и возможности тех, кто наверху; недаром позднее один из “прорабов перестройки” А. Н. Яковлев скажет, что их планом было разрушение коммунизма с помощью “дисциплины тоталитарной партии”. Нужно лишь оказаться у рычагов этой дисциплины или внушать определённые идеи тем, кто эти рычаги двигал, например, Л. И. Брежневу, его ближайшему окружению, его клану.

В середине 1970-х годов в СССР пришли незапланированные огромные деньги (что-то около 170–180 млрд долларов, то есть около 1 трлн по нынешней стоимости доллара) – результат хорошо организованного корпоратократией, причём не только западной (думаю, без её советских контрагентов дело не обошлось), нефтяного кризиса 1973 года. Эти деньги стали фундаментом дальнейшего развития-подъёма советского сегмента корпоратократии и одновременно её орудием в борьбе за власть в КПСС и против КПСС. Именно в середине 1970-х годов в СССР (тоже своеобразный перелом, практически синхронный тому, что произошёл на Западе, в США, что едва ли могло быть случайностью) началось формирование той бригады, которая спустя десятилетие вплотную приступит к демонтажу советской системы. В этом плане очень интересно и поучительно внимательное, пристальное чтение мемуаров перестроечной шайки – подельников и особенно советников Горбачёва. Они, по-видимому, уже ничего не боятся и начали, подобно отловленным Дуремаром насосавшимся крови пиявкам, “много болтать”. Тогда же, в середине 1970-х, началось постепенное раскачивание Средней Азии спецслужбами США и некоторых ближневосточных государств. Это тоже был курс на разру-

шение СССР, только извне, с юга, с использованием исламского фактора. Поворотным моментом здесь стало втягивание СССР в афганскую авантюру заинтересованными группами в самом СССР и за рубежом.

В плане будущего разрушения СССР формирование советского сегмента корпоратократии было важно тем, что подводило политико-экономическую базу под действия тех лиц, а точнее — групп, которые давно, ещё со сталинского поворота в сторону “красной империи” работали против советского, сталинского проекта, опираясь на Запад, будь то на “левых глобалистов” коминтерновского типа или на различные структуры верхушки мирового капиталистического класса. До формирования совкорпоратократии эта публика, невычищенная до конца в 1930-е годы и подготовившая себе смену — второе поколение антисистемщиков в высших эшелонах власти, — политико-экономическую базу имела только за пределами СССР; в 1970-е годы эта база формировалась уже внутри СССР, став *locus standi* и *field of employment* для тех, кто десятилетиями имел свою паутину наверху советской властной пирамиды.

Разумеется, главным образом это были лица не первого уровня, хотя здесь возможны и исключения. Речь должна идти об уровне реальной оперативной власти — среднем, причём таком, который давал выход одновременно на экономику (“хозструктуры” ЦК КПСС и соответствующие управления КГБ, последние в данном случае не могли не столкнуться с МВД), на внешний мир (международный отдел ЦК КПСС и опять же определённые управления КГБ, которые в данном случае не могли не столкнуться с ГРУ) и на криминальную среду, в которую необходимо было заслать свою агентуру, одновременно противодействуя тому же МВД.

— **Перенесёмся из 1980-х в 1930-е годы. Скажите, Андрей Ильич, когда вы рассматриваете эту эпоху, то, в отличие от многих историков, смело употребляете слова “террор” и “репрессии”. Для большинства же из них речь идёт исключительно о борьбе с врагами народа. Для Вас в этом нет противоречия?**

— Нет, противоречия не вижу. Подавление врага, тем более “пятой колонны”, всегда предполагает репрессии большего или меньшего масштаба, большей или меньшей степени жёсткости. Важно, кто объект этих действий, кто субъект и какова цель. Уинстон Черчилль специально подчеркнул, что одна из причин победы СССР в Великой Отечественной войне заключается в том, что в самый канун войны была разгромлена “пятая колонна”. Впрочем, добавлю я, как показала послевоенная история, не до конца.

Разумеется, сводить так называемые “сталинские репрессии” к борьбе с “пятой колонной” было бы ошибочно.

— **Почему “так называемые”?**

— Потому что послевоенная номенклатура, в том числе и та её часть, у которой, как у Хрущёва, руки были по локоть, а то и по плечи в крови, решила свалить всё на одного человека (такого в реальности не бывает), а всю сложность властных и социальных процессов свести к репрессиям, обозвав их сталинскими. Ну, а “шестидесятники” и диссиденты эту интерпретацию радостно подхватили под аплодисменты противников СССР на Западе. В реальности 1922–1939 годы — это время *холодной гражданской войны*, пришедшей на смену “горячей” и ставшей её продолжением. У этого продолжения несколько аспектов. Аспект № 1 — подавление тех групп, которые реально противостояли строительству социализма. Аспект № 2 — борьба за место под властным солнцем среди самих победителей. Два эти процесса, переплетаясь, били со страшной силой и по невиновным. Аспект № 3 — конкретная властная и социальная ситуации второй половины 1930-х годов. Сталин, стремясь расширить и укрепить социальную базу режима, попытался ввести в будущую конституцию положение об альтернативных выборах. И потерпел поражение от собственного же Политбюро — это хорошо показал в своих работах историк Юрий Жуков. Проблема, однако, не ограничивалась Политбюро. “Региональные бароны” типа Эйхе, Хрущёва, Постышева и других, понимая, чем может им грозить подобное расширение социальной базы (“народ может выбрать детей помещиков, попов и капиталистов”), не просто оказали сопротивление Сталину, но развернули наступление, потребовав репрессий против “антисоветских элементов”. Наступавших — “детей XVII съезда ВКП(б)” — было большинство, и если бы Сталин не отступил, то запросто сам мог бы оказаться на Лубянке. Однако вождь нашёл асимметричный ответ: в запущенную партверхушку мясорубку репрессий он втянул саму эту верхушку; средство —

ежовщина; а когда задача была решена, место Н. И. Ежова занял Л. П. Берия и началась “бериевская оттепель”.

Таким образом, речь должна идти не о неких “сталинских репрессиях”, а об очень сложном, многослойном, противоречивом и разноскоростном процессе социальной борьбы. Причём массовыми были репрессии, развёрнутые “региональными баронами”, такими “стахановцами террора”, как Эйхе, Хрущёв и др.; репрессии против верхушки носили ограниченно-селективный характер (по сравнению с первым пластом). Кроме социальной борьбы, имела место и экономическая. Я имею в виду борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти. По свидетельствам очевидцев, Сталин, присутствуя на допросах представителей партверхушки, всегда задавал им один и тот же вопрос: “Гдэ дэньги?”

— **Когда анализируешь дискуссии вокруг террора, складывается впечатление, что у потерпевших и особенно у их родственников к Сталину есть исключительно личные счёты, но никак не исторические и не общественные. И чисто по-человечески их можно понять. Но с другой стороны, стоит лишь спросить себя: “Почему?” — и картина предстаёт под совершенно другим углом зрения. Разумеется, если мы сразу отбросим в сторону глупости по поводу паранойи Сталина и т. д.**

— У разных людей — разные счёты с режимом. Сейчас я много общаюсь с молодёжью и могу утверждать, что в последние 5-6 лет пришло новое поколение, которое, столкнувшись в постсоветской реальности с социальной несправедливостью, незащищённостью, совершенно по-другому относится к сталинской эпохе. И в этом я вижу наглядное проявление именно общественного интереса. Не случайно в телепроекте “Имя Россия” всем было понятно, кто победил. И то, что Сталина “отодвинули”, — это, как пел Галич: “Это рыжий все на публику”. И чтобы не допустить второго прокола, телена начальники подстраховались, и в проекте о военачальниках решили ограничиться полководцами. Если бы этой оговорки не было, опять бы победил товарищ Сталин, потому что он был верховным главнокомандующим в самой главной войне нашей истории.

— **В связи с этим очень интересный вопрос. Не раз слышал от людей вашего поколения, которые открыто признавались, что их отцы, отстоявшие Победу, часто люто ненавидели Сталина...**

— Есть такое дело. За примером далеко ходить не надо. Мой отец, закончивший войну заместителем командира дивизии (дальняя авиация) по технической части и расписавшийся на Рейхстаге, не любил Сталина. Ненависти не было, была стойкая нелюбовь, причём возникла она задолго до 1956 года, где-то в конце 1930-х (отец 1912 года рождения), и не исчезла после Победы. Причём в этой нелюбви отец не был одинок. Другое дело, что нелюбовь эта, в отличие от истерик “шестидесятников” и злобного шипения диссидентов, была сдержанной и нешумной, это была нелюбовь победителей к победителю. Причём причина была не столько в репрессиях, сколько в другом. Поколение победителей хотело перемен, тем более что послевоенная эпоха отчётливо выявила кризис сталинской структуры советской системы, её место должна была занять другая структура, и сам Сталин это понимал, хотя, скорее всего, не до конца, что вполне объяснимо: обострение отношений с Западом и осознание того факта, что, несмотря на Победу, впереди — длительная борьба с возглавляемым США коллективным Западом; приход новой эпохи, которую Сталин, будучи продуктом другого времени, понимал не до конца, возраст, перенапряжение военных лет, ухудшение здоровья — всё это делало решения вождя не всегда адекватными. Не всегда “он — верховный” правильно оценивал ситуацию, это была поздняя “осень патриарха”. И тем не менее именно Сталин в 1951-1952 годах заложил фундамент того, что впоследствии назовут “оттепелью” и припишут Хрущёву. Однако изменения шли слишком медленно, а молодые победители спешили жить и вступали в конфликт с системой, которая опасалась их и как молодых, и как военных, и как победителей. А кто виноват в системе со сверхперсонализированной властью? Ясно кто — персонификатор, то есть Сталин. Так по разные стороны оказались две потенциальные силы в борьбе с партноменклатурой. Это была одна из причин, позволившая партаппарату во главе с Хрущёвым не только сохранить позиции, на которые покушался Сталин, но, во-первых, убрать конкурентов — спецслужбы, исполнительную власть, армию; во-вторых, не допустить реальной демократизации советского общества, подменить её

номенклатурной либерализацией, произошедшей после XX съезда КПСС, этих “сатурналий номенклатуры”.

— **Что Вы конкретно имеете в виду, говоря об устранении конкурентов?**

— Во главе с Хрущёвым партаппарат последовательно устранил всех системных конкурентов. Внешне это выглядело как личная борьба Хрущёва за власть, и отчасти это действительно было так. Однако главным образом это была форма, которую приняла борьба различных властных структур в СССР и — по всей вероятности — неких зарубежных структур, как государственных, так и надгосударственных, использовавших в своих интересах внутрисоветскую борьбу за власть.

В июне 1953 года был убит Л. П. Берия; это означало, что госбезопасность в качестве конкурента партаппарата была отодвинута в сторону. Падение Г. М. Маленкова в 1954 году означало оттеснение от власти такой структуры, как Совет Министров. Наконец, в 1957 году отстраняют от должности Г. К. Жукова, и во властном офсайде оказывается армия. Всё, полная победа партаппарата, но вскоре Хрущёв понимает: теперь у него нет возможности играть на тех противоречиях, которые существовали в сталинском параллелограмме сил. И он решает провести реформу партии, поделив её на две части: “промышленно-городскую” и “сельскохозяйственно-деревенскую”. Именно это стало последней каплей, и в октябре 1964 года Хрущёв был снят в результате партзаговора. Показательно, что собравшийся в ноябре 1964 года пленум ЦК КПСС первым делом отменил реформу партии; другое хрущёвское детище — совнархозы — как менее опасное для партаппарата было ликвидировано позже, в 1965 году.

Однако всё это — 1960-е годы, а вот между 1956-м и 1961-м, именно в правление Хрущёва, произошли важные изменения, направившие вектор развития СССР в ту сторону, где финалом стала горбачёвщина.

— **О чём речь?**

— Речь о решениях XX и XXII съездов КПСС. На XX съезде был провозглашён курс на мирное сосуществование государств с различным социально-экономическим строем. По сути, в перспективе это означало постепенную интеграцию части номенклатуры в мировой рынок, в западную экономику (сырьё, — прежде всего, нефть, — совзагранбанки, игры с драгметаллами и т. п.). На XXII съезде КПСС в новой программе партии наряду с традиционными пассажами о строительстве коммунизма как главной задаче КПСС появился новый тезис: одна из главных задач партии — максимальное удовлетворение растущих материальных потребностей советских граждан. То есть стремящаяся в западopodobный потребленческий “рай” номенклатура оформила себе социальное алиби в качестве одной из целей системы. Так в антикапиталистическую систему стали внедряться рыночные по своей сути критерии, работавшие на превращение советского человека в потребителя. И это при том, что массовый потребленческий спрос система удовлетворить не могла. В этом одна из главных причин роста теневой экономики, тесно связанной с определёнными сегментами партноменклатуры, а также КГБ, и ещё более разлагавшей общество, причём не только социальную ткань, то есть “физику”, но также мораль, целеполагание, смыслы, то есть метафизику. Уже спустя десятилетие результаты были налицо: сформировался слой советских “лавочников”, живущих, главным образом, на теневой стороне советского общества. Со временем тень перестанет знать своё место и станет питательной средой, почвой, навозом для будущих постсоветских олигархов, то есть во-рья в особо крупных размерах. Но складывалось всё в 1970-е. Так, Леонид Филатов вспоминает, что к середине 1970-х годов публика Театра на Таганке наполовину состояла из “лавочников” — театр их высмеивал, а в зрительном зале высмеиваемый тип задавал тон.

— **А те, кто их высмеивал, на следующий день шли к ним же в лавку...**

— Разумеется. Шли за импортом — от сервелата, джинсов и прочего шмотья до румынской мебели и автомобилей. Кстати, “Таганка”, формально высмеивая мещанство, на самом деле была по советской системе. Надо помнить, из чего выросла “Таганка”, кто её курировал, кто сидел в худсовете. Поддержка антисоветчины шла с самого верха, от либерально-глобалистского крыла госбезопасности и номенклатуры. Поэтому, когда сегодня Юрия Любимова пытаются записать в “борцы с тоталитаризмом”, ничего кроме смеха это вызвать не может. Ничего себе борец с тоталитаризмом, который сразу

после попытки закрыть спектакль звонит Андропову, и спектакль разрешают. Б. Захава наотрез отказывается выпускать “Доброго человека из Сезуана”, охарактеризовав его антисоветским, но спектакль выходит. Разгромная статья в “Правде” (!) по поводу спектакля “Мастер и Маргарита” — спектакль идёт. История “Таганки” как одного из составных элементов антисоветского проекта части верхов ждёт своего исследователя — там будет немало “открытий чудных”.

— **Сегодня, внимательно следя за тем, что говорят здравствующие мастера советского искусства, среди которых есть действительно выдающиеся художники, что называется, “на раз” их легко ловишь на противоречиях. Говоря о препятствиях и зажимах, буквально через запятую они сетуют на то, что не видят ничего и близко похожего из созданного в их сферах творчества за последние 25 лет...**

— Данное явление называется когнитивным диссонансом. По сути, это социальная шизофрения. По тому, как те или иные мастера культуры оценивают советское прошлое, при котором большинство из них процветало, легко определить, кто есть кто, а кто был “ху”, так и остался “ху”. Кстати, когнитивный диссонанс — родовая черта так называемых либеральных (“так называемых”, поскольку к реальному либерализму, почившему в бозе в 1910-е годы, всё это не имеет отношения) СМИ. Достаточно послушать, например, ненавидящих всё русское двух особ с “Эха Москвы”, претендующих на рассуждения о культуре и искусстве на ТВ, или двух малообразованных, плохо воспитанных и тоже русофобствующих дам, злословивших на ТВ. Все они говорят о былом (советского времени!) творческом порыве, о духовности, существовавшей до 1991 года, сетуют по поводу нынешнего упадка культуры (привет Швыдкому и К°!) и в то же время поливают грязью советское прошлое. Так и хочется спросить: болезные, как же это получается, что в советском прошлом — духовность и культура, а в ваших замечательных (свобода!) 90-х и нулевых — бескультуре? Где логика? Ненависть мутит разум?

— **Ненависть к советскому прошлому?**

— Да. И надо понимать, что за ненавистью к советской системе скрывается ненависть к России, к русской истории, к русскости.

— **Это то, что называют “национал-предательством либералов”, “нео-западничеством”?**

— В целом — да, но нужно уточнить термины и некоторые моменты. Далеко не всякий либерал — национал-предатель. Русские либералы XIX века Б. Н. Чичерин и К. Д. Кавелин предателями России не были. Западник — это не всегда либерал; примеры — В. Г. Белинский, интернационал-социалисты ленинско-троцкистского типа. Правильнее в данном контексте говорить об автофобии — будь то русофобия или советофобия; впрочем, за последней, как правило, скрывается первая. Едва ли можно увидеть корни национал-предательства и автофобии в русском западничестве середины XIX века: от П. Я. Чаадаева до смердяковщины весьма длинная дистанция. Кроме того, те, кого сегодня в РФ именуют либералами, никакого отношения к либерализму не имеют. В своём классическом виде либерализм умер во втором десятилетии XX века. Так называемый неолиберализм так же похож на либерализм, как Граучо Маркс на Карла Маркса. Поэтому правильнее либо брать нынешних российских либералов в кавычки, либо называть их “либерастами”, поскольку их “либерализм” — это вывеска, скрывающая или оправдывающая социал-дарвинистское разграбление и разрушение страны и сокращение её населения в интересах западного капитала.

— **Каковы источники нынешней автофобии?**

— У автофобии, которая в конце XX — начале XXI века приняла форму либерастического национал-предательства, несколько источников. На поверхности лежит смердяковское желание того, чтобы “умная нация” (французы, немцы и т. д.) покорила глупую (русских) в силу своего якобы культурно-исторического превосходства. На первый взгляд, кажется, что речь идёт о цивилизационном превосходстве; на самом деле, в виду имеется бытовой комфорт (“сто сортов сыра и колбасы”), то есть жизнь в соответствии с системой потребностей верхней части Запада капиталистической эпохи. При этом забывается, что в основе этого высокого уровня комфорта, часть которого в XX веке под давлением СССР стала перепадать западным “мидлам” и даже верхушке “пролов” (за что это западное быдло так никогда и не почувствовало благодарности к СССР), лежали благоприятный климат (Гольфстрим), жестокая эксплуатация своих низов и ограбление колоний и полуколоний. Поскольку в России

и у России ничего этого не было, то оформившееся во второй половине XVIII века стремление части российских верхов жить по западной системе потребностей требовало отчуждения у низов не только прибавочного, но и необходимого продукта. Психологическим оправданием этого становилось презрительное отношение к народу, как к “азиатам”, “дикарям” и т. п. В то же время поскольку, во-первых, в России господствующие группы, в отличие от Запада, были функциональными органами власти и зависели от неё; во-вторых, эта центральная власть контролировала их и с конца XVIII века (с Павла I) ограничивала эксплуатацию низов верхами (в своих, разумеется, интересах), а с XIV века ограничивала (как могла) капитал — местный и проникновение чужого, — то объектом автофобии части верхов становился не только народ, но и государство, центрально-верховная власть. В таком отношении данная часть верхов совпадала с определёнными сегментами российского капитала и, конечно же, западного — с обслуживавшими его государствами Запада и хозяевами как этих государств, так и капитала, — закрытыми наднациональными структурами мирового согласования и управления.

Таков вкратце и несколько спрямлённо генезис автофобии в России. Он лишь по форме носит культурно-цивилизационный характер. По сути же это классовое явление, связанное с интеграцией части верхов Большой системы “Россия” в Большую систему “Капитализм” — классовые интересы требуют национально-культурной перекодировки, предатель (как в широком, так и в узком смысле) должен оправдывать предательство и себя ненавистью к объекту предательства. В случае этно-национальной инаковости ненависть может усиливаться многократно. И всё же главное — классовое. Достоевского и русские народные сказки чубайсы ненавидят не столько по национально-культурным причинам (хотя и по ним, по-видимому, тоже), сколько по классовым.

— **Можно ли дать определение авто- (русо-, совето-) фобии?**

— Автофобия — это идейно-поведенческий комплекс тех групп, которые стремятся к таким формам эксплуатации населения, которые сформированы Западом-Капиталом, но запрещены для русской системы работ; всё, что стоит на пути такой эксплуатации, — государство, традиционные русские ценности, определённая численность населения — вызывает у западоидных групп ненависть и, по их мнению, должно быть уничтожено как “отсталое”, “второсортное”, “мешающее прогрессу”, “неоптимальное” и т. п.

Русская революция начала XX века, а затем системный антикапитализм в виде СССР, казалось, должны были покончить с этим, но удалось — в 1930–1950-е годы, то есть в сталинский период — лишь приглушить, подавить, как оказалось — временно. Со второй половины 1950-х годов началась эрозия системного антикапитализма как “системного” и как “анти-”. В номенклатуре к рубежу 1960–1970-х годов сформировался небольшой, но весьма влиятельный, ориентированный на Запад слой, которому само наличие СССР, советской власти мешало превратиться в класс собственников; одно дело тайком размещать на Западе активы, создавать паутину совзагранбанков в обмен на уступки Хозяевам Запада и отказ от прорывных технологий или даже сдачу их врагу с опаской, что возьмут за задницу, и совсем другое — легализоваться в прямом и переносном смысле, демонтировав строй, который основан на отрицании частной собственности и эксплуатации. Отсюда — второе, уже антисоветское пришествие автофобии, тщательно камуфлируемое до поры до времени под пролетарский интернационализм, под нетерпимость к национализму (особенно русскому), ко всему “почвенному”. Показательно, что будущий “прораб перестройки” А. Н. Яковлев впервые засветился статьёй-доносом, направленной против писателей-почвенников.

Так же, как вокруг автофобов эпохи позднего самодержавия сформировался целый слой obsługi (интеллигенция), у автофобов позднего реального социализма, стремившихся превратиться в собственников, сформировалась своя obsługi — так называемые “либералы”; имя им легион — аксёновы, любимовы, окуджавы и прочие. В виде якобы демократической фронды, “социализма с человеческим лицом” (“уберите Ленина с денег”) все они сознательно или полусознательно работали на слом системы — на будущих собственников и на своё превращение из квазиинтеллигенции в культур-буржуазию. Социальной базой властно-интеллигентских автофобов в позднем СССР стал активно формировавшийся с 1970-х годов слой советских мещан, лавочников — продукт реформы Косыгина-Либермана. Подчёркиваю тесную связь с оветского мещанина-лавочника 1970–1980-х годов с антисоветчиками-либера-

стами во власти. Пунктиром эта связь наметилась уже в конце XIX века. В “Заметках о мещанстве” Горький чётко её зафиксировал: “Мещанство — это строй души современного представителя командующих классов”. В позднесоветское время — и во многом именно поэтому оно стало **поздним**, то есть закатным советским — мещанство, социальное лабазничество стало строем души определённой части партноменклатуры и КГБ, членов их семей, особенно третьего советского поколения — (условно) внуков советской верхушки, циничных, шмоточноориентированных, ненавидящих народ и ту власть, которая пусть всё меньше, но выражала интересы простонародья. Как прав оказался Н. Бердяев, заметивший: “Самая зловещая фигура в России (советской. — **А. Ф.**) — это не фигура старого революционера, а фигура молодого человека, внука тех, кто делал революцию”.

1991 год стал триумфом советских лавочников всех уровней и внуков тех, к кому “просто мздой, не наказанием пришёл... год тридцать седьмой” (Н. Коржавин) — тех, чьи дедушки до чисток 1937-1938 годов руководили НКВД и ГУЛагом и кто после 1991 года очень хотел превратить Россию в либерально-фашистский ГУЛаг. Тот год и последовавшая за ним ельцинщина стали триумфом тёмной стороны советского общества, тени, которая перестала знать своё место.

— **Какова, по-Вашему, цель нынешних автофобов?**

— В сегодняшнем властно-экономическом раскладе постсоветские автофобы ведут дело к ликвидации России как геополитической, культурно-исторической и демографической целостности. Во-первых, в ситуации нынешнего противостояния путинского режима с Западом они рассчитывают, что с помощью Запада устранят последний, пусть слабый, но реально существующий в виде суверенитета политический и правовой барьер на пути полного и бесконтрольного расхищения-эксплуатации русских ресурсов и полного подавления русского народа как культурно-исторического типа. Во-вторых, сокрушение России позволит этой публике спрятать в воду концы своих преступлений, за которые, в случае сохранения РФ и тем более восстановления её мощи, им придётся так или иначе отвечать.

Эти факторы лепят из автофобов почти абсолютных национал-предателей, ненавидящих в лице путинского режима российскую государственность, а в лице народа (“ватники” и т. п.) — всё русское. Опять же по сталинской формуле — национальное по форме, классовое по содержанию.

Эта публика готова стать приказчиками-плохишами “международного сообщества”, то есть мировых ростовщиков и транснациональных корпораций, не чувствуя, что новые хозяева вышвырнут их за борт, как только осуществят пиратский захват флага “Россия”. Впрочем, и в случае, если захвата не произойдёт, их всё равно вышвырнут — это сделает команда флага.

— **После Крыма и в ходе украинского кризиса ситуация, кажется, изменилась: с одной стороны, мы видим подъём патриотизма, державных чувств в широких слоях населения, с другой — государство взялось за тех, кто по разным направлениям ведёт против него подрывную деятельность. Достаточно вспомнить закон об “иностранных агентах”, вытеснение ряда НПО, спонсировавших якобы научную, а по сути — пропагандистско-идеологическую деятельность антигосударственного, антироссийского характера (если брать сферу истории, то это очернение нашего прошлого, фальсификация советского периода и т. п.)**

— Да, ситуация, безусловно, изменилась. Украинский кризис выявил не только внешних, но и внутренних врагов России, а власть поняла их опасность для себя и зафиксировала свою позицию. Даже не будучи последовательной, эта позиция сильно напугала прозападную шушерию, трущуюся вокруг определённых фондов, образовательных и медийных структур и долгое время безнаказанно и радостно поливавших грязью Россию. Однако рано или поздно испуг пройдёт, к тому же хозяева потребуют активизации. По мере развёртывания противостояния “Запад — Россия” наш геополитический противник и его союзники, а точнее — поделщики в российском олигархате и истеблишменте попытаются изменить ситуацию на идейно-пропагандистском фронте, вернуть её во времена ельцинщины. Разумеется, для этого нужны новые оргструктуры, кадры.

— **Но ведь если посмотреть на так называемый “либеральный клан”, то с новыми кадрами там бедновато. Крутятся одни и те же люди, сказать которым нечего.**

— Да, бедновато. Скорее всего попытаются слепить нечто новое из не очень засвеченного третьего-четвёртого ряда и такого же по качеству; сварганят из этих троечников зондер-команды для нового тура фальсификации нашего прошлого и настоящего. И делаться это будет под вывеской борьбы против фальсификации, против “централизации” исторического знания, за якобы “многообразие подходов”, за “мультиперспективность”. Только ведь все лживые очернительские схемы уже использованы, вышли в тираж, опровергнуты. Только о якобы “десятиках миллионов жертв ГУЛага”, “о кроважном Сталине”, о “палаче Берия”, о “тоталитаризме от Грозного до Сталина”, об “агрессивной русской имперскости” — вот всё, о чём способна говорить эта публика... Импотенты они и есть импотенты. На месте их хозяев я бы им гроша ломаного не дал, но, по-видимому, других “писателей” у них нет. Вот и приходится довольствоваться “балетом безногих”, как сказал бы А. А. Зиновьев.

— **Ну, так, может, никакой попытки “исправить стиль” не будет?**

— Обязательно будет. Только теперь спонсором будут выступать не столько западный капитал, его структуры, включая спецслужбы, сколько приказчики западного капитала в РФ — их структуры, фонды, клубы. Коллективный Запад готовится к войне с Россией, к окончательному решению русского вопроса. Как сказал Бжезинский, Запад в XXI веке будет решать свои проблемы за счёт России и в ущерб России. Другое дело, если мы будем сильны, то агрессивные планы так и останутся на бумаге. Однако подготовка агрессии идёт и имеет не только военно-политический и экономический аспекты, но и аспект психоисторической (информационной/концептуальной/смысловой) войны. Психоисторическая война, как правило, предшествует “горячей” и всегда ведётся с помощью “пятой колонны”. Поэтому Запад и прозападные силы в РФ постараются развернуть свои действия на психоисторическом фронте.

Когда-то Сталин заметил, что, по мере продвижения к социализму, классовая борьба будет обостряться, и горбачёвщина доказала верность этого тезиса. Сегодня можно сказать, что, по мере развития противостояния “Запад — Россия”, социальная борьба у нас во всех её видах и, прежде всего, в идейном, концептуальном будет обостряться. Не случайно либерасты намекают на необходимость “слить” Новороссию и замирились с Западом на его условиях, вспоминают конвергенцию и, конечно же, перестройку. Не случайно в информполе вбрасывается идея необходимости “перестройки-2”. Предатели-автофобы 1980-х годов сливаются в экстазе со своими наследниками и вместе варганят лживый манифест, приуроченный к 30-летию перестройки.

Они будут пытаться убедить нас, что разрушение СССР и глобализация — “объективные процессы”, а государственный суверенитет — устаревающая, если уже не устаревшая реальность; что Запад — это идеал, а Россия — отсталая страна. Нам опять будут врать про тяжёлое положение СССР в 1970–1980-е годы, объясняя это пороками социализма, а не тем, что горбачёвщина — классовый союз части советской партийной и гэбэшной номенклатуры и западного капитала — сознательно загнала страну в тупик системного кризиса. На самом деле в 1960–1970-е и даже в первой половине 1980-х годов ситуация в СССР, с одной стороны, и на Западе, в ядре капиталистической системы была весьма далека от того, о чём вещали перестройщики и о чём болтают сегодня их наследники.

— **Удалось прочитать мемуары советских инженеров, которые в шестидесятые годы выезжали на Запад. Там совершенно открыто прогнозировали, что СССР при тогдашних темпах развития обгонит Штаты, но только надеялись, что это не случится до 2000 года.**

— До середины, а то и до конца 1960-х годов люди на Западе, действительно, спорили не о том, догонит ли и перегонит ли СССР США, а о том, когда это произойдёт. Но, по-видимому, именно в конце 1960-х — начале 1970-х годов часть советской верхушки пошла на сделку с определённой частью западной верхушки, разменяв рывок в будущее на возможность хранить активы на Западе и жить с его хозяевами в мире. Разумеется, возможность была мнимой — очагом, нарисованным на холсте; номенклатурные буратины с их коротенькими мыслями всерьёз решили, что североатлантические верхушки посадят их за один стол, что они искренне обещают интегрировать СССР в западный мир, только без Средней Азии и Закавказья (так проталкивалась идея развала СССР).

Именно на рубеже 1960–1970-х годов в СССР на самом высоком уровне принимается решение об отказе от самостоятельной разработки ряда прорыв-

ных направлений в науке и технике, причём таких, в которых мы уже оставили Запад далеко позади. Обратим внимание: произошло это в очень нужный для Запада момент, когда его лидер, США, переживал худшее десятилетие в своей истории и когда Запад начал сворачивать научно-технический прогресс в большинстве сфер и мог легко оказаться на обочине истории. Именно в этот момент он получил и передышку (“детант”), и отказ советской верхушки от прорывных направлений в развитии науки и техники, то есть от будущего.

— **Если бы мне в 1989 году сказали, в каком totalmente супермаркете я окажусь, то я бы первым убежал оттуда сломя голову. Ведь, скажем так, животного-растительной жизнью советский человек занимался исключительно в домашних условиях, но вот он закрывал за собой дверь, выходил на улицу, и там уже транслировался совершенно другой уровень информации...**

— Вспомним знаменитую фразу бывшего министра образования А. Фурсенко о том, что главный порок советской школы — это её стремление подготовить человека-творца, тогда как задача нынешней (то есть постсоветской) школы, по мнению экс-министра, — вырастить квалифицированного потребителя. Трудно сказать, чего больше в этой фразе — скудоумия, социального дебилизма или культурной маргинальности. Но это не просто фраза; это программа общественного развития, реализация которой превращает Россию в мировую помойку. По-видимому, кто-то хочет стать аристократией этой помойки, сделав главным занятием потребительство. Ради “корзины печенья и банки варенья” в награду за превращение страны в помойку для Запада его местные холи рушат образование, медицину, в конечном счёте — социум. И дело здесь не только в злом умысле; разрушители социокультурно — маргиналы, отбросы советского общества, всплывшие в условиях смуты и поменявшие высших коммунистических начальников на заморских капиталистических. Они в принципе внекультурны и потому не способны оценить ни культуру, ни науку. И нет Сталина, который мог бы научить их этому тем или иным способом.

Именно эта социокультурная маргинальность в купе с внезапным обогащением не позволяет основной массе так называемой “постсоветской элиты” понять реалии сегодняшнего дня и социальную природу — собственную и Запада, с которым они пытаются играть в разные игры. Эти люди всерьёз полагают, что главное в жизни — деньги. Так же они воспринимают Хозяев Мировой Игры — как Хозяев Денег. Им бы почитать один из лучших политических романов XX века — “Вся королевская рать” Роберта Пенна Уоррена. Герой романа, действие которого происходит в США в 1930-е годы, губернатор Вилли Старк (его прототипом был губернатор Луизианы Хью Лонг, реальный соперник Франклина Рузвельта, убитый в 1935 году) не раз говорит о том, что доллары имеют силу и ценность только до определённого предела, за которым смысл имеет только одно — власть.

Большая часть представителей позднесоветской и постсоветской верхушек полагали, что большие деньги откроют доступ в Клуб мировых хозяев. А им вместо этого — “Уходи-ка ты домой... да лицо своё умой”. И не в том дело, что деньги ворованные, а в том, что, во-первых, не деньги — то единственное, что определяет доступ в Клуб; во-вторых, в Клуб этот чужаков не принимают. Чтобы стать своим, надо иметь определённое происхождение и принадлежать к западному миру и его закрытым структурам в течение нескольких поколений. С этой точки зрения ясно, насколько наивны представления той части нынешней элиты, которая рассчитывает — после сирийского и украинского кризисов — замирился с Западом, полагая, что это временные проблемы, связанные с борьбой за активы. Не в активах дело. Наше противостояние с Западом носит не гешефтно-денежный, а метафизический характер — “Мы для них чужие навсегда”, как пел Вертинский. Но маргиналам со скачущими перед глазами цифрами долларов этого не понять: “рождённый ползать летать не может”. Аристотель с его “физика, бойся метафизики!” был прав. Да разве его услышат... Впрочем, “физикализация” наших верхов началась не в 1991 году, а значительно раньше, в 1960-е. Горбачёв и Ельцин — близкая к финишу стадия этого процесса, стадия метастазирования властно-социального организма под названием “СССР”.

— **Задам вопрос о Ельцине. Если на словоблудие Горбачёва ещё можно было повестись, поскольку в прямом эфире тогда оно казалось чуть ли не новым словом в истории, то хорошо помню, как у меня, вчерашнего школьника, вызвала инстинктивное отторжение фигура Ельцина**

и поражала реакция на него людей старшего поколения. Ведь элементарно на слух можно было понять, кто перед нами. Как тогда Вы воспринимали фигуру Ельцина?

— У меня произошло наоборот. Горбачёва с самого начала я воспринимал как малограмотного болтуна-фуфлогона — достаточно вспомнить глупую улыбку, пустые глаза и перманентный словесный понос. Ельцина первое время я воспринимал на фоне Горбачёва и по контрасту с ним. В отличие от Горбачёва, у Ельцина всё же была самость, но самость звериная, нередко дурная-самодурная, и это выявилося довольно быстро. Горбачёва и Ельцина объединяет одно — готовность выхолуиваться перед начальством. Сначала это были вышестоящие партийные начальники и гэбэшные кураторы, затем — заокеанские президенты и их советники. Горбачёв и Ельцин — классический пример продуктов разложения партноменклатуры, системы. И не случайно именно эту гниль цапанули корпоратократы — советские и западные. Помните, как у Булгакова: Воланд и К° властны только над теми, кто тронут социальной гнилью. Пока правящий слой РФ не даст моральную и политико-правовую оценку горбачёвщине и ельцинщине как предательству национальных интересов, пятно этих явлений будет продолжать омрачать нашу жизнь.

— Есть известное изречение Петра I о том, что мы должны взять от Запада всё лучшее и повернуться к нему задом. Скажем так, что-то на данном этапе пришлось ко двору — сфера услуг, сервис, быт. Не настало ли время для решительного претворения в жизнь второй части петровского тезиса? В принципе, президент такую решимость демонстрирует давно...

— Этой решимости явно не хватает последовательности. Но это субъективный аспект дела. Ещё более серьёзен объективный, а точнее — системный. За последнюю четверть века у нас сформировались целые социальные и профессиональные группы или даже слои, паразитирующие на том типе компрадорских отношений с Западом, который возник в период ельцинщины и окончательные очертания принял в первое десятилетие XXI века. Причём слои и группы не только в экономике, но и в том, что выполняет у нас функцию политики, а также в СМИ, в шоу-бизнесе. Даже в обществоведческой науке возникли группы, специализирующиеся на пересказе-трансляции западных схем и навязывании их нашей реальности. В целом ряде учебных заведений эти компрадоры, плохиши от науки, задают тон, заглаживая мозги студентам и подготавливая окончательную интеллектуальную капитуляцию нашего общества перед Западом. По сути, эти люди дистанционно уже обслуживают транснациональные корпорации. Показательна их реакция на Крым, на украинский кризис. Иными словами, в нашем социуме оформился сегмент “чужих”, нормальное функционирование которого требует разрушения нашего социума, наших традиционных ценностей, норм, нашей этики и эстетики, требует расчленения страны и установления политико-правового решения. Нельзя позволить социальному раку распространять свои метастазы. Вот это и будет реализацией тезиса Петра I.

— Сегодня гражданин РФ окружён таким количеством бумажно-формальных обязательств в виде анкет, страховок, полисов, собеседований, что недавняя его жизнь покажется просто верхом свободы. По словам покойного А. Панарина, вся нация находится под подозрением, то есть большинство её живёт на правах квартирантов в собственном доме. Сверхактуализация профессий юриста и особенно адвоката, целая отрасль услуг “психологов”, где через одного тебя встречают желторотые юнцы, а то и просто тёмные личности. Ведь раньше все ответы мне могла дать и давала литература. Как русская, так и мировая. Хороший текст и выслушает тебя, и придёт на помощь. Это к вопросу о понимании степени важности преподавания литературы с младых ногтей. Трудно себе представить, чтобы я за деньги стал доверять непонятно кому решение своих проблем. Понятно, что такая всеобщая калькуляция отношений противна русскому человеку. Можно себе представить, что стало бы, если бы в дикой природе животные вдруг начали калькулировать свою жизнь. Ведь фактически сегодня наш социум отчасти отражает эту фантастическую картинку. Если Вы пишете, что сегодня суперэлита мира для самосохранения надеется с 5-6% сократиться до 2-3%, то и она понимает свой невесёлый финал. Вообще, Андрей Ильич, насколько хорошо капитализм знает сам себя, так сказать, изнутри? Ведь он фактически постоянно сталкивается с вызовами, которые сам и провоцирует.

— В этом вопросе сразу несколько важных тем. По порядку. Первое. Нынешний — постсоветский — человек действительно находится под значительно более плотным контролем, чем человек советский. Жёсткий советский контроль, который сильно размягчился уже в 1960-е годы (да и раньше жёстким был скорее внешне — его не сравнить с железной хваткой контроля при капитализме), можно было обмануть. Разумеется, и сегодня можно сработать по схеме “а бумажечку твою я махорочкой набью”, но это сложнее. Человеку всё больше противостоит бездушная квазизападная машина с привкусом российского хамства. В этих условиях наши юристы, адвокаты, психологи — в той же мере не те, кем называются, что и рынок — не рынок. Лица этих профессий выполняют в нашей реальности, в этом самовоспроизводящемся процессе разложения позднесоветского общества совсем иные функции, чем их коллеги на Западе.

Второе. Да, мы литературоцентричная страна, и отмена сочинений в нашей школе — культурно-психологическая диверсия. Сегодня сочинение возвращается, но последствия разрыва сразу устранить не удастся.

Третье. Есть классовый барьер восприятия реальности, в том числе и у буржуинов. В то же время в капиталистической системе два контура не только власти, но и знания. Есть “наука” — история, социология, политология и т. д. — для профанов, ей профессора-филистеры обучают будущих социальных лохов в университетах. Я называю эту науку профессорско-профанной, именно она хлынула к нам в 1990-е годы. Именно её транслируют постсоветские компрадоры от науки, пересказывая чужие (то есть выражающие чужой классовый, геополитический и цивилизационный интерес) теории и пытаясь навязать их нашей реальности. Это не так безвредно, как это может показаться на первый взгляд. Всё это внешний контур. Но есть внутренний контур знания — “наука для своих”, скрытое знание о природе, о мире, об обществе, его реальных субъектах и закономерностях развития.

Четвёртое. Капитализм не может не провоцировать те проблемы, с которыми сталкивается. Реальность сегодняшнего дня такова, что он, а точнее — его хозяева перестали справляться с этими проблемами и контролировать их. И это их уязвимое место, которое историческая Россия должна использовать, расквашившись за 1991 год.

— **Андрей Ильич, Вы, пожалуй, сегодня чуть ли не единственный публицист, который рассматривает социальные катаклизмы в неразрывной связи с теми процессами, которые происходят в культуре. Для Вас, как Вы заметили, сегодня это пространство напоминает зону питекантропов. Елена Камбуrowa точно подметила, что если бы за спиной была пустыня, то особых вопросов тогда бы не возникало. Но когда буквально вчера твоя жизнь была наполнена совсем другими звуками и красками, то тебе вдвойне труднее понять, как быстро такое падение могло произойти.**

— Ответ прост: это не вполне естественный процесс, это процесс направляемый. Насыщенное советское прошлое нам пытаются представить пустыней, пустотой. А как только начинают пытаться с ним тягаться, получается неприличный звук. Достаточно посмотреть ремейки “Ирони судьбы” и “Джентльменов удачи” — ведь убожество. Достаточно сравнить советскую эстраду с нынешней как по качеству музыки, так и по качеству исполнителей, всё становится ясно: двоечники (в лучшем случае троечники), бездарь и дельцы на марше.

— **Действительно, даже лёгкие жанры советской музыки превратились сегодня просто в недостижимые вершины. В итоге повсеместно мы имеем — пришло время называть вещи своими именами — смесь дремучего шоу-бизнеса с художественной самодеятельностью. Причем самодеятельностью самого низкого пошиба.**

— А чего можно ожидать от гешефтмахеров и дельцов — даже очень крутых? Куда им до уровня Дунаевского-старшего и Бабаджаняна, Петрова и Крылатова, Зацепина и Паулса?! Вообще популярная музыка — это важнейший социальный индикатор, показатель здоровья или нездоровья общества. Мой отец, молодость которого пришлась на 1930-е, на мой вопрос о тех годах ответил так: “Слушай музыку того времени. В атмосфере страха такая музыка невозможна”. И это при том, что отец был критиком Сталина и его системы и уже в конце 1930-х знал многое из того, о чём большинство узнало лишь после 1956 года. Действительно, трудно представить, что “Широка страна моя родная” написана и — самое главное — принята народом как своя, кровная

в атмосфере страха. И, с другой стороны, какова же должна быть общественная атмосфера, породившая песни 90-х и нулевых про “кусочки колбаски” и “юбочки из плюша”?

— Следующий мой вопрос принципиален для меня как зрителя, читателя и слушателя. Первое — это то, что искусство сегодня не становится частью моей (и, думаю, не только моей) биографии. Свою жизнь до 1990 года я могу рассказать по событиям, абсолютно не касаясь личной биографии, год — книга, год — кинофильм, год — музыкальная премьера... А за последние 25 лет мне, по большому счёту, нечего вспомнить из того, что останется со мной. И ещё: трудно представить жизнь сегодняшних “мегасуперпуперзвёзд”, которая оформится во времени в книгу. Я точно знаю, что лет через двадцать не куплю биографию, скажем, Евгения Миронова, при том что ему не откажешь в таланте, хотя я готов был отдать последние три рубля за книжку об Алисе Фрейндлих. Нет ни национальных событий, ни, следовательно, национальных явлений. Ведь даже такие уважаемые имена, уже, кстати, не совсем молодых людей как Нетребко, Цискаридзе, Мацуев... — это то, что связано исключительно с классическим искусством. Мало того, что не видно творческого напряжения, за что я, прежде всего, и платил деньги, покупая билет на концерт или пластинку в советское время. Было инстинктивное чувство, что без этого запала и горения не было бы никаких билетов и никаких пластинок... Сегодня — не просто ноль градусов, но минус пятьдесят по Цельсию! Как мало надо времени, чтобы люди променяли творчество на купюры. Опять-таки испытываешь состояние ступора от того, что то, на что раньше бы презрительно поморщился, теперь дорого продаётся. И что окончательно добывает — оно покупается! XX век ставил заповедные задачи, чтобы через сорок-пятьдесят лет оставить художника исключительно перед искушением и соблазнами. Точно сбылось пророчество Энди Уорхола, что в XXI веке каждый будет знаменит 15 минут. Да, после 1991 года не стало соревнования, важного в культуре так же, как и в экономике и в политике. Только ли это сыграло свою роль, ещё раньше?

— Дело, конечно же, не только в соревновании. Речь должна идти об общей деградации культуры и искусства — сначала на Западе, а в 1990-е годы этот процесс и до нас добрался. А здесь его углубили и расширили персонажи — продукты разложения советской системы, вся эта культур-буржуазия, ненавидевшая народ, советский строй и готовая шестерить перед новыми хозяевами, старательно не обращая внимания на сильный криминальный душок. В результате на экраны ТВ, сцены театров (даже очень Больших), на страницы газет вылезли экскременты советской системы, то, что эта система, даже в ослабленном своём состоянии, не пускала на свет, а ныне крысы вырвались из подполья, и необходим Дудочник, который уведёт их куда следует. Уорхол оказался прав не только для Запада, но и для западopodobной части России.

О каком творческом запале можно говорить в условиях, когда доминанта — бабло: “Сатана там правит бал...” Причём условия эти лишь отчасти носят стихийный характер, ведь рынок — это не самостоятельная сила, да и нет никакого рынка. Есть диктат заинтересованных групп, закамуфлированный под рынок. Вот и получается, что функцию литературы начинает выполнять антилитература (акунины-донцовы), культуры — антикультура (от “Дом-2” до версии “Руслана и Людмилы” в “режиссуре” Д. Чернякова); о кино, эстраде и театре я вообще не говорю. Короче говоря, тень перестала знать своё место, на марше “живые мертвецы”, симулякры.

— Так называемыми симулякрами наш социум пронизан повсеместно. В общественной жизни, политике, которая превратилась в разновидность шоу, спорте, СМИ... Тонны периодической макулатуры, которая не решает никаких задач, лишь иногда обозначает проблему. И то в лучшем случае. Кстати, Вы пишете о резкой деградации периодики. Такой междусобойчик во всех сферах. Как мудро заметил Ю. Мухин, футбол существует исключительно для одной цели — доставить удовольствие болельщику. Всё! А вся эта атрибутика, гонорары, контракты, франшизы меня не должны волновать абсолютно.

— К сожалению, футбол, хоккей и вообще Большой спорт у нас уже четверть века как минимум существуют в качестве бизнеса, а также шоу, отвле-

кающего от насущных вопросов жизни. На Западе этот процесс стартовал на рубеже 1920–1930-х годов. Об Англии того времени Дж. Оруэлл заметил, что если бы не пабы, радио и футбол, то в стране могла бы произойти революция. Лет 35–40 назад на Западе произошла полная “бизнесизация” спорта. И кино как искусство почти закончилось, достаточно сравнить американское и французское кино 1950–1970-х годов с тем, что пришло позже. То же у нас: кино 1950–1970-х годов и нынешнее. Страсть к ремейкам ведь не случайна — хочется настоящего, есть тяга, но нет потенции, большие деньги на неё плохо влияют, а местечковым междусобойчиком, как ни пыжесь, настоящее искусство не заменишь. Параллельно с “бизнесизацией” развивается криминализация спорта и кино. Во что мафии вкладывают средства? Чего стоит одна лишь история попытки второй половины 1990-х — начала нулевых годов создать европейскую футбольную суперлигу как средство отмыва наркоденег. Ну и, наконец, необходимо сказать о нарастающей роли мракобесия и оккультизма, которые проникают даже в научную среду, в сферу научно-популярной деятельности и литературы. Несколько лет назад, участвуя в чтении памяти одного замечательного советского астронома, я был поражён тем, что среди докладов были доклады и на оккультные темы, а в перерыве в фойе большой спрос оказался на бюллетень самиздатского типа “Потусторонние новости”.

Всё это — показатель кризиса, разрухи в головах.

— **Но ведь, например, 1920-е годы тоже были кризисом, а ситуация была совершенно иной. Вы определяете “длинные двадцатые годы” (1914–1933) как феномен в искусстве и общественной мысли прошлого века. Переваривать пришлось ещё долго... Сегодня же, например, вновь открывая для себя подзабытые кладовые советской поэзии, испытываешь опять же чувство сравнимое с потрясением: стихи В. Луговского, Н. Асеева... выглядят просто образцами и шедеврами (такими и останутся!) на фоне сегодняшнего шума, где уже не до поэзии. Что интересно, все они становились творчески зрелыми в молодые, даже юные годы. Они начинали в те же 1920-е и почти сразу стартовали как мастера. И ещё — какая внутренняя, просто искрящаяся свобода! А зрелость лиц... Кстати, ту же эволюцию советского, скажем, артиста, я мог проследить или хотя бы почувствовать просто по биографическим фотопортретам, даже не по киноролям и спектаклям. Я не встречал в старых подшивках газет и журналов ни одной фотографии, где бы советские звёзды позировали. Это всегда взгляд исключительно внутрь себя, сквозь объектив. И попадая вовнутрь библиотечного фонда недавнего прошлого, чувствуешь себя жителем другой планеты. И это не ностальгия, про которую мне кричат в оба уха. Просто кожей чувствуешь, что воруют не у тебя, а воруют тебя самого. На Ваш взгляд, настоящая оценка советского проекта ещё ждёт своего часа? Хотя Вы говорите, что реставрировать ничего нельзя, но ведь можно, не уходя далеко, взять с собой самую суть?**

— Кризис кризису рознь. “Длинные двадцатые” были структурным кризисом капитализма, из которого он вышел обновлённым. То был кризис обновления. Кризис конца XX — начала XXI века — системный, за ним у капитализма не наступит никакого обновления. Всё, занавес. И Россия с разрушением СССР в полной мере в этот кризис вползла.

...О том, что советские звёзды не позировали. Начать с того, что выдающиеся советские актёры и певцы не называли себя звёздами, да и на фотографиях смотрелись не позёрами. Позёрство — способ существования бездарей и самозванцев, главная цель которых не самореализация (реализовать нечего), а погоня за деньгами и славой.

— **Мир так устроен, что всегда будут люди, которым нужно чуть больше денег, чуть больше комфорта и удовольствий. Понятно, что сегодня в России рынок не рынок, капитализм не капитализм... Кстати, сегодня известно, что Сталин в начале 1950-х годов, когда страна уже восстанавливалась, повсеместно вводил формы поощрения за рост производства — так называемый метод повышения эффективности (МПЭ) — и, как следствие, — резкий рост в те годы артелей и частных производителей. Насколько возможно учесть интересы всех и какая степень и форма частной собственности возможна в России, если, конечно, она возможна вообще?**

— Вы правы: у нас нет ни рынка, ни капитализма. У нас процесс первоначального накопления (то есть передел собственности) постоянно подсекает капиталистическое накопление. Я рад, что Вы вспомнили МПЭ; этот факт

лишний раз свидетельствует о том, что Сталин был великолепным социальным инженером. Что касается частной собственности, то в России на протяжении почти всей её истории частной собственности либо не было, либо она не работала, либо приобретала, главным образом, уродливые формы, как в конце XIX — начале XX и в конце XX — начале XXI веков. Вообще нужно сказать, что частная собственность — довольно редкое явление. Оно возникает с разложением западноевропейского феодализма (собственно, никакого другого и не было) и расцветает при капитализме. Азиатские (Китай, Индия, мир ислама) и античные социумы частной собственности, по сути, не знали — природно-хозяйственные и исторические условия такого типа собственности не требовали. Более того, как и ростовщичество, этот тип собственности нес им смертельную угрозу. Недаром частная собственность на Западе развивается как элемент “цивилизации ссудного процента”. Но даже на Западе, если брать верхушку мирового капиталистического класса, деньги определяют далеко не всё — на определённом уровне физические деньги превращаются в метафизическую, нередко оккультную (но не религиозную!) власть. Последняя в качестве второго контура как бы вынесена за рамки системы — по принципу злого духа из “Шахнаме” Фирдоуси: “Я здесь и не здесь”.

Россия в плане развития частной собственности (не путать с семейно-обособленной) относится к мейнстриму планетарного развития, а не к западному (капиталистическому) “выверту-извращению”. Относительно невеликий по объёму совокупный общественный продукт (результат хозяйственной деятельности русских в зоне рискованного земледелия евразийского неудобья), огромные пространства (транспортные издержки), постоянные войны на три стороны света — всё это делало собственность (не частную собственность, а собственность вообще) в русской системе жизни вторичной, производной, функциональной по отношению к власти. А само общество приобретало служебный характер. Развитие в таком типе социума частной собственности, не говоря уже о капитализме, есть показатель не прогресса, а регресса и упадка. Что и происходило у нас в конце XIX — начале XX века. При том, что частнособственнический слой позднесамодержавной (пореформенной) России был невелик, этого вполне хватало для нарастания кризиса. Ведь жил этот слой по потребностям верхушек буржуазного Запада с его индустриальной и мощной аграрной основой, а не по потребностям, которые могла удовлетворить русская система хозяйства. Западоидность российской верхушки может обеспечиваться только одним — усилением эксплуатации и разорением основной массы населения, что и повторилось в 1990-е — привет позднему самодержавию! Частная собственность и капитализм в России и для России — это всегда показатель серьёзной социальной болезни.

Показательно ещё одно: сегодня частная собственность постепенно отмирает — вместе с капитализмом — на самом Западе, на её место приходит корпоративная и иные формы нечастной собственности.

— **В книге “Холодный восточный ветер Русской весны” Вы пишете, что нам предстоит пережить трудные, возможно, даже кровавые ближайшие 10–15 лет. Можно ли провести прямую линию причинны Грозный — Сталин, которую вы исследуете, к Путину?**

— Нет. Путин не демонстрирует не только опричнину, но даже волю или склонность к ней. Пока что линия “Грозный — Сталин” заканчивается на Сталине; его, как и Ивана Грозного, характеризует определённость позиции. В то же время разрешить главное противоречие путинского курса — между противостоянием с Западом, нежеланием медведя отдать кому-либо свою тайгу, с одной стороны, и продолжением чубайсовско-кудринской вариации неолиберальной экономической политики, с другой — невозможно без чего-то похожего на (нео)опричнину. Экономическая политика последней четверти века сделала постсоветскую Россию типологически весьма похожей на царскую Россию начала XX века (социальная поляризация, сырьевая специализация, слабая социальная база власти), опасно похожей, я бы сказал.

— **Стоит сравнить видеокadres президента, скажем, 2001 года и года 2013-го, мы увидим, что перед нами два разных человека. Невероятный, колоссальный прогресс политика...**

— Да, Путин прибавил — жизнь заставила. О нём можно сказать словами Николая Заболоцкого: “Как мир меняется! / И как я сам меняюсь! Лишь именем одним я называюсь”. Путин выглядит существенно сильнее западных так называемых “лидеров”, которые на самом деле всего лишь высокопоставлен-

ные клерки-марионетки, пляшущие под дудку своих хозяев. Но ведь сила Запада не в этих марионетках и даже не столько в экономической мощи, сколько в организованном в два контура власти — закрытый и открытый — правящем политико-экономическом слое коллективного Запада. При всех противоречиях его кланов, его двух основных сегментов — англо-американского, спянного, помимо прочего, еврейским капиталом, и немецко-североитальянского, завязанного на Ватикан, — это единое целое с по сути общей взаимопереплетённой собственностью, которую контролирует ограниченное число семей, корпораций и фондов. Эти люди действуют не по принципу “нравится — не нравится”, а раз так, то стараться понравиться им бесполезно, они признают только силу, поэтому до сих пор их так пугает Сталин, этот испуг дорогого стоит, он — высшая форма признания и высокой оценки на Западе всего, что относится к России.

— **У России есть сегодня реальные союзники?**

— Тактические, возможно, есть. Стратегических и тем более метафизических нет. Да нам и не надо. Будем сильными — сами справимся, а слабых сами же союзники (или, как их называют сегодня, “партнёры”) и сожрут, предварительно ударив ножом в спину. Длительные союзы возможны лишь на основе комбинации экономических интересов, цивилизационного сходства и этнического родства. Как, например, британско-американский союз при всех его противоречиях, которые в 1930-е годы стали главной причиной Второй мировой войны, — сегодня этот факт активно затушёвывается, всё внимание фокусируется на Третьем рейхе и СССР.

— **То есть для успешного союза важен фактор крови?**

— Не всегда, но нередко. Не случайно, что именно англосаксы, прежде всего британцы, разработали в конце XIX — начале XX века основные расово-евгенические теории, которые на практике реализовали нацисты в Третьем рейхе. Так же, как когда-то на рубеже XVII–XVIII веков английская/британская элита разработала геокультурный вирус, психооружие под названием “Просвещение” и сбросила его во Францию. Сбросила для того, чтобы идейно подорвать Францию, духовно обезоружить её правящую элиту в борьбе с Великобританией, размягчить и опрокинуть, что и произошло в конце XVIII века.

У немецкого нацизма не только германские, но общеевропейские, особенно британские корни (достаточно почитать, кроме учёных, таких авторов, как Киплинг и Уэллс с его “новым мировым порядком” и “открытым заговором”). И в этом плане поднимающая голову реабилитация нацизма сегодня на Западе — явление не случайное, достаточно посмотреть, что делалось в Европе в 1920–1930-е годы, какие в основном режимы были у власти. Да и нынешний Евросоюз ведь шит по лекалам гитлеровского евросоюза. Именно распространённый на большую часть Европы Третий рейх во многом стал моделью нынешнего Евросоюза, как бы ни пытались это отрицать его создатели. Я уже не говорю о роли немцев в создании и развитии ЕС.

— **Первая мировая война и сегодняшний день — есть ли здесь прямые или косвенные параллели?**

— Прямых параллелей нет. Косвенные есть, особенно если вспомнить, что Первая мировая война была организована глобалистами по обе стороны Атлантики для того, чтобы сокрушить четыре империи — одну евразийскую, две европейские и одну азиатскую. Причём сделать так, чтобы евразийская и европейские империи сцепились в смертельной схватке. Главной задачей войны было уничтожение англосаксами Германии и России силами самих же этих государств. До конца не вышло, и понадобилась Вторая мировая война, в которой США преследовали цель не только уничтожения Германии, но и разрушения Британской империи, что и было сделано. Что касается нынешней ситуации, то при всей поверхностности исторических аналогий она напоминает мне ту, что сложилась в канун Крымской войны в середине XIX века, когда Россия стала объектом агрессии коллективного Запада; в роли провокатора выступала Османская империя, сегодня эта роль отводится украинской элите. Ясно также, почему украинский кризис случился именно сейчас. Три года назад Дж. Фридман, организатор и первый руководитель “Стратфора”, известного как “частное ЦРУ”, заявил: как только Россия начнёт подниматься, она получит кризис, и этот кризис произойдёт на Украине, поскольку ни один американский президент не может позволить себе спокойно взирать на восстановление Россией утраченных позиций.

– **Известная фраза Клинтона: “Мы позволим России быть, но мы не позволим ей быть сильной...”**

– Да, это было сказано в 1995 году о дышащей на ладан ельцинской “России”. Однако события стали развиваться иначе. Это стало ясно и по войне 08.08.08, и по тому, что Путин пошёл на третий срок, и по сирийскому кризису. В ответ империя – США – нанесла ответный удар. На Украине.

С учётом острого экономического кризиса США и Евросоюза понятно, что у коллективного Запада не более 3–5–7 лет на окончательное решение русского вопроса. Именно эти годы станут для нас решающими. Интересную статью написал не так давно суперспекулянт Сорос. В ней он потребовал от Европы срочно помочь Украине, дав ей 24 млрд долларов, подчёркивая, что поражение Украины будет означать конец Евросоюза, поскольку его недавние новые члены, такие, например, как Чехия, постепенно будут разворачиваться в сторону Евразийского союза, и в итоге не исключено создание социалистического блока новой формации.

Кстати, Киссинджер оказался прав, говоря о том, что не надо сильно давить на Сирию, иначе есть риск потерять все завоевания последних двадцати с лишним лет. События на Украине полностью подтвердили его опасения. Для Запада это настоящее поражение за последнюю четверть века. Очень важно, что последний год оказался годом победы государственных СМИ над “пятоколонными”. По сути, остались маргиналы эхолодического типа и кучкующаяся вокруг них публика определённого сорта. Заявления персонажей типа Акунина и Троицкого, что нужно валить из России, тоже о многом говорят. Такие, как они, понимают, что ничего хорошего их здесь не ждёт, и это радует.

– **Вы ввели термин “корпорация-государство”. Западная элита стремится к своей конечной цели в борьбе за мировое господство, под которым подразумевается размытие мировых границ и самое главное – исчезновение национальных государств. И эта яма уже вырыта достаточно глубоко. Судя по развитию этого сценария и Вашим выводам, наша цивилизация может оказаться на пороге окончательного краха. Это конец всему...**

– Это, прежде всего, конец капитализму. Поскольку европейская цивилизация, тесно связанная с капитализмом, но им же и его хозяевами и подорванная, неспособна сохранить свою идентичность – историческую, социокультурную, религиозную, расовую, – то колокол звонит и по ней. Парадокс, но последним оплотом европеизма и христианства в Европе (Евразии) остаётся Россия. Даже в своём раздолбанном состоянии это более здоровое общество, чем США или Западная Европа. Я жил в США и во Франции, бывал и бываю в Великобритании и Германии, свидетельствую: это больные общества с ярко выраженной волей к цивилизационной смерти. Закат Европы в Лунку Истории состоялся. Но ошибаются и те, кто рассчитывает на приход светлого будущего с Востока – из Китая, Японии, Индии. Это всё те же очаги глобального человекоубийства, для которых характерны жесточайший социальный контроль, растворённость индивида в социуме и – часто – отсутствие социальной справедливости. Экономический рывок этих гигантов связан с жесточайшей эксплуатацией низов верхами, небывалым ростом социально-экономического неравенства; так что не надо бросаться из одной крайности в другую, превознося олигархические же страны БРИКС и мифологизируя Восток – и якобы капиталистический (Япония) и якобы социалистический (Китай). Вместо капитализма и социализма там свои системы – китайская, японская, индийская. Они не менее чужды нам, русским европейцам, чем западная капиталистическая, уже почти убившая Европу европейскость.

Что же касается ямы, которую роет мировая верхушка, то в соответствии с тем, что Гегель называл “коварством истории”, у неё все шансы туда попасть, особенно если ей помочь.

– **Вы должны быть очень неудобным историком и публицистом для многих ваших коллег и уж тем более для оппонентов. С другой стороны, Вы везде – Америка, Европа, Япония, Индия. И в то же время Селигер, Питер, Сибирь, Крым. Скажите, Андрей Ильич, Вас боятся или этим товарищам просто нечего вам ответить?**

– Мне трудно судить. Бояться меня вряд ли есть причины. Что касается критики, то дело в следующем: то, о чём я пишу, представляет собой цельную систему как методологически, так и содержательно. Нельзя выхватить один сегмент и подвергнуть его критике, цеплять нужно систему в целом –

метод, логику, факты. Свою систему я разрабатывал с середины 1980-х годов, она неплохо структурирована и эшелонирована, хотя, как любая интеллектуальная система, не лишена противоречий и недостатков, над устранением которых я работаю. Кстати, конструктивная внешняя критика — огромное подспорье в такой работе, но подобного рода критика — большая редкость, поскольку требует освоения потенциальным критиком твоей системы, а это труд, причём безденежный. А вообще нужно не думать о своём удобстве или неудобстве для оппонентов, а двигаться своим путём и получать удовольствие — от него и от жизни. Точнее, наоборот, — от жизни и от пути: как говорили древние, *primum vivere, deinde philosophari* — прежде жить, а уж затем философствовать. Кстати, чтобы философствовать, надо знать жизнь. К сожалению, немало научных “трудов” не имеют никакого отношения к реальной жизни — так, *игра в бисер*, забавы взрослых шалунов, мышиная возня грантоедов, пересказ оторванных от жизни теорий и подмена ими реальности.

— **И последний вопрос. Книги издаются, Ваши работы в периодике появляются регулярно плюс интернет. Вы говорите очевидные вещи, идеи просты и понятны, бери и пользуйся. Удивляет, что нет реакции, как говорится, с самого верха. На этот же вопрос С. Г. Кара-Мурза мне ответил предельно коротко и ясно: “Им не до этого”.**

— Дело не только в этом. В любой системе существует классовый барьер, предел адекватного восприятия реальности. Чем больше та или иная теория или просто работа задевает классовый интерес, тем меньше её слышат, эта информация либо отбрасывается, либо просто не воспринимается — шум и более ничего. Мой незабвенный учитель Владимир Васильевич Крылов говорил: нельзя (так как бессмысленно) отвечать человеку на вопрос, который перед ним не стоит. Ну, а отвечать на вопрос, который он не желает видеть, ещё более бессмысленно.

Вы говорите — идеи просты, бери и пользуйся. Но ведь для этого нужно выпрыгнуть из своей классовой шкуры, иметь мотивацию и интеллект. Иначе ведь этой идеей — а идеи штука материальна! — и по лбу можно получить. Ну и, наконец: брахманам — брахманово, кшатриям — кшатриево, а шудрам — шудрино. *Рождённый ползать летать не может.* И зачем ползуну рецепты и средства полётов? Здесь другие рецепты в цене: как ловчее уткнуть хрюкальник в корыто. А ведь за всё придётся платить. “Наказания без вины не бывает”, как говаривал блаженный Августин — хоть и не наш человек, а верно. Нашей “верхотуре”, по-видимому, очень симпатична царская Россия. Странно, что они не додумывают свою симпатию до конца, словно не зная, чем она кончила — по “Предсказанию” Лермонтова: “...явится мощный человек, / И ты его узнаешь — и поймёшь, / Зачем в руке его булатный нож”.

Беседовал А. Н. Васильев

МИХАИЛ ЧВАНОВ

АТОМНЫЙ ГОРОД НА СТРАЖЕ МИРА

Памяти Константина Арсеньевича Володина

В детстве по ночам на юго-восток от нашего села, лежащего на прекрасной реке Юрюзани, на границе Башкирии и Челябинской области, над горами, простёртыми в сторону города Усть-Катава, горизонт вдруг начинал высвечиваться всполохами. Звук, похожий на гром, доходил до нас с опозданием, как при далёкой затухающей грозе, но на грозу это всё-таки было непохоже, потому что громыхало однотонно, протяжно, к тому же не только летом, и, казалось, под ногами содрогалась земля, хотя ясно было, что происходило это за десятки километров от нас. А может, и на самом деле содрогалась, теперь трудно определённо сказать, а может, это чувство вызывала тревога от таинственности происходящего. На мой вопрос, что это такое, отец отмахнулся: «Наверное, что-то испытывают», — тоном, обозначающим, что он сам не знает и что такие вопросы лучше не задавать. Много лет спустя я узнал, что это действительно на полигоне в районе города Усть-Катава испытывали артиллерийско-ракетные системы залпового огня, изготавливаемые на Усть-Катавском трамвайном заводе, впрочем, трамваи на нём тоже делали.

Однажды отец пришёл с работы с необыкновенной покупкой: ламповым радиоприёмником, а долгое время до этого единственным источником информации была висевшая на стене ещё военного времени чёрная бумажная «тарелка» (в первые дни Великой Отечественной войны радиоприёмники были конфискованы, чтобы народ не поддавался панике и вражеской пропаганде). В первый же вечер мы с отцом наткнулись в эфире, продравшись сквозь треск и вой глушилок, на радиостанцию «Голос Америки», и, к нашему потрясению, в ряду главных мировых новостей диктор сообщил о таинственном строительстве сверхсекретного объекта на Южном Урале в районе деревни Васильовки. И не меньшим потрясением было то, что о Васильовке этот голос говорил и следующим вечером и чуть ли не каждый следующий день: вот на станцию Красная Горка пришёл новый эшелон с военными строителями, вот на ближайшей станции Транссибирской магистрали, Вязовой, разгрузили ещё один вагон с заключёнными, вот они вручную начали копать ещё один котлован, превосходящий по размерам предыдущие, судя по глубине, скорее всего, под подземный завод...

— Значит, не зря предупреждают о шпионах, — хмуро и тревожно говорил отец. — Кто-то же есть, кто регулярно сообщает в Америку, что там, в Васильовке, за колючей проволокой, происходит. Мы ничего не знаем, а они,

в Америке, всё знают. Хотя, видимо, не ко всему имеет доступ этот человек, потому как самого главного они по радио не сообщают: каково назначение этого секретного объекта... Ты это, смотри, никому не говори, что мы с тобой “Голос Америки” слушаем. Да и вообще лучше не слушать и, от греха подальше, ничего не зная, жить спокойнее, а то одни переживания.

И вот теперь про эту самую Васильовку и Красную Горку чуть ли не каждый вечер обеспокоено вещал “Голос Америки”, почему-то невзрачная южно-уральская деревенька и небольшая грузовая станция, с которой здешний лесспромхоз отгружал лес, Америку очень тревожили.

И только в октябре 1993 года, во время разрушительной “перестройки” страны, чуть не перешедшей в гражданскую войну, на картах России появился, словно всплывший из-под воды град Китеж, город Трёхгорный, названный по трём окружающим его горным вершинам, за свою полувековую как бы нелегальную историю много раз менявший своё имя. Вот только некоторые из них: завод № 590, “хозяйство Володина”, склад №933 Главгорстроя СССР, п\я Г-4146, п\я 17. С 1955 года он мимикрировал под микрорайон г. Златоуста с почтовым индексом “Златоуст-20”, с 1967 года — с почтовым индексом “Златоуст-36”, хотя находился от реального Златоуста в 100 километрах и административно с ним никак не был связан. В октябре 1993 года он как бы получил гражданский паспорт, и, как свидетельствует его биографическая справка, “был введён в состав территориально-административного деления Челябинской области”. Выяснилось, что на нём производится самое мощное в мире ядерное оружие.

* * *

Первым “изделием” завода было не что иное, как первая серийная советская авиационная атомная бомба РДС-4, в целях секретности получившая ласковое имя “Татьяна”. Это та самая “кузькина мать”, которой грозил Америке, колотя туплей по трибуне ООН, Никита Хрущёв. Факт изготовления первой бомбы в Трёхгорном для многих был откровением: считалось, что всё наше ядерное оружие делалось и делается в Арзамасе-16. Первоначально так и было, там были изготовлены несколько атомных бомб, известных под аббревиатурой РДС-1. (Кстати, первая водородная пряталась под аббревиатурой РДС-6.) Но взрыв железнодорожного состава с тротилом на железнодорожной станции Арзамас, совершивший огромные разрушения, заставил задуматься: в случае атомного взрыва в результате аварии или диверсии взрывная волна докатится, всё сметая на своём пути, в одну сторону — до Москвы и даже перемахнет её, а в другую — до Урала. Это во-первых. А во-вторых — не исключена возможность ядерной или иной бомбардировки Арзамаса-16, потому и стали искать место для нового завода, которое отвечало бы сразу нескольким требованиям: чтобы было удалено от границ, от самых жизненно важных центров страны, но в то же время в относительной близости от крупных железнодорожных и автомобильных магистралей. В целях сверхсекретности, чтобы никто даже не подозревал о существовании завода-дублёра, который со временем станет основным, он должен быть спрятан подальше от посторонних глаз в глухой тайге, и не просто в тайге, а в глубокой горной котловине, чтобы в случае аварии взрывная волна, ударившись в окружающие горы, ушла бы вверх.

В результате было выбрано место в тайге недалеко от старинного южноуральского горнозаводского города Юрюзани. И несколько раз менявший своё имя заводской посёлок, а затем и город, в конце концов, получил нынешнее название: Трёхгорный. В выборе места для того времени, может, самого главного для страны завода, не исключено, сыграл свою роль тот факт, что будущий член Политбюро ЦК КПСС, а тогда министр химической промышленности СССР и заместитель Председателя Совета Министров СССР, один из руководителей Атомного проекта М. Г. Первухин был уроженцем деревни Первухи под городом Юрюзанью. Куратором Атомного проекта был назначен Л. П. Берия. В музее Приборостроительного завода в Трёхгорном его портрет висит на видном месте, на стенде, посвящённом истории создания ядерного оружия. **Учёные-ядерщики до сих пор убеждены, что не было бы Лаврентия Берии, не было бы и вовремя созданной, пусть жестокими метода-**

ми, атомной бомбы, и, может быть, не было бы Советского Союза, а значит, и нынешней России. Первоначально куратором Атомного проекта был назначен Молотов. Но дело шло ни шатко ни валко, когда время, отпущенное историей, измерялось чуть ли не днями. И. В. Курчатов пошёл к Сталину и сказал, что к назначенному сроку мы не создадим атомную бомбу, а может, и никогда не создадим, потому как к тому времени нас уже уничтожат, тут нужен не талант дипломата. Сталин спросил: “Кто, по Вашему мнению, может возглавить это дело?” — “Только Лаврентий Павлович Берия с его талантом организатора и управленца”. В подтверждение приведу отрывок из воспоминаний М. Г. Первухина: “Первоначально общее руководство урановой проблемой осуществлял Молотов. Стиль его работы не удовлетворял Курчатова. И он этого не скрывал. С переходом Атомного проекта в руки Берии ситуация кардинально изменилась. В течение 8 лет, до 1953 года, практически до его ареста, он отвечал за всю работу по Атомному проекту, придав ей необходимый размах и динамизм. Бесспорно, если бы во главе стоял Молотов, то трудно было бы рассчитывать на успех”.

* * *

Но был ещё один человек, который сыграл в истории создания ядерного оружия России огромную роль, но который в силу сразу нескольких обстоятельств, в том числе личных, остался в тени, если не сказать, что практически забыт. Его помнят, кроме узкого круга людей, причастных к созданию отечественного ядерного оружия, может, только в Трёхгорном, а этих людей всё меньше и меньше. Этот человек до организации Атомного проекта перемещался по стране с одного оборонного завода на другой, точнее, его перемещали, как по шахматной доске, бросая наводить порядок на существующих предприятиях и в кратчайшие сроки строить новые, самые важные для страны, из категории “быть стране или не быть”. Его характер, одинаково жёсткий и независимый как с подчинёнными, так и с вышестоящим начальством, наверное, не раз ставил его на опасную грань, в том числе по тем временам на расстрельную, что случалось на этих заводах не раз с его предшественниками, но, видимо, в стране не было другого человека, который мог бы заменить его, и ему прощалось то, что не прощалось никому другому. На ум приходят фамилии только двух людей, кто мог быть его ангелом-хранителем, — это Борис Львович Ванников и, может быть, Лаврентий Павлович Берия. Я не решаюсь назвать фамилию третьего — Иосифа Виссарионовича Сталина. Но кто-то ниже его рангом не мог простить ему независимого характера и, может, даже его организаторского таланта, и потому самые высокие награды за его великие жестокие победы упорно обходили его стороной — их получали другие.

Имя этого человека — Константин Арсеньевич Володин. Но называя это имя, нельзя хоть кратко не рассказать о его, скорее всего, главном ангеле хранителе — Борисе Львовиче Ванникове, начальнике Первого Главного Управления при Совете Министров СССР и заместителе руководителя Спецкомитета № 1 при Совете Министров СССР, занимавшегося проблемой создания ядерного оружия. В бытность К. А. Володина директором Приборостроительного завода в будущем Трёхгорном Б. Л. Ванников был заместителем министра среднего машиностроения, в которое было реорганизованы Первое Главное Управление и Спецкомитет № 1. Будучи с января 1939 года народным комиссаром вооружений СССР, 7 июня 1941 года он был арестован, и на его место был назначен директор Ленинградского завода “Большевик” Д. Ф. Устинов.

Когда я в 80-е годы прошлого века был руководителем экспедиции по поискам пропавшего в августе 1937 года при перелёте из СССР в США через Северный полюс самолёта С. А. Леваневского, я не раз встречался с Б. Е. Чертоком, конструктором-ракетчиком, одним из соратников С. П. Королёва, будущим академиком РАН, который в своё время был ответственным инженером по электрооборудованию самолёта Н-209 С. А. Леваневского. Однажды он мне рассказал необыкновенную, больше похожую на легенду и в то же время очень обыкновенную для того времени историю освобождения Б. Л. Ванникова из тюрьмы. Уже через месяц после начала войны начались перебои с поставками на фронт боеприпасов. Сталин у Берии поинтересовался судьбой Ванникова, оказалось, что он содержался на Лубянке. Сталин приказал немедленно доста-

вить Ванникова в Кремль. Того срочно привели в приличный вид и доставили к вождю. Сталин просил “обиды за случившееся не держать” и предложил ему пост министра вооружений. В результате войска уже через несколько месяцев и на всём протяжении войны не испытывали недостатка в боеприпасах. Уже в июне 1942 года выпуск боеприпасов вдвое вырос по сравнению с 1941 годом, а в 1943-м — втрое. И когда встал вопрос о создании ядерного оружия, ни у кого из специалистов не было сомнения, что во главе этого проекта должен встать Б. Л. Ванников. Он закончил свой земной путь трижды Героем Социалистического труда, лауреатом двух Сталинских премий, кавалером шести орденов Ленина, орденов Суворова и Кутузова, причём два последних присваивались только полководцам за успешные фронтовые операции.

Подбирая надёжных и талантливых сотрудников, Ванников поставил во главе ключевого предприятия отрасли К. А. Володина. О Константине Арсеньевиче я совершенно ничего не знал, кроме того, что он был первым директором Приборостроительного завода в Трёхгорном и что его имя носит одна из улиц города. Но познакомившись, хотя бы вкратце, с историей завода, с историей создания в кратчайший срок ядерного щита России, я понял, что не имею права умолчать об этом человеке. Более того, я посчитал своим долгом хотя бы коротко рассказать о нём, потому что его имя в силу не столько прежней секретности (рассекречены сейчас практически все имена людей, так или иначе связанных с Атомным проектом), сколько в силу случайных и неслучайных обстоятельств, в том числе и его характера, оказалось забытым. Пишут и говорят об академиках Курчатове, Харитоне, Янгеле, многих других, так или иначе связанных с созданием ядерного оружия, о причастности к этой проблеме гениального русского учёного академика Вернадского, о советских легендарных разведчиках, добывших американские атомные секреты, а **имя Константина Арсеньевича Володина, строителя заводов и организатора ядерно-оружейного производства нигде и никем даже не упоминается, кроме как в специальной литературе. Ничего нет о нём даже в книге писателя Владимира Губарева “Атомная бомба”, а Константин Арсеньевич Володин сыграл в создании ядерного щита России, бесспорно, огромную роль.**

Когда встал вопрос о строительстве в самый кратчайший срок — ибо уже завтра может быть поздно! — завода по производству первой атомной бомбы в специально закрытом для этого городе, который получил название Арзамас-16, наверное, не случайно выбор пал именно на него, а вопрос решался на самом высоком уровне. Как не случайно и то, что выбор пал снова на него, когда встал вопрос о строительстве в столь же кратчайший срок завода-дублёра серийного выпуска ядерного оружия на Урале. Фигура Константина Арсеньевича Володина поистине трагична. Он относился к типу людей сталинской заковки, положивших жизнь без остатка служению Родине и всю жизнь проживших на острие бритвы. Ошибись он в чём-то, не выполни в намеченный фантастический срок задание, Володин мог стать одним из тысяч заключённых, которых он видел на строительстве завода в Трёхгорном. Не потому ли жёсткий и порой даже жестокий в своих решениях, он во многих случаях помогал заключённым, особенно отбывающим срок по 58-й статье, насколько это было в его силах. За его спиной, кроме всего прочего, постоянно незримо стояли два расстрелянных один за другим директора Подольского патронного завода, после которых он принял завод.

Родился Константин Арсеньевич Володин 27 мая 1901 года в деревне Ено-таевка в Астраханской губернии, в рабочей семье. С семи лет батрачил у рыботорговца. Отрочество прошло на рыбных промыслах грузчиком, матросом. Грамоту осваивал, как позже писал он в автобиографии, между палубой и берегом. В 1919 году был призван в Красную армию. И всю оставшуюся жизнь или служил в армии, или работал на армию. В 1930 году, в 29 лет, поступил в Ленинградскую военно-техническую академию на артиллерийский факультет. Мог ли он тогда предполагать, что это позже станет главным делом его жизни? В 1934-м он заканчивает академию, получает специальность “военный инженер” и направляется в г. Луганск (Ворошиловград) старшим военным представителем Главного артиллерийского управления РККА на завод № 60. На этом заводе он проработал 2,5 года и в августе 1937-го был назначен начальником планово-производственного отдела 12-го Управления наркомата обороны СССР.

Но уже в июле 1938 года он направляется главным инженером патронного завода № 17 в Подольске, где незадолго до этого один за другим за невыполнение плана были расстреляны два его директора. Видимо, ему быстро удалось наладить производство, потому как уже через полтора года он был награждён первым орденом — орденом Красной Звезды “за достижения в области промышленности” и в 1940 году назначается директором завода. Завод *поставлен на крыло*, и в июне 1941 года, за несколько дней до начала войны он переведён директором на переживающий трудности завод № 46 в подмосковном Кунцево, и 20 октября, в самое тяжелое время, когда враг стоял в пригородах Москвы, вместе с заводом эвакуируется в Свердловск. Поставив завод на ноги, он перебрасывается директором завода № 621 в г. Кокчетав в Казахстане, потом на завод № 3 в Ульяновске. Он кочует с завода на завод, где было нужно ускорить или начать новое производство. Вспомните приведенные выше цифры: с июня 1941 по июнь 1942-го производство боеприпасов в стране увеличилось в 2 раза, а на июнь 1943 года — в три раза, и что за всё время войны, начиная с сентября 1941-го, войска не испытывали нехватки боеприпасов. Это нарком вооружений Б. Л. Ванников, зная талант Володина как организатора производства, словно по шахматной доске, передвигал его по стране. За обеспечение фронта боеприпасами К. А. Володин награждается орденами Трудового Красного Знамени (1942), Красного Знамени (1944), Ленина (1945). И переводится ещё раз, снова в Кунцево, на сей раз — главным инженером в “ОКБМ-444”. В апреле 1945-го, когда ещё не закончилась война, он командировается в Польшу, Чехословакию и Германию, — по официальной версии, “для оценки и вывоза особо ценного промышленного оборудования с немецких военных заводов в качестве компенсации военных потерь”.

17 декабря 1948 года он прикомандировывается к только что созданному Первому Главному Управлению при Совете Министров СССР, целью которого было **решение сверхсекретной урановой проблемы, то есть срочное создание ядерного оружия, которое уже имелось у Соединённых Штатов и было опробовано в Хиросиме и Нагасаки и которое, как дамклов меч, висело над Советским Союзом.**

Уже в 1945 году, не успев закончиться Вторая мировая война и солдаты-победители союзных армий, ни о чём не подозревая, ещё продолжали браться на линиях разграничения зон влияния в поверженной Германии, как комитет начальников штабов США уже рекомендовал не просто ускорить атомные исследования и производство атомных бомб, а настаивал на желательности нанесения атомных ударов по Советскому Союзу. **Сравнительно недавно стало известно, что настоятельно просил нанести ядерный удар по Советскому Союзу один из самых коварных врагов России — премьер-министр Англии Уинстон Черчилль. Для атомной бомбардировки были намечены 20 советских городов. И уже в ноябре 1945 года не без его давления США приняли на вооружение доктрину “первого удара” против СССР. В директиве Совета национальной безопасности, утверждённой президентом США 23 ноября 1947 года, были окончательно определены цели атомной войны. В течение 30 дней должно было быть сброшено 133 атомных бомбы уже не на 20, а на 77 городов СССР, в том числе на Москву — 7 бомб...**

Перед нашими учёными и производственниками была поставлена практически невыполнимая задача: в обескровленной стране с разрушенной войной промышленностью создать ядерное оружие в кратчайшие сроки. И эта задача была выполнена: 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была испытана атомная бомба.

Но, во-первых, она была ещё неподъёмной. А во-вторых, была произведена в условиях конструкторского бюро (КБ-11), научным руководителем которого был Ю. Б. Харитон. Срочно нужен был завод для серийного производства ядерного оружия. И срочно был нужен человек, который в состоянии выполнить эту по всем меркам почти невыполнимую задачу, потому как на строительство завода и ввод его в действие отводилось всего два года! Второй человек после Л. П. Берии в Атомном проекте, начальник Первого Главного Управления при Совете Министров СССР Б. Л. Ванников на вопрос Л. П. Берия, есть ли у него на примере такой человек, уверенно отвечает: инженер-подполковник Володин. Вопрос об альтернативной кандидатуре

даже не вставал. И 1 декабря 1949 года К. А. Володин назначается директором завода № 3 в г. Арзамас-16 по выпуску первых серийных ядерных боеприпасов. Вот как описывает строительство завода и выпуск первых атомных бомб один из следующих после К. А. Володина директоров завода № 3 М. Г. Григорьев:

“Работать приходилось в невероятно сложных условиях, с колоссальным напряжением ума и сил, не зная ни сна, ни покоя, не уходя с производства по 10–12 часов в сутки. Не хватало квалифицированных кадров, много было нерешённых технических и организационных вопросов, не было жилья для работников. Нельзя забыть ту беззаветную преданность делу, которую проявили рабочие и технические руководители в годы строительства и пуска предприятия. Именно в этот период коллектив решал наиболее трудные задачи по созданию и освоению серийных технологических процессов, подобных которым не было в отечественной промышленности. Коллектив рабочих, инженерно-технических работников сохранил память в своих сердцах о первых директорах: Володине Константине Арсеньевиче, Бессарабенко Алексее Константиновиче, Дубицком Валентине Викентьевиче...” А генеральный конструктор первого “изделия” (атомная бомба РДС-1) Юлий Харитон спустя 40 лет напишет: **“Только очень сильный духом народ после невероятно тяжёлых испытаний мог сделать совершенно из ряда выходящее. Полуголодная страна за считанные годы разработала и внедрила новейшие технологии, наладила производство урана, сверхчистого плутония, тяжёлой воды”**.

Завод еще достраивался, когда в декабре 1951 года была выпущена первая серийная атомная авиационная бомба. За успешное строительство завода и ввод его в действие К. А. Володин накануне его 50-летия, 17 мая 1951 года был награждён... всего лишь орденом Красного Знамени, а 22 июня ему было присвоено очередное воинское звание: инженер-полковник.

Очередное сверхтяжёлое и сверхответственное задание правительства было выполнено, чрезвычайное напряжение последних двух лет вроде бы спало, казалось, можно было немного расслабиться и постепенно спокойно достраивать завод, но он уже знал, что его ждёт новое, столь же сверхответственное назначение со сверхсекретными и сверхсрочными задачами. В Арзамасе-16 завод достроят без него. 26 января 1952 года он снова переводится в Москву в распоряжение начальника Первого Главного Управления Б. Л. Ванникова. 24 января Совет Министров СССР под грифом “совершенно секретно” принимает постановление “О строительстве завода № 933”. Завод-дублёр должен был подстраховать производство в Арзамасе.

Совершенно естественно, что строить новый сверхважный для страны и сверхсрочный завод поручается К. А. Володину. Но не всё в этом назначении просто. Как я уже писал, в мае 1951 года за освоение производства первых серийных атомных бомб К. А. Володин награждён орденом Трудового Красного Знамени, но дело в том, что все другие, даже менее причастные к этому делу, получили более высокие награды. Сослуживцы К. А. Володина объясняют это тем, что перед этим окончательно испортились отношения между ним и его непосредственным руководителем по строительству завода в Арзамасе, заместителем начальника КБ-11, капитаном 1 ранга В. И. Алфёровым, которые и до того были напряжёнными. В целом ряде книг, посвящённых первым создателям ядерного оружия, о В. И. Алфёрове помещены самые высокие отзывы как об организаторе производства ядерных боеприпасов, в одной из статей он даже называется директором завода № 3, но в то же время есть свидетельства, что люди, причастные к Атомному проекту, его побаивались, не столько как строго начальника, сколько за грубость и невежливость, высокомерность по отношению к подчинённым. Скорее всего, по принципу “разделяй и властвуй” он был поставлен Берией, скорее, не руководить, а надзирать, как противовес Б. Л. Ванникову, которого ему в своё время по приказу Сталина пришлось выпустить из тюрьмы.

В “Воспоминаниях” бывшего начальника военной приёмки завода в Трёхгорном Л. Г. Николай можно прочесть, что после так называемого разоблачения культа личности Сталина В. И. Алфёров публично каялся на партийном собрании в Главке в своей излишней жестокости и бестактности к своим подчинённым. Но побаивались его больше даже не за это. Всего лишь один факт. В период объявленной борьбы с “космополитами” он “вовремя”, когда стали сгущаться тучи над выдающимся советским флотоводцем, легендарным Глав-

комом ВМФ Н. Г. Кузнецовым, подал наверх рапорт, похожий на донос, что Главком ВМФ преклоняется перед иностранцами, и в качестве доказательства привёл случай с парашютной торпедой, чертежи которой тот якобы передал англичанам, что пахло расстрельной статьёй. Чертежи на самом деле были переданы, но не по единоличному решению Н. Г. Кузнецова, а по решению правительства как союзникам по антигитлеровской коалиции, до начала холодной войны. Об этом случае можно прочесть в книге воспоминаний Н. Г. Кузнецова “Крутые виражи”, где он полупрезрительно называет В. И. Алфёрова “неким Алфёровым”.

К. А. Володин не терпел никакой бестактности, не мог он терпеть и бестактности опекающего его руководителя. Что называется, нашла коса на камень. И назначение его на Урал могло быть в какой-то степени и опалой. Конечно, это, безусловно, ответственнейшее задание, выполнить которое мог только он, К. А. Володин, и в то же время, возможно, Б. Л. Ванников таким образом помогает ему уйти в уральскую тайгу от бестактного грубого прямого контроля В. И. Алфёрова. Но в это время В. И. Алфёров назначается начальником Главка, и К. А. Володин снова становится его подчинённым... От “опеки” Алфёрова он не мог избавиться и там, в уральской тайге. В результате 23 февраля 1952 года приказом по Первому главному управлению К. А. Володин был официально назначен всего лишь замдиректора по общим вопросам союзного завода № 933. Так, в унизиительной должности замдиректора по общим вопросам, он проработал более трёх лет — в самое трудное для завода время. Б. Л. Ванников после смерти И. В. Сталина был понижен в должности и не мог уже быть реальным защитником К. А. Володина.

Впервые Константин Арсеньевич Володин появился на месте будущего г. Трёхгорного летом 1951 года, когда ещё был директором завода в Арзамасе-16. Сначала он с Б. Л. Ванниковым, заместителем председателя Совета министров СССР М. Г. Первухиным и И. В. Курчатовым совершил облёт Южного Урала на самолёте, потом в составе группы с представителями военно-промышленной комиссии ЦК КПСС, КГБ почти месяц объезжал на вездеходах в сопровождении местных властей район от Миасса в Челябинской области до села Месягутово в Башкирии в поисках места для будущего завода и города.

Среди множества других остановились на трёх вариантах, среди которых нужно было выбрать один. Каждый из трёх вариантов имел свои достоинства и недостатки, свои плюсы и минусы. Один вариант был неудобен тем, что требовал прокладки железной дороги большой протяжённости. Это затянуло бы срок ввода завода в строй. Другой вариант вызывал опасение нехватки промышленной и питьевой воды в засушливые годы. Третий вариант, хотя и имел естественную природную защиту от посторонних глаз и был достаточно удалён от крупных промышленных центров, не располагал даже в какой-то мере сносными проезжими дорогами. К тому же в этой местности выпадало рекордное количество осадков, местные жители называли её “гнилым углом” Южного Урала. Но с другой стороны, этот недостаток оборачивался для того времени немаловажным достоинством. Почти постоянная облачность закрывала объект от американских самолётов-разведчиков, летающих над Советским Союзом на недоступной для тогдашних перехватчиков и ракет высоте. Это обстоятельство, возможно, и стало решающим. Хотя в это время американские и советские учёные уже работали над созданием космических кораблей, спутников Земли, и недалёк был тот день, когда с космических аппаратов можно будет сфотографировать любой, даже мелкий предмет, находящийся на земле. Немаловажную роль в выборе места, наверное, сыграли первозданность природы, красота и чистота реки Юрюзани, а самым главным доводом было, наверное, то, что только этот вариант соответствовал главному требованию Л. П. Берии: как можно глубже запрятать объект в Уральские горы. По этой причине уходил на второй план очень важный аргумент против: **в силу особых географических, климатических и, может, даже геологических условий этот район характеризовался самой низкой продолжительностью жизни в регионе.**

23 февраля 1952 года К. А. Володин официально назначается — то ли в силу секретности, то ли в силу интриг стоящего непосредственно над ним недоброжелателя — заместителем директора нового завода по общим вопросам. 12 марта был подписан указ, что он приступил к исполнению служебных обязанностей, в Москве, а 7 мая — уже на месте. Неказистый обшарпанный

письменный стол из ДСП, который он выпросил в Василовке в одной из контор и на котором он написал приказ № 1: “С сего числа приступил к исполнению своих обязанностей на месте”, — ныне как бесценная реликвия хранится в заводском музее. Первое время Константин Арсеньевич жил на квартире в соседнем городе Юрюзани.

С этого момента началось строительство таинственного объекта “Хозяйство Володина”, привлёкшего внимание целого ряда разведок мира, прежде всего, ЦРУ США. Если отечественные СМИ по понятным причинам глухо молчали об этой стройке, то забугорные голоса вели своеобразную хронику строительства. Темпы строительства завода в будущем Трёхгорном были не менее фантастическими, чем в Арзамасе-16, если не более, учитывая бездорожье, суровый, резко континентальный климат, когда температура за сутки могла измениться в ту или другую сторону на 30 градусов, а зимой доходить до сорока-сорока пяти градусов мороза, притом что все работы, особенно первые годы, как говорится, велись на свежем воздухе. 9 апреля 1952 года в 10 часов 15 минут на железнодорожную станцию Красная Горка, в глухую уральскую тайгу прибыл первый эшелон (35 теплушек, в которых предполагалось первоначально жить) военных строителей в количестве 750 человек, на которых ложился основной груз будущей гигантской стройки, с ними два трактора, 10 автомашин, 10 лошадей... В середине состава был единственный пассажирский вагон. Из него вышел капитан Глеб Григорьевич Амосов, подполковник Черноморченко (имя отчество установить не удалось) и некто в гражданском — В. А. Шамапов. Начались хлопоты по подготовке материалов для строительства бараков для заключённых, которые с интервалом в 2-3 дня стали прибывать на станцию. Первым организовали лагерь особого режима у каменного карьера, затем появились другие лагеря в тех районах, где сейчас расположена автобаза городского автохозяйства, очистные сооружения, теплица и объект Дальний.

Да, как и все подобные объекты в Советском Союзе, завод и будущий город строили, по крайней мере, валили лес, рыли котлованы под производственные корпуса, в том числе в сорокаградусные морозы, закладывали фундаменты и возводили стены заключённые, причём (в целях той же секретности) со сроками заключения не менее 15 лет, преимущественно же с максимальным тогда сроком в 25 лет.

Даже я застал эти тюремные этапы с решётками и колючей проволокой на окнах железнодорожных вагонов. Уже будучи уфимским студентом, приезжая в каникулы или на выходные к родителям, переселившимся в город Юрюзань, на станции Вязовой я не раз бывал свидетелем жутковатой разгрузки этих вагонов. У прижатой к горам рекой Юрюзань железнодорожной станции не было места для тупиков, и эшелоны с заключёнными разгружали прямо с первого пассажирского пути, оцепив привокзальную площадь вооружёнными автоматами солдатами с рвущимися с поводков собаками. Зрелище это было не из лёгких даже по тому времени... Скольким человеческим трагедиям были немymi свидетелями будущие завод и город! Людей не жалели, ни заключённых, ни вольных.

Но чтобы не стать озлобленно-жестокими к тому времени, нужно помнить, что поджимали сроки, поскольку **президентом США Эйзенхауэром была подписана директива: в случае любого конфликта с СССР применять ядерное оружие.** Нужно было во что бы ни стало успеть догнать Америку в обладании ядерным оружием.

В 1952 году в штате завода, существовавшего только на бумаге, числился 31 человек, и только один из них, К. А. Володин, старший по должности и по возрасту, знал, что будет производить завод. Уже к концу года были построены первые бараки на будущей ул. Строителей, клуб, магазин. Первая зима была особенно холодной. Строили при полном отсутствии воды в зоне. Заключённые — народ смекалистый, предложили в бадьях для приготовления цементного раствора топить снег. Землю под фундаменты домов и под котлованы будущих цехов отогревали кострами, а на ночь талую землю засыпали сухим грунтом. Наконец, 1 января 1953 года К. А. Володин был официально назначен... опять-таки всего лишь и. о. директора завода. Штат завода в этом году увеличился ещё на 35 человек. 4 марта был принят от строителей первый дом из бруса, на первом этаже которого разместилось заводоуправление, на втором — мужское общежитие; к этому времени уже работали баня,

парикмахерская. Началась закладка промышленных зданий и первых кирпичных жилых домов.

Курировал строительство завода сам Лаврентий Павлович Берия. В феврале 1953 года он приехал с большой свитой. Три вагона были поставлены на Красной Горке под особой охраной в тупике на перевалочной базе. Из воспоминаний А. Г. Когана, в то время инженера УКСа: “Это было время, когда были построены первые бараки, в которых разместилось управление строительством и “Хозяйство Володина”. Из любопытства мы ходили смотреть на береиевские вагоны, но близко к ним не подпускали. Со слов очевидцев, один вагон был для работы, второй – рестораном, а третий – спальным. Я лично Берию не видел, а его окружение – трёх генералов – видел, даже рядом стоял около управления строительства. У них была особая униформа: белые приталенные полушубки, папахи, на ногах – белые фетровые бурки. Все холёные, высокомерные. Фамилий их сейчас не помню, но в сводках расстрелянных по делу Берии один из этих генералов был. Сам Берия в поле нашего зрения не показывался. Ходили слухи, что он занемог и сведения об обстановке на строительстве получал через донесения...”

1952–1955 годы, от первого колышка на месте будущего завода до первой атомной бомбы, – начало начал Трёхгорного. Самый сложный и напряжённый период в истории завода и его коллектива. Прибывают всё новые и новые люди, отдел кадров перегружен – не успевает оформлять. В 1955 году было принято рекордное число работников за всю историю завода – 1097 человек. В 1954–1955 годах на строительстве работало уже 7,5 тысячи военных строителей, 2 тысячи вольнонаёмных и 12 тысяч заключённых, которые по утрам огромными серыми колоннами под усиленной охраной с собаками тянулись на место работы, а по вечерам – обратно в свои лагеря.

В Трёхгорном нет памятника создателям ядерного щита России, а я и безымянным заключённым, в невероятных условиях строившим завод, поставил бы памятник. Виноватые и безвинные, растратчики государственных средств и убийцы, они по-своему искупили свою вину перед Родиной, поскольку велика их роль в создании ядерного щита России. Хотя памятником им стал сам завод, только теперь не все об этом знают: стёрты с лица земли их лагеря, пулемётные вышки и бараки, стёрты с лица земли их могилы...

Я обращаюсь к воспоминаниям Юрия Васильевича Беляева, относящимся к первым месяцам строительства завода:

“На месте будущих цехов слева и справа от нынешнего центрального проезда были забиты колышки. И только на левой стороне, с дальнего от проходной края, начиналось рытьё котлованов под 106 и 109 здания. Весь этот участок был обтянут колючей проволокой с вышками по углам. А в зоне работали заключённые с солидными сроками отсидок. Правда, у них была льгота. Стимул для производительного труда. При выполнении нормы выработки на 115 процентов и выше им один день засчитывался за три. Механизации никакой: кирка и лопата. Ломами долбили котлован. Раствор месили вручную, кирпичи затаскивали на этажи на носилках. А так как заключённых было много, то строили очень быстро...”

Условия работы и быта заключённых были суровыми, если не сказать жестокими. Один из ветеранов Трёхгорного в книге о Приборостроительном заводе пишет:

“В 1953 году в лагере была забастовка заключённых. Лагерное руководство было взято в заложники. Начальник лагеря Журавлёв содержался в камере на тех же условиях, что и он содержал там провинившихся заключённых. Заключённые удерживали свою власть в лагере 17 дней. Порядок поддерживали самостоятельно. Из Москвы приезжала специальная правительственная комиссия для расследования. Была стрельба с обеих сторон, но для устрашения. На определённых условиях заключённые сдались военным. После этого случая лагерное руководство была заменено, а часть заключённых пошла по этапу с добавленным сроком...”

Но другой ветеран завода, когда я спросил его об этом случае, первоначально сказал, что ничего не знает о нём, не слышал, когда же я прочитал ему выше процитированный отрывок из воспоминаний, усмехнулся: “Ну, в книге смягчили. Когда стреляют с обеих сторон – это забастовка? Это всегда называлось иначе: восстание. И закончилось оно не так идиллически. Это, видимо, редакторы или партийные надсмотрщики над книгой подлакировали.

Комиссия приехала. Для переговоров пригласили зачинщиков бунта на лагерную площадь, а когда собрались, был дан приказ пулемётчикам на вышках. Стреляли перекрёстным огнём не для устрашения, а на поражение... А оставшиеся в живых из руководства восстанием действительно пошли по этапу с добавленным сроком, потому как расстрел после войны как высшая мера наказания был отменён. Трупы сбросили в ложбину и землю над ними сравняли бульдозером. Пока я не вышел на пенсию, я каждый день ездил мимо этой братской могилы. Если присмотреться, она до сих пор заметна. А одно из главных требований восставших было, чтобы охранные части МВД, которые зверствовали над заключёнными, заменили частями Советской армии».

Жестокое было время. Судьбы складывались самые разные. Из воспоминаний одного инженера: «Как правило, «порядочные» заключённые (не уголовники) за несколько месяцев до освобождения расконвоировались, то есть ходили уже без охраны с правом выхода из рабочей зоны. В числе первых был расконвоирован Иван Миронович Кнышев, человек со светлой головой и золотыми руками. Он монтировал котельное оборудование в здании № 401 и мог решить любой инженерный вопрос, связанный с транспортировкой и подъёмом многотонных металлических конструкций на любую высоту при использовании простых подручных средств без специального подъёмно-транспортного оборудования. Его все уважали и очень сожалели, что придётся с ним расставаться после окончания срока. Очень уж толковый был работник. Срок его кончился, и он уехал из города. И вдруг через месяц возвращается. Оказалось, что жена не дождалась его и вышла замуж. Таким образом, он остался и без семьи, и без квартиры, а родственников у него не было. Много хлопот у нас было, чтобы разрешить ему вновь заехать в город. Месяца два он жил в Васильевке, а работал на наших объектах за городом. А потом с помощью Володиной, а он знал Кнышева очень хорошо, ему дали разрешение на въезд в город и дали должность прораба на четвёртом участке. Я с ним постоянно виделся, и у меня сложилось впечатление, что без его услуг как инженера мы просто не могли бы обойтись. Разлад с женой он очень сильно переживал, стал частенько выпивать. Потом женился, и жизнь у него наладилась...

Когда мы стали молодожёнами, пришлось обзаводиться мебелью. В хозяйственных магазинах Юрюзани было пусто, и в нашем тоже. Выручали заключённые, с которыми мы общались на стройке. Они болезненно переживали разрыв с семьями. И к нам, вольнонаёмным, относились доброжелательно, может быть, потому, что мы тоже были за колючей проволокой. Меня, например, именовали по отчеству. Узнали они как-то о том, что я собираюсь жениться. Нетрудно было понять, что обзаводиться нам нечем, и вот они без всякой просьбы моей сколотили кухонный стол и стол для гостиной — круглый, на трёх ножках. Сделано было всё добротно, а брать что-либо от заключённых по инструкции было запрещено. Они это знали. И каково было мое удивление, когда я однажды вернулся домой (жильё дали в брусчатом доме по ул. Островского) и обнаружил кухонный и круглый столы и табуретки. Кто привёз, как открыли квартиру, до сих пор не знаю, но сделали это, конечно, расконвоированные заключённые. На столе стояла банка с цветами и лист бумаги с поздравлением по случаю свадьбы. Кто-то настучал Володину, что заключённые сделали мне подарок к свадьбе. Он меня пробрал как следует и потребовал: «Верните всё заключённым, это грубое нарушение режима». Но я в его голосе не почувствовал настойчивого требования, и я этого не сделал. Но всё это было позже, по ослаблении режима...

Основная масса трудящихся, живя в атмосфере закрытого объекта, чувствовала, что строится что-то сверхважное, и была готова на лишения. Терпеливо переносила все тяготы и неудобства предпускового периода. На завод, без преувеличения сказать, работала вся страна. Оснастка изготавливалась в Москве, Ленинграде, Сестрорецке, Витебске, Киеве... всего на 29 заводах страны, и никто ни разу не сорвал графика. Но что поразительно: в самом начале параллельно с крайне необходимой баней строили клуб. Ещё не было жилья, ютились скученно в бараках, но уже работала музыкальная школа. Строили в нарушение запретов, думали о детях, о будущем.

Вспоминает М. И. Глухман, в то время бригадир комплексной бригады одного из цехов: «Были бессонные ночи, по целым неделям порой не выходили из цеха, спали по два часа в сутки. А ведь не война. Но как на войне. Люди до того уставали, что засыпали где придётся, и, чтобы разбудить их, приходилось

прибегать к пожарному шлангу. От такой работы ноги отекали, не влезали в обувь, приходилось вместо обуви привязывать к подошвам войлочные стельки и обматывать ноги портянками, и в такой “модной” обуви трудиться. Всё это хорошо помнят ветераны цеха. Начальнику цеха Г. И. Тихонову, чтобы быть в норме, приходилось по несколько раз в ночь принимать холодный душ”.

Вспоминает Виктор Тихонович Малыхин, в будущем замдиректора по производству, почётный гражданин города:

“Мы понимали, что попали работать на какой-то очень важный государственный объект. Немногие кое о чём догадывались, но о том, что конкретно будем выпускать на этом заводе, никто не знал и не догадывался. Пока в августе 1954 года на объект не приехал замминистра среднего машиностроения Б. Л. Ванников. Нас, заводчан, связанных с изготовлением продукции, на тот момент было немного, человек 10–12. Собрались мы в кабинете Володина на первом этаже брусчатого дома. Ванников впервые нам открыто сказал: “Партия и правительство поручили вам изготавливать атомные и водородные бомбы. В 1955 году мы должны во что бы то ни стало пустить завод и изготовить первые бомбы”. Честно говоря, мы были ошеломлены этим известием. Чего-чего, но этого мы никак не ожидали. На следующий день нас всех вызвал к себе, как мы считали, представитель Совета Министров СССР на объекте по режиму, полковник А. Д. Рязанцев и сказал: “Замминистра может себе позволить сказать что угодно, но если вы кому-нибудь расскажете о том, что он сказал, то получите по 25 лет тюрьмы”.

Несмотря на огромный объём работ, который скрыть было нельзя, были приняты беспрецедентные меры секретности, чтобы завод, ещё не начав работать, не был уничтожен, в том числе ядерной бомбардировкой. Это в полной мере удалось осуществить, если мои родственники, живущие в г. Юрюзани, в десятке километров от завода, до момента рассекречивания производства завода и появления города на географических картах не знали, что производится в “почтовом ящике”. На первых порах в целях секретности Министерством государственной безопасности было сделано предписание рабочих набирать не ближе, чем за 50 километров. За пределы Челябинской области были выслены политически неблагонадёжные люди. Специалистов в будущий Трёхгорный набирали со всей страны как уже зарекомендовавших себя на прежнем месте работы, так и лучших выпускников вузов, сузов, профтехучилищ. Как правило, до приезда в Трёхгорный они даже не догадывались, где и в какой роли им придётся работать. Воспоминания первых строителей завода, в которых они рассказывают, как они попадали на сверхсекретный объект, больше похожи на страницы шпионских боевиков: пароли, явочные и конспиративные квартиры...

Вспоминает И. С. Кузьмин, в будущем – заместитель главного технолога завода:

“В 1954 году, за несколько месяцев до защиты дипломного проекта нас, студентов Московского энергетического института, вызвали в комиссию по распределению. Председатель комиссии очень коротко задал несколько вопросов:

– Комсомольцы?

Мы ответили утвердительно.

– Любите ли вы свою Родину?

Мы ответили утвердительно.

– Желаете ли работать на благо Родины там, куда она вас пошлёт?

Мы ответили утвердительно.

После этого с пафосом в голосе он сказал, что нам оказано высокое доверие, и мы направляемся работать в почтовый ящик № 590.

– Возражений нет?

Возражений, разумеется, не было.

– Какие вопросы?

Я осмелился спросить, где находится это предприятие.

Председатель ответил лаконично и многозначительно:

– На территории Советского Союза”.

Вспоминает А. К. Дерюшев, будущий начальник конструкторского бюро:

“Свердловск. 1954 год, закончен Уральский политехнический институт. При распределении получаем аванс в 1000 рублей, справку о назначении в организацию “Москва, п/я № 590”. Получили мы и устную установку (боже

упаси какие-либо записи!), пришлось зазубрить: “В Москве выйти на Казанском вокзале в сторону Комсомольской площади, повернуть налево за угол, миновать булочную, ещё раз повернуть налево, зайти в подъезд перед дощатым забором и там, войдя в телефонную будку, доложить о прибытии, назвав свою фамилию, имя, отчество”.

В Москве нас поселили на Шаболовке, предложили отдохнуть пока, подкинув денег. Многое тогда успели посмотреть в столице. Помню, как полдня простояли в километровой очереди у стадиона “Динамо”, охраняемой конной милицией, на матч “Торпедо” — “Спартак”. Приз лучшего игрока в том матче получил Эдуард Стрельцов.

Через некоторое время нас стали приглашать в управление на Спартаковской улице. Поехали мы туда вдвоём с Мишей Чернышёвым. Там дали установку, которую разрешили записать почему-то только мне: “Купите билеты до Челябинска, но сойти на ст. Кропачёво, найти второй железнодорожный дом и обратиться к Голубевой, представителю санатория Янган-тау”.

На поезд я чуть не опоздал. Разразилась сильнейшая гроза, и трамваи встали. Поезд уже отходил. Собрав последние силы, всё же догоняю. Бросаю вещи в тамбур последнего вагона и, мокрый от пота, цепляюсь за поручни. Между тем Михаил Чернышёв едет, полный тревог. Он же не знает явки, которую доверили только мне. Он уже решает ехать до Челябинска и там обратиться в КГБ. Там должны знать всё. А заодно сообщить о моём исчезновении. А вдруг меня захватила вражеская разведка!.. Хотя что из меня можно выудить, мы ещё ничего не знаем. Только когда подъезжали к Раменскому, я добрался до своего вагона, где нашёл и успокоил Михаила... И вот мы на месте. Получили первое внушение, когда случайно обмолвились, что собираемся написать письма родным и вечером собираемся их бросить в почтовый ящик в г. Юрюзани. Нам было сказано: “Ни в коем случае. Пишите письма и отдайте их Гусеву, он отправит их со ст. Кропачёво”.

Темпы строительства были фантастическими. Уже в 1954 году сдаются первые заводские корпуса, котельная. В цехах устанавливаются станки, оборудование. Рабочий день директора — далеко за полночь. Но всё равно, пусконаладочные работы — первоначально пуска завода был назначен на 4 квартал 1954 года — отставали от графика, напряжение было беспредельным.

В другом случае последовало бы увольнение или даже арест директора, но, видимо, кто-то понимал, что **если не может сделать в установленный срок Володин, это значит, что никто в этот срок сделать не сможет, что была поставлена реально не выполнимая задача**. Наконец, в апреле 1955 года завод введён в эксплуатацию. Володин принимает от строителей производственные помещения. И только после этого приказом № 425 по Министерству среднего машиностроения он утверждается директором завода № 933. 1 августа завод приступает к выполнению государственного оборонного заказа, и к концу августа уже были выпущены две авиационные атомные бомбы РДС-4 с конспиративным ласковым названием “Татьяна”. Кому пришло в голову такое название? К концу года чрезвычайно напряжённый план по всем показателям заводом был выполнен. 1 сентября 1956 года был подписан первый указ о награждении 22 работников завода орденами и медалями, Директора завода в таких случаях награждались не менее, как орденом Ленина. К. А. Володин был награждён скромным (вторыми по счёту) орденом Трудового Красного Знамени.

Константин Арсеньевич Володин, по воспоминаниям заводчан, был с подчинёнными строг и порой даже жесток. Мог в 24 часа выселить из города неугодных ему людей. Мог за ночь заселить работниками завода жилой дом, чтобы опередить строителей, претендующих на это жильё. Был крут в наказаниях. Но в то же время мог взять под крыло и спасти от жестокой статьи совершивших оплошность и попавших под бдительное око КГБ своих сотрудников. В стране была нелёгкая продуктовая ситуация, и он, заботясь о своих подопечных, отгороженных от остального мира колючей проволокой, создаёт подсобное хозяйство, потом целый совхоз “Лесной”.

Вспоминает один из ветеранов завода Юрий Николаевич Беляев, в биографии которого 195-й цех, 14-й, 72-й отделы, а что это такое — для непосвящённых по-прежнему за семью замками:

“Человек военный, обязательный, прибывший на объект из мест рождения первой отечественной атомной бомбы, имеющий большой опыт руководителя,

Константин Арсеньевич Володин был исключительно требователен к себе, к подчинённым. Обладал редкой памятью. Сам работал, можно сказать, как вол, и требовал отдачи от других. Как правило, рабочий день директора продолжался до 10 часов и позже. Редчайшее трудолюбие, настойчивость совмещались в нём с аскетическим образом жизни и неуступчивостью характера. Коллектив завода вскоре понял: в характере директора не замечалось ловкого подхода к начальству. Редкий месяц обходился ему без взыскания свыше. Но то, что при Володине завод не занимал призовых мест в соревновании и не получал премий, вовсе не говорило о том, что руководимый им коллектив работал слабо. Очень длительное время Володин был только исполняющим обязанности директора. Ему не прощались самые мелкие недоработки. Поэтому страдал и весь коллектив завода. Зная об отношении к нему высшего начальства, некоторые недоброжелатели на заводе писали на него доносы, и часто на завод, отрывая от дел, приезжали проверяющие комиссии. Например, написал донос в КГБ или в ЦК КПСС комсомольский пропагандист В. П. Васин, что директор ведёт неправильную кадровую политику, набирает неопытную молодёжь, неправильно её воспитывает, не создаёт для неё сносных условий и т. п. Прилетела комиссия, во главе которой — два подполковника КГБ, отрывала от работы. Что касается молодёжи, то это правда сущая, поднимала завод преимущественно молодёжь, собранная со всей страны: самые талантливые выпускники вузов, техникумов, ремесленных училищ”.

И тут вспоминаются слова Владимира Семёновича Комарова, в то время заместителя начальника цеха, опровергающие этот навет: “Смело он сделал ставку на молодых специалистов. Видимо, понимал, что новое в стране производство нужно осваивать не отягощёнными старыми традициями специалистами. Внедрение в производство новейших достижений науки и техники было делом энергичной, пытливой и задорной молодёжи. Особенно придирчиво К. А. Володин подбирал будущих командиров производства. Испытывал в деле. И если уж на ком останавливался, то не жалел времени на выучку. В начале 1960 года, не выдержав огромного напряжения в работе и ответственности, по состоянию здоровья вынужден был оставить должность главного технолога и перейти на другую работу Е. К. Игнатьев. Авторитет директора завода в то время был велик. Горсовет и горисполком мало кто знал. Народный суд не избирался, существовал спецсуд, назначенный директором. Горкома партии тоже не было, был политотдел. Всё, как в армии, или, точнее, в колонии строгого режима. К. В. Володин обладал практически неограниченной властью. Но жесткость в решениях заключалась не столько в его характере, а, прежде всего, в сроках пуска завода, в напряжённой международной обстановке”.

Константин Арсеньевич Володин никому не позволял унижать собственное достоинство. И этим обрёл недоброжелателя не только в лице В. И. Алфёрова. Рассказывают такой случай. Однажды он был вызван на Коллегию наркомата вооружений СССР, которую вёл Д. Ф. Устинов. Тот распекал директоров заводов за разные погрешности. Директора, опустив газа, слушали и молчали. И только Володин поднял голову и высказал наркому своё мнение: “Мы — производственники и приехали сюда за разрешением производственных вопросов, а не слушать два часа ваши нотации. Если кому работа не по плечу, от неё надо отказаться”. Кому? Тем, кого распекали? Или тому, кто распекал? Вопрос повис в напряжённой тишине. Володин встал и без разрешения вышел из кабинета наркома. Говорят, что Устинов не простил ему такого вольнодумства до конца жизни и в то же время ничего не смог с ним сделать, потому что Володин, и Устинов это знал, относился к числу немногих незаменимых.

Уже в следующем, в 1956 году на заводе было освоено производство ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. Казалось бы, самое трудное позади. Но международная обстановка ставила новые задачи. В 1960 году “Татьяну” сняли с производства. В 1964–1965 годах произошло в буквальном смысле революционное изменение конструкций основных узлов изделий. Это привело к необходимости решения нового круга технических и организационных проблем. В конце 1970 года за освоение новых видов спецвооружений завод был награждён орденом Ленина.

А вот несколько строчек из воспоминаний В. Н. Михайлова, будущего академика и министра атомной энергетики страны: “Остаётся только удивляться, как в разрушенной страшной войной стране была создана мощная

атомная промышленность, которая и позволила сохранить мир на планете до нынешнего дня. Даже трудно вообразить, что могло бы случиться, если бы монополия на атомное оружие осталась у Америки. Тень взрывов Хиросимы и Нагасаки лежит на всём человечестве”.

А К. А. Володин по-прежнему жил как бы на военном положении, может быть, ожидая переброски ещё на строительство какого другого завода. У него не было времени даже на семью, он так и не привез её в будущий Трёхгорный: жена продолжала жить в Подольске, лишь временами навещая его. Но он не был сухарём. Лучше всего человека чувствуют дети. Вспоминает А. Г. Коган: “К. А. Володин очень любил нашу Наташу. Когда ходили в кино в клуб “35 лет Октября”, она всегда сидела у него на коленях и считала его своим дедушкой. На улицах при встрече не церемонилась, бросалась к нему, называла дедушкой, чем нас приводила в конфуз. И не только нас, но и окружающих. Но Константин Арсеньевич не смущался, поднимал её на руки, подбрасывал, потом опускал на землю. Я это пишу только затем, чтобы подчеркнуть человечность, любовь к детям со стороны директора”.

Бывало, зайдёт в магазин, лёгкое пальто, нараспашку, даже зимой, пройдёт вдоль витрин и прилавка. Остановит покупателей, поговорит с ними. А потом идёт к начальнику ОРСа. Разносы давал классические, но и снабжение в ту пору было отличным. Многие удивлялись поношенному костюму директора. Но мало кто знал об основной причине его неухоженности: первые пусковые годы Володин жил один.

Фанатически убеждённый в необходимости экономного расходования государственных средств, Володин в этом стремлении иногда впадал в крайности. Вспоминает А. Г. Коган: “В 1959 году многие начальники цехов купили “Волги” ГАЗ-21, и вот А. Д. Пятибратов изготовил в цехе дополнительные хромированные украшения на решётку передней панели личного автомобиля. К. А. Володин узнал об этом и дал задание службам заводууправления подсчитать стоимость работы по изготовлению этих украшений, и приказом по заводу удержал с него всю сумму. Второй случай был аналогичный. Ко дню рождения К. А. Володина А. Д. Пятибратов отлил в литейке бронзового бычка, прохромировал его, укрепил на подставке и в день рождения подарил К. А. Володину. К. А. Володин подарок принял, но приказом по заводу приказал удержать с него стоимость изготовления подарка”.

Вспоминает Ю. Н. Беляев: “Но особенно ревностно он берёт государственную копейку. Для изготовления и установки собственной антенны к привезённому из Подольска старенькому телевизору “КВН” нанял бригаду слесарей, работу которой оплатил из собственного кармана. В подобных вопросах он, в пример многим руководителям, был исключительно щепетилен”.

Я уже говорил, что судьба К. А. Володина трагична. Он отдавал себя работе без остатка. Что касается его, выражение “Прежде думай о Родине, а потом о себе” имело для него не символический, а буквальный смысл. Напряжённая работа на оборонных заводах в войну, секретные заграничные командировки, отсутствие отпусков, строительство ядерных заводов, секретность, связанная с ними, привели к тому, что Константин Арсеньевич Володин потерял связь с родными.

Володин не был ни охотником, ни рыбаком, но любил природу и любил изучать близлежащую округу. Единственный выходной он посвящал любимому занятию: он изучал край. Ко всему присматривался. Во всё вникал. Смотрел, кто и как закладывает новые деревянные дома в сёлах, которые проезжал, радовался им...

Он любил скромность и ограничивал себя во всём. По-своему он был несчастный человек. Специфика работы оторвала его от родных. И вот, когда завод в какой-то мере встал на ноги, он впервые за многие годы собрался на родину. Видимо, наверху ему разрешили ненадолго оставить завод.

Как я уже говорил, в целях секретности заводской посёлок, а потом и город несколько раз менял название, И надо сказать, что знаменитый разведывательный полёт Пауэрса над Уралом осуществлялся из-за этого завода, основным его заданием было во что бы то ни стало пролететь в районе этого таинственного объекта. Кстати, Пауэрса могли сбить в районе Трёхгорного, даже на подлёте к нему, но был дан приказ средствам ПВО, как и самому городу, затаиться: ну, бараки и бараки в лесу, если вокруг них нет средств ПВО, значит, ничего важного там нет. И уже

только после Трёхгорного был дан другой приказ: уничтожить во что бы то ни стало.

А режим секретности стал еще жёстче. Вспоминает А. Якимов, слесарь-сборщик:

“Совершил я по молодости ЧП на производстве. Такое, что судьбу мою решал сам директор Володин. А было так. Работал уже бригадиром. У меня был личный сейф, в котором я хранил документы и мелкие секретные детали от узлов “изделия”. Однажды я этот строгий порядок нарушил. Для подъёма “изделия” с поддона контейнера на подставку в центральной части нужно было снять крышку, вернуть “продуктовый” винт, а на его место завернуть рым-болт. Секретную крышку и винт по спешке вместо сейфа я положил в карман халата. Дело было в конце смены, был, кажется, месяц март, уже пригревало, но снег ещё лежал. Я так и побежал в тапочках и в халате по тропинке к зданию 206, где была раздевалка и снимали спецодежду. Про детали в кармане я забыл. Около тропинки к зданию 206 между соснами была закреплена перекладина, на которой мы соревновались в подтягивании, а кое-кто и крутил колесо. И надо же, именно в этот момент мне загорелось пару раз крутнуться на этой перекладине. . .

Наутро на “центральную” нужно подавать крышку на сборку узла, а двух секретных деталей нет. Мгновенно вспомнил, хватя за карман, а там пусто! Догадался, побежал к перекладине — нет деталей. Своими силами и силами своего цеха найти детали не удалось. Привлекли к поиску работников 26-го цеха и службу дозиметрии. Целую неделю снег на тропинке между зданиями 201 и 206 длиной около 150 метров просеивали через решето, но нашли только крышку. Затем привезли большой бак с вентилем, подвели горячий пар. Снег на тропинке собирали и в баке топили. Но злополучный “продуктовый” винт найти так и не удалось. Поиски были прекращены. Меня спасла найденная крышка — поверили, что я действительно потерял деталь на заводе, а не унёс за проходную. Режимные службы (КГБ) спустили дело на усмотрение директора. Дали мне строгача и лишили премии, чему я был очень рад. Могло быть куда хуже. За время поисков, различных допросов с пристрастием из-за переживаний я потерял килограммов пять веса. Об этом случае долго говорил весь завод”.

А я помню, как однажды во время студенческих летних каникул, приехав к родителям, встретил в лесу недалеко от г. Юрюзани цепь солдат, идущих буквально плечом к плечу. Офицер долго расспрашивал меня, как я тут оказался, не встречал ли кого, показывал фотографию. Только через много лет я узнал: тогда в выходные дни пропал один из инженеров завода, обладающий сверхсекретной информацией. В район Трёхгорного были переброшены крупные воинские части, началась войсковая операция. Поиски ни к чему не привели, версии были такие: бежал с этой секретной информацией, или его выкрали. Только где-то через месяц кто-то из рыбаков наткнулся совсем недалеко от города на его труп: этот несчастный с крутого берега нырнул в омут, а там оказался железный штырь от старой плотины.

Степень секретности была такова, что однажды на испытательном полигоне, куда постоянно выезжали сотрудники завода для испытания перед сдачей в войска своих “изделий”, к неисправной боеголовке не допустили даже С. П. Королёва.

Неприятности были и другого рода. Из воспоминаний А. Ф. Шамсутдинова, инженера-технолога: “В 1962 году на Кубу направили “изделия” нашего завода. Об этом знал весь мир. Но наши изделия были спроектированы и изготовлены для хранения и эксплуатации в условиях России, а Куба — экваториальная страна с жарким и влажным климатом. Её климатические условия совершенно не соответствовали техническим условиям эксплуатации наших “изделий”. Правда, американцы скоро вынудили нас вывезти ракеты с ядерными боеголовками с Кубы, однако это не сняло проблему. Они вернулись с изъязном, в чём обвинили нас, заводчан, хотя это была вина разработчиков. Впрочем, их вины тоже не было. Никто не собирался хранить ракеты в условиях Кубы”.

Но есть в истории Трёхгорного случаи, которые вспоминаются с улыбкой, они стали своего рода легендами.

Рассказывает Анатолий Геннадьевич Коган: “Сроки ввода котельной были жёсткие. Цех строили заключённые, а спецработы вели вольнонаёмные из “Главспецмонтажа” Главка. Как оказалось, не очень добросовестно.

Мы готовились к пуску котельной. В 1954 году впервые разрешили набирать рабочих из местного населения. И вот устроился к нам в цех зольщиком местный Беляев, который стал доставлять хлопоты тем, что регулярно забирался на металлическую дымовую трубу высотой 60 метров по наружным скобам, вставал на кромку трубы и кричал всё, что ему задумается. Его ругали, наказывали, а он всё равно снова лез, выполняя свой цирковой номер.

Однажды приходит ко мне в кабинет и говорит, что дымовая труба прохудилась и скоро упадёт. Я не поверил. Спустя несколько дней неугомонный зольщик принёс мне в кабинет скобу от лестницы из верхней части трубы и сообщил, что она там уже не держится, а в трубе имеются просветы. Верхняя часть трубы, высотой в 20 метров, качается от ветра. Я доложил Володину об этом.

Вскоре после этого подул сильный ветер. Мне доложили, что верхняя часть трубы под угрозой падения. Падение возможно в сторону зоны заключённых, где работало 40 человек. Я распорядился немедленно вывести из зоны заключённых, дал телеграмму о немедленном прибытии представителей Главка в связи с аварийной обстановкой. Прибыло человек 15. В том числе из КГБ, а также замначальника Главка Г. П. Андреев. Показали качающуюся трубу. Они постояли, посмотрели, сказали мне, чтобы я не паниковал и пошёл к автобусу, чтобы уезжать. Вдруг бежит кто-то из рабочих и кричит, что труба падает. Все вновь пошли смотреть на трубу. Она несколько раз качнулась и упала на территорию зоны заключённых. Все пошли в кабинет и составили акт о падении трубы, об износе металла. Таким образом был засвидетельствован факт падения трубы не по вине обслуживающего персонала. Не будь циркач Беляев так бдителен, я мог бы попасть под суд.

Была весна. Остаток отопительного сезона доработали с остатком трубы в 40 метров. К следующему отопительному сезону была выполнена надёжная труба, которая стоит и до сих пор. С разрешения директора завода из упавшей части трубы были изготовлены металлические гаражи. Они, по-видимому, стоят и сейчас.

История с падением трубы в министерстве и за его пределами превратилась в байку. Как, мол, один начальник цеха вычислил время падения трубы и собрал комиссию к этому часу. Я её слышал в Главке не один раз, но уже без фамилии и места, где это случилось”.

Константин Арсеньевич Володин ушёл на пенсию в феврале 1963 года, для большинства заводчан неожиданно, не было положенных в таком случае проводов, не все даже сразу узнали об этом. Как гласит биографическая справка: “Огромное напряжение при организации производства обычных и ядерных боеприпасов подорвало здоровье, и он ушёл на пенсию”. В Трёхгорном одна из улиц, окнами на завод, носит его имя. Ежегодные лыжные соревнования его имени собирают почти весь город. Они положили начало ныне широко известному горнолыжному комплексу на горе Завьялихе.

Видимо, его уход на пенсию был не плановым, видимо, замена ему не была подготовлена, потому как на его место пришёл, как оказалось, всего на год, пока Константину Арсеньевичу подбирали достойную замену, генерал-майор Леонид Андреевич Петухов, работавший заместителем начальника Главка (при Алфёрове), Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, до ухода в Главк 11 лет проработавший, как и К. А. Володин, гендиректором одного из заводов Министерства среднего машиностроения. Первое время заводчан удивляла негенеральская мягкость Леонида Петровича Петухова в противовес жёсткости Володина, но было уже другое время, когда можно было немного расслабиться, к тому же мягкость совсем не исключает требовательности. Да, с уходом Володина напряжённость на заводе спала. Прежде всего, изменилось отношение к заводу наверху, точнее, к Константину Арсеньевичу Володину, которое распространялось на весь коллектив. Над заводом больше не висела атмосфера бесконечных придирок, выговоров. Первое, что сделал Петухов, — потребовал сократить до минимума сверхурочные. Если Володин сам вникал в любое дело, порой подменяя подчинённых, то Петухов запретил по каждому случаю обращаться к директору — для того есть начальники цехов, руководители других служб. Сначала посчитали его бюрократом, а потом убедились, что так работать лучше. Леонид Петрович был человеком по-своему тоже удивительным. Он приучил завод работать не по законам военного времени, хотя порой обстоятельства заставляли отступать от этого принципа.

Александр Георгиевич Потапов — особая страница в истории завода и города. А. Г. Потапов был главным инженером с самого первого дня завода, он пришёл на него вместе с К. А. Володиным, и, хотя был подобран на эту должность без учёта мнения Володина, и несмотря на то, что характерами они были очень разными, если не противоположными, разногласий между ними не возникало. В мае 1964 года Л. А. Петухов назначается начальником 6-го Главного Управления Минсредмаша, а А. Г. Потапов — директором завода. Складывается впечатление, что Л. А. Петухов и приезжал-то на год на завод, чтобы присмотреться к нему и к коллективу. Над Потаповым, можно сказать, было почти безоблачное небо, что совсем не значило, что уменьшился спрос с завода, просто к его директору и коллективу стали относиться с заслуженным уважением. При А. Г. Потапове 26 апреля 1971 слесарю-лекальщику 15 цеха А. Д. Сотникову было присвоено звание Героя Социалистического труда; сразу 7 человек были награждены орденом Ленина, 11 — орденом Октябрьской революции, 23 — орденом Трудового Красного Знамени, 25 — орденом “Знак почёта”, 16 — медалью “За трудовую доблесть”, 22 — “За трудовые отличия”. А уже через три дня, 29 апреля, был подписан указ о присвоении звания Героя Социалистического Труда самому А. Г. Потапову. А 30 ноября коллективу присваивается звание “Предприятие коммунистического труда”. И уже ни один следующий год не обходился без громких наград.

И если при К. А. Володине и отчасти при Л. А. Петухове во главе всего стояло срочное серийное производство новейшего ядерного оружия, в результате чего была запущена социальная сфера, стал отставать от времени уровень автоматизации и механизации производства — не до того было! — то теперь можно было вздохнуть, подумать о нормальном жилье, о душе. Ей тяжело жить рядом с самым страшным в мире оружием, даже с сознанием, что оно если не предотвращает, а хотя бы отодвигает мировую войну. При А. Г. Потапове город обрёл детские сады, школы, библиотеки, его детищем и гордостью стал дворец культуры “Икар” с большим залом на 800 и малым залом на 200 мест, открытый 30 марта 1971 года. На территории завода были высажены голубые ели, появились многочисленные цветники, клумбы. Александр Георгиевич ежегодно открывал лыжные соревнования памяти К. А. Володиной. Но душе всего этого было мало.

А. Г. Потапов считал: что бы человек ни делал, он должен приобщаться к прекрасному, иначе он потеряет человеческую сущность. К тому же Александр Георгиевич понимал, что, даст Бог, рано или поздно заводу нужно будет если не полностью переходить на мирное, конверсионное производство, то развивать его параллельно, постепенно наращивая. Неожиданно для других, а внутренне он давно к этому шёл, А. Г. Потапов загорелся идеей организации на заводе чугунного художественного литья, подобного знаменитому Каслинскому. Он как бы предвидел, что сам Каслинский завод в скором времени, в “перестройку” попадёт в руки бандитов, в конце концов, несколько раз переходя из рук в руки, будет уничтожен, а оборудование будет сдано в металлолом. И если недавно он начал снова выпускать продукцию, то пока только в виде садовых скамеек, фонарей. Художественное литьё в чугуне возникло на Урале ещё в XVIII веке, практически на заре горнозаводского дела: в Каслях, Кусе, Невьянске, Тагиле, но так как наиболее полное развитие получило в Каслях, со временем, независимо от места производства, за пределами Урала стало называться Каслинским. К началу XIX века искусство формовщиков, чеканщиков достигло наивысшего расцвета. Ажурное художественное литьё, всевозможные “фигурки”, как их называли мастера в обиходе, и, наконец, изумительные копии с работ французских мастеров — всё это дало возможность принимать участие во всемирных выставках в Санкт-Петербурге, а потом и в Вене, Стокгольме и, наконец, в 1900 году — на Всемирной выставке в Париже, где каслинцам был вручён хрустальный кубок “Гран-при” и Большая Золотая медаль за чудесное творение — чугунный “Павильон” и скульптуру Е. Лаверецкого “Россия”.

В 1980 году был открыт музей Каслинского художественного литья. Это был праздник не только завода, но и всего города, хотя доступ в музей был ограничен, так как он располагается на территории особо режимного объекта. А заводские мастера набирали опыт. Помещение музея пришлось расширить. Все привезённые для реставрации работы показывали сначала Александру Георгиевичу Потапову. Он не хуже искусствоведов оценивал, стоящая ли

это вещь или простая поделка. До предела занятый своей работой, он всегда выкраивал время для музея. Впрочем, в музее он отдыхал душой. Из воспоминаний Л. Т. Мирошник: “После его смерти мы долго не могли вернуться к творческому накалу, темпу работы, к которым он нас приучил”. Ныне в уникальном музее Каслинского художественного литья на заводе в Трёхгорном более 400 работ. Подобного музея больше нет в России.

Александр Георгиевич Потапов, проработавший на заводе более 30 лет и 23 года — в должности генерального директора завода, оставивший яркий след в истории города и завода, умер на рабочем месте, точнее сказать, на боевом посту 9 февраля 1987 года в 11 часов 30 минут. Его, как и Константина Арсеньевича Володина, с которым они начинали строить завод и город, не пощадила многолетняя напряжённая работа по созданию ядерного щита России. Умер, оставив завод и город накануне катастрофической “перестройки”, в которую в скором времени обрушат страну. По заводу ядерного оружия, по закрытому городу “перестройка” ударит особо страшным образом.

Не для красного словца писалось и говорилось: Урал — становой хребет страны! Так было на самом деле, начиная с XVIII века, здесь ковалось оружие России. Из поколения в поколение гордились этим. И именно небольшие уральские города с большими оборонными заводами, которые, как правило, были градообразующими, больше других пострадали во время так называемой перестройки. Моя родная деревня Михайловка, мой родной Малояз в недалёком отдалении были окружены “запретками” или, как ещё их называли, “почтовыми ящиками”, потому мы тоже чувствовали себя причастными к тому, что там производилось, гордились этим, у многих там жили и работали родственники. Как я выше писал, ночью у нас часто на юге над горами полыхало небо и что-то грохотало, летом это можно было принять за грозу, порой за грозу и принимали, но гроза не могла греметь в течение почти всей ночи, не приближаясь, не удаляясь, а на одном месте, тем более, зимой. Это, как стало потом известно, на полигоне около города Усть-Катава испытывали ракетные артиллерийские установки, где они производились, а для конспирации Усть-Катавский завод выпускал трамваи. А во время Великой Отечественной войны в Усть-Катаве производили и испытывали танковые пушки, боевыми снарядами-болванками стреляли в скалу прямо рядом с железной дорогой. Ныне, проезжая по железной дороге, люди не догадываются, что испещрённая воронками скала — это следы тех военных испытаний. Неплохо было бы, если бы на скале появилась мемориальная доска.

В тяжёлую пору перестройки город стал называться Трёхгорным. 29 октября 1993 года глава администрации города Н. А. Лубенец подписал постановление о переименовании виртуального города “Златоуст-36” в реальный город Трёхгорный, и он вдруг появился на географических картах. О том времени говорят страшные цифры статистики, причем, свойственные тогда всей нашей стране: в 1993 году в городе бракосочеталось 196 пар, а развелось 212, дети ещё рождались, но число родившихся уже догоняло число умерших. 5 июня 1994 года на праздновании 40-летия города были объявлены новые почётные граждане города, а 11 августа на городской профсоюзной конференции по коллективному договору на первое полугодие 1994 года было дано согласие дирекции завода на переход работы завода на 3-дневную рабочую неделю. 15 августа началось массовое увольнение пенсионеров по сокращению штатов, правда, с правом получения в течение 6 месяцев пособия по среднемесячному заработку. А уже 27 октября на городской площади состоялся митинг протеста против ухудшения жизни трудящихся завода и города, в нём приняло участие около 3 тысяч человек. 3 ноября рабочие наконец-то получили зарплату за август и сентябрь: 14-15 ноября на завод должен был приехать министр атомной энергетики академик Виктор Никитович Михайлов, и если бы рабочие перед его приездом не получили зарплату, лучше бы ему в городе не появляться!

И так продолжалось несколько лет. 31 января 1995 года только после поездки делегации завода и города в Москву работникам основных цехов начали выдавать зарплату за ноябрь 1994 года. 16 января 1996 года получили зарплату за ноябрь 1995 года, 5 февраля — за декабрь. 5 мая 1996 года приехавший, наконец, в Трёхгорный министр атомной энергетики В. Н. Михайлов встретился с представителями трудящихся завода и обещал хоть сколько-нибудь разрядить создавшуюся напряжённую обстановку. 8 мая, как он и обещал,

заводчане получили зарплату за март. На заводе и в городе в этой, казалось, безвыходной обстановке всё чаще вспоминали своего первого директора, Константина Арсеньевича Володина, и 27 мая по инициативе ветеранов состоялся городской митинг, посвящённый его 95-летию. Но в создавшейся обстановке, наверное, и он был бы бессилён, что-либо сделать. Ещё больше вспоминали Александра Георгиевича Потапова. В народе до сих пор говорят, что если бы в 90-е годы директором Трёхгорного был он, завод безболезненнее пережил бы разрушительную “перестройку”. Александр Георгиевич нашёл бы выход из создавшегося положения, каслинское литьё тому пример.

А у КПП города неистовствовали “народные избранники” разных уровней и мастей, вплоть до депутатов Госдумы, размахивали мандатами. Не секрет, что некоторые из них зарплату получали не только в России. Доверчивый российский народ, не имея опыта, избирал чаще всего всплывший на перекатах народной судьбы мусор, а то и откровенное либеральное дерьмо (впрочем, в этом смысле мало что изменилось и теперь). Тут же крутились всевозможные борцы за права человека и правозащитники, требовали немедленно открыть город и рассекретить производство завода. Порой привозили с собой явных сотрудников иностранных спецслужб, пытались силой прорваться через КПП, дело доходило чуть не до предупредительных выстрелов в воздух.

С рассекречиванием, с появлением Трёхгорного на картах, с административным переподчинением его Челябинской области город оказался беззащитным перед набросившимися на него доморощенными “демократами”, мечтавшими свергнуть стоящий в городе памятник отцу советской атомной бомбы Игорю Курчатову, которого они сгоряча приняли, видимо, за Феликса Дзержинского. Клеветали они и про то, что “закрытый город” якобы живёт, “как при коммунизме”. Тогдашнему главе администрации Трёхгорного Н. А. Лубенцу пришлось в газете “Челябинский рабочий” униженно объяснять, что ни у кого они на шее не сидят. Несмотря на то, что зарплату, как и многие в стране, получают с большими перебоями, за все эти годы ни разу не сорвали государственный план: на заводе утилизируют не только устаревшее, снятое с вооружения ядерное оружие, но и постоянно идёт отгрузка новейших “изделий”, в том числе в космические войска. Он не задумывался о том, что, может, как раз последнее “демократов” и не устраивало.

Это было время великой горечи и великой безысходности. А на заводе утилизировались, уничтожались не только устаревшие или с истёкшим сроком годности типы вооружений, а в соответствии с навязанными международными договорами по якобы совместному сокращению ядерного оружия и новейшие разработки, которым не было аналогов в мире, и которые могли быть гарантом безопасности России. Один только пример с “убийцей авианосцев”, морской торпедой “Шквал”, которая развивала под водой скорость в 385 километров в час. Уничтожалось всё, что, что многие годы создавалось, в том числе бессонными ночами. Руками самих заводчан целенаправленно уничтожалась оборонная безопасность России, все — от генерального директора до рабочего — понимали, что всё идёт к физическому уничтожению России, в лучшем случае, к превращению её в сырьевую колонию с дешёвой рабочей силой.

И в эту трудную пору безвременья, в пору всевозможных толков о судьбе Трёхгорного, в которых всё больше главенствовал слух: “Город откроют, а завод закроют”, — в 2009 году сначала заместителем генерального директора, а через четыре месяца генеральным директором Приборостроительного завода назначается 51-летний, как в своё время и К. А. Володин, инженер-полковник Михаил Иванович Похлебаев, до того работавший заместителем директора Департамента промышленности ядерных боеприпасов Росатома. Гадали: за какие грехи такое явное понижение? С кем-то не сошёлся характером? Повторяет судьбу первого директора Константина Арсеньевича Володина? Но, как выяснилось, всё обстояло иначе. **За чередой слащавых лобзаний с Америкой наступило горькое похмелье, а за ним — прозрение. Сущность Америки не изменилась. Развал Советского Союза, в котором она от всей души поучаствовала, не конечная её цель. Основная её цель — уничтожение России.**

И если император Александр III говорил, что у России нет союзников, кроме армии и флота, то теперь у России не было ни сколько-нибудь сильной армии, ни флота, теперь у неё оставался единственный союзник — ядерное оружие. И вчера ещё стоящий под угрозой закрытия, оклеветанный, униженный

город за колючей проволокой, уже воспринимающийся его жителями чуть ли не как лагерь заключённых, снова стал вместе с другими подобными городами чуть ли не единственным аргументом в создавшемся новом противостоянии. И встал вопрос: кто может возглавить завод, чтобы заставить его работать по законам почти военного времени. Нужен был новый Володин, но с чертами характера Потапова. И среди предложенных нескольких кандидатур выбор пал на М. И. Похлебаева, которому в приватном разговоре было сказано: “Не считайте это понижением, считайте доверием. В несколько лет нужно перевооружить все ядерные силы России: подводный флот, военно-воздушные, военно-космические и сухопутные войска. Вопрос стоит так же остро, как после Великой Отечественной с первой атомной бомбой: кто кого опередит? Других шансов история нам не даст. Вы родились в этом огороде, почти ровесник заводу. Поезжайте на родину, если надо, работайте в три смены”.

Трёхгорцы, разумеется, не знали об этом разговоре. Но сам факт назначения М. И. Похлебаева вызвал у них надежду. Потому что он, прежде всего, сразу по двум позициям был свой. Во-первых, он был не какой-нибудь управленец-менеджер, на которых ныне мода и который может, толком не зная дела, управлять чем угодно, а ядерщик-производственник, специалист в области радиоэлектронной аппаратуры и организатор производства и испытаний специзделий ядерно-оружейного комплекса, внёсший вклад в создание и отработку спецприборов и аппаратуры для ядерных боеприпасов в водной среде. А во-вторых, он родился в Трёхгорном, который в то время был ещё Златоустом-36. Потому у трёхгорцев особое отношение к Михаилу Ивановичу, как у Михаила Ивановича особое отношение к трёхгорцам: он ненамного моложе города и рос вместе с ним.

М. И. Похлебаев с золотой медалью окончил общеобразовательную школу, в 1981 году с красным дипломом — МВТУ им. Баумана. В этом же году, призванный в армию, он стал инженером Московского научно-исследовательского электромеханического института, и уже в следующем — служил в родном городе, тогда ещё Златоусте-36, инженером военно-сборочной бригады: “Когда мне предложили службу в группе военно-сборочной бригады (впоследствии — аварийно-испытательный отдел) в родном городе, я недолго думал, согласился. Жил в столице, но всегда мечтал вернуться в родной Трёхгорный... Мне иногда и пяти часов хватает, чтобы выспаться: здесь чистейший воздух, вышел утром на зарядку или пробежку. Природа просыпается, и ты вместе с ней! Почти счастье...”

Первое, что нужно было сделать, — вдохнуть в людей надежду в будущее завода и города, в крайнюю необходимость их труда для настоящего и будущего страны. Наряду с сохранением и совершенствованием основного производства — ядерного оружия, — необходимо было расширение производства мирного профиля, чтобы, кроме всего прочего, ликвидировать в городе безработицу. В ряду таких мер, как учёба персонала, переоснащение оборудования, Михаил Иванович Похлебаев не меньшую ставку делает, как и А. Г. Потапов, на отдых людей, культуру и спорт. С возвращением Михаила Ивановича Похлебаева в Трёхгорный в качестве генерального директора завода частым гостем города стала замечательная исполнительница русских народных песен и русского ромansa, упорно игнорируемая “отечественным” телевидением, уроженка Урала Татьяна Юрьевна Петрова. Любовь к русской песне передалась Михаилу Ивановичу от матери, которая в самую напряжённую для завода пору, несмотря на шестидневную рабочую неделю и всевозможные сверхурочные, пела в заводском хоре, а он вместе с ней ходил на репетиции, потому как его вечером не с кем было оставить. Услышав от своего соседа, генерального директора Катав-Ивановского приборостроительного завода по производству навигационного оборудования для военно-морского флота, Динара Равильевича Сагдетдинова об Аксаковском фонде, о ежегодном Международном Аксаковском празднике в соседней Башкирии, в Уфе, он напросился на очередной Аксаковский праздник и, присмотревшись к Аксаковскому движению, активно включился в него, стал, как и Д. Р. Сагдетдинов, членом Попечительского совета Аксаковского фонда, уже заботясь не только о своём городе.

Уникальным спецпокрытием из нитрида титана покрыты купола Дмитриевского храма в Аксаковском в историко-культурном центре “Надеждино”, при финансовой помощи Приборостроительного завода прошли Аксаковские

дни в Черногории. А в Трёхгорном вдобавок к уже существующим культурным программам была развёрнута обширная программа Аксаковского фонда: выставки известных российских художников, детского творчества, концерты народных и профессиональных коллективов, презентации фильмов... В городе побывали истинные народные артисты России, патриоты-державники Александр Михайлов, Николай Бурляев, дважды Герой Советского Союза легендарный космический ремонтник летчик-космонавт СССР Виктор Петрович Савиных... В городе много башкир и татар, налажены творческие связи с соседней Башкирией, гостем города стал легендарный Башкирский государственный ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова.

Центральная детская библиотека города стала носить имя великого русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, автора удивительных книг "Детские годы Багрова-внука", "Семейная хроника" и всеми любимой сказки "Аленький цветочек", на которой воспитываются уже десятки поколений детей не только в России. Семья Аксаковых, крепкая семейными и национальными устоями, вошла в историю России как пример семейной гармонии, уважения младших к старшим, семейных отношений в народе и между народами. Книги Сергея Тимофеевича Аксакова имеют особое, может, с виду незаметное, но постоянное и глубокое влияние на отечественную культуру. Прежде всего, тем, что они закладывают основы детской души. Аксаковская библиотека в Трёхгорном, несомненно, одна из лучших библиотек России.

Ветераны завода, сравнивая М. И. Похлебаева с К. А. Володиным по жесткости и твердости характера, по тому, что его, как и К. А. Володина, бросают "закрывать амбразуры", ещё в большей степени сравнивают его с А. Г. Потаповым, который, оснащая завод новым оборудованием, обучая и переучивая его персонал, делал ставку на быт, на культуру, на спорт, говоря, что, кроме всего прочего, это выгодно для производства. По инициативе М. И. Похлебаева в Трёхгорном начали возрождать хоккей с шайбой. При содействии Аксаковского фонда был налажен контакт со знаменитым уфимским хоккейным клубом "Салават Юлаев". За последние полтора года в городе появилось три хоккейных площадки с хорошими раздевалками. Проводится чемпионат города, в котором участвует уже девять команд! Кроме того, сформированы юношеские команды. Набрали и группу ребятишек 7–9 лет. Мальчишки неплохо выступают на первенстве в соседней Башкирии, попадая в число призёров. В будущем планируется заявить об участии в чемпионате Челябинской области взрослой команды из Трёхгорного. Приборостроительный стал инициатором проведения и открытого Кубка завода, который проводится перед началом хоккейного сезона. В перспективе планируется совместно с городским, областным и федеральным бюджетами построить в Трёхгорном ледовый дворец для развития не только хоккея, но и фигурного катания. А располагаться он будет, учитывая закрытость города, на въезде в город, чтобы в открытых соревнованиях могли участвовать спортсмены со всей страны. Как результат — целая россыпь великолепных спортсменов, представляющих на всевозможных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх не только родной Трёхгорный, но и всю Россию.

А. Г. Потапов любил повторять: "Нация — это образование и здоровье". М. И. Похлебаев, продолжает его мысль: "Молодёжь должна оставаться жить, учиться и работать в родном городе, и для этого нужно создать все условия".

У закрытых городов, у людей, живущих в них, своя психология, не всегда понятная другим. Я снова вспомнил слова, которые сказал кто-то после концерта приехавших со мной артистов: "Если бы вы знали, как мы рады вам, приехавшим с Большой земли!" Они — часть России, но в то же время живут своим особым миром. По сегодняшним циничным временам, может, это будет громко сказано, но прежде всего, их жизнь — жертвенное служение Родине. Существует такой удивительный литературный альманах: "Антология поэзии закрытых городов России". В стихах — гордость за свой труд и в то же время боль, обида, что город, его люди сначала в силу сверхсекретности, а теперь — в силу пренебрежительного отношения к ним оказались ещё в большей изоляции, прежде всего, психологической. А ведь они делают судьбоносное дело! Запад, призывающий нас к сокращению ядерного оружия, сам не собирается отказываться от него. Более того, две главные военные державы так называемой Единой Европы — Англия и Франция, — несмотря на традиционные внутренние противоречия между ними, подписали беспреце-

дентный договор о полномасштабном военно-техническом сотрудничестве, основу которого составят совместные действия по созданию ядерной бомбы нового поколения. В планах Даунинг-стрит и Елисейского дворца – формирование большого исследовательского ядерного центра. Одна часть его, где сосредоточатся разработчики, будет размещаться в Великобритании. Франция же берёт на себя испытание новых моделей стратегического ядерного оружия.

Но в том-то и незаменимость “варварского” ядерного оружия, что оно скорее психологическое, чем реальное, страх перед страшными разрушениями и не менее страшным радиоактивным излучением, и не менее страшными его последствиями – гарантия, что пока оно есть у России, на неё никто не нападёт. Конечно, будем мечтать о времени, когда в этом оружии не будет нужды, но ныне, увы, пока это только мечты, не более того. И трёхгорцы, несмотря на пережитые трудности, несмотря на принесённые им обиды, гордятся, что они спасли мир от Третьей мировой войны. И пока есть у России ядерное оружие, на неё никто не посмеет напасть.

БОРИС КЛЮЧНИКОВ

ХАЛИФАТ И ЗАКАТ ЕВРОПЫ

Статье “Сумерки Вашингтона” (“Наш современник”, № 1, 2015) я предпослал эпиграф из “Так говорил Заратустра” Ф. Ницше: “Давайте же! Откройте, наконец, уши. Я буду говорить вам о смерти народов”. И получил упрёки: зачем сеять уныние, предрекать Армагеддон? А может, не следует убаюкивать: спите спокойно, всё образуется, всё будет хорошо, пусть не омрачаются ваши души на этом празднике жизни думами о будущем. Нет, надо напоминать, как исчезали многие великие народы. Имена некоторых из них остались в истории только благодаря Геродоту. Пора понять, что мы живём в предгрозовое время и спокойно и мужественно готовиться к столкновению цивилизаций. Мировой порядок перестраивается бурно, хаотично, непредсказуемо.

На планете бушуют десятки конфликтов. Однако ни один из них не чреват такими гроздьями бедствий и цивилизационных катастроф, как победный марш Исламского государства (ИГ). Этот феномен способен изменить и уже меняет геополитические цели и сопряжённые стратегии ведущих мировых акторов.

Эхо истории

Радикальный ислам разбудил веками пассивно дремавшую исламскую Умму. В ней всё больший вес приобретают антизападные и – что более опасно для нас – антихристианские лидеры. Исламское государство уже контролирует половину Сирии, треть Ирака, как лесной пожар, пожирает всё новые земли. Иногда возражают: это не ново, талибы тоже контролировали почти весь Афганистан, но их изгнали. Нет, их изгоняют ныне боевики халифата. Территории, захваченные ИГ, – это особая мистическая земля в истории человечества. Здесь возникли все три монотеистические религии и первые цивилизации. Эта земля открывает доступ к главным кладовым энергоресурсов планеты. Она в подбрюшьи Европы: от столицы ИГ до Грозного 800 км, от халифата в Ливии до Италии – 200 км.

Однако главная особенность и перспектива Исламского государства в ином: оно способно оформить и слить воедино огненную лаву религиозного подъёма и социального протеста молодёжи мусульманских стран. Эта огненная лава извергается ныне отдельными рукавами из многих социальных вулканов по всему “поясу нестабильности” от Синцзяна и Афганистана до Сомали и Нигерии. Новый халифат вдохновляется отзвуками легендарной героической эпохи первого халифата, и вновь, как в VII–VIII веках, он способен направить энергию пассионарных обездоленных мусульманских масс на сокрушение ненавистного, безбожного Запада во имя царства справедливости. Историческая память мусульман и христиан глубоко травмирована веками противоборства.

Мобилизационный потенциал слияния в один поток униженных национальных чувств и социального протеста продемонстрировал в недавнем прошлом национал-социализм в Германии. Итальянские фашисты воодушевляли итальянцев эхом истории, призраками величия Римской империи. Так и строители нового халифата мобилизуют боевиков воспоминаниями о молниеносных, легендарных победах первых мусульман: за 70 лет в VII веке они покорили половину христианского мира — до юга Франции. За 70 лет после смерти Мухаммеда (632) его учение стало мировой религией. Ислам распространялся не только непобедимой арабской конницей. И по сей день он поражает простые умы удивительной ясностью и строгостью религиозной системы, он сильно действует и на чувства людей. Коран, как и Библия, проповедует божественную справедливость, но другими — воинственными средствами. Веками пассивно дремавший ислам пробуждается, рвёт геополитические американские кольца анаконды. Новый халифат сам стремится овладеть процессами глобализации. Но наполняет он их ещё более агрессивным духом радикального вахабизма. Из огня да в полымя! Он намерен использовать пассионарность миллионов бедствующих мусульман для свержения быстро одряхлевшей паразитической системы, созданной финансовым капиталом.

Об этой цели говорит и Гейдар Джемаль — глава Исламского комитета России*. Он даже предлагает изменить геополитику России: “Не надо противостоять ИГИЛ. Это антизападная сила, и нам надо её использовать”. Даёт совет, как это сделать: связаться с ИГИЛ через Турцию. ИГИЛ — это сопротивление народов, “форма, близкая к советам”, “там нет террористов”, — уверяет он. Все передачи о чудовищных злодеяниях ИГИЛ, по Джемалю, — ложь, постановки, краски вместо крови, банальные западные фейки.

В нарастающем хаосе, бушующем на Ближнем Востоке, ещё пару лет назад мало кто обращал внимание на “Исламское государство Ирака и Леванта”, пока, как чёрт из табакерки, не выскочил халифат — суннитское теократическое государство. Абу Бакр аль-Багдади 29 июня 2014 года выступил в мечети Мосула, заявив, что он прямой потомок пророка Мухаммеда и на этом основании объявил себя халифом. Надо понимать, кто в традиции халиф — он и Папа, и царь, и судья, и военный вождь всех мусульман мира. А их более полутора миллиардов. Каждый пятый человек в мире ныне мусульманин. Правда, надо вычесть миллионы христиан, по некоторым оценкам около 350 млн, продолжающих на Востоке тайно исповедовать веру предков.

Суетливые западные лидеры и по сей день не до конца осознают, с какой грандиозной исторической угрозой они столкнулись! Президент Обама ещё год назад вяло заявлял, что ИГИЛ — это просто отросток Аль-Каиды. Между тем халифат строится и набирает силу. У него уже есть мощная армия (более 200 тысяч), современное вооружение, разведка, контрразведка, СМИ, мосульская и местная администрации, эффективные службы помощи бедным, система образования и здравоохранения. И главное — крепкая финансовая база, своя валюта — золотой динар (139\$), — развитая нефтедобыча и экспорт нефти.

Аль-Каида, годами потрясавшая мир, представляется карликом в сравнении с Исламским государством. Оно отличается особой новаторской структурой и тактикой. Оно отказалось от сетевых структур, использовавшихся Аль-Каидой, и выстраивает сложные, как у пчёл, роевые образования. В центре матка — ядро религиозных, военных и административных руководителей. Они рассылают второй рой — строителей халифата — в периферийные модули: в Афганистан, Йемен, Сомали, Ливию, Мали, Нигерию... Их задача — готовить на местах третий рой, энтузиастов халифата, за которыми следует четвёртый — самый массовый рой последователей. Есть и пятое звено — сеть исламистов-салафитов, затаившихся среди многомиллионной мусульманской диаспоры. Это так называемые “одинокие волки”, которые могут быть быстро активированы для диверсий и начала городской герильи в странах Европы и в далёкой Америке. Эксперты считают, что это принципиально новая организация, глобальный субъект деструкции.

Дело зашло так далеко, что Запад, наконец, стал просыпаться. В конце мая 2015 года Совет Безопасности ООН опубликовал первый глобальный доклад о международном терроризме (заметим: не об исламизме, а по-прежнему о “терроризме”), в котором внимание сфокусировано на Исламском государстве. В нём чётко сказано: оно “представляет не только ныне, но и в долгосрочной перспективе террористическую угрозу”**. Авторы доклада,

* Гейдар Джемаль. ИГИЛ уже не остановить. Телепередача “Пиджаки”, апрель 2015.

** Цит. по: The Guardian, 27 May 2015.

наконец, занялись исследованием причин радикализации. Почему нет проблем с буддизмом, с индуизмом? Почему ислам? Почему в Исламское государство стекаются десятки тысяч добровольцев-энтузиастов халифата? Уже из 100 стран. Авторы доклада ООН впервые ставят вопрос: почему этот поток добровольцев “всего за 9 месяцев увеличился на 70%, число иностранцев среди боевиков ИГ уже превысило 25 тысяч”. Согласно сирийским источникам, их более 70 тысяч. Это вовсе не одни только “псы войны” — люмпены, уголовники, психопаты, всесветная шпана, как нам часто сообщают СМИ. Среди них много образованных людей. И не только профессиональные военные, но и физики, химики, атомщики, биологи. Что им не по душе на Западе, чем привлекает халифат? Многие верят, что джихад необходим, чтобы очистить мир и создать царство справедливости. В докладе ООН о глобальном терроризме указаны страны, которым халифат угрожает в первую очередь: Тунис, Марокко, Франция и Россия. Список составлен, исходя из численности боевиков, которые вернутся в родные страны. Из России там воюют 1700 боевиков, из прочих стран СНГ — ещё около 5000.

У халифата планов громадьё, всемирный замах. После Сирии, Ирака и Ливана должен состояться, согласно карте халифата, бросок на Саудовскую Аравию для захвата главных энергоресурсов мира. Иран пока халифату не по зубам. Израиль с его ядерным оружием будут блокировать и двинутся на Египет в страны Северной Африки, в подбрюшье беззащитной на данный момент Европы. Таким путём распространялся первый халифат в VII–VIII веках. НАТО едва ли будет способно отразить тот тип войны, который, вероятно, выберет халифат, — герилью, то есть городскую партизанскую войну. ИГ заявил, что намерен начинить мусульманскую диаспору Европы полумиллионом диверсантов, в том числе смертников-шахидов.

Ливия и отдельные регионы Мали и Нигерии уже объявили себя халифатом и ввели шариат. Одновременно ИГ направляет свои передовые отряды в Афганистан, Узбекистан, Таджикистан. Боевики ИГ уже действуют на границе Туркмении, в десяти км от месторождений газа, который туркмены поставляют в Китай. С талибами ИГ вполне способен договориться. Сможет ли Иран, устояв, преградить им путь в Закавказье и в Среднюю Азию?

Стратегам халифата, как некогда Гитлеру, предстоит выбор: бросок на Россию или вначале на бесхребетную медузу Евросоюз. Выбор будет, видимо, сделан, исходя из того, где богаче и полезней добыча и где обеспечена победоносная партизанская война.

В Европе забыты уроки недавней истории: в 1939 году европейцы так же наделись, что Гитлер бросит свою армаду на Советский Союз, ныне надеются, что халифат двинется на ослабленную Россию. Понадобились в 1940 году страшный разгром англичан в Дюнкерке, падение Парижа, захват десятков малых стран, чтобы европейцы, наконец, поняли, что добыча для Гитлера богаче не в России, а в Европе. Только после этого разгрома англосаксы стали искать союза с Советским Союзом. *Неужели вновь будем сражаться, теперь из-за Украины, и не подготовимся к неизбежной схватке с халифатом?* Так будет, если не сбросить американское руководство делами Европы. Атлантисты с их закостенелыми взглядами едва ли способны понять, что выживание европейской цивилизации может обеспечить только проект Большой Европы от Лиссабона до Владивостока. Её созидание должно безотлагательно стать общим делом нескольких поколений всех европейцев.

Исламское государство было провозглашено ещё в 2004 году египетским врачом-фанатиком Абу Мусаб Заркави.

Знакомство с идеями и делами новоявленного халифата, с речами его вождей, с заявлениями официального его глашатая Мухаммада Абу-Аднани создают у многих западных наблюдателей впечатление, что это сборище психопатов, похлеще Пол Пота и его красных кхмеров. Однако это ложный и потому опасный подход к необходимому пониманию этого феномена. Идейная база Исламского государства строго выверена и последовательна: идеализация первого халифата, общества VII века. Современный мир должен вернуться к теологическим, нравственным и юридическим установкам цивилизации Ближнего Востока, бытовавшим во времена Пророка. Это должно быть достигнуто в ходе всемирного джихада, через наступление конца света, очищения в Апокалипсисе и на Страшном суде Аллаха.

Как и первый халифат, новый в принципе отвергает мир с кафирами-“неверными”. Никаких компромиссов, если необходимо, разве что перемирие и не более, чем на 10 лет. Только наступать! Халифат во главе с турецким султаном они считают недействительным, nonevent. Подлинный халифат

может возглавлять только халиф — потомок пророка Мухаммеда из племени корейшитов. Халифат при султанах обвиняют в отступлении от 85% норм шариата и обещают, что введут во всём мире стопроцентный шариат. Тон в новом халифате задают салафиты — джихадистская ветвь суннитов, почитатели великих отцов-основателей (salaf ab salih) и их несравненных подвигов. Нацеливая мусульманский мир на джихад до победного конца, до Страшного суда, салафиты ссылаются чаще всего на аят Корана в суре Аль Бакара (2.216): “Вам предписано сражение с неверными, а оно, по своей природе ненавистно вам. И вот представьте, вы ненавидите что-либо, а оно для вас есть благо, и, вероятно, вы любите что-либо, а оно для вас зло. Аллах знает об этом, а вы не знаете”*. Концепция джихада постоянно обогащалась. Изначально al-gihad — это “силиться” — “al gihad bi an fusikum”. У него множество определений, часто противоречивых.

О последствиях следования этому аяту размышлял ещё великий Авиценна (1126–1198). Будучи кадиком в Кордобе, он писал: “Большинство учёных считает, что обязательность джихада основана на этом аяте Корана”. Сам он в этом сомневался.

Халифат не признаёт никаких государственных границ, не нуждается ни в каких признаниях. ООН неправомерна, ибо претендует на власть, которая принадлежит всецело Аллаху. Следуя доктрине Такфири, халифат ставит глобальную задачу “очищения мира от неверных” и завоевания всех стран, где правят неверные.

Идеологи халифата заявляют, что очищать планету придётся путём истребления сотен миллионов кафинов. Мухаммад Абу аль-Аднани открыто грозит: “Мы захватим ваш Рим, разобьём ваши кресты, поработим ваших женщин... не успеем мы, так наши сыновья будут продавать ваших сыновей на невольничьих рынках”. Порой глашатай халифата впадает в истерику ненависти и призывает мусульман “разбивать черепа неверных камнями, о скалы, травить всеми ядами, давить автомобилями, уничтожать их посевы”**.

В халифате восстанавливают рабство и распятие. Ритуал обезглавливания уже укоренился. Практикуются рабство и работорговля. В мире, например, узнали о беспощадной расправе с курдами-изидами. Мужчины были перебиты, их семьи разделили и распродали на невольничьих рынках. Воинов Исламского государства халиф щедро наделил наложницами. Их было много, ибо более двух миллионов рабов и курдов лишили крова. СМИ всего мира облетели потрясавшие душу картины рядов женщин и девочек, выставленных, как в VII веке, на продажу с ценниками на груди. Можно было торговаться. Очевидцы, эксперты, да и заместитель генерального секретаря ООН Валерия Амос подтверждают подлинность геноцида изидов, происшедшего летом 2014 года. Свои бесовские мерзости исламистские радикалы обосновывают “религиозно”, в том числе насилие над пленными женщинами тем, что те являются обычной собственностью.

Среди арабов молодёжь в возрасте до 15 лет составляет порядка 40%. И вот их уже учат ненавидеть и убивать, обезглавливая тупым ножом, в первую очередь, евреев, геев, порнографов, наркоторговцев, журналистов, атеистов, язычников и прочих. Христианам, иудеям и зороастрийцам могут сохранить жизнь согласно Уложению третьего халифа Омара, но на положении “димми” (Ахль аль димма), то есть “людей договора о защите” при условии, что они будут исправно платить подушную подать. На Западе часто цитируют “Пакт Омара”: “Мы (христиане. — Б. К.) будем полны уважения к мусульманам. Мы уступим им место, если они захотят сесть... Мы никогда не поднимем в седла. Мы никогда не опояшемся мечом, не будем хранить никакого оружия...” (Цит. из Ибн Хазм, умер в 1064 году).

В сентябрьском (2014) докладе ООН о правах человека сообщалось, что власти ИГ официально открыли в захваченном Мосуле офис по продаже пленниц — женщин и девочек. В нём приводились факты о массовых самоубийствах пленниц, которые предпочли рабству и изнасилованию смерть. Исследователь немец Тоденхофер (Todenhofer Surgen) был первым из европейцев, кто отважился поверить джихадистам и провёл среди них 10 дней. Он утверждает, что они “много сильнее и коварнее, чем думают в мире”. Это не обычные

* Коран. Перевод на русский язык научных сотрудников ИВ РАН д.и.н. Шарипова У. З., к.и.н. Шариповой Р. М. В переводе М.Н.Османова аят 2.216 таков: “Вам предписано сражаться с врагами ислама, а это вам ненавистно. Но возможно и такое, что вам ненавистно то, что для вас благо, что вам желанно то, что для вас — зло. Аллах ведает [об этом], а вы не ведаете”.

** The Atlantic, March 15. 2015. What ISIS really wants. By Graeham Wood.

религиозные фанатики. Они “готовы с энтузиазмом убивать сотни миллионов людей... Они ослеплены успехами халифата”, “верят в окончательную победу”. Они называют себя воинами Аллаха, чувствуют себя героями-сверхчеловеками, делающими историю, достойными богатой добычи в завоеванных странах неверных-кафиров.

Изучая мотивацию ритуальных убийств, университетский профессор и основательница “Западного джихадистского проекта” Джульетта Клаузен (Klausen Juliette) считает, что “доступ к сексу с женщинами является в Исламском государстве частью стратегии привлечения и удержания добровольцев”. Секс действительно является сильнейшей мотивацией для добровольцев из мусульманских стран Азии и Африки, где многие не могут позволить себе заплатить “калым” за девушку и создать семью. А в халифате им дают женщину, героям – несколько женщин и девочек. Их жадные взоры обращены на сытую Европу, где каждого воина ждёт богатая добыча, в том числе много белых женщин.

К счастью, здоровые силы среди российских мусульман трезво оценивают события в Исламском государстве. На недавней (февраль 2015 года) конференции “Суфизм – безопасность для человека и стабильность государства” авторитетные её участники согласились, что “действия ИГИЛ нацелены подорвать ислам изнутри, заставить мир отвернуться от ислама. Так поступали убийцы халифов и внука Пророка”.

Итак, джинн выпущен из бутылки, и не видно пока силы, способной его укротить. 4000 налётов и бомбёжек арабской авиации и их западных союзников приостановили наступление джихадистов всего в 80 км от Багдада. Однако они не подавлены. Это могла бы сделать только наземная операция сплочённых арабских армий, ревнителей подлинного ислама. Но они по-прежнему воюют друг с другом, несмотря на то, что им грозит полный и окончательный разгром. Вожди халифата уже заявили, что сметут с лица земли королевство Саудовская Аравия, монархии Залива, все государственные границы.

Геополитика нового халифата нацелена на то, чтобы перекроить вначале Ближний Восток, так как это делал Пророк Мухаммед и первые халифы. Новый халиф Абу Бакр аль-Багдади в ноябре 2014 года призвал заняться, прежде всего, “рафида” (то есть шиитами), затем “Аль-Сулул (суннитами-саудитами), которые поддерживают монархии”, а затем “крестоносцами и их базами”*. Как новый халифат намерен добиваться поставленных целей? На что рассчитывают боевики джихада? Ответ находим в изречениях имама Измира: “Мы покорим вас благодаря вашему демократическим законам. Мы будем господствовать над вами благодаря вашему религиозным канонам”**.

При всей их реакционности, строители нового халифата гребут вовсе не против течения. Они намерены оседлать объективную, мощную тенденцию к единению человечества, но не путём его американизации, а в ходе ещё более насильственной стремительной исламизации. Надо видеть, с какой убеждённостью салафиты напоминают в спорах, что мир при халифах уже был един, уже лежал у ног ислама. Великолепные всадники – воины Аллаха – гарцевали даже на ледниках и на равнинах Исландии! Сейчас Америка уходит с Ближнего Востока: силы Америки тают, она, как некогда Советский Союз, перенапряглась. Анаконда распускает свои кольца и отползает. Впереди для Америки маячит старый добрый изоляционизм, в котором некогда сосуществовали южные и северные штаты. Однако что будет с Европой? Кто её защитит? Не будут ли европейцы вспоминать протектораты Америки и Советского Союза, как золотой век, век мира и благоденствия?

Появление Исламского государства и провозглашение халифата уже поломало многие устоявшиеся геополитические схемы.

Королевство на песке

Исламское государство наносит ещё один мощный удар по иллюзиям, что США возглавляют однополярный мир. Мало кто продолжает верить в *американский зонтик*. В наши дни с иронией цитируют президентского советника Ш. Карутхаммера, который в 90-е годы заверял союзников: “Ваша самая крепкая надежда на безопасность – это мощь Америки и её воля установить однополярный мир... и правила нового мирового порядка”*. Арабские госу-

* The Atlantic, March 15, 2015.

** Цит. по Mannheim Michael, Eurabia: Die geplante Islamisierung Europas.

дарства уже самостоятельно, не согласуя с Вашингтоном, предпринимают военные действия в Ливии, в Йемене, в Сирии, Ираке... Американцы мечтают: на кого ставить? На Саудовскую Аравию или на Иран? Как быть с Израилем, защита которого усилиями израильского лобби уже полвека является вопросом не внешней, а внутренней политики Америки?

У Америки, как известно, нет постоянных союзников, потому что, как отметил президент Путин, этой державе нужны не союзники, а вассалы. Простая, очень глубокая по сути оценка, которая объясняет многое, особенно отношение к России. Стало выгоднее договариваться с Ираном, и Вашингтон без всякого сожаления бросает верных вассалов-саудов на растерзание соседей. Арабская нефть, к которой полвека был привязан доллар, уже не так нужна Вашингтону. США обогнали Саудовскую Аравию по производству чёрного золота. Ещё недавно половина объёмов нефти, потребляемой в США, ввозилась из монархий Персидского залива. Теперь главный экспортёр нефти в США — соседняя Канада. Нефть, которую сегодня поставляет Саудовская Аравия, завтра может дать Иран. Так зачем поддерживать анахроничную абсолютную монархию, королевство на песке? Новый халифат приговорил Саудовскую Аравию и прочие прозападные монархии к смерти. В этих странах уже много сторонников Исламского государства. Шиитский Иран набирает силу, доказывая, что Иран был и будет империей. Иран и никто другой может противостоять Исламскому государству. И ведя переговоры с США, Иран не намерен опять, как при шахе, становиться их вассалом.

Это только несколько примеров того, как ИГ ломает устоявшийся геополитические схемы и союзнические обязательства. Так кто будет защищать Европу от надвигающегося джихада? Если Вашингтон так легко бросает Саудовскую Аравию и прочие монархии Залива, то то же самое он может сделать не только с Израилем, но и с европейскими странами, забыв про атлантическую солидарность. Об этом многие в Европе уже задумались. К тому же нарастающее расовое напряжение не сделает ли и сами США империей на песке?

Новое переселение народов и исламизация Европы

И по сей день только немногие европейцы вполне осознают последствия гигантского, беспрецедентного по масштабам и стремительности нового переселения народов Юга в благополучные страны неверных кафиров. Север ныне — осаждённая крепость, на которую накатываются миллионные волны иммигрантов. На южных границах Европы феноменальная рождаемость, нищета и социальная несправедливость. Тот, кто бывал в южных странах и видел их не из окон фешенебельных отелей, никогда не забудет картин массового человеческого бедствия. Эти картины потрясают и в Карачи, и в Каире, и в Калькутте, и в Лагосе. Миллионы голодают, мрут от болезней, нет чистой воды, нет врачей. У молодых людей нет будущего, только голод, болезни, безработица, наркотики, инфекции, эпидемии. Но рождаются миллионы новых несчастных. В Африке каждый месяц прибавляется 2 млн детей. Её население уже в 2009 году превысило 1 млрд человек и достигнет к 2050 году 2 млрд, население Индии сравнялось с численностью китайцев — 1,4 млрд, население Пакистана уже превышает население России.

И ничто, кажется, не способно остановить потоки бедствующих людей, стремящихся в «земной рай» Европы: ни холод, ни северная мгла, ни короткие дни и длинные ночи, ни опасности пути, ни чрезвычайные пограничные меры. Из Европы время от времени заявляются в гости односельчане, которые однажды рискнули сжечь прошлое и устроились в Европе. И вот, вернувшись, рассказывают о своих действительных, а чаще мнимых успехах: получают пособие или нашёл работу, есть жильё, женился, купил телевизор, а то и автомашину. И вот всё новые тысячи очарованных мигрантов мощными потоками устремляются из Пакистана, Сомали, Судана, Кении, Марокко. Они бредут пешком, едут на верблюдах, идут тропами контрабандистов. На них нападают бандиты. Они скрываются от наездов полиции, их топят, вылавливают и отправляют в лагеря. Те, кому повезло, ищут в портах «надёжного» капитана — очередного шарлатана, который обещает переправить их через Гибралтар в Испанию или в близкую Италию. Десятки тысяч тонут, но напор новых волн иммигрантов быстро нарастает.

* Foreign Affairs, 1991, № 1.

** The Spectator, 6 June 2015. Shifting Sands in Saude. By Hugh Eakin.

И что новые иммигранты встречают в Европе? На фоне блестящих витрин – враждебность, дух уныния, неверие в будущее, падение нравов. Евросоюз, эта бесхребетная, беспомощная медуза, мечется в поисках путей интеграции мусульман. Мы, работавшие ещё в 70-е годы в западных странах, собираясь, спрашиваем друг друга, что случилось с Францией, Германией, Италией? Совсем недавно их народы лучились силой, энергией, оптимизмом. Куда девался тот жизненный дух, который царил во Франции ещё при де Голле?! Оказывается, неоспоримо верно, что демография, рождаемость – это судьба наций. В Европе ныне в 21 стране смертность превышает рождаемость. Только в мусульманской Албании число колыбелей превышает число гробов. Там много детей.

Ещё в начале XX века каждый четвёртый житель планеты (25%) был европейцем. Больше всего детей было в семьях русских и немцев. Ныне европейцы составляют 12% населения Земли. Они так усердно истребляли друг друга в войнах. Некоторые демографы считают, что, учитывая смешанные браки, европейцев осталось не более 9%. К 2050 году их останется не более 7–8%. Доклад ООН сообщает, что население Европы от Лиссабона до Владивостока к началу XXI века составляло 728 млн. К 2050 году оно уменьшится до 600 млн, а к началу XXII века европейцев останется всего 207 млн среди 9 миллиардов земель. Будет трудно встретить светловолосых и голубоглазых. Даже рыжие, думаю, переведутся. Сбудется мечта шолоховского Нагульного: он, одурманенный швондерами, страстно (по портрету) влюблённый в жгучую брюнетку Розу Люксембург, мечтал, что при коммунизме “все будут смуглыми, лицом приятными”.

Печальная ирония судьбы. Мои старые друзья и коллеги французы, немцы, бельгийцы, вовсе не расисты, с неизменной грустью указывают на процесс вырождения их светлого, в высшей мере творческого генофонда. Они считают, что всё началось с индустриализации. Она взорвала органичный жизненный уклад крестьянских порядков. Труд стал перемещаться в заводские цеха, а совсем недавно – в офисы. Города превратились в гигантские бетонные джунгли, где в тесных квартирках трудно, почти невозможно растить много детей. Нужно, говорят они, возвращаться к жизненным формам хозяйствования, к семейным домам на земле с садами, к экономике разумной достаточности. Эта программа особенно прижилась бы в России, где так много пустующих земель от Смоленска до Владивостока.

А пока в Европе проступают всё очевиднее признаки смертельной болезни. Многие в отчаянии сравнивают нынешнюю ситуацию с годами Чёрной чумы (1347–1352), которая выкосила треть населения Европы. Какое, например, будущее у экономически крепкой Германии? Немцы рассчитали, что при нулевой иммиграции население Германии к 2050 году сократится с 82 млн до 59 млн. Однако согласно исследованию (2006) центра Islam Archives перед нами предстаёт совсем другая картина: продолжается приток иммигрантов, и к 2045 году, то есть через одно поколение в Германии останется 42 млн коренных немцев, а число мусульман составит 51,8 млн.

Ещё хуже демография в самой католической стране – Италии. Опросы постоянно показывают, что более половины итальянок в возрасте 16–24 лет, некогда славившихся своим чадолюбием, не хотят иметь детей. В католической Испании – расцвет гомосексуализма и самая низкая в Европе рождаемость – 1,07%. В одном из докладов, представленных испанцами в ЮНЕСКО, сообщалось: “Всего за одно поколение мы из общества, в котором нормой были семьи с 8–12 детьми, стали обществом бездетных пар или пар с одним ребёнком”.

Идёт скоростной процесс старения населения. На одного пенсионера осталось только четверо работающих. Скоро кормильцев будет только трое. Сами европейцы уже не смогут прокормить и лечить стариков. Пенсионный возраст будет и дальше расти. И всё-таки Европе будет чрезвычайно трудно обойтись без иммигрантов.

Сколько мусульман уже обосновались в Европе? Нет достоверных источников, потому что огромную нелегальную иммиграцию нельзя ни подсчитать, ни даже приблизительно оценить. Эксперты предполагают, что их число составляет от 25 до 45 млн. Больше всего их в Бельгии, Франции, Нидерландах.

дах, Германии. Несколько европейских стран считают себя исламскими. Новейшие статистические данные ООН указывают, что к 2040 году 55% населения Европы будут составлять мусульмане.

Между тем, в мусульманских странах иноверцы составляют малозаметное меньшинство. Иммигранты в Европе селятся компактно, возводят свои мечети, назначают своих судей — кадики, многие практикуют шариат. Во Франции, например, насчитывается 750 шариатских зон. Сотни городков и пригородов уже объявили себя мусульманскими анклавами. *Национальные государства в Европе де-факто отмирают, распадаются на этнические и религиозные сообщества.*

Идёт война культур. Французы, немцы, итальянцы в беседах печально признаются, что они уже потеряли страны, в которых выросли. С людьми, которые ныне наполняют знакомые им с детства улицы и скверы, у них нет ничего общего: ни истории, ни веры, ни культуры, ни языка. Нет общих героев, общих предков, общих праздников и обычаев, общих легенд и сказок. Всё смешалось в невообразимый хаос. “Не нация, а салатница”, — горестно заключают мои собеседники. Известный в мире эллинист Жак Буске (J. Bousquet) печально напомнил мне стих Еврипида: “Нет на свете большей горести, чем утратить родину”.

“Что же случилось, Жак?” — спрашиваю его. “Боги рынка, — отвечает он, — опрокинули Христа. Пришли новые боги: деньги, власть, тщеславие, секс, тупое потребление, гедонизм. Всё, что вчера считалось грехом, — гомосексуализм, массовые разводы в семьях, эвтаназия, аборт — всё ныне прославляется как достижения прогресса. Девушкам стало трудно выйти замуж, создать семью. Для мужчин брак стал бременем, препятствием в погоне за нескончаемыми удовольствиями. Зачем им семья и дети? Страховки, пенсии освободили всех от содержания родителей. Женщины стали сами зарабатывать. А вот мусульманок пытаются удерживать в семье даже на чужбине. Ислам, как некогда и христианство, удерживает мусульманок от многих грехов”.

Что такое был аборт для европейских женщин ещё 100 лет тому назад? Смертный грех! Теперь это узаконенное массовое детоубийство. Мать Тереза назвала беду: “Идёт война против детей”. И чем больше абортов, тем больше прибывает иммигрантов, что вполне было предсказуемо. Мусульманкам запрещено делать аборт. Они смеются над европейскими женщинами: не хотите растить своих детей, мы заставим вас нянчить наших. Почему, ради чего европейки, включая русских женщин, лишают себя величайшей радости — радости материнства, тревог, забот, горестей и радостей большой семьи? Оказывается (по опросам), прежде всего, по двум главным причинам: ради карьеры и... ради внешнего вида.

С отмиранием семьи стала вымирать и Европа. Пути европейцев разошлись с путями, предначертанными Вседержителем. Европа отпала от Бога. Но неужели Бог навсегда отвернулся от европейцев, неужели экономическое благополучие и комфорт привели окончательно к закату Европы? Римский Папа назвал происходящее “хваткой культуры смерти”. Но Ватикан, как и РПЦ, не отказался от евангелизации, от новой христианизации Европы. Спасение придёт по мере того, как мир будет освобождаться от оков бездуховной материалистической цивилизации. Христианам она представляется отклонением от Божьего пути, попущением Творца, кратковременным, всего лишь в II–III века, отступничеством от духовного совершенствования.

ЯКОВ АЛЕКСЕЙЧИК

КАК КНЯЗЬ РАДЗИВИЛЛ И ГЕТМАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ РЕЧЬ ПОСПОЛИТУЮ ДЕЛИЛИ

Когда заходит разговор о разделах первой Речи Посполитой, случившихся в конце XVIII века, то почти каждый обыватель в современной Польше скажет, что это исключительно российских рук дело. А уж политик тем более. Да и в Беларуси, даже в России, тоже многие так считают. Правда, историки в той же Польше, притом такие авторитетные, как Павел Ясеница, Валериан Калинка, Александр Бохеньский, всё-таки подчёркивали, что идея разделов возникла не в Санкт-Петербурге, который тогда был столицей Российской империи. Тот же Павел Ясеница в своём исследовании “Речь Посполитая обоих Народов. Картины агонии” отмечал, что “пальма первенства принадлежит Парижу, Берлину, Вене”. Первые поползновения, направленные на разделы, были предприняты именно там, притом ещё до подписания соответствующих соглашений между “поделщиками”. Австрия сначала отхватила от Речи Посполитой область Спиш, а затем часть Чорштыньского, Новотарского, Сондецкого староств. Узнав об этом, российская императрица Екатерина II сказала при свидетелях: “Почему бы и всем не взять?”.

Другой не менее авторитетный польский историк XIX века, а одновременно и священник, и краковский повстанец — Валериан Калинка — подчёркивал, что Россия даже сопротивлялась разделам, поскольку была занята войной с Турцией, не видела в них никакой пользы, потому “ни она, ни её министры... не допускали тогда, что Польшу можно было бы завоевать или разделить и вымарать из числа существующих государств”. Александр Бохеньский, в свою очередь, отмечает, что Екатерине II просто необходим был “польский заслон на западе, хранящий её от нападений, но в то же время преданный, зависимый и имеющий силы быть ценным союзником”. Она даже предложила Речи Посполитой увеличить армию до пятидесяти тысяч человек, согласилась выделить на эти цели триста тысяч золотых дукатов, чтобы предпринять совместные военные действия против Турции, притом главнокомандующим союзными воинскими силами должен был стать польский король Станислав Понятовский. Однако тот умудрился целый год не реагировать на такой проект. И императрица “вдруг почувствовала себя обманутой”. Потратив два миллиона рублей золотом на польские дела, она могла утешать себя только тем, “что навязала полякам своего короля”, но уже первые годы правления Станислава Понятовского показали, что Россия “не может рассчитывать на Польшу как на союзницу”. Тогда-то Екатерина на фоне австро-прусского сближения и “под влиянием прусского шантажа встала перед альтернативой:

потерять гегемонию во всей Польше или согласиться на её раздел с возможностью сохранения гегемонии на оставшихся территориях Речи Посполитой". Тем не менее, добавляет Бохеньский, в современной Польше доминирует "освященная А. Мицкевичем" "сказочная схема", согласно которой роль России в тех разделах была главной.

Однако если говорить о польских разделах, то не худо будет отметить, что предпринимались такие попытки и без России. И было их до этого, как минимум, две, притом первая намечалась ещё в конце четырнадцатого столетия, когда ни московская, ни новгородская Русь не имели общих границ с Польшей, а земли нынешней северной и центральной Украины входили в состав Великого княжества Литовского. Тогда автором предложения о разделе был, как ни удивительно, поляк — князь Ополя Владислав. Это он в 1392 году явился к великому магистру крестоносцев Конраду Валленроду и предложил разделить Польшу между Орденом, Бранденбургом, Чехией, Венгрией и силезскими князьями. Однако Конрад отверг предложение, так как ему нужны были все земли над Вислой, а различные попутчики, преследующие собственные цели, могли только усложнить решение задачи.

Есть сведения, что Владислав Опольский действовал по поручению Сигизмунда Люксембургского, в то время короля Венгрии, потом и Чехии, а затем императора Священной Римской империи германской нации, который, похоже, не мог простить, что ему самому, женатому на Марии — родной сестре королевы Ядвиги, — не удалось надеть польскую корону. Ведь польский трон поначалу предназначался Марии и её мужу, поскольку польские законы и обычаи тех времен не допускали нахождения на троне женщины. Ей, а не Ядвиге монарх Польши и Венгрии Людовик Великий завещал трон в Кракове — тогдашней столице польского королевства, ей польская шляхта принесла присягу как будущей своей госпоже, а Сигизмунд переехал жить в Краков, чтобы изучить польский язык, узнать страну и её людей. Однако потом мадьяры всё перепутали, объявив Марию королевой венгерской. Тогда польская корона была возложена на подрастающую Ядвигу, на которой вскоре женился литовский князь Ягайло; он-то и стал польским королём. Вот и мстил Сигизмунд всю жизнь. Перед битвой под Грюнвальдом, в которой в 1410 году рыцари сошлись с польско-литовско-русским войском, он даже выражал крестоносцам готовность за триста тысяч дукатов — это не меньше тонны золота — атаковать Польшу с юга. Павел Ясеница пишет, что, будучи королём Венгрии, он и объявлял такую войну, о чём Ягайло получил сообщение за три дня до судьбоносной схватки, но не стал извещать об этом своих, поскольку, видимо, знал, что мадьярское окружение не поддерживает такое намерение Сигизмунда.

Второй случай более интересный, хотя и менее известный. В числе его "движителей" были князь Богуслав Радзивилл — великий хорунжий и великий конюший Великого княжества Литовского, депутат сейма Речи Посполитой, в которую входили ВКЛ и королевство Польское, а также запорожский гетман Богдан Хмельницкий. Радзивиллов в нынешней Беларуси многие называют белорусскими магнатами. В самом деле, Богуславу принадлежало Слуцкое княжество с городами Слуцк, Копыль, Старобин, Копысь на Днепре и другие имения. Но родился он в Гданьске, умер около Кёнигсберга, в Кёнигсберге и был похоронен. А вообще-то Радзивиллов с таким же успехом можно причислить к украинским вельможам, что, возможно, кое-кто и делает, так как в волынской Олыке, где был построен замок площадью целых 2,7 гектара, тоже гнездилась ветвь этого рода. А в Ровенской области город Радивилово есть. Не меньше оснований и для того, чтобы считать этих магнатов литовскими, где им принадлежали местечки, которые нынче именуются Дубингай, Кейдайнай, Биржяй — раньше Дубинги, Кейданы, Биржи. Есть там и город Радвилишкис, названный в честь былых собственников.

Но наличествуют подобные предпосылки и для причисления Радзивиллов к германским родам. На переломе XVIII и XIX столетий жил в Берлине композитор, гитарист, виолончелист, меценат, генерал-поручик Антоний Генрик Радзивилл. Встречался с Паганини, Бетховеном, Шопеном, Гёте. Одновременно полтора десятка лет руководил Великим княжеством Понзаньским, которое было создано после наполеоновских войн на западных землях бывшей Речи Посполитой и входило в состав Пруссии. В его дворце на Вильгельмштрассе, 77 регулярно собиралась вся берлинская знать. По иронии судьбы впоследствии, во времена второго и третьего германского рейха, там же размещалась имперская канцелярия, в которой работали и Бисмарк, и Гитлер, пока в конце 30-х годов Шпеер не построил новую. Сыновья композитора и наместника Вильгельм Павел и Богуслав Фридрих стали прусскими

генералами. В более поздние годы верно служил германской империи его внук Антоний Вильгельм Радзивилл — генерал артиллерии, генерал-адъютант Вильгельма I, пожизненный член “Палаты господ”, как тогда называлась верхняя палата прусского рейхстага. Был в тех рейхах и немецкий художник Франц Радзивилл, который в годы Первой мировой войны воевал на российском фронте, потом стал убеждённым сторонником Гитлера, участвовал в съездах НСДАП, опять надевал военную форму, но уже вермахта. Директор Высшей школы искусств в Берлине Карл Хофер утверждал, что это не Радзивилл, а Нацивилл. В нижнесаксонском Ольденбурге и ныне хранится коллекция его картин.

При желании причислить Радзивиллов к своим могут и французы. Ведь Доминик Радзивилл служил адъютантом у императора Наполеона I, во время войны с Россией содержал за свой счёт целый уланский полк и умер от ран, полученных в “битве народов” под Лейпцигом. Притом к Наполеону он переметнулся, будучи камергером при дворе русского императора. Правда, его вдова вышла замуж за русского военного министра графа А. И. Чернышёва, а дочь Стефания стала невесткой русского фельдмаршала П. Х. Витгенштейна. На свадьбе присутствовала императрица Мария Фёдоровна — мать Александра I, которому изменил отец невесты. Стефании посвящал свои стихи А. С. Пушкин. Чудны дела Твои, Господи.

Однако справедливости ради надо сказать, что был среди Радзивиллов и Лев Людвигович — в польских энциклопедиях Леон Иероним — генерал от кавалерии в русской армии, который хранил верность присяге и ни от кого никогда не бегал. Это тоже был человек разносторонних дарований. Пользовался абсолютным доверием двух императоров — Николая I и Александра II, став в 24 года флигель-адъютантом, выполнял их самые деликатные поручения, включая межгосударственные миссии. Будучи генералом, помог обзавестись дочерью самой Карлотте Гризи — прославленной итальянской балетной прима, первой исполнительнице “Жизели”, бюст которой теперь стоит в парижской Гран-Опера. Как утверждали современники, это был “чистейший польский тип, добрый товарищ, певец-дилетант, балетоман и жуир”, способный рассмешить двух самодержцев. В то же время, будучи офицером отменных качеств, во время Крымской войны он лично водил в атаки свою кавалерийскую дивизию и навечно был зачислен в списки Гродненского лейб-гвардии гусарского полка. Лев Людвигович похоронен в ныне белорусском Несвиже, которым почти полтысячелетия Радзивиллы владели, но в Несвижском музее-заповеднике нет даже портрета этого генерала, хотя в годы его жизни уже довольно широко применялась фотография. О нём вспоминают реже всего. Возможно, за то, что первые свои отличия получил он в боях с польскими повстанцами в Варшаве, или за то, что, приехав в отпуск в Несвиж, за парочку недель очистил от повстанцев всю Минщину.

На нынешних белорусских землях у Радзивиллов было, пожалуй, больше всего имений. Память о себе они оставили разную, но, скорее всего, все без исключения удивились бы, узнав, что их теперь причисляют к белорусам. Ведь даже обычная шляхта, исповедуя сарматизм, исходила из того, что у неё и холопов, которыми она владела, разное этническое происхождение, а холопы ей принадлежат на тех же основаниях, что и домашний скот. Тогда что же говорить о магнатах, да ещё имевших титул князей Священной Римской империи германской нации. Не исключено, что какой-нибудь Кароль Станислав Радзивилл по прозвищу Пане Коханку, услышав от кого-либо в своём Несвиже, что он и его слуги — одного поля ягоды, приказал бы вздёрнуть наглеца на виселицу. В Речи Посполитой помещики имели право даже “на горло” своих крепостных, полученное ещё в 1518 году от короля Сигизмунда Старого, который, как он сам утверждал, устал рассматривать селянские жалобы. Образный пример на сей счёт привёл белорусский писатель Владимир Короткевич в своей повести “Седая легенда”, в которой рассказ ведётся от имени швейцарца Конрада Цхакена, служившего у одного из магнатов Речи Посполитой. Тот, увидев мужичка, подметавшего каменные плиты во дворе замка, “видимо, нашёл на ком сорвать гнев:

— Доминик, — сказал он, — если двор будет грязным и утром, я поставлю тебя выше себя.

Я знал это поганое выражение. И невольно посмотрел на верхний двор, где большущей “комнатой” вырисовывалась на синевато-зелёном лунном небе виселица”.

А виселицы стояли на каждой барской усадьбе. И тюрьмы. У Радзивиллов тоже. По пьяни Пане Коханку мог приказывать, чтобы его самого отвели в холодную камеру, однако подолгу сидели там, конечно же, другие. Собст-

венное прозвище он фактически изобрел себе сам, потому что именно так — Пане Коханку, то есть Господин-Любимец — он обращался к каждому. Способен был на многое. Приказать драгунам разогнать суд в Минске. Рассказать, что после его романа с сиреной в Балтийском море завелась селёдка. Помогаться в церкви, о чём вспоминал современник и критик Иммануила Канта, европейский философ Соломон Маймон, выросший в семье арендаторов в поместьях Радзивиллов. Современный белорусский учёный Адам Мальдис считает, что в рейтинге самых зловещих и ужасных магнатских фигур Пане Коханку претендует на первое место. Зачем, спрашивается, такой “родственник” белорусам? Но теперь о нём на сцене одного из главных минских театров поставлен спектакль, в котором тот самый Пане Коханку показан великодушным, добрым, даже влюблённым в простую крестьянку — своим в доску.

Имели Радзивиллы собственность и на коронных польских землях. Станислав Вильгельм — сын того Радзивилла, который был генералом прусской артиллерии, — служил адъютантом уже у польского маршала Пилсудского и отмечен самым почётным польским военным орденом “Виртути Милитари”, правда, посмертно, так как погиб в 1920 году по время похода на Украину. Однако отношение поляков к этому роду довольно противоречивое. И надо признать, что у них для этого имеются основания. Жизнь упомянутого первым Богуслава, которого не обошёл вниманием и Генрик Сенкевич в своём “Потопе”, тому одно из подтверждений. Его можно отнести не только к литовцам и полякам, но и к шведам, и к немцам. Стокгольмский монарх за серьёзные услуги благодетельствовал его званием шведского фельдмаршала, а перейдя на службу к бранденбургскому маркграфу Фридриху Вильгельму, он получил должность генерал-губернатора герцогства Прусского. Занимался великий хорунжий, великий конюший и депутат сейма Речи Посполитой куда более крупными делами, чем тот же Пане Коханку или Лев Людвигович. Даже пытался решать, быть или не быть самой Речи Посполитой, в которую входило Великое княжество Литовское, да и судьбу княжества тоже. Более того, намеревался обзавестись собственным государством. Предпринята была такая попытка в декабре 1656 года подписанием пятстороннего трактата в тогда венгерском, а ныне румынском городке, который назывался Раднот.

То было весьма трудное время для Речи Посполитой. Уже восемь лет она вела борьбу с казаками Богдана Хмельницкого, и её войско потерпело несколько тяжёлых поражений, особенно под Жёлтыми Водами и Корсунем. Более двух лет тянулась война Речи Посполитой с Московским государством, которое, подписав в 1654 году Переяславскую раду и поддержав гетмана Хмельницкого, стремилось вернуть себе входившие в ВКЛ русские земли. Московские войска уже заняли почти всю территорию нынешней Беларуси и Литвы, включая Вильно — столицу ВКЛ, — царю присягнули даже жители Люблина. Под польским контролем оставался только Львов, который откупился от Хмельницкого, воюющего на стороне царя, но преследующего свои цели.

Как откупился? Какие свои цели? Дело в том, что, приняв покровительство Москвы, гетман, тем не менее, поддерживал особые отношения с крымским ханом, шведским королём и до смерти платил дань турецкому султану. Уже через год после Переяславской рады, на которой он поклялся в верности царю, казачий предводитель, утверждает польский историк Мариуш Стангрецюк, сделал попытку вновь вернуться под руку польского короля Яна Казимира. А современный украинский историк и архивист Виктор Брехуненко, анализируя роль Швеции в политических концепциях Хмельницкого, напоминает, что сразу после той рады гетман направил своего делегата Данила Калугера и в Стокгольм. И в устной инструкции поручил ему предложить Швеции “вечный мир, пакт о взаимной помощи против третьей стороны”, а также “уверения, что казаки встанут на стороне Швеции, если Москва предпримет против неё военные шаги”. В сентябре 1655 года, принимая шведского делегата Торквата, он выразил радость, что в ответ на казачьи просьбы шведский король “обещает нам уважение, защиту и дружбу”, пишут оба историка — и Стангрецюк, и Брехуненко. Ещё один польский аналитик, Збигнев Вуйчик заметил по этому поводу, что “гетман видел в Швеции союзника одновременно и против Польши, и против Москвы”. В политическом четырёхугольнике Москва–Стамбул–Варшава–Стокгольм, в котором все враждовали между собой, Хмельницкий усиленно старался позиционировать себя так, чтобы каждый не забывал о нём, ибо казаки уже стали серьёзным военным фактором, да ещё и опасался, что они повернутся к нему спиной, поскольку в таком случае нарушится расклад сил. Притом не только опасался, но и приплачивал, чтобы не отвернулись. А уж за услуги — тем более. Разумеется, каждая из сто-

рон названного четырёхугольника не исключала использования казаков в собственных целях. Шведский монарх, к примеру, объявивший войну Польше, присматривался к ним очень внимательно.

Время от времени в эту игру, за деньги или по собственному желанию, вступали и игроки помельче, например, крымский хан или семиградский князь, говоря иначе, правитель княжества Трансильвания. Ещё в 1649 году после своих звучных побед украинский гетман направил посольство к семиградскому владетелю Дьёрдю II Ракоци и предложил ему, как теперь говорят, баллотироваться на трон Речи Посполитой. Правда, перед этим письмо с таким же предложением он послал в Москву, российскому царю Алексею Михайловичу. В своих планах Богдан искал поддержки и у Януша Радзивилла — польного гетмана литовского, то есть походного (полевого) командующего войском ВКЛ, а с 1654 года — уже великого гетмана литовского, главнокомандующего вооружёнными силами ВКЛ, который, “пышный, как Люцифер”, с самим королём Речи Посполитой разговаривал в неприязненном тоне, позволял себе не выполнять его приказы, в пику ему поддерживал активные контакты с шведским монаршим домом.

Виктор Брехуненко полагает, что Хмельницкий хорошо разбирался в людях и умел использовать их в собственных интересах. Его главной целью, по мнению украинского исследователя, было “создание системы покровительства Гетманщины одновременно со стороны нескольких соседних государств”. Именно балансирование между четырьмя столицами считалось “за наилучший способ формирования внешней политики, направленной на то, чтобы утвердить казацкое государство на карте Европы”. Так что к Москве и Переяславской раде Хмельницкий пришёл не сразу. Даже в своей речи на той раде он дал понять, что выбор делал из всех не совсем ему приятных вариантов. Павел Ясеница в книге “Речь Посполитая обоих народов. *Kalamitatis Regnum*” иронично подмечал, что в течение многих лет “Богдан Хмельницкий, извиваясь, как в кипятке, пробовал испытать себя в искусстве архиепископской, поддающейся только настоящим мастерам игры сразу на трёх инструментах одновременно”. Московскому царю обещал Волынь и Красную Русь — Львов, Галич, шведскому Карлу Густаву — сотрудничество, а польскому королю Яну Казимиру в трудные для того времена “слал письменные заверения в преданности, звал его возвращаться в страну и обещал, что поможет ему возвратиться на трон”. Речь Посполитая тогда виделась Хмельницкому в качестве рыхлой федерации Польши, ВКЛ и казацкого Гетманата, в которой он будет пусть не на троне, но на хорошем коне, где с ним будут считаться не только его высочества, но и его величество.

Пожалуй, самой последней, возможно, главной попыткой Богдана Хмельницкого всё переменить на свою корысть было его участие в планах шведского короля Карла X Густава, который воевал с Речью Посполитой. Стокгольмский монарх в то время был настолько силен, что при упоминании о шведах у тех же немцев начинали трястись поджилки. В 1655 году Карл Густав, заявив о своих претензиях на польский престол, захватил не только Варшаву, но и Краков. В его планах был задействован сначала Януш Радзивилл, 20 сентября того же года заключивший со шведским королём Кейданскую унию, по которой Великой княжество Литовское выходило из Речи Посполитой — польско-литовской федерации — и вступало в такой же союз со Швейцарией. Радзивиллу виделось литовское княжество во главе с ним самим. Но его не поддержала шляхта ВКЛ, а сам Януш неожиданно умер; одни до сих пор утверждают, что от апоплексического удара, другое, другие — что наложил на себя руки от неудач, третьи — что его отравили.

А дела у Речи Посполитой тогда были настолько плохи, что король Ян Казимир вынужден был покинуть страну. Как пишет ещё один польский историк Кшиштоф Косажецкий, уже мало у кого теплилась надежда на возрождение польского государства. Магнаты и шляхта метались. На коронных польских землях они присягали шведскому королю, а на нынешних литовских и белорусских территориях клялись в верности, как правило, московскому царю. При этом Косажецкий не без юмора замечает, что перед шляхтой ВКЛ стояла более сложная задача, чем перед коронной: если той предстояло выбирать между своим и шведским королём, то великокняжеской — между своим, шведским и московским монархами. Постепенно ценность присяги сильно деградировала. Давали клятвы тому, кто больше обещал, присягавшие заранее знали, что держать слово не будут. К примеру, Павел Сапега, второй после Радзивиллов богат в ВКЛ, окопавшись у Бреста, слал уверения в верности и польскому королю, и московскому царю, но одновременно принимал швед-

ских послов. Тогда магнаты, располагая золотым запасом, имели и воинские контингенты, включая наёмные из иностранцев, которым и король позавидовал бы.

Успехи же короля Карла X Густава, наоборот, были велики на всех направлениях. Шведские войска появились уже и на Браславщине — это север нынешней Белоруссии. Всерьёз заволновались и в Москве. Там уже начинали понимать, что военного соперничества со скандинавским соседом не удастся избежать и ей, потому усиления этого соседа за счёт Польши совсем не желали. И пошли на перемирие с Речью Посполитой. Оно было подписано в Вильно 24 октября 1656 года. А ещё 17 мая 1656 года царь Алексей Михайлович объявил войну Швеции. Прекращением конфликта Московского государства с Польшей заинтересовалась и Вена. Как писал русский историк Сергей Соловьёв, «опасно было для Австрии падение союзной католической Польши и усиление на её развалинах враждебной, протестантской Швеции, и вот Фердинанд III поспешил явиться посредником между царём и Яном Казимиром, чтоб освободить Польшу от московской войны и, если можно, обратить царское оружие против Швеции». По условиям Переяславской рады, отмечает Мариуш Стангрецюк, в войне Москвы со Стокгольмом казаки должны были выступить против шведов. Но гетман решил иначе.

Виктор Брехуненко не случайно подчёркивает, что в том четырёхугольнике друзей не было. Каждый из «ловцов» пытался поймать свою рыбку. Крупный — большую, послабее — рыбку помельче, но желанную. Среди них оказался Богуслав Радзивилл — двоюродный брат Януша, во многом похожий на кузена ухватками. Кстати, они являлись не только двоюродными братьями: Анна Мария — жена Богуслава — была дочерью Януша. Богуслав тоже решил поискать счастья под шведской звездой. А стокгольмский монарх, играя на аппетитах попутчиков, старался осуществить свою основную задачу: демонтировать Речь Посполитую, притом вовлечь в этот процесс многих. И вот 6 декабря 1656 года представители шведского короля, курфюрста бранденбургского Фридриха Вильгельма, князя Богуслава Радзивилла, гетмана Богдана Хмельницкого и князя семиградского, то есть трансильванского Дьёрдя II Ракоци, подписали трактат, на основании которого земли Речи Посполитой должны были быть поделены между пятью претендентами.

Мариуш Стангрецюк подробно перечисляет добычу каждого. Швеция по тому трактату получала кёнигсбергскую Пруссию, польскую Куявию и часть Мазовии — северо-восток Польши. Плюс литовскую Жмудь — это вся нынешняя Литва и северные белорусские территории, а ещё Курляндию и Инфлянтскую земли, которые теперь являются Латвией и Эстонией. Хозяин Берлина курфюрст бранденбургский загребал Вармию, соседствующую с Пруссией, и пять северных польских воеводств. Князь Богуслав Радзивилл брал новогрудское воеводство в качестве своего удельного княжества и гарантию прав собственности на все свои имения в других регионах. Украина становилась удельным государством Богдана Хмельницкого. Как подчёркивает Стангрецюк, тогда «гетман Богдан Хмельницкий имел шансы избавиться от российского верховенства, украинские земли могли получить полную суверенность». Кроме того, он претендовал и на южные белорусские земли, занятые в то время войсками московского царя, на Смоленск, а на западе — на территории до самой Вислы. Князю Дьёрдю II Ракоци отходили Малопольша, Подляшье, Люблинщина — почти все южные территории нынешней Польши. Он становился крупным европейским владельцем, хотя всего семь лет назад просил признания своей власти в Трансильвании даже у казацкого гетмана Богдана.

Мариуш Стангрецюк отмечает также, что тот трактат «стал кульминационным пунктом политических и военных событий, которые разыгрывались в Речи Посполитой с 1648 года». Договор максимально устраивал всех подписантов, особенно шведского короля. Ради достижения поставленной цели «в пользу бранденбургского правителя он отказался от Пруссии, Вармии и Великопольши. Отказался также от Малопольши в пользу Дьёрдя II Ракоци и части Литвы в пользу Богуслава Радзивилла. Зато овладение наиценнейшей провинцией польской короны — Королевской Пруссией, — а также присоединение Курляндии и Инфлянтов (Ливонии. — Я. А.), бывших до этого польскими, сделало возможным исполнение мечты Карла Густава о доминировании на Балтийском море, то есть о превращении этого моря в шведское озеро».

Однако как раз это и не понравилось в Западной Европе. План превращения Гданьска в шведский порт сразу же встретил резкое неприятие морских государств, первым среди которых тогда были Нидерланды. Именно туда из Гданьска направлялось морским путём всё зерно, производимое в Речи По-

сполитой. Жёстко отреагировала и Дания, которая тоже теряла “всякое влияние на Балтийском море”. Она объявила Швеции войну. Не намеревалась подерживать такой раздел и Англия. Кроме того, уход Гетманщины в самостоятельное государственное плавание всего через два года после Переяславской рады, где она присягнула московскому царю, не мог понравиться России.

Получение курфюрстом бранденбургским части Пруссии начинало грозить и доминированию австрийских Габсбургов в центральной Европе, потому австрийский цесарь заключил с Польшей союз и прислал на помощь 4000 войска. Не были заинтересованы в Вене и в укреплении Дьёрдя Ракоци, который при поддержке шведов уже занял Краков и Варшаву, где учинил резню населения. Однако пришла весть об ударах датских войск, шведам пришлось маршировать на север, а без их пособления удержаться на польских землях Ракоци не мог. У него возник конфликт и с Богданом Хмельницким, с которым не получалось поделить отторгаемые от Речи Посполитой территории. В частности, обоим хотелось получить Львов — центр воеводства, которое, кстати, в самой Польше называлось Русским.

Турецкому султану тоже не нравилось, что Ракоци может возложить на себя польскую корону, потому крымский хан получил приказ охладить амбиции трансильвальца. Охлаждение производилось татарскими саблями. Нанёс ему поражение и польский гетман Стефан Чарновецкий под Чёрным Островом — теперь это Хмельницкая область. Через каких-то полгода после подписания трактата умер Богдан Хмельницкий. В дальнейшем судьба распорядилась так, что через семь лет после его смерти Стефан Чарнецкий занял хутор Суботов — владение самого казацкого гетмана, где был похоронен он и его сын Тимофей, и приказал разрушить их гробницы в Ильинской церкви, а тела выбросить на рынок.

Вскоре и бранденбургский правитель, узнав о позиции Австрии, Голландии, Дании, Англии, помирился с польским королём. Последним — через пять лет — от трактата отступился воевавший на несколько фронтов шведский монарх Карл X Густав. Говоря иначе, на нарушение европейского равновесия, заключает Мариуш Стангрецюк, не готовы были пойти ни морские государства, ни австрийские Габсбурги, ни Россия. Потому трактат не был реализован, что и спасло Речь Посполитую.

Богуслав Радзивилл вскоре после подписания трактата стал шведским фельдмаршалом. А когда ситуация поменялась, перешёл на службу сначала к союзнику, а затем противнику шведского короля, бранденбургскому курфюрсту Фридриху Вильгельму, и получил должность прусского генерал-губернатора. Потом снова покорился польскому королю, приезжал в Варшаву, участвовал в заседаниях сейма. Говорят, что часть надгробия, установленного на его могиле в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде, сохранилась до наших времён. Современный польский публицист Рафал Земкевич в своей книге “Поляцтво”, рассуждая о проблемах своей страны в прошлом, выразил удивление, почему ни один из этих Радзивиллов — ни Януш, ни Богуслав — не был повешен.

Тогда Речи Посполитой повезло. Но всё, случившееся в те годы, содержало, как минимум, два серьёзных намёка. Один из них состоял в том, что внешние враждебные факторы, даже при наличии внутреннего разброда, не всегда приводят к тотальному исходу страны, пусть и находящуюся в тяжёлом состоянии, если у её элиты ещё сохранился охранительный инстинкт, если она, как говорил Павел Ясеница, “умела мыслить политически” и расставлять приоритеты в пользу государства. Тем более что внешние факторы способны входить в противоречия между собой, что и случилось тогда с русскими и шведскими, шведскими и датскими интересами. Другой намёк: в Речи Посполитой были сложности в самом главном — некоторые магнаты позволяли себе поставить собственные интересы выше государственных. Вскоре в такую позу встала шляхта, на полную мощь заработало право на “либерум вето”, из-за которого сейм десятилетиями не мог принимать никаких решений, так как для этого достаточно стало возражения одного лишь депутата. Кстати, как утверждает польский журналист и историк Анджей Зелиньский в книге “Скандалисты на тронах”, впервые такое вето применил депутат Владислав Сициньский — тоже известный как “клиент дома Радзивиллов”. В то самое время жил и действовал Иероним Радзиевский, который вошёл в польскую историю как национальный предатель. А ведь он был и великим коронным подканцлером, то есть заместителем министра иностранных дел по-нынешнему, и даже маршалом сейма — человеком, который ведёт его заседания. Но ко времени шведского нашествия на Польшу переметнулся на сторону шведов, призывал

шляхту переходить под покровительство Карла Густава, притом не без успеха. Через него и Богдан Хмельницкий выходил на связь с шведским королём. Речи Посполитой оставалось жить менее полутора лет.

А Хмельницкому с его планами превратить Гетманщину в полноценное государство не повезло. Павел Ясеница, подводя итог всем делам гетмана, пришёл к выводу, что вожакам казаков не хватило закалки, под которой историком подразумевалась «традиция государственного бытия». Иными словами, у казачьей старшины не было политического опыта, который уже или ещё наличествовал у элит Польши и ВКЛ. Потому та старшина и металась в разные стороны, на самом деле борясь, прежде всего, за личные интересы и выгоды. У того же польского короля она усиленно добивалась получения для себя шляхетских прав. Говоря нынешним языком, стремилась в Европу. С личных обид начиналось и противостояние самого Хмельницкого с властями Речи Посполитой. О том, как жил Богдан до пятидесятилетнего возраста, известно очень мало. С точностью не установлены год и место рождения, даже происхождение. Были утверждения, что он вовсе не малоросс, а поляк. Кое-то говорил, что его родословная ведётся от крещёного еврея Берко. Канадский историк Пол Роберт Магочи считает, что у него по отцу белорусские корни. Но с большой долей уверенности можно утверждать, что он до седых волос был верным подданным польского короля и после многих жизненных передраг, в числе которых был двухлетний турецкий плен и работа на галерах, жил себе спокойно на своем хуторе Суботов с молодой женщиной Геленой, с которой сошёлся после смерти жены. Но его, как говорится, довели.

Сначала сосед-поляк Чаплинский напал на хутор, похитил Гелену и жестоко избил маленького сына. Обращения в суды оказались бесполезными. Хмельницкий отправился к самому королю Владиславу IV, с которым был знаком лично, потому что воевал на его стороне, когда тот претендовал на московский трон. Тогда он даже получил от Владислава золотую саблю за спасение монарха от попадания в плен в одной из боевых стычек во время польско-русской войны 1635 года, о чем писал дореволюционный исследователь П. Н. Бущинский. Потом не раз Богдан бывал у короля в составе различных казачьих deputаций, пользовался уважением при дворе. Однако на сей раз Владислав принял его холодно, высказав удивление тем, что казаки, имея сабли, не защищают своих привилегий. Богдан даже попал в тюрьму. Освободившись из неё при помощи друга — черкасского полковника Барабаша, — сразу же отправился к запорожским казакам. Будучи человеком сообразительным, он уразумел, что, если и король не в силах защитить кого-то от произвола местных князьков, значит, с таким государством нужно разговаривать по-другому и на темы, важные не только для него самого. А настроения людей на берегах Днепра ему были хорошо известны. Понимал он и то, что берётся за дело весьма рискованное, но, тем не менее, взялся за него. Казаки приняли его с энтузиазмом, избрали своим гетманом. И оставшиеся девять лет жизни Хмельницкий изо всех сил варился в самом крутом политическом кипятке.

Итог всей деятельности гетмана и его последователей, сформулированный Павлом Ясеницей, звучит весьма печально: «Богдан Хмельницкий был, несомненно, выдающимся организатором и вождём, пожалуй, и политиком тоже. Однако свадьбы и разводы поочередно с татарами (крымскими. — Я. А.), Турцией, Речью Посполитой, Москвой, Швецией и Трансильванией не могли продолжаться бесконечно... Славный гетман запорожский не смог водворить судьбу Украины ни в какую действительность: ни в федеративную польско-литовскую, ни в московскую, ни в татарскую. Его преемники шли по следам мэтра, по-прежнему стараясь продолжать игру, а в итоге делали всё, что могли, чтобы подготовить раздел Украины». Пол Роберт Магочи в своей «Истории Украины» тоже пишет, что для одних Богдан Хмельницкий — герой, для других — злодей, плут, олицетворение дьявола. Для польских историков это сугубо деструктивная фигура, разрушавшая польскую государственность. Для российских и советских — лидер, который успешно привёл православную Малую Русь к объединению с Великой Россией. В Киеве называют его одновременно человеком, который осуществил идею украинской независимости, «дремавшую несколько столетий», но осуждают за подчинение Москве, полагая, что это стало «ужасным поворотным пунктом в историческом развитии» их страны. А еврейские историки, пишет Пол Роберт Магочи, смотрят на Хмельницкого, как на подстрекателя первого геноцида евреев в истории нового времени, напоминая о массовых убийствах евреев во время тех потрясений.

Происходившее на берегах Днепра после смерти гетмана до сих пор и в народе, и у историков называется Руиной. Это было по сути своей граж-

данской войной, в которой мало кто из продолжателей политики Богдана умер своей смертью. В том числе и его сын Юрий, который побыл гетманом, моном, снова гетманом, но был задушен в Каменце-Подольском по приказу турецкого паши за жестокости и самодурство, а труп его выброшен в реку. В 1686 году договором о Вечном мире между Русским царством и Речью Посполитой казачий Гетманат был поделён по Днепру. После этого Речь Посполитая свою часть сразу же ликвидировала. На российском Левобережье он просуществовал ещё почти сто лет. И продолжало там случаться всякое. Вплоть до Мазепы, которому тоже понравилась Швеция. В 1764 году Екатерина Великая окончательно упразднила звание гетмана Войска Запорожского.

Теперь трудно обойтись без упоминания об этом и о Богдане Хмельницком ещё и потому, что на Украине вновь война, а знакомство с изощрённым маневрированием казачьего гетмана и его последователей в какой-то мере проливает свет на истоки политики, которую после распада Советского Союза проводили руководители уже независимой Украины. Им тоже очень хотелось подчеркнуть свою значимость перед многими сильными мира сего, от всех получать приплату за своё доброе расположение, жить на эту приплату, полагая, что они остаются абсолютно свободными от всех и от всего, даже от забот о развитии собственного государства. И вот результат, стреляющий как в прямом, так и в переносном смысле. В 2011 году — через двадцать лет после обретения Украиной полной независимости — журнал *Forbes* поместил её на 4-е место в рейтинге десяти худших экономик мира. После Гвинеи. Ныне ситуация ещё хуже. Дело вновь пахнет тем, что на украинских просторах, как утверждал Киплинг, правда, по иному поводу, восток и запад уже никогда не сойдутся.

Никколо Маккиавелли, которого нынче модно цитировать, напоминал политикам, что “желающий предвидеть будущее должен обратиться к прошлому, потому что все события в мире во всякое время могут быть сопоставлены с подобными же им в старину”. Ведь “действуют в них люди, как и прежде, буруемые одними и теми же страстями, что приводит к одинаковым результатам”. Такое ощущение, что писал он о нынешней Украине. Правда, российский историк В. О. Ключевский, несомненно, читавший Макиавелли, утверждал, что история учит только тому, что она ничему не учит. Кто из них прав? Ни тот, ни другой или оба? Или всё зависит от учеников? Или кто-то наловчился пользоваться тем, что история не всегда и не всех учит, потому, не исключено, даже заинтересован, дабы “неудов” было побольше? Тогда, возможно, был прав литовский президент Альгирдас Бразаускас, который двадцать лет назад в интервью автору этих строк с заметной горечью сказал, что человек — это такое существо, которое не умеет учиться на чужих ошибках, ему надо обязательно расквасить собственный нос...

г. Минск

АЛЕКСАНДР СМОЛКО

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Извечные русские вопросы: “Что делать?” и “Кто виноват?” В своё время на первый вопрос теоретически и практически ответил В. И. Ленин. В своих работах начала прошлого века он разработал теорию социалистической революции, а затем теорию проверил практикой. Получилось: большевики в России пришли к власти.

С тех пор прошло 100 лет, но извечные русские вопросы актуальности не потеряли. В своё время нас учили, что ленинское учение правильное, потому что оно верно. Если это так, то применима ли ленинская теория к ситуации в России сегодня?

Ситуацию в России начала прошлого века Ленин назвал революционной и определил её следующим образом: “верхи не могут управлять по-новому, а низы не хотят жить по-старому”. По Ленину, общество делится на тех, кто управляет, — это верхи, и тех, кем управляют, — это низы. Просто, как всё гениальное, но непонятно.

Начнём с того, что и низы, и верхи хотели бы жить лучше всегда, и было бы странно, если бы это было не так. Поэтому второе условие революционной ситуации “низы не хотят жить по-старому” может выполняться всегда, во всяком случае, для подавляющего большинства граждан.

Но тогда что такое *низы* и что такое *верхи* с точки зрения революционной ситуации, и где проходит граница между ними? Может ли такой границей быть, допустим, образовательный уровень, сословная принадлежность, имущественный ценз? Класс собственников — это верхи, а те, у которых нет ничего, — это низы?

Но, с другой стороны, и владелец золотых приисков — собственник, и владелец лошади и коровы — тоже собственник. И тогда остаётся только предположить, что к низам относится пролетариат, у которого, как нас учили, кроме цепей, нет ничего. Правда, как мы знаем теперь, труд рабочего в царской России оплачивался довольно прилично, и им, казалось бы, было, что терять. Тем не менее, Ленин оказался прав. Именно рабочие — вспомним иваново-вознесенских ткачей — оказались социальной базой революционного движения. Другой вопрос, что рабочих в России в то время было немного — около 2–3% всего населения, — для революции маловато.

Так кого же относить к *низам*, которые не хотят жить по-старому, с точки зрения революционной ситуации, по Ленину? Любое общество можно разделить на несколько групп. Члены одной группы считают, что жизнь удалась, они хотели бы ситуацию, как минимум, законсервировать, хотя и не отказались бы от новых благ. Члены второй группы, не зависимо от материального положения и социального статуса, считают, что жизнь не удалась, и вот они-то и хотят перемен. Третья группа, самая многочисленная, до поры воспри-

нимает жизнь такой, какая она есть. Им *всё равно, что воля, что неволя*, но их можно убедить в том, что *так жить нельзя*.

Образно говоря, третья группа является взрывчатым веществом, а вторая — детонатором, а вместе они образуют заряд, который взрывает ситуацию и приводит к революции. Сила взрыва, куда полетят осколки — в Париж, Лондон, Нью-Йорк или куда-то ещё, — зависит от тротилового эквивалента взрывчатого вещества и мощности детонатора.

Теперь о том, что касается другой части ленинского определения революционной ситуации: “верхи не могут управлять по-новому”.

Почему они не могут управлять, в чём причина? В системном кризисе власти. Системный кризис является результатом некомпетентности и отсутствия профессионализма управленческих структур.

И снова вопрос. Каких структур, на каком уровне управления? На уровне государства, на территориальном, на муниципальном, на отраслевом? Вопросов много, а ответ простой. Вспомним народную мудрость: “рыба гниет с головы”. Потеря качества управления на верхнем уровне с некоторым временным лагом ведёт к потере управляемости всей системы в целом. Отсюда вывод: революционная ситуация возникает по причине некомпетентного управления на самом высоком, государственном уровне, и причина эта, на мой взгляд, состоит в следующем.

Нормальные люди с амбициями и способностями стремятся к власти, борются за неё иногда не на жизнь, а на смерть для того, чтобы, обретя власть, материализовать её, получить дивиденды от обладания этой властью в форме различных жизненных благ. Существуют, конечно, и “ненормальные люди”, для которых высшим благом является власть как таковая, но это скорее исключение, подтверждающее правило.

Получив власть, нормальный человек начинает “пожинать плоды”, расслабляется, теряет форму и постепенно деградирует, если отсутствуют механизмы, заставляющие его эту форму поддерживать. Заметим, что таким механизмом был сам товарищ Сталин, который по одному ему известному алгоритму перетряхивал свои управленческие кадры.

Надо сказать, что сталинский алгоритм трудно назвать гуманным. Кому-то он стоил головы, кто-то отделялся лёгким испугом. Не думаю, что при этом Сталин жаждал крови бывших своих любимцев. Просто он понимал, что их потенциал исчерпан, эффективно работать они уже не могут и требуют замены. Как писал У. Шекспир, “чтоб добрым быть, нужна мне беспощадность”. Сталин это понимал очень хорошо.

Руководителей высокого уровня у нас принято называть управленческой элитой. Не путать с номенклатурой, о номенклатуре поговорим отдельно. Элита и номенклатура — это два разных множества. Эти множества могут пересекаться, а могут и не пересекаться. По определению итальянца Парето, представители элиты — это обладатели каких-то уникальных качеств.

Для управленческой элиты это, прежде всего, служение своему Отечеству и своему народу. Условие необходимое, но недостаточное. Но если человек не готов жертвовать своей жизнью в интересах своего народа, он не будет элитой никогда.

Одним из уникальных качеств представителей элиты является и то, что их потомки наследуют способности родителей. К примеру, клан Кеннеди — это политическая элита, Ротшильды и Рокфеллеры — элита финансовая, Форды — промышленная элита.

В России была купеческая элита, промышленная элита. Демидовы, Строгановы, Третьяковы, Елисеевы, Морозовы — список можно продолжать. Элитой были отдельные представители русской аристократии. Трубецкие, Шереметевы, Шаховские, носители других не менее известных фамилий верой и правдой служили своей стране. Имена и дела российской элиты остались в истории России и в народной памяти.

Элитой советского периода были сталинские министры, военачальники, директора крупных предприятий, известные конструкторы. При их непосредственном участии наша страна стала второй в мире супердержавой. Нынешняя власть старается не вспоминать их имена, но живы их дела.

Ракеты Королёва, самолёты Туполева, ядерное оружие Курчатова, ЭВМ БЭСМ-6 Лебедева — одна из лучших ЭВМ своего времени. Руководители промышленности Устинов, Малышев, Славский, много других славных имен. Великое время, великие люди. Куда что делось? Великое время делает людей великими, или великие люди делают своё время великим? Вопрос риторический. Объективности ради отметим, что советская элита была элитой в первом

поколении. Их потомки элитой не стали, генетика родителей, похоже, была слабовата. Что поделаешь, природа есть природа.

Фамилии представителей современной российской элиты, которые выделялись бы своими уникальными профессиональными качествами и, прежде всего, пониманием своего высшего долга в служении своей стране, сразу и не вспомнишь. Для нашей элиты смыслом жизни и мерилом успеха является место в списке Forbes. Что ж, как писал М. Горький, “рожденный ползать летать не может”.

Так сложилось, что у нас элитой называют обладателей высшей власти и людей, к этой власти приближенных. Обладания особыми, уникальными качествами от них не требуется. Зафиксируем это как одну из проблем нашего современного общества. Без элиты государство существовать не может. Это закон скорее биологический, чем исторический.

Но какая бы ни была элита, как правило, со временем она деградирует и теряет свои лучшие качества. Причины деградации понятны, более того, они естественны. Каждый руководитель, как и любой нормальный человек, теряет кондиции, постепенно снижает качество своей работы и перекладывает её на своих заместителей. То же касается и его заместителей. Заместители по определению не могут быть умнее и профессиональнее своего руководителя. Руководитель контролирует это лично. Хотя исключения, конечно, бывают. С уходом руководителя на его место приходит, как правило, заместитель и выстраивает команду под себя.

В результате нескольких таких ротаций система приходит в состояние, когда “верхи не могут управлять по-новому”. В этот момент и срабатывает детонатор, вмонтированный в низы, которые “не хотят жить по-старому”, а хотят жить лучше. К власти приходит новая управленческая элита, которая с течением времени начинает почивать на лаврах, постепенно деградирует и заменяется новой элитой.

Вывод: революции были и будут, более того, они запрограммированы самой природой человека как механизм обновления человеческого общества. Но если революция есть процесс объективный и его нельзя отменить, то это не значит, что им, как и всяким процессом, нельзя управлять, регулируя частоту возникновения революций и смягчая разрушительные последствия последних. Указав, “что делать?”, классик не сказал, к сожалению, “как делать?” Поиск ответа на этот вопрос дорого обошёлся России.

Одним из мягких способов смены управленческой элиты является ограничение сроков занятия управленческих должностей, но у нас демократичные способы смены власти не работают. Руководители страны либо уходят ногами вперёд, либо в результате заговора ближайшего окружения – что-то вроде дворцового переворота. Не могу утверждать, не историк, но на ум приходит Византия. Там были большие специалисты по замене императоров не демократическими способами. Может, по этой причине Россия называет себя наследницей Византии?

Через призму определения революционной ситуации ретроспективно рассмотрим события, которые происходили в России в 1917 и 1991 годах. О событиях 1917 года мы знаем из литературы, свидетелями их мы не были. Поэтому говорить о них можно с определённой долей условности.

О Николае Втором написано много как хорошего, так и плохого. Каждый верит в то, во что ему хочется верить. Но факты таковы. Когда возник конфликт с первой Думой, царь вынужден был распустить её, но проблем это не решило. Начались проблемы с правительством, отсюда – чехарда с назначением премьеров. Потом разгул терроризма: около 4000 чиновников высокого уровня было убито борцами за свободу и демократию. Даже между членами дома Романовых не было согласия по поводу того, что делать.

В промышленности почти половина капиталов принадлежала иностранным компаниям. Иностранцы забирали в свои руки финансовую сферу, доля иностранного капитала в ведущих коммерческих банках на начало 1917 года составляла 47%. Россия теряла политическую и экономическую независимость.

В результате в Первой мировой войне Россия участвовала не на стороне монархической Германии, а на стороне демократической Франции и Англии. Причина в том, что англо-французский капитал контролировал более масштабные экономические сферы, чем капитал немецкий. За интересы этого капитала Россия платила кровью своих солдат и своим суверенитетом.

Можно ли в этой ситуации говорить о том, что царь и его команда контролировали ситуацию в стране? Мог ли царь поменять команду? Поменять мог,

что он и делал, но не мог усилить. Скамейка запасных была короткой и ограничивалась сословными рамками. Революционная ситуация была налицо, революция не могла не произойти, и она произошла.

События 1991 года и то, что им предшествовало, моё поколение наблюдало и, в той или иной степени, принимало в них участие. Понятно, что степень информированности и умение анализировать ситуацию у наблюдателей разные, и поэтому оценки тех событий носят субъективный характер. Отсюда и разное видение тех не таких уж далёких событий. Поэтому будем опираться на факты общеизвестные и проверяемые.

Падение темпов роста экономики СССР — факт объективный. Случайно или закономерно, но оно началось с уходом сталинских министров и приходом брежневских назначенцев. Потом это назвали застоём, и нас убедили в том, что что-то надо делать. А причина, прежде всего, в потере качества государственного управления. Хотел бы отметить одну, на первый взгляд мало-значительную, деталь.

Во времена Брежнева материалы к съездам КПСС стали называться “Основные направления развития народного хозяйства”. До того они назывались “Директивы развития народного хозяйства”. За точность слов не ручаюсь, но за смысл отвечаю. Директивы — это то, что подлежит исполнению, а основные направления — это что-то, что вроде бы и неплохо было бы сделать. То же происходит в нашей экономике и сейчас.

Понятно, что такое решение могло быть принято только на самом высоком уровне. Реально это была команда не напрягаться и самому Леониду Ильичу, и его окружению, и окружению окружения, номенклатуре, если сказать одним словом. Таким носителям сталинских методов работы, как Устинов, Брежнев лично запретил появляться на работе в выходные дни.

Номенклатура и номенклатурные привилегии в СССР существовали всегда. Обладание этими привилегиями было одновременно и стимулом продемонстрировать свои способности, и показателем статуса. В сталинское время номенклатура не была многочисленной, её представители имели реальные заслуги перед страной, и народ как должное принимал существование этих привилегий. Тем более что представители номенклатуры знали, кому они обязаны номенклатурными благами, и понимали, что “усиленное питание” надо отбавывать.

Во времена Брежнева численность номенклатуры увеличилась настолько, что она стала играть роль некой политической силы. Появилась номенклатурная каста, в каком-то смысле советское дворянство с делением на сословные группы со своими привилегиями и интригами как внутри, так и между группами, с претензиями на то, что номенклатурные блага даны пожизненно. Наследовать эти привилегии формально было нельзя, но наследники номенклатурной элиты, можно сказать, автоматически становились членами касты. Вход в номенклатурную среду со стороны был практически закрыт, социальные лифты работали в основном внутри касты.

Попытки Горбачёва взять процесс падения темпов роста экономики под контроль успеха не имели по причине того, что масштаб личности Горбачёва не соответствовал масштабу проблем, которые стояли перед страной. Формирование Горбачёва как руководителя высокого ранга пришлось на период деградации партийной элиты, типичным представителем которой он и был. Финал карьеры — бывший глава супердержавы рекламирует продукцию высокой моды. “Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает”, — сказал Г. Гегель. Неужели других руководителей наш народ не заслуживал? Почему, за какие грехи?

Необходимо отметить и то, что с падением качества государственного управления появилась группа противников власти, явных и неявных, которая считала действующую власть неэффективной и в качестве новой, эффективной власти предлагала себя. Эта группа и послужила детонатором взрывчатой массы, которую убедили, что так жить нельзя. Революционная ситуация сложилась, и революция не заставила себя ждать.

А теперь о главном. Резонный вопрос: зачем доказывать то, что уже произошло, и так ли важно, почему это произошло? Исключительно для того, чтобы попытаться понять, что у нас в стране происходит сейчас. Революция 1991 года продолжается, или за 25 лет мы пришли к новой революционной ситуации, и надо ждать следующего революционного взрыва?

Результатом событий 1991 года был приход к власти новой управленческой элиты. Как и положено, революционеры первым делом отстранили от власти бывшую советскую элиту, а заодно постарались избавиться от всего хо-

рошего и плохого из советского прошлого. От хорошего избавиться получилось, от плохого — не очень. О правительстве Ельцина—Гайдара написано много, повторяться нет смысла. Важен результат. А результат работы этого правительства таков, что страна получила дефолт 1998 года и была объявлена банкротом.

То, что сделало новое правительство Примакова—Маслюкова, можно назвать чудом. Хотя никакого чуда не было. К управлению страной пришли профессионалы. Показательно, что почти все члены этого правительства имели базовое образование по профилю своей деятельности, имели учёные степени и научные звания. Десять министров из 31 члена кабинета были по образованию инженерами. Все министры имели опыт руководящей работы.

Свой профессиональный опыт они получали в советское время. Но профессионал — он потому и профессионал, что может играть по любым нотам. Экономика заработала, страна ожила. Однако власть и лица, стоящие над властью, принимают решение об отставке Примакова и его правительства.

Сейчас, когда Евгений Максимович Примаков ушёл из жизни, мы кусаем локти и проливаем крокодиловы слёзы или делаем вид, что проливаем. Это очень даже по-русски, в полном соответствии с поговоркой “что имеем — не храним, потерявши — плачем”. Все последующие правительства запомнились фразой В. С. Черномырдина, ставшей крылатой: “Хотели, как лучше, а получилось, как всегда”. Бывший председатель Госплана Н. К. Байбаков по этому поводу сказал: “Развалить такую страну — это надо постараться”. Постарались, без профессионалов, как наших, так и иностранных, не обошлось. Впрочем, ломать — не строить.

“Кому на Руси жить хорошо”, так это правительству Медведева. Критики в свой адрес от “наших иностранных партнёров” первое лицо государства получает, наверное, раз в 100 больше, чем второе... Что касается членов кабинета, то они вообще вне критики, как будто их и не существует. Да и могут ли эти министры что-то решать? Базового образования по профилю руководимой ими отрасли они не имеют, серьёзного управленческого опыта — тоже. Исключения можно считать по пальцам одной руки. Тон в правительстве задают юристы, финансисты, экономисты.

Но экономисты и финансисты, как никто другой, должны знать формулу другого классика: “деньги—товар—деньги”. И не просто товар, а товар с добавленной стоимостью. Но товар — это производство, а производство — это, прежде всего, его организаторы и руководители, а это инженеры.

Советская инженерная школа была одной из лучших в мире, что касается технических решений. Продукция наших оборонных отраслей была на мировом уровне. Экономика — вопрос другой. Проблемы конкурентоспособности продукта, рентабельности производства, прибыли наших инженеров особенно не волновали, это правда. Но такие задачи перед ними тогда и не ставили.

Советскую инженерную школу, как и школу организаторов производства, мы разрушили или почти разрушили, а новую не создали. Если обратиться к истории и вспомнить, как эта школа создавалась, становится понятным, что быстро это не сделать.

Объективности ради отметим, что законы управления универсальны и не носят отраслевой характер, хотя определённая специфика имеется. Но одно дело — знать, что делать, а другое — как делать. Узнать законы можно из книжек, а вот умение применять эти законы на практике приходит в результате последовательной практической работы на разных уровнях управления.

На Западе кадровый резерв управленческой элиты, как правило, формируется из выпускников элитных бизнес-школ, дающих подготовку по программе MBA (Master of Business Administration). В мире таких элитных школ порядка двух десятков. Приведу состав студентов одной из них по базовому образованию. Инженеры — 75%, физики, математики и представители других естественных наук — 15%, экономисты, финансисты, юристы — 10%. Не берусь утверждать, что такая структура типична для других школ, но думаю, что картину в целом она отражает правильно.

Так много говорю о кадрах вообще и инженерных в частности лишь только потому, что “кадры решают всё”, — по известному выражению И. Сталина. А задачи, которые нашим кадрам предстоит решать, по трудности сопоставимы с задачами периода индустриализации страны. Время, которое наша страна сейчас переживает, напоминает 30-е годы прошлого века: Россия в политической изоляции, у нас нет идеологических друзей, правда, идеологии у нас тоже нет, рынки финансовые и рынки передовых технологий для нас закрыты.

Мы проигрываем информационную войну, потоки лжи выливаются на Россию, любая блоха безнаказанно нас кусает. Да, мы пока имеем бизнес-партнёров, но бизнес-интересы — вещь непостоянная, строить на них стратегию, по крайней мере, недальновидно.

Если сопоставление продолжать, надо вспомнить, что в период индустриализации у нас была идеология и были многочисленные сторонники этой идеологии в разных странах, было правительство, был вождь. Ему принадлежат слова, не берусь цитировать дословно, “либо мы поднимем страну, либо нас сомнут”. Наши деды и отцы страну подняли. При наличии политической воли у нашего руководства сможем это сделать и мы.

Но оставим правительство, желающих разобратся с ним хватает. “Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет”. Правительство управляет, как умеет. Как написано в первой главе учебника по экономике, дальше прочитать не удосужились или прочитали, но чего-то не поняли. Наш главный экономист обещает, что через лет 50 мы будем жить лучше. Напоминает историю про Ходжу Насреддина и его ишака.

Так могут или не могут “верхи управлять по-новому”? Хотя о каком управлении в нынешней ситуации можно говорить? Нашей экономикой управляет цена на нефть, а этим процессом управляют совсем другие люди и в другом месте. И чтобы эту ситуацию поменять, нужно менять команду, нужно организовывать производство востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью, нужно много чего. Вдруг этого не сделаешь.

Поэтому в ближайшей перспективе мы придём к ситуации, когда верхи управлять эффективно не смогут. Означает ли это, что грядёт новая революция? Нет, не означает. Просто революция 1991 года продолжается. И, по законам жанра, за революцией должна последовать реставрация.

Исторический процесс не терпит разрывов. У нас же период 1917–1991 годов — это какая-то чёрная дыра, как будто в нашей истории этого периода и не было. Но ведь это не так. В нашей советской истории было плохое, но было и хорошее. О пропорциях можно спорить, но хорошее было. Народ об этом помнит несмотря на то, что работа по стиранию исторической памяти не прекращается. И от хорошего народ отказываться не хочет. Заимствование такого прошлого и перенос его в новые условия и есть реставрация. Прошу прощения у историков за не совсем корректное использование слова “реставрация”.

Но для того чтобы реставрация произошла, как это следует из истории, нужна личность, личность масштаба Наполеона, или Сталина, или де Голля, или Дэн Сяопина. В нашей стране в настоящее время для большинства граждан такой личностью является президент Путин. Президент Путин много сделал для укрепления российской государственности, но именно присоединение Крыма сделало его лидером нации. Народ это решение оценил и поддержал. Ген великодержавности у нашего народа неистребим.

Президент получил от народа кредит доверия и, можно сказать, чрезвычайные полномочия, как в своё время де Голль, на принятие практически любых решений. Но сказав “а” и бросив вызов мировой политической элите, хватит ли у него смелости сказать “б” и бросить вызов элите, правильнее сказать, номенклатуре российской? Перефразируя слова о постоянных интересах Англии, хочется сказать, что у президента не может быть ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, у президента есть только постоянные интересы — интересы своей страны и своего народа.

И в зависимости от того, что скажет наш национальный лидер, будет понятно, что нас ожидает. Реставрация и какой-то достаточно длительный период спокойной жизни либо новая революция с переделом собственности, борьбой за власть новой управленческой элиты и прочими революционными катаклизмами.

ВАЛЕНТИНА СИДОРЕНКО

ВОЗВРАЩЁННЫЕ ПИСЬМА

Выбранные места из переписки с крёстным сыном о Гоголе Николае Васильевиче, литературе и жизни

*Светлой памяти моего крестника
инока Почаевской Лавры Сергия (За-
белло) посвящаю*

Письмо предначертательное

Эти письма передал мне твой отец, Сережа! Они были перевязаны монастырской тесьмой с той же тщательностью, которую ты имел при жизни. Над головой твоего отца ясно светился скорбный нимб. Он сочетался с белизною его седины. Отец долго и упорно искал тебя, а нашёл твою могилу.

Странное и глубинное чувство испытала я, когда рассматривала фотографии панихиды о тебе и могилы твоей. Всё же это было состояние покоя. Ты прошёл очень сложный путь, пережил не только несчастья, но изжил грехи свои, очистился слезами и страданиями. За то Господь отвёл тебе положенный для останков клочок древней, 600-летием намоленной монастырём земли. И теперь никто и ничто не разлучит тебя с отцом, матерью, родиной и Отечеством.

Мы с отцом твоим всё же виноваты перед тобою и твоим поколением. Виноваты всей сутью и тем ремеслом, которое было нам вручено судьбиною. Знаю, что ты всех простил и нас тоже...

Молю Господа о твоём упокоении со святыми, которых ты очень любил при жизни. И ты помолился о нас.

Теперь уж мы всегда вместе.

*Твоя крёстная мать
н. р. Б. Валентина*

Письмо первое

Чадю моё бесценное, Серёжа! Да хранит тебя Господь от всех напастей неприкаянного смутного нашего времени. Слава Богу, что я так и осталась по жизни "тундра тундрою", не освоив мрачного монстра нынешних дней — компьютера. Моя техническая безграмотность доставляет мне глубокое наслаждение ждать и читать твои письма, подолгу разбирая спешный твой почерк, с неровно ныряющими буквами, словно воробьи под стрехи. Да, первое, что

уничтожил этот убийца человеческой памяти, — эпистолярное наследие — самое верное свидетельство человеческого бытия, подробное и достоверное.

Я всегда говорила тебе и продолжу утверждать, что компьютер — самый мощный инструмент текущего века в руках вечного вражины рода человеческого — дьявола — по уничтожению человека. Этот чёрный квадратик стирает всякую память на клеточном уровне, не даёт привиться трудовым навыкам и лишает человека собственной воли и желания двигаться физически. Уже сама переписка — это суррогат письма, формирует клиповое сознание, отрывистое и разорванное, как собачий лай, вырождаясь в кнопочно-стандартную речь. Я уже не говорю о почти наркотической зависимости, потере зрения и слуха и прочей мелочи. Главное, что истребляется — стволовая сущность человека, та, которую однажды вдохнул Господь в сотворённую им глиняную особь...

Прости меня, дорогой, за ворчание. Здравствуй!

Я рада твоему письму, с грустью осознавая, каких трудов оно тебе стоило. Но ты уж постарайся ради своей старой крёстной, ставь букву за буквой на белой страничке своей школьной разлинованной тетрадки. Помнишь, как мы с тобой учились писать? С какой радостью ты трудился тогда, высунув язычок! Тетрадей для тебя я припасла большую пачку и по мере надобности буду тебе высылать. Глядишь, вновь вернёшься к своим дневникам!

Видит Бог, я не хотела твоего поступления в духовную семинарию. Богу ведь везде можно послужить, и без специального образования.

Я иногда думаю, что наши неграмотные предки, в частности, твоя прабабушка, служили Господу нашему с гораздо большим усердием и любовью, чем многие из нынешних духовных лиц, прошедших сквозь семинарии и академии.

“Знания надмевают, а любовь назидает”, — по апостолу Павлу. А по знаниям и искушения... Но, видно, таковой тебе уготован путь!..

Ты написал мне в последнем письме, что взялся за реферат по Гоголю, перечитал гору книг и никак не можешь разобраться в этой неординарной, мятежной личности, и просишь от меня помощи.

Мальчик мой! Я не филолог, не книжный жук профессорского звания, и если ты повторишь мой опыт постижения Гоголя, то вряд ли твой реферат получит положительную оценку. Судя по всему, в стенах и твоей бursы ничего не изменилось со времён Паисия Величковского, который горестно утверждал, что в духовных академиях преподаётся всё, кроме Православия. А от многих знаний многия печали!

Крестник мой дорогой! За свою жизнь я пережила сложную гамму чувств по отношению к классику Николаю Васильевичу Гоголю: от почти аксаковского восторженного поклонения его творчеству до полного отрицания гоголевских творений как чего-то правдивого и нужного для Отечества. И сейчас, на склоне лет понимаю, сколь трагичны и неоднозначны и жизнь, и судьба, и творчество нашего соотечественника, столь недолго ходившего по Земле, особенно по русской!..

О Гоголе написаны библиотеки! И если всё его творчество едва заполнит обширную полку, то литература о нём не влезет в библиотечные залы. Ты не сиди в этих залах. Ничего нового из этих библиотек ты не вынесешь и Гоголя не поймёшь. Биография его в советский период усердно переписывалась друг у друга всевозможными докторами и доцентами, которые налегали на бесовщину классика и на хлестаковщину как на уродливое проявление царского режима. Очень уж тогда любили эти родимые пятна капитализма, которые, кстати, в полной мере только сейчас и проявились!

Собирай портрет Гоголя сам, по крупицам. И всё одно это будет мозаика, что-то иконописанное, а не живой образ... Потому что все, кого посылает Господь для вразумления либо попускает, испытывая нас, для обольщения, — они останутся тайною во все времена.

Кстати, о времени и временах. Мать Магдалина, монахиня, насельница Знаменского монастыря, часто говаривала мне, что Господь всякую душу будет судить во времени, в котором она грешила.

Давай и мы с тобой, подпоясавшись, ступим вослед мудрым и начнём со времени, в котором пребывала душа человека, которого до сих пор называют гением из гениев. Я попытаюсь разобраться с тобою в трагедии этой безусловно высокой личности ещё и потому, что её путь очень характерен в духовной жизни не только России, но и человека вообще как духовной Божественной ипостаси.

Это путь творческой души в соблазнах и оболыщениях своего времени и попытка возвращения блудного сына к своему Творцу.

Итак, Малороссия. Начало XIX века. Уже ушёл в предание “бунташный” семнадцатый со спесивыми притязаниями ляхов, ядовитой казуистикой жидов, размашистой удалью казацкой сечи. Ты помнишь, что всё это разрешилось спасительной волей Богдана Хмельницкого и присоединением Малороссии к России. Но гроза, разразившаяся над Русью в бунташном веке, имела более тяжкие последствия, чем набеги монголо-татар на русские земли.

Прежде всего, они коснулись Православия. После грозы участие иноземцев в русской жизни становится подавляющим. Мгновенно начинается Вавилонское пленение Русской Церкви. Западничество, высокородная шляхта (всё, что по сию пору зовётся на Украине “западэнцы”) более всего воплотились во вредоносной личности Петра Могилы. Вспомни, мы когда-то с тобой говорили о нём. Властный, деятельный архимандрит, сын молдавского господаря, потом киевский митрополит, воспитанный в классическом западно-польском духе, он не был пастырем. Он был чужеземным завоевателем. Он “преобразовал” русскую Церковь, насадив в киевской столице иезуитские школы, латино-польские коллегии. Опираясь на латино-униатские партии, он упорно склонял православных под хищную длань “просвещённого” Рима. Засилие латыни стало обыкновенным в великорусской церковной жизни. Всё опальное объявлялось народным невежеством и суеверием. Народ сопротивлялся. “От неучёных попов и казаков велие было негодование: на што латинское и польское училища заводите, чего дотуду не было, и спасались...” Иной раз и побивали незваных учителей, но всё же просвещённые западэнцы вышли из споров победителями. Пётр Могила, Мелетий Смотрицкий, Исаия Копинский пошагово подготовили почву в XVII веке для отступления из неповрежденного Православия в унию.

Не зевай, мой друг, на моих кратких экскурсах в историю. Духовная жизнь, как река, течёт строго в русле событий. И одно событие предопределяет следующее. В жизни также одна жизнь рождает другую, так и тянется по земле ветвь рода. Либо она усыхает от грехов и предательств. И в народной сути и существовании народа ничего не бывает случайного. Судьба — Суд Божий. Либо награда Его, либо расплата. Пётр Могила и его сподвижники были самыми решительными и явными западниками. Их реформы, особенно в духовном образовании, жесточайшим образом повлияли на чёткие тогда критерии Православия. Не будь Могила в Киеве, не разгулялся бы Феофан Прокопович в русской столице. Всё вместе и подготовило почву для “Богословия на сваях” (по Георгию Флоровскому) и масонства в России.

Ты должен знать и помнить, мой мальчик, из тех несложных уроков, что мы с тобою осваивали, как происходила подмена корневых святынь Православия. Хотя бы потому, что наши мутные времена очень схожи с теми, о коих мы беседуем. В одном из документов розенкрейцеров 2 степени сказано, что “каждый брат... имеет свободу соглашаться на те мнения, кои могут наиболее руководствовать его ко спасению... нет разницы между иудеями, греками, обрезанными и необрезанными, свободным и рабом, ибо Христос во всём”. Летоисчисление от Рождества Христова считалось в масонском братстве простонародной эрой. “Главное, — говорили они, — чтобы Христос был в сердце”. То есть Церковь с её тайнами, многочасовыми службами, покаянием и причастием как бы лишняя. Их постулаты о всеобщей церкви, церкви внутренней, простонародной (чуть позже Православие бытовало у “просвещённого” дворянства как религия подлого сословия — их дворни и крестьян) — всё это влияло на незрелые умы гораздо разрушительнее, чем набеги и сечи. В сём ядовитом тумане необратимо гибла сама суть животворящей веры. Святоотеческие предания отменяются как невежественные вместе с именами святых, которые бесцеремонно заменяются Цицероном, Плутархом, Эпикуром, Эпиктетом, Зеноном, апостолами “естественной религии”, с её неестественными педерастическими шалостями и нечистоплотными каверзами. Грех, искупление подменяются моралью, главными “светильниками” которой являются Сократ да Руссо — образцы человеческой добродетели, и, разумеется, Вольтер — ненавистник Церкви.

Начиная с середины XVIII века масонское движение охватывает почти весь культурный слой Петербурга, Москвы и губернских городов. И удивляться сему не приходится. Вряд ли Россия смогла бы выйти неповрежденной из той пучины предательства и презрения, в которую вверх её Пётр. Принадлежность к той или иной нации и степень родства сказывается, прежде всего, в языке. Какова же была степень предательства собственного народа, когда правящий

класс отказался от своего корневого языка, могучего дара своих предков, и заговорил на языке другого народа...

В масонстве своя метафизика, своя догматика, свои цели и свои творцы. И как их ни прикрывай мистическим туманом и клятвенными тайнами, они вполне исповедимы. Да и цели их вполне земные... Платонизм, гностицизм, натурфилософия, припудренная сентиментализмом... Медленный, неуклонный отход от Бога, искажение стройного Православного мировоззрения... Неосознанное потворство изначально, затем сознательная служба врагам Отечества и Христа...

Не пеняй на мои отступления от темы. Дело в тех уроках, которые преподает нам Господь, раскрывая суть трагедии этого удивительного писателя, в тех раздумиях, какие вызывает его судьба в его времени. Главное — что мы выносим из того явления Божьего духа и человеческой души, с которыми мы сталкиваемся в любом времени...

Я иногда задумываюсь о такой, по сути, неизлечимой болезни, как рак, тяжело и повсеместно поразившей человечество в XX–XXI веках... Что это за болезнь?! Только ли экология виновата в ней? Она поражает организм, когда клетка принимает внутрь себя чужую инородную клетку-паразита, и чужестранка, бурно паразитируя в итоге на родных клетках организма, убивая их, в итоге мучительно уничтожает всё тело человека... Не кажется ли тебе, что рак очень близок к духовным нестроениям последних веков России? Ведь здоровая клетка приняла чужеродную скиталицу. Она забыла о своём призвании и долге перед собственным организмом и, обольстившись, не призвала защитные его силы. Как символично, что именно эта болезнь, я назвала бы её болезнью Иуды, поражает все жизненные сферы земли. Конечно, враг не оставлял наше Отечество в покое ни на одно десятилетие. И ветреная Франция, водрузившая как знамя своей цивилизации над городской ратушей зловещую фигуру Бафомета, и мать всех ересей, сект и революций, чопорная Англия, с её Библейскими обществами, и Азиатское подбрюшье России — все тянули к России свои корыстные длани... И масонство, и ереси, и нашествия, и моры... Дело не в них... Дело в степени сопротивления и решимости противостоять злу самой России. Во имя Бога и заповеданного им Православия для русского народа... Ну, да для этого письма довольно слов!

Скоро день твоего Ангела, Серёжа. Помню, в этот день твоего крещения пал ранний и первый снег. Он лежал до полдня, и когда я вынесла тебя из Церкви, изумление озарило твоё славянское личико. То ли оттого, что ты впервые осознал снег, то ли от того священнодействия, свершившегося над тобою...

Что касается писем К. Леонтьева, о коих ты пишешь... Что ж, читай, коли читается. Знание не грешно, но не восхищайся так сильно. Константин Леонтьев много напутал как жизнью своей, так и философией. Но ошибался он искренно... Искал свой путь в полутьме, пока Господь не подвёл его буквально за руки к старцу Амвросию! За искренность и послушание Оптинскому старцу Леонтьев и удостоился возлечь у ног его... Читай, но помни, что полнота истины всё же у старца Амвросия. А вся философия зачастую — работа над ошибками. Недаром Павел Флоренский назвал философию блудной дочерью религии.

Всё, мой друг! Да сподобит тебя Господь Святому Причастию в день твоего Ангела, дабы ты провёл этот день в чистой и несуетливой радости.

*Твоя любящая крёстная мать
(или Кока, как звал ты меня в детстве)
н. раба Божия Валентина*

Письмо второе

Здравствуй, Серёжа! Сергей Васильевич, чадо моё!

Рада читать твои драгоценные строчки. Спасибо, что потрудился ответить своим дочерком, а не печатал письмо компьютером (какое ужасное слово — глухое, тёмное, как болотная топь). Спасибо за образок святого Серафима Дивеевского, светильника России!

Сергей, ты нетерпеливо укоряешь меня в том, что мы не подошли в предыдущем письме к разбору личности Гоголя.

Николай Васильевич Гоголь родился в начале XIX века, в 1809 году, в местечке Большие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии, в доме надворного советника Трохимовского. (Трохимовский служил в уезде зем-

ским врачом. Родился мальчик в марте дня 20-го, месяце, о котором святой Стефан Пермский сказал: "...март месяц — начало всем месяцам, иже первым наречется в месяцах, ему свидетельствует Моисей-законодавец, глаголя: месяц же вам первый в месяцах да будет март... Марта бо месяцы начало бытна — вся тварь Богом сотворена бысть от небытия в бытие".

Не верь астрологам — врут всё мошенники! Потому вокруг них и крутятся столько прохвостов. Но всё-таки что-то отражается в самом характере человека, если не в судьбе его (судьба человека всё же определяется его собственным выбором перед волей Божией и земными искушениями). Сам он до слёз любил весну, начало всякого возрождения в природе. Стало быть, его преследовала жажда жизни и упоение ею... Это упоение особенно выразительно в его раннем творчестве. Цветущая жизнь Ганночек и Панночек, кузнецов и дьячков, с грозными раскатами Запорожской сечи, шинкарок и чертей, окрашенная панёвами и черевичками, яичницей с салом, мёдом и ясным месяцем над Днепром, гопцующими дивками и гуляющими парубками, чумаками с солью и рыбою... Горшки, закутанные в сено (какая выразительная деталь!) — все эти хуторяне и сельщина солнечно-бьющими ключами вскипела перед душевным взором читателя, запечатлевшись в памяти его рода до скончания веков...

Я иногда думаю, Серёжа, как опасно для души иметь такой громадный и рано проявившийся дар, как у Н. Гоголя. Когда ещё не выстоялась, не созрела душа, не очистилось мировоззрение, не проступили в сознании чёткий путь народа и определённый для служения ему Господом собственный путь. Вот эту раннюю активность его таланта при незрелой ещё душе, словно зерно, упавшее в тернистую чащу и давшее нездоровые всходы, я считаю основной внутренней трагедией Гоголя как личности, так и писателя.

Ну, да вернёмся к истокам этого удивительного поэта, с такой гениальностью на века запечатлевшего сочное бытие остатков древней Руси, там, в солнечной окраине России.

Земля, на которой родился Н. Гоголь, переходила из рук в руки бессчётно. Русский царь вёл, её ради, переговоры с крымским ханом, запорожец рубился с турчином. Мешалась речь, вера и верования. Предки Гоголя то переходили на сторону ляхов, то кланялись москалям.

Дед Гоголя, Афанасий Демьянович Гоголь-Яновский, любил панство и налегал на наличие польской крови в своём роду. Старое шляхтетство Украины с его высокородной песьёю смели порядки Богдана Хмельницкого, но отголоски шляхты всё ещё слышались на пограничье Руси. Как ни крути, а предки Гоголя получали за боевые заслуги в походах на Русь поместья от польских королей. Так был заслужен Ольховец у короля Яна Казимира. В сём поместье и зачинается род Гоголей-Яновских.

В середине XVIII века эта родовитая ветвь скрещивается с родом знатных Лизогубов-Танских, перешедших на русскую службу. В этом роду выделяется Василий Танский, волох по происхождению, гребущий от гетмана Скоропадского земли и чины. Предки этой линии знавали и взлёты, и падения, и награждались, и сылались в Сибирь, воевали с Мазепой и голодали в Петропавловской крепости. Именно из живых преданий этого рода и возник могучий Тарас Бульба. Лизогубы же были нежны, романтичны и влюбчивы. Тяготели к домашнему очагу, семейному теплу и уюту. Один из их потомков, Павел Полуботок, растил любимую дочь Татьяну и нанял ей хорошего учителя для образования. Учитель был небогат, но джже просвещён, говорил на пяти языках, знал поэзию и музыку. Ученица влюбилась в него без памяти. Любимая дочь собрала фамильные драгоценности и сбежала однажды ночью. Как и полагается в полнокровной драме, в лесу на них напали разбойники, ограбили, и разом обнищавшие влюблённые вернулись с повинной в родовое гнездо... Впоследствии романтичные влюблённые и послужили прообразами "Старосветских помещиков".

Не менее интересна история родителей будущего писателя. Василий, подомашнему Васюта, послушный и незлобивый подросток, однажды заявил, что видел во сне Божью Матерь, которая указала ему на младенца-девочку, сказав, что это его суженая. Сон приснился ему по дороге на богомолье, на постоялом дворе. На обратном пути семья заехала к соседям Косяровским, и соседям вынесли младшую дочь хозяев, годовалую Машеньку. Взглянув на неё, Васюта воскликнул: "Это она!" Соседи посмеялись над причудой тихони и забыли о ней.

Но взрослеющий парубок и слышать ничего не хотел о невестах. Маша росла у него на глазах в соседской усадьбе, куда он ездил почти ежедневно,

проводя с нею всё своё время. Едва девочке минуло 13 лет, он заговорил о женитьбе. Ему отказали по малолетству невесты, и он едва не наложил на себя руки. Его привязанность к девочке очень сильно напоминает одержимость? Наверное, но таковы века до цивилизации, которая сильно обеднила человеческую душу, умертвив в ней самые чёткие её истоки...

Николенька унаследовал пылкость отца и ветреную мечтательность матери... Он был третьим ребёнком в семье. До него дети умирали сразу после рождения. Увы, такова участь большинства младенцев, выношенных физически недозрелыми матерями.

(Наша Государственная, впрочем, её в народе называют антигосударственной, Дума, сократив детский возраст до принятия паспорта, подорвала ещё и генетическое здоровье народа.)

До девяти лет обожаемое чадушко росло в малороссийской глубинке на хуторе Купчинский, куда перевезли его сразу после рождения в имение отца. Детство Николеньки было золотым, утопало в живой, несказанной речи бабушек и нянюшек, крепких, быстроногих крестьянок, среди их младенчески-нежных песен, пьянящего аромата цветущих садов, соловьёв и воловьих зыков, а главное, неповреждённых преданий старины, которыми дышал сам быт и разговорная речь глубинной Хохландии... Здесь, в низкой глиняной хате и глубоком летнике-погребке, посреди горшков и кувшинов с солёными грибами, наливками, мочёными яблоками и толстыми шматками сала, посреди всей этой вкуснотени, которую так любила уплетать, почти на глазах у хозяев, ленивая и прожорливая дворня, любознательный панёнок и наслушался нескончаемых историй о славных походах запорожцев, о чертях и оборотнях, русалках и ведьмах, о полётах на метле и проделках чернооких молодцов с хлопцами, о развешиваемых гробах и страстной запретной любви...

Всё впитывал в себя, как губка, внимательный и памятный паныч. Вскоре пригодилась ему каждая деталь неповторимой хохлацкой жизни.

Родители Гоголя были мелкими помещиками, имели около 200 душ крепостных крестьян, которые и кормились на тысяче десятин земли. Так что мальчик был любим, ухожен и ни в чём не нуждался. В доме Гоголей бывало много гостей, наезжали и литераторы. Отец Гоголя, Василий Афанасьевич, сам был интересным рассказчиком, сочинял стихи и комедии, приправляя их врождённым комизмом. Зачастую он придумывал сам и ставил забавные сценки в домашних спектаклях знаменитого и очень богатого своего соседа Трошинского, от которого зависело материально всё семейство Гоголей. Родственником по материнской линии являлся дому В. В. Капнист, к нему иногда заезжал Г. Р. Державин, который дружил с Капнистом в молодости. Оба уже престарелых поэта очень повлияли на развитие маленького Никоши, склоняя его душу к пути литературы. К тому способствовал и домашний быт Гоголей, их тяга к светскому просвещению, поэзии и музыке, но более всего эту тягу к литературе усилило и стало первой школой маленького Никоши соседство Гоголей с богатым и знатным помещиком Трошинским.

О, это была знаковая фигура того времени! Я хочу, Серёжа, чтобы ты хотя бы вкратце, на один коготок погрузился в ту среду, в которой и возрос этот высокий и, вне сомнения, Божий Дар.

Трошинский Димитрий Прокопьевич, богатый вельможа, имел абсолютное влияние на семейство Гоголей. Сам он происходил из среднякового малороссийского казачества, природным гением дослужился до ступени министра юстиции, был почитаем царями и гетманами, приобрёл громадные угодья, тысячи крепостных, царствовал на окраине России припеваючи и в своё милостивое удовольствие. Жил старик Трошинский, согласно заведённому обычаю того времени для богатых и знатных людей, широко, открыто. Вся губерния съезжалась к нему на поклоны. Балы и обеды давались почти ежедневно. Заезжие иной раз годами пользовались гостеприимством хозяина. Помещик держал свои оркестры и домашние театры. Ставились всё больше комедии, которые разыгрывали и благородные господа, а не только крепостные актёры. За обеденным столом загадывали шарады, а после обеда их разыгрывали. Трошинский держал при себе множество шутов. Чем тупей и безобразнее был шут, тем чаще он появлялся перед публикой. Особенно часто любило развесёлое дворянство потешаться над заштатным священником отцом Варфоломеем. Он становился главной мишенью просвещённой публики для насмешек и издевательств. Бывали и побои со стороны угодливой толпы. Духовенство тех времён находилось в полной зависимости от помещиков. Играли с попом, как с кошкой, привязав денежную ассигнацию, дразнили его, несчастного. Поп был стар, жалования не имел. Вот и попадал в жалкое

положение. Чтобы угодить барству, юродствовал, что принималось за умопомешательство.

Поглумившись вволю над безумным (что само по себе является большим грехом), разыгрывали из Бетховена и Моцарта, и прочих западных музыкантов. На издёвки смешливый вельможа был неистощим и держал потому подле себя Василия Афанасьевича Гоголя, отца писателя, почти безвыездно. Ведь тот тоже был большим шутником, пописывал стихи и пьески шутейные. Отсюда и страсть Гоголя к уродливым сторонам жизни, воплотившаяся позднее в его творчестве с удесятёрённою силою...

Прости за отступление, Серёжа, я часто слышу из твоих уст хлёсткие семинаристские анекдоты, желание больше посмеяться, чем поплакать. Я наблюдала, как ты выбираешь в магазине больше диски комедий и откладываешь в сторону трагедии, Пушкина, Распутина, Белова...

Понимаю, ты уже не подросток и пережил фильмы о войне и книги, которые мы с тобой читали когда-то вслух. Знаю, что в зрелости ты вернёшься к ним и восхитишься заново, но прошу тебя, прочитай повнимательнее сие отступление.

Вспомни, Серёжа, хоть одно место из Священного Писания, или Евангелия, или святоотеческого предания, где бы святость унижала, глумясь! Найди там хоть тень издёвки или смеха, даже безобидной шутки. Всё строго, стройно, серьёзно. Жизнь человеческая — бесценный Дар Божий, можно ли его искажать цинизмом? А любая насмешка есть надругательство, и пресловутое чувство юмора — не что иное, как тонкий яд цинизма, холодная омерзительность души.

Да и в народе нашем, как и в Писании, разве поощрялось пустобайство? Если старцы говорили: “Не смейся до обнажения зубов”, — то в народе: “Чего зубы скалишь?” Старцы вещали, что демон за левым плечом гогочет, а Ангел за правым плачет, а народ откликался: “Делу время — потехе час” или “Смех без причины — признак дурачины!”

Никогда не понимала времяпрепровождения в полных залах собирающихся посмеяться, открывать в гоготе здоровые, сытые глотки над теми явлениями жизни, над которыми впору заплакать. В народе этих “шутников” кликали пустобрёхами и никогда не поддавались их умелому и холодному расчёту, которым они управляют целыми залами.

Увы, маленький Никоса вкусил шутовства с младенчества. Он вырастал в библиотеке Трошинского, на западной “благородной” музыке, впитывая в себя вместе с простонародной речью своих крепостных, вместе с естественным для юности озорством и гульбою тонкий яд издёвки и развивая наследную склонность запечатлеть уродство...

Всё на сегодня, дорогой мой крестник. У нас совсем зима, снег сугробами... Скоро Рождественский пост. Помоги, Господи, провести его с благоговейною пользой духовной и телесной.

Возьми в библиотеке раннюю прозу Гоголя. Какая роскошь языка и, неповреждённая ещё любовь к своему народу!

*Твоя любящая крёстная
н/д р. Б. Валентина*

Письмо третье

Благослови тебя Господь, мой мальчик!

Рада, что ты в добром здравии, твою молитвенную заботу духовную ощущаю, стоя на молитве. Дай Бог тебе как можно долее сохранить эту Божию ясность души, чтобы не заволокла её земная суета и ядовитые пары лукавого лжемудрствования не отравили истоки твоей души.

Ты пишешь, что с упоением читал всю ночь “Вечера на хуторе близ Диканьки” и “Сорочинскую ярмарку”, и “Миргород”... Завидую тебе. Твоему открытию и чувству восторга, сопровождающему сие открытие. Русская литература, когда она питается ключами народной культуры, становится, по определению Томаса Манна, святой литературой.

Ты пишешь, Серёжа, что мы с тобой остановились на пороге юности Гоголя, в том сложном периоде человеческой жизни, когда детство закончилось и зримо переходит в отрочество. Нет, мой отрочатко! Детство человека заканчивается гораздо раньше. У Гоголя оно закончилось ещё до исповедальных лет, когда однажды ночью, оставшись один в доме, среди нестерпимой тишины, в полутьме он слышал мяуканье кошки. Всю свою жизнь вспоминал он,

как она шла к нему, потягиваясь, видимо, поласкаться, и как он, напугавшись её, схватил бедное животное, понёс его сквозь парк, преодолевая природный страх темноты, и утопил в пруду. Топил долго, сознательно отгоняя палкой от берега. Что сопутствовало этому поступку? Первое чувство одержимости, когда впервые в незрелую душу входит уже зрелый демон (он ведь совершил убийство!). Рассказы дворовых и бабушек об оборотнях, нечистой силе и прочих ужасах, которые так жадно любят слушать дети, или покойный родственник, честолюбец, волох взыграл в генах?!

Во всяком случае, мальчик не вышел из комнаты, не приласкал животное, не выбросил его через окно в парк. Ему не понравилась кошка, он напугался и убил. Он выпал навечно из райского состояния, из безгреховности Авеля в демонизм Каина. Он проявил силу и власть, утвердил свой страх убийством.

Прости меня, мой мальчик, напоминание о нашей с тобой лягушке, как ты рыдал у меня в коленях, рассказывая, как убил её, отрывая поочерёдно лапки, а потом голову! И когда я повела тебя к первой исповеди, я попросила тебя исповедать этот грех! После исповеди ты целый день спал, чего не случилось с тобой после греха даже ночью...

Гоголя не исповедали, но отец выпорол мальчика, после чего, по его же признанию, ему стало намного легче.

К вопросу о нашей ювенальной юстиции, запрещающей телесные наказания, которые в России практиковались от начала веков во всех слоях населения, включая аристократию и царские семьи. Конечно же, законы этой юстиции чрезвычайно губительно влияют и на неокрепшую душу, укореняя в ней чувство безнаказанности и вседозволенности. И, как следствие, подталкивая её к ещё более тяжким преступлениям. Я уже не говорю о народе, который претерпит многие муки, выращая такое нервное слабовольно-самолюбивое поколение, не способное ни продолжить тернистого пути нации, ни защитить Отечество.

Злосчастная кошка преследовала Гоголя всю жизнь. Он писал о ней в письмах, исповедовал свою неосознанную ещё жестокость друзьям, и в творчестве его там, где пропадает кошка, там начинаются несчастья и вымирание...

Но всё же, крестник мой, я иногда думаю, как опасен человек для окружающей его среды. Какие мы цари? Мы палачи природы! Подумай, какой ад мы устроили на земле и животному миру, особенно той его части, которая доверчиво поддавалась приручению человеком...

И всё же ты прав: Гоголь подросток по закону естества. Отпрыску пора было давать образование, чтобы не оставить его без будущего. В гимназию высших наук князя Безбородко Никоша был привезён родными. Как сообщает свидетель появления будущего писателя в гимназии, он был не только закутан в различные шубы, свитки и одеяла, но просто-напросто закупорен в тряпки. После долгого разворачивания товарищи увидели, наконец, крайне тщедушного, очень некрасивого, красного от золотухи мальчика, из ушей которого каплями вытекала неприятная жидкость. Вид у него был самый болезненный. По результатам приёмных экзаменов он был причислен к середнячкам. Он воспитывался в гимназии по ходатайству Трощинского и его иждивением.

Давай ещё раз вспомним, в какое время вступал на своё поприще золотушный, замученный родительской заботой девятилетний мальчик, тот, о котором в делах Полтавского училища замечено, что он туп, слаб, в поведении скромнен.

Ты много пишешь мне, Серёжа, о просвещении того времени, спасительной миссии для России Новиковского кружка... Я ничуть не удивляюсь этому.

Со времён Петра до Гоголя и после Гоголя, весь XIX век, и XX, и, наконец, XXI интеллигентщина, по словам В. Розанова, всё снимает русский сапог, меняя его на европейскую туфлю. "Русские, — писал он, — имеют свойство отдаваться беззаветно чужим влияниям. Именно как невеста и жена — мужу".

Ты сейчас, Серёжа, находишься именно в таком возрасте влияний и упоения жизнью, "открытиями", "озарениями", в бессонные ночи отдавая душу то русским мыслителям — Новикову, Чаадаеву, Герцену, — то Боклю, Спенсеру, перелопатил и "Заратустру", и прочее, и спрашиваешь меня, так ли плох сей просветительский луч, вонзившийся в "немытую" Россию?

Повторим же пройденное, мальчик мой!

Прежде всего, о немытости России, сказанное с иудовым злорадством отщепенца и приписанное Лермонтову. Россия времён просветителей (твое Отечество, между прочим) — уже громадная страна, освоенная земля, одухо-

творённая таким могучим языком, которые может иметь только великий народ. На чём зиждились его незыблемые устои, и так ли он был нищ и бессмыслен?!

Имея великую созидательную миссию освоения планеты (ни больше, ни меньше), приходя на неосвоенные земли, он прежде других забот ставил храм и благословлялся на дальнейшие труды. День православного на русской земле начинался с молитвы, чтения Псалтыря, ставшего на языке твоих предков бессмертным, Часослова и Четьи-Минеи на каждый день. Уже было создано слово митрополита Иллариона, повести “О купце, купившем мёртвое тело у жидовина и ставшего царём”, “О горе-злосчасти”, “О Савве Грудцыне”, “О Ульяне Осоргиной”... Их только в сборнике “Литература Древней Руси”, вышедшем под редакцией Д. С. Лихачёва, отобрано несколько десятков. А сколько ещё осталось в залежах древних хранилищ! Сколько уничтожено немцами времён Ломоносова и “учёными” последних призывов с большевистскими воззрениями и фамилиями! А сколько таких повестей жило в самом народе, озвучивалось каликами переходными, песельницами вроде Северной Махони!.. Несчётно, неисчислимо!..

Северная звезда, “неграмотная” Махонюшка, Марья Дмитриевна Кривополенова, певшая царю Николаю II, знала наизусть более трёх тысяч песен!

А житийный свод Димитрия Ростовского, собранный в XVIII веке! А “Просветитель” Иосифа Волоцкого, написанный по следам борьбы с ересью живодствующих, а мощная ветвь старообрядчества, сохранившая в здоровых своих глубинах высочайшую культуру исконного русского быта и сокровенный код нашего народа!

Не верь завистникам, Серёжа, русские никогда не были тёмным народом, даже неграмотными не были. И когда крестоносцы, пытавшиеся завоевать русский Север, расписывались по неграмотности латинским крестом, русские князья знали языки, наизусть читали псалмы, распевали песнопения литургий... Русский костюм — образец высочайшей глубинной культуры, впитавший в себя и символику узорочья, прочность вековую, и пластику тканей, красоту в сочетании с практичностью, яркость в сочетании с целомудрием...

Позже Россия завоевала Сибирские и Астраханские Царства, укротила Польшу и Ливонию, освоила Арктику, и Беломорье содеяла русским. Мы к XVII веку освоили металл, выплавляли серебро и золото, построили города, и везде, где звучала русская речь, вослед ей гудели колокола монастырей и церквей, выплавленные русскими мастерами. Наши пашни имели метровые гумусы, а житницы наполнились отборным зерном, живущим по три и более веков...

Чем можно было просветить такой народ?! Давай посмотрим, Серёжа, какая литература хлынула из недр масонских лож в нашу “дремучую темноту”.

В 1807 году основалось Вольное Общество любителей наук, словесности и художеств. В том же году была восстановлена Российская Академия, рассадник волюнтерности и презрения к подлому своему народу и низкому его званию. Покровительство оказывалось литературе, особенно переводной и заграничной...

Что же тогда почитывало просвещённое общество, нашедшее приличие во французском языке? Масона Лебедева, Адама Смита (перевод Политковского). Были изданы книги: “Завещание” аббата Жана Мелье, любимца Вольтера, предавшего свою веру; “Кодекс природы, или Истинный дух законов” Морелли; Стюарта Беккария, конечно же Монтескье. Ну, и Кант, “Метафизика нравов”.

Далеко не полный список этих трудов, хлынувших через масонские ложи для просвещения твоего Отечества. Конечно же, Серёжа, чужую культуру тоже надо знать, чтобы помнить, с кем имеешь дело, и дружить с народами. Всё верно! Только вот все эти Сатиры и Вакхи, Фебы и шаловливые мальчики с феями, венценосные Аполлоны и распутные Зевсы очень умело и тонко вводились в сознание юношества, ненавязчиво вытесняя из него образ Христа, приучая его к демонологии не так, как учит русская народная мифология, чётко разделяя крестную и некрестную силу как добро и зло. Ум читателя изощряется метафизически, теряет простоту и ясность. Понятие греха и неотвратимость наказания заменяется морализаторством Руссо, доходя, наконец, до “Раздавить гадину!” Вольтера.

Ты пишешь, Серёжа, что большинство тогдашних лож представляли собой клубы по интересам, где встречались с нужными людьми, пили-ели, завязывали связи и прочее, не занимаясь политикой. Да, были и таковые. И мистическая мечтательность Жуковского, неопределённая туманность Дельвига,

наслаждение и упоённость жизнью Ф. Глинки, байронизм Пушкина, либеральный романтизм Языкова — какое всё это отношение имело к чёрным заговорам России?!

Да и Раевский, и Муравьёвы, и Бестужев, и Рылеев, Пестель, Басаргин, Якушкин, Кюхельбекер и Одоевский, Трубецкой, и несть им числа — все они были масонами низких степеней. Можно сказать, профанами невинной деятельности. Писали стихи и музыку, рисовали. Пили, ели, веселились и по секретной указке высших лож пошли против законов своей религии и Отечества. Клялись свергнуть Престол, вплоть до физического уничтожения всей царской династии, и безоговорочно вышли 25 декабря 1825 года на Сенатскую площадь. Все они до единого стали проводниками философии Запада, который к XVIII веку давно отпал от Бога и при всём своём рутинёрстве тогда уже обнаружил свой истинный хищный, волчий оскал...

Сейчас он смердит, отравляя своими ядовитыми продуктами полного разложения всю планету и подвергая её опасности очередного уничтожения. Чего стоят одни только законы западных “ведущих” стран, которые они всерьёз пока обсуждают, о возможности полового контакта с детьми доречевого возраста! В одной из газет несчастная мать назвала их зверьми... Нет, они далеко не звери. В зверье самый сильный инстинкт — продолжения рода. Они содомиты и сатанисты.

Видю, как ты с ироничной улыбкой (очень уж ты полюбил в последнее время эту пакостную в общем-то улыбочку, насмотрелся Задорнова!), отложив письмо, изрёк: “А Гоголь тут при чём?!”

Увы, при всём! Об этом мало или почти ничего не написано в той библиотеке о Гоголе. Но Нежинская гимназия высших наук, куда привезли тщедушного мальчика Николу Яновского (Гоголя), попечения ради его богатого родственника Трощинского, являлась как бы малой воронкой для поглощения подростковых душ. Директор гимназии Шапалинский являлся и организатором “просвещенного братства” в своём заведении. В масонскую ложу гимназии входили почти все её учителя-учредители: Шапалинский, Зингер, Орлай, Белорусов. Подрастающий Гоголь находился в самом тесном общении со своими наставниками... Что впоследствии в полной мере отразилось в его творчестве, особо пропитанном позднее романтическим мистицизмом.

Именно поэтому на уроках Закона Божия гимназисты играли в “бабу”, обменивались ножичками, громко смеялись и совершенно не слушали провинциального попа в ответшальной ряске. Первый урок пренебрежения к духовенству Гоголь получил в доме Трощинского, став вольным свидетелем глумления над нищим, опустившимся попом. Идеи гуманизма и прогресса туманили петушиные головы тогдашних лицеистов. В таком состоянии был сотворён его первый литературный опыт — поэма в стихах “Ганц Кюхельгартен”.

“Почему поэма посвящена Германии?” — спросишь ты. Потому что Германия — родина романтизма. Потому что после войны с Францией Россия глянула на истинные лики “мусье”. Увидела конюшни, которые устроили кумиры света в русских храмах. Тогда россияне поохладели к франкам.

На сегодня всё о Гоголе!

У нас гудит Масленица. От блинов трещат пупы. Мы с твоей мамой ходили в храм, и я в очередной раз увидела её испуганное в молитве о тебе, кроткое лицо, и в очередной раз явственно ощутила, как материнская молитва хранит тебя везде и всегда. Не ленись писать матери. Никоша Гоголь много писал своей “дражайшей маменьке”, искренно поверяя ей многие сердечные тайны.

Скоро Великий Пост. Да благословит тебя Господь, Серёжа, крестник мой.

*Любящая тебя “Кока”,
н. р. Б. Валентина*

Письмо четвёртое

С постом и молитвою тебя, дорогой мой крестник! Как быстро начала работать почта, и ты ответил мне сразу по получении моего письма! Сегодня последний день канона Андрея Критского. Отошли в вечность, из вечности изыдя, великие его глаголы. Ты чувствуешь, как поднялась душа твоя! Да, тихая радость Великого Поста несказанна, как никакое другое время года.

Гоголь не любил Поста. “Пришёл Пост, — пишет он в письме своему приятелю по гимназии Г. И. Высоцкому, — а с ним убийственная тоска...”

Он любил театр, смех, сатиру. Он любил подмечать недостатки, уродства жизни. Пьески, музыка (западная), шарады, живые картинки развлекали его. Инспектор Белорусов поставил в обязанность каждый раз играть, прежде всего, французскую или немецкую пьесы. Играли “Эдипа в Афинах”, “Базили соч. Флориана”. Из русских “Недоросль” и “Маслена” Фон-Визина. Разыгрывались увертюры Моцарта, Вебера. Сами писали музыку...

Не узнаёшь ли, мой друг, и своё лицейское образование! Всё повторяется один в один. Может, подобное образование и подтолкнуло тебя к сочинительству. По праву крёстной матери я хочу предостеречь тебя от двух ранних поступков: необдуманного принятия монашеского сана и упоения литературным трудом. И не потому, что эти пути плохи. А потому, что слишком много соблазнов и бесов сопровождают душу, ступившую на эти пути... Особенно литературного... Если монашеский путь при всех его испытаниях предполагает постоянную близость Церкви, молитву братскую о душе, примеры и Писания, которые могут поправить любой иску́с и заблуждение, то путь литературы — путь одиночки! Вспомни Лермонтова: “Выхожу один я на дорогу...”. Конечно же, шедевр! И предчувствие судьбы. Но ведь им же написан и “Демон”... Перечитай авторскую “Исповедь” Гоголя. Вне сомнения, когда он писал её в назидание литературным потомкам, он слышал голоса Воли Божией и судьбы... Но исполнена ли была Воля Божия в его творениях? Божия ли Воля дышит в издѣвке “Мёртвых душ”, “Портрете”, “Носе”, “Шинели”?

Каждое слово, которое ложится на чистую бумагу, расширяет душу писателя, но всегда ли в неё входят Божии Глаголы?! Чаше вражие! Зло выразительно и заманчиво! Тут как у Гиппократы: “Не навреди!” И если врач может, ошибившись, отнять здоровье пациента, одно тело, на короткий период человеческой жизни, то слово писателя ложится на века, и бывает, что отнимает духовное здоровье нации. Гнойный “серебряный” век — тому печальный образец. Мы с тобой обсуждали сию тему по прочтении книги Ст. Куняева о поэзии этого времени.

Твоя крёстная, Серёжа, не очень жалует дворянскую литературу. Только избранно, выборочно. Потому что эта литература не связана с глубинной сутью своего народа. Дьявольская произошла казуистика с нашим духовным и историческим путём. Дворянство — ветвь, отделившаяся от крестьянства. Именно крестьянской закваской, его верой, устоями и навыками к труду многие их предки получили за заслуги перед Отечеством дворянские титулы. Но как быстро они забыли о своём народе, на шее у которого они кормились припеваючи потом целые веки... Они разом, получив титулы, застеснялись его речи, костюма и имени, назвав религию его религией подлых...

Я всё-таки предпочитаю литературу “деревенщиков”, как ни странно, выросших при государственном атеизме, но всей пуповиной связанных с глубинным крестьянством, а стало быть, и с Богом... Но ликоносные образы крестьян, с такой любовью выписанные Шолоховым, Беловым, Абрамовым, не преподавались по сию пору и не преподаются в школах, зато “Мёртвые души” с Селифанами, ковыряющимися в носу, Чичиковым и Собакевичем — это уж будь добр, прочитай и выучи! Они подаются в дремучее историческое сознание школяров как образ России.

Пока же строчи свои стихи и поэмы. Такой у тебя возраст. Но через многие годы, может, ты перечтёшь эти строки и подумаешь: стоит ли браться за перо и посвящать ему жизнь!

А пока неумолимая русская тройка вывозит со двора гимназии высших наук г. Нежина бывшего её воспитанника Николая Васильевича Гоголя-Яновского. Мало кто узнает в нём то золотушное тщедушие, спрятавшееся в тёплых обмотках одежды! Он окреп за эти годы, подрос. Стал щеголять причёской и одеждой. Вполне напился идеями прогресса и равенства, научился разыгрывать пьески на немецком, французском языках, и сыграл их так много на подмостках сего заведения, что, пожалуй, уже начал превращать собственную жизнь в бесконечную и занимательную игру. И если он ещё не отрицал христианские ценности, то вполне к ним охладел. Неучёные батюшки неспособны были понять высоких идей просвещения. А борьба с духовенством, равно как и презрение к простонародию, лежали в основе учения всякого “братства”.

Но не будем забегать вперёд, Серёжа, крестник мой. Пока же Гоголь трепетно трогает тонкими, ненагруженными пальцами саквояж, где покоится главная надежда его юношеской жизни — трагедия в стихах “Ганц Кюхельгартен”, — о ней мы уже упоминали, и образ кумира, поэта Александра Пушкина, с мечтою о встрече, сладостно питает его сердце... Вот с таким духовным

багажом та же тройка понесла его чуть позже в Петербург из родного дома, где уже не было отца, скоропостижно скончавшегося, и меньшого брата Ивана, где он оставил свою мать, прочившую ему великое будущее, и некрасивых сестёр.

В Петербург он поскакал за славою...

На сегодня всё, сыне моё духовное! Помоги тебе Господь в полной мере вкушать светлую радость Поста!

Оставляю тебе домашнее задание: найди (сейчас это несложно по твоим интернетам) работы Машинского С. М. "Гоголь и дело о "вольнодумстве". М., 1959 и Павлинова С. А. "Тайнопись Гоголя". М., 1996 г. Может, иронии в твоих устах поубавится по прочтении хотя бы сих трудов!

После канона, как всегда, потеплело. Солнышко лучится и катается по небу, как сыр в масле... Но ты не сильно-то доверяйся этому ненадёжному ещё теплу, слушай мать свою и носи свитер, который она связала для тебя с глубокой молитвенной любовью.

*Строгая твоя крёстная
н. р. Б. Валентина*

Письмо пятое

Здравствуй, дорогое мое чадушко!

Помоги тебе, Господи, Серёженька, во всех искушениях и соблазнах Велого поста.

Уже идёт Крестопоклонная... Серёдочка Поста, строгая, как и страстная... Ручьи текут по дорогам. Кое-где уже вытаяло до земли. Светло по-мартовски, слепяще...

Ты пишешь, что ты не в духе всю неделю с того, что, вернувшись с концерта симфонической музыки, где исполняли Моцарта, ты поссорился из-за пустяка с товарищем по комнате, который показался тебе тупым, а до того был добрым и отзывчивым другом. Он, видишь ли, никак не отреагировал на твои восторги о "Реквиеме" гения Моцарта... Тебя до того потрясло это произведение, что захотелось умереть под эту музыку...

Серёжа, меня очень встревожило состояние твоей души. Вкратце поговорим о сём...

"Моцарт — гений!" — восклицаешь ты в пафосном восторге. Наверное! И Пушкин — гений, и Гоголь, и долгий, долгий ряд гениев искусства, науки, литературы!

Но спасает ли этот ряд душу от гибели? Молитва, которую читал твой однокашник, пока ты в постовое время сидел на концерте (пусть и слушая гениальный "Реквием"), спасает. Ужин, который он тайно принёс для тебя, прикупив к нему два своих яблока, — спасает. Нищая старуха, которую вы перевели через дорогу, тайно опустив ей в карман пятисотку своей стипендии, — спасает. А вот Моцарт, будь он трижды гений, — вряд ли!

Да, "Реквием" — красивая, высокая музыка. Тёмный минор её целен и благородно напряжён... Но какая космическая, мировая скорбь, нарастающая тоска (особенно в *l'akrimosa*) — вплоть до отчаянья, до вызова Богу! Как присуще это католичеству — эмоциональные перекосы, сродные холодным натурам! Это мировой вопль по падшей душе! Каинов плач, сопровождающий душу в ад. Бесплодный и надменный... Таков же механический Бах. Он плавает в облачных сферах, он не испрашивает прощения, он делает Господу услугу, вельможно кланяясь ему. Это мировая скорбь распада, следствие отпадения от Творца. Холод гордой души...

А теперь вспомним отпевание усопших у православного народа, панихиды, молитвы на исходы души по Псалтирю в подобные сокровенные моменты... Сколько тепла и смирения исходит из уст священника при панихиде по усопшем. Это свет Рая, славянская тризна по завершению жизненной страды и краткие проводы её вверх, по лестнице, к Господу, на которого звучит доверчивое и полное упование.

"...егда мертвии услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут..." Чаяние о воскресении всякой души и плоти и испрошения прощения, и упование на Милосердие Всевышнего. "Аз же на милость Твою уповах...", "Со Святыми упокой...", "егда несть болезнь и печалей" и оправдание усопшего, и молитва за него "Покой, Господи, душу раба Твоего усопшая, и елика в житии сем, яко человек согрешил. Ты же яко Человеколюбец Бог, прости его (ю) и помилуй, вечные муки избави, Небесному Царству причастника

учини, и душам нашим полезное сотвори..." Как благодатна сия молитва, росую милости и слезами кротости увлажнена!

Слышишь, Серёжа, эти живые и вечные глаголы? Усвой их сердцем! И не даром, когда наслушался ты "Реквиема", товарищ твой отупел для тебя. В своём экзальтированном негодовании ты не услышал молитву, которую он сотворил тебя ради, и не заметил его заботы о тебе. Так ожесточило твоё сердце искусство?! Чистое око, Сергей, видит чисто (по Писанию). Так же холодно и надменно смотрит на нас Запад...

Я не против познания чужой культуры. Просто опасно заменять ею свою кровную в душе. Мать ведь не заменишь на чужую женщину только потому, что она лучше одета...

Но вернёмся к Гоголю. Итак, он со своим однокашником Данилевским едет в северную столицу — холодную громаду русских императоров (в основном европейского происхождения). Порождение Петра, сей серокаменный город впервые после древней княгини Ольги дерзнул вручить царский скипетр женщинам, иностранкам и инославным по происхождению, и отнюдь не исполненным древнего благочестия, что, может, более всего и сказалось в его античной пышности, обилии дворцов и фонтанов и сравнительно с Москвой скудным числом Церквей...

Златоглавая и белокаменная твердь древних русов Москва закладывалась мастерами при помощи молитвы, и замеры производились меркою пояса Пресвятой Богородицы, за которой ещё новгородские монахи ходили на Афон! Петербург строился при помощи циркуля и угольника!

Всё же столица манила к себе птенцов Петра... И они, с радостью вылетая из родимых гнёзд, собирались в полутёмных и сырых мезонинах и подвалах Петербурга. Гоголь летел в столицу с самыми радужными надеждами. Он жил уже предвкушением собственной славы. Он страшно волновался и нетерпеливо при въезде в город высовывал голову на мороз. Оттого сразу простудился и пролежал в простуде целую неделю, в одиночестве на съёмной квартире. Петербург очень разочаровал нашего малоросса.

Во-первых, его никто не ждал в столице. Сановник, к которому у Гоголя было рекомендательное письмо от его благодетеля Д. Г. Трошинского, был в это время опасно болен, и молодой южанин не был принят у него. Сама столица не показалась ему такой красавицей, какой мнилась она в его воображении. А он никогда не жил реальностью, а только воображением (зачастую воспалённым). Деньги, припасённые на первое время, ушли быстро, так как жизнь в серокаменном оказалась очень дорога, и он без конца просил денег у матери, которая после смерти Василия Афанасьевича, мужа своего и отца Гоголя, начинала нуждаться.

А самое горькое, что Гоголь никак не смог встретиться со своим кумиром, светом всей его жизни, Пушкиным. Правда, однажды, движимый потребностью видеть свою "икону", он робко приблизился к дверям квартиры, в которой жил поэт (предварительно приняв рюмку ликёра для храбрости), и на вопрос: "Хозяин дома?" — услышал: "Почивают". "Наверное, всю ночь работал?.." — замирая от восторга, спросил слугу молодой почитатель своего гения. "Как же, работал, — ответил слуга, — всю ночь в картишки играл". Удар для наивного провинциала был тяжёлым и неожиданным.

В итоге всё разочаровало его в Петербурге. Вдобавок в этом же году (1829) умер благодетель Гоголей Трошинский. Его наследник оказался прижимистым и чванливым, и помощь из дома становилась всё реже и скуднее... Гоголь сидел без обеда неделями (вспомни, друг мой, "Ревизора" и голодные вопли Хлестакова — стенания из собственного опыта) и без конца обращался за помощью к матери. Впрочем, он не сидел сложа руки в столице. Уже летом 1829 года в Типографии Плюшара вышло сочинение некоего В. Алова "Ганц Кюхельгартен", написанное Гоголем в 1827 году. Сие сочинение не имело никакого успеха. В "Московском Телеграфе" отозвались о нём весьма язвительно. Прочитав заметку, Гоголь со своим слугою Якимом бежал книжные лавки и, изъязвив свои экземпляры, сжёг их все до одного в гостинице. Думаю, что традиция жечь свои опусы вполне бытовала в XIX веке, и Гоголь продолжал её не раз. Его творения познали огонь ещё несовершеннолетними, и последние страницы их познали ту же участь.

Напрасно метался будущий писатель по городу в поисках приличной службы. Без основательной протекции ему было отказано везде. Несчастливая мать Гоголя (Мария Ивановна Гоголь, в девичестве Косяревская) выслала сыну с трудом собранные 1800 рублей, чтобы он заплатил налоги в банке за землю. Любезный сын получил деньги и, сославшись на пламенную страсть

к какой-то неизвестной особе, уехал на эти деньги в Германию. Налоги в банке заплатил наследник благодетеля Трошинского под залог имения. Узнав о подвиге обожаемого матерью Никоши, он заявил: "Мерзавец! Не будет с такого добра!" Своим поступком, Серёжа, молодой Гоголь буквально выкидывал свою "дражайшую маменьку" на улицу вместе с пятью дочерьми, его сёстрами. Имение ушло бы в публичную продажу с молотка!

Таков молодой Гоголь! Самолюбивый, болезненный, изнеженный женским воспитанием! Конечно, молодость, скажешь ты. И тебя тянет повидать свет самозабвенная жажда славы и предчувствие её. Первая нужда, холод одиночества и ненужности — всё это даёт выбоину в сознании впечатлительного молодого человека.

Петербург он не полюбил. Просторный проспект Невского не имел для него места, парадные подъезды не открывались перед ним, и лакеи не торопились доложить о его приходе хозяевам. И главное. Выросший в сытости, здоровом хохлацком изобилии, где и дворян немилосердно объедалась, он здесь голодал. Жизнь в Петербурге оказалась очень дорогой. Оттого чёрная тоска нападала на него в чужом, чуждом ему городе. Возвратившись из-за границы, он попытался вступить в число актёров, памятуя о школьных подмостках, но провалился полностью сразу после первой же репетиции. Наконец, ему, уже близкому к отчаянию, вызвался помочь Ф. Булгарин. Его устроили писарем в III Отделение, в канцелярию. Прослужил он недолго и исчез, потому что не имел ни охоты, ни тяготения к службе. Собственно, то же произошло в департаменте Уделов. Он оказался плохим чиновником.

В 1830 году предприимчивый Гоголь достал от кого-то рекомендательное письмо к Жуковскому В. А., поэту, воспитателю царского наследника. Молодого Николая тянуло в свет. В высший, как он тогда назывался, и пишущий. Кроме своего многострадального "Ганца Кюхельгартена", в котором он воспел Германию и её благородного немца, он написал и напечатал поэму об Италии, где воспел вечный город Рим. Голодный, безвестный, обирающий бесконечными прошениями о деньгах свою "дражайшую маменьку", которая забыла, как сын обездолил её (благодаря Никоше имение под залогом, и приданого дочерям нет). Но пылкая Марья Ивановна бредит, что сын станет генералом, потом она назовёт его гением. Гоголь жил воспалённым воображением, мечтами о встрече с Пушкиным, о загранице, о славе, меняя квартиры, унижался, обижался, плакал в холодном одиночестве, но в родную Васильевку его не тянуло.

В. А. Жуковский сдал юного провинциала на попечение литератору Плетнёву. Именно по рекомендации Плетнёва Гоголю было предоставлено место учителя истории Патриотического института, инспектором которого Плетнёв являлся. Место было значительным. Для его предоставления было необходимо тогда соизволение Его Императорского Величества. Кроме того, тем же Плетнёвым он был введён в известные дома Петербурга в качестве воспитателя Балабина, Лонгинова, Васильчикова... Знатные, приличные семейства.

Тогда же он начал печатать в журналах свои статьи, особо часто они появлялись в "Северных цветах" и "Литературной газете" — оба издания принадлежали известному поэту Дельвигу.

Плетнёв же рекомендовал Гоголя Пушкину, но встреча откладывалась...

Пока же он занимался с умственно отсталым чадом княгини Васильчиковой. Известный в то время модный писатель В. А. Сологуб, племянник Васильчиковой, вспоминая первую встречу с Гоголем в доме своей тётки, писал, как наставник слабоумного мальчика указывал ему на изображения животных на картинке и то блял, то хрюкал: "Вот это, душенька, баран, понимаешь ли, баран... бе-ее! Вот это корова, знаешь ли, му-му..." Вид у воспитателя был довольно жалким. Бедным пожилым дворянкам, компаньоншам и приживалкам домашнего ареопага Васильчиковой и читал Гоголь свои первые перлы, которые писал ночами в своей холодной петербургской съёмной каморке, возвращаясь после воспитания вельможных отпрысков...

Он писал знаменитые "Вечера на хуторе близ Диканьки"!

Я иногда думаю, Серёжа, мальчик мой, как полезно бывает молодой душе пережить многие испытания, которые часто встречаются в жизни, особенно в её начале! Молодой Гоголь прибыл в столицу готовым западником. Западэнцем, как их по сию пору называют. Он давал маху только в одежде, сказывалась домашняя, чисто украинская тяга к ярким цветам и неожиданным их сочетаниям. А северная столица пребывала под властью серой Европы, и, конечно, более всего сие сказывалось в языке общения и вкусах. Прежде всего, в одежде...

И вот после первых поэтических опытов, вполне угодливо-прозападных, эпигонских, словно пробку вышибло из души юного провинциала! В тоске по родимой вотчине, её младенчески нежному языку, яствам и брашнам, простоте и яркости всей её великолепной жизни, он сел и написал настоящие шедевры русской словесности. Он написал свой народ...

Но об этом поговорим в следующем письме. А пока тебе задание: постарайся выбрать в библиотеку и прочитай в читальном зале (на руки тебе её не выдадут) в редком фонде книгу А. Н. Пыпина "Общественное движение в России при Александре I" (Санкт-Петербург, 1900). И не ленись на молитву, крестник мой! Не заменяй её чтением!

Постовой тебе радости и духовной молитвы, неизбывная память моя!

*Любящая тебя крёстная
н. р. Б. Валентина*

Письмо шестое

Здравствуй, мой светлый крестник.

С постом и молитвою тебя. Скоро Страстная... Самая высокая и духоносная неделя Поста. Помоги тебе, Господи, в полной мере осознать ту глубинную суть перемены, победоносный свет которых сопровождает каждую службу этой недели...

Серёжа, я не пишу биографии Гоголя! Реферат ты напишешь сам. Мы с тобою пытаемся разобраться в духовной трагедии Гоголя, которая зеркально повторяет трагедию русского художника вообще, а потому так или иначе может отразиться во множестве судеб во многих веках. Потому что Божий Дар такой силы и выражения не бывает случайным. Прежде всего, это понимает враг и убийца рода человеческого и пытается увести дароносца от заповеданного ему Богом пути.

А дар Гоголя во всей его полноте выразился враз, взмыл всей громадой. Тот самый, что ещё не виден был на подмостках крепостного театра, ни на гимназической сцене. Тот самый, что незримо входил в него роскошными южными вечерами рассказами дворовых, гулянием парубков, певучей древней былинной, мамушками, няньками, сказами бабушки, былью и враками, что передавались из уст в уста, веками уживаясь в сознании народа.

Душа молодого Гоголя вскрылась, как весенний лёд на реке. Вскрылась в сером, туманном Петербурге, где он голодал и бесконечно мёрз (потому что и дрова в этом городе были дороги), в утробной тоске по родине, которую с такой силой он испытал впервые в жизни, благотворной тяге к собственным истокам...

Именно эта тяга и пробилла наросты немецко-французской ледящей наледи в душе, разлилась весенним половодьем, ярмарочно отображая дивчин и парубков, чумаков, жинок, мужиков, и воров, казаков и ведьмаков... Все детали первородного и богатырского быта.

Ах, Серёжа, мальчик мой, благодаря тебе я вновь перечитала раннюю прозу Гоголя, пережила несказанную радость его языка и сквозь века и пространства услышала первозданное дыхание родимого народа. Как играют в творениях молодого Гоголя наши глубинные славянские ключи и истоки: "Дед мой (Царствие ему Небесное! Чтоб ему на Том свете елись одни только буханцы пшеничные да маковники в меду) умел чудно рассказывать. Бывало, поведёт речь — целый день не продвинулся бы с места и всё бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнёт москаля везть, да ещё и языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку да из хаты. Как теперь помню, — покойная старуха, мать моя, была ещё жива, — как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится во мне... Но ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора Кожуха и Сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове".

Век бы переписывала, и рука не устанет!

А ты уж, Серёжа, чадо моё крёстное, не поленись вчитаться, узреть душою образное чудо родного языка, а изначально — путь твоего народа. Все-го пребывало и переживалось в этом бесконечном пути. Не всё солнцем играли первоистоки русской души, бывало, и тьма-тьмущая налетала...

Вот здесь мы затронем с тобою, Серёжа, одну из самых болезненных ошибок его молодости и творчества.

Да, диво дивное, чудо чудное, образное воплощение Гоголем старорусской жизни на бумаге! И той, что услышана им от дедков да мамушек, и той, что вспомнил он сам, глубинным генным сознанием, которое незримо и памятно, вечно в нас, и не всегда мы познаём его. Это память о пройденном народом и родом пути. Все эти Ганюшки, Панночки, Иваси, Тарасы и Басаврюки — все прожили свою жизнь на земле гения, прежде чем воплотились через его слова на бумаге. Но слишком глубоко копнул юный Гоголь историю, и с необыкновенною силою выразил не только живые лики своих земляков, но и тёмные силы, которые сопровождают всякую душу и её народ на всех их исторических весах. До Гоголя никто не дерзал писать беса в печатном слове! Да, убийца рода человеческого, неистощимый враг Божий жил всегда в сознании народа, который знал ему цену и понимал опасность, исходящую от нечистой силы. Но молва передавала память о нём полутайно. Из рода в род сказами стариков в полуночных бдениях, под пение веретена, с обязательным оберегом крестного знамения и хождением в Церковь святую, дабы отогнать падаля вражью от родного очага, да окроплением его рождественской водицей. Оттого в детском сознании чётко обозначалась грань между крестной и нечистой силой!

Мы с тобой уже говорили, Серёжа, что до печатной краски наш народ жил на совсем другом уровне общения. Вести летели незримо, как птицы по воздуху, душа слышала душу за многие версты, и слово падало в память, как семя на пашню, да и память была гораздо более развитой, чем у наших современников. Старик был, как полная копилка. Он знал всё обо всём, и дети за ним гурыбоб ходили... А ныне старики — склеротики...

Но это к слову... И вот, мальчик мой, к несказанному своему ужасу россиянин читает: "Большая чёрная собака выбежала навстречу с визгом и, оборотившись в кошку, кинулась в глаза им... Глядь, вместо кошки старуха с лицом, сморщенным, как печёное яблоко, вся согнутая в дугу... Ведьма топнула ногою, и синее пламя выхватилось из земли..."

Это глухое, тёмное подсознание вырвалось из души молодого Гоголя: "Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним... Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, пила из него кровь..."

Он коснулся запретного, того, что закрыто в кованом сундучке глубинных генов, это русские Шумеры, чёрный Вавилон, страстная память его предков-волохов, которую мало того, что вынул из огненной геенны своего воображения, но вывалил на страницы книги, где до того печатался Часослов да Псалтири, на худой конец — бездарное морализаторство...

Знаю, Серёжа, что и ты с приятелями под хохоток полусерьёзно, как бы шутя, в святочные вечера балуетесь тайком от воспитателей гаданием да закликаниями... Не доброе это дело, солнышко моё! Не тебе объяснять, как коварны эти силы... Только обрати на них внимание, и душа возмутится, как вода в сосуде... Чистоты и покоя не узришь. Укрепитесь враг твой за левым плечом, застелет духовные очи, что войлоком... Недолго и, свернув с пути, пасть, вовлекая за собою других...

Гоголю был двадцать один год, когда вышла в свет (без подписи) в "Отечественных записках" повесть "Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала...". Поприще его определилось.

Читающий Петербург заметил его сразу.

"Надо бы познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее", — писал душепопечитель Гоголя по Петербургу Плетнёв Пушкину. О Гоголе заговорили в светских салонах и студенческих аудиториях. Спустя два года "Вечера на хуторе близ Диканьки" вышли в свет полностью. Петербург упивался живою, творческою кровью, бьющей энергией малороссийской жизни, о которой он и не подозревал дотоле.

"Сейчас прочёл "Вечера близ Диканьки". Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя непринуждённость, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия. Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился!" Это Пушкин в письме А. Ф. Воейкову из Царского Села.

Для Гоголя наконец-то открываются парадные подъезды. В его честь устраиваются вечера, задаются обеды. Он вводится в круг литераторов Петербурга. Наконец, знакомится со славянофильскими его кругами, в частности, с Аксаковым С. Г. "Эффект был сильный, — пишет Аксаков. — Я сконфузился,

бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций". А ведь Гоголь был очень молод ещё, чтобы производить такое впечатление на устоявшиеся известные круги.

Окрылённый успехом, Николай Гоголь продолжает писать: "Я тружусь, как лошадь, — писал он в 1834 году Максимовичу, — ...над собственно своими вещами". За год он создает "Старосветских помещиков", "Портрет", "Невский проспект". В бумагах Гоголя 1834 года найдена клятва, полная пылающего восторга. Она обращена к собственному гению: "Великая, торжественная минута, — пишет он. — ...У ног моих шумит прошедшее, надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений! О, не скрывайся от меня!.. О взгляни, Прекрасный, низведи на меня свои чистые небесные очи. Я на коленях, я у ног твоих".

По сути страшное, Серёжа, обращение молодой души, иступлённое стелание не к Богу, не к Пречистой, а к своему гению, собственно, к себе любимому. "...Я не знаю, как назвать тебя, мой гений... живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой... Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! О поцелуй и благослови меня..."

Ты скажешь, вдохновение... То есть дух! Дух же духу рознь. Своим гением он живописал околосемную нечисть Басаврюков и Вигов, колдунов и ведьм, и, вскрыв гееннские истоки вечности, внедрил их вновь в сознание потомков. Хочу заметить тебе, крестник мой, что слава Пушкина в умах его современников была гораздо слабее, чем слава Гоголя, его нижайшего поклонника.

В двадцатых числах мая 1831 года двадцатидвухлетний малоросс наконец был представлен своему кумиру Пушкину. Но об этом в следующем письме.

Света тебе, мой мальчик, в самую прекрасную неделю Великого Поста. Этой неделей Господь наш спас человечество.

Твоя "Кока",
р. Б. Валентина

Письмо седьмое

Христос Воскресе, раб Божий Сергей! Обнимаю тебя за радивое исполнение Поста и радуюсь вместе с тобою светлому Воскресению Бога нашего Иисуса Христа!

Ах, всё воскресает, отрочатко, вместе с Господом нашим! На Страстной стаял последний снег, и сразу полезли одуванчики и подорожники. Природа знает своё дело!

Теперь о встрече двух гениев. "Судьбоносной для России", — пишешь ты. Я бы не сказала об этом столь выпендренно. Пушкин и Гоголь встретились уже сложившимися литераторами. Гоголь выпустил завершёнными свои "Вечера...", о которых заговорил читающий Петербург, а Пушкин уже был Пушкиным. Опытный взор его сразу узнал в Гоголе своего. "На вечерах Плетнёва я видел многих литераторов, и в том числе А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Пушкин и Плетнёв были очень внимательны к Гоголю... Со стороны Пушкина мне это было вовсе непонятно: Пушкин всегда холодно и надменно обращался с людьми, мало ему знакомыми, не аристократического круга и с талантами, мало известными..." — писал племянник поэта Дельвига барон А. И. Дельвиг.

Ах, Пушкин, Пушкин! Пушкин, Пушкин, Пушкин...

"Наше всё!" — как сознаются многие мои современники, и сверстники мои особенно. Мы возросли на Пушкине. С детства сказки — Лукоморье, Гвидоны, Салтан — царь-батюшка. Помню, читала тебе "Руслана и Людмилу", глядя, как замираешь от восторга и нетерпения...

Эти сказки юный Пушкин черпал тоже из народной памяти. И Гвидон, и Салтан, и дядька Черномор — всё это сказы нянюшки Арины Родионовны, которые наш народ вынес из своего шумерского прошлого, из самого изначалья человечества. И расступается море, и Салтан — Салтанасар V (читай — Соломон), древний Вавилонский царь, и Гвидон в просмолённой бочке (читай — плывущий в смоляной корзине Моисей), и Карла, сила у которого в бороде (читай — Самсон) — всё это знал и помнил русский народ, пронёсил веками в недрах своей памяти, не записывая, а передавая из уст в уста.

На русском языке их записал Александр Пушкин. В этом его несомненная заслуга перед нашим народом.

Да, многие его творения прекрасны. Да, в них дышит поэзия высокая и истинная. Но это поэзия жизни человеческой. Это поэзия души, но не Духа,

который в очень редких и поздних проявлениях поднимается до высот того религиозного сознания, которым простой народ дышит с младенчества.

Архимандрит Иоанн в своей брошюре "Размышления о религиозности Пушкина" (Берлин, 1937) пишет: "До самых последних дней Пушкин не был религиозным человеком в христианском значении слова, но не был и неверующим. Религиозность его была столь же "романтична", как и внутренняя религиозность его поэзии".

"Пушкин наше всё!" Нет, не всё! И не начало, и не конец!

До Пушкина в России (я уже писала тебе об этом) был собран громадный житийный свод Димитрием (Ростовским), сохранялась литература, уходящая в глубинные пласты русской истории, начиная с Велесовых табличек. Мы имели известный, всё ещё поверхностно прочтённый труд митрополита Илариона, "Задонщину" и "Слово о полку Игореве", труды Кирилла Туровского. Я уже не говорю о песнях и повестях XVII века, обилие и красоту которых не превзошла ни одна художественная литература любой европейской страны. Всё это написано и собрано за много веков до Пушкина. И эта литература питалась истоками Православия и народной мудрости. Это литература летописей, сказов и песен. Литература Библии, Псалтири, Часослова, молитвенные записи духовных стихов, которые несметно бродили в народе, выражая его мировоззрение от Голубиной книги, переложения Ветхого Завета в песни, до стихов назидательных, обрядовых, сюжетных и всевозможных плачей...

Просвещенцы видели образование в знании европейских языков и их лужавых философий. Русский крестьянин образовывался от образа Господня, Пречистой Его Матери, и святых своей земли, законы которой они постигали сызмала. Просвещенцы в мировоззрении корневого крестьянства видели зло и невежество. Народ не любил дворянства, не считал его родной частью своей жизни. Пути народа и его аристократии разбегались в стороны, как кольца ножиц. Но сердцевина их была одна.

Народ, по большому счёту, Серёжа, жил жизнью Церкви и Духа, дворянство — души и культуры с мощной передозировкой западнической прививки. Ты утверждаешь, что много читал о Пушкине как о народном поэте, знающем и любящем народ. Увы, мой друг. Гордился он не столько своей историей (что, собственно, и указано в той расхожей цитате, которую ты мне приводишь), но более своим шестисотлетним дворянством. В одном из своих писем друзьям (кажется, Соболевскому) перед самой свадьбой Пушкин пишет о том, что он продал двести душ крестьян и заложил четырёхста (за точность счёта не ручаюсь), и сетует, что денег на свадьбу всё-таки не хватает.

Для сравнения хочу напомнить тебе, Серёжа, что в то же время, недалеко от имени Пушкина, подвизался в духовном подвиге один из самых ярких светильников России — преподобный Серафим Саровский. Сам он, как ты знаешь, был из зажиточного купечества, но крестьянство и простонародье протоптало к нему торные и просторные пути. Шли и шли, и по сию пору идут. Именно святой Серафим в то время, когда Пушкин закладывал ради свадебного бала своё крестьянство, стоял на коленях перед дворянином, своим послушником Мотовиловым, и просил не отвергать дворовую девку, которую Господь (он прозрел это в молитве) послал ему в жёны... Разница, как видишь, великая...

В 1801 году в Петербурге основалось вольное общество любителей наук, словесности и художеств. Особое покровительство при Александре I было оказано литературе: "Редко какой-нибудь правитель оказывал такое поощрение литературе, как Александр I", — говорит его летописец Шторх. Писатели вознаграждались чинами, орденами, пенсиями. Им выделялись крупные суммы на печатание трудов. Сам император читал рукописи многих писателей, и при его одобрении они печатались за счёт кабинета, как и все последующие труды авторов. Почти все известные писатели имели орден Анны II степени в знак отличия за литературные заслуги.

"Множество русских писателей, представлявших императору свои сочинения, награждены были перстнями, табакерками и другими ценными подарками. Случаи такого рода становились столь обыкновенными, что не стоит упоминать о них", — свидетельствует тот же Шторх.

Между литературными партиями тех времён возник спор старого и нового слога. Защитником старого становится президент Российской Академии Наук Александр Семёнович Шишков. Сей мужественный деятель, конечно же, играл роль удерживающего от западного влияния. Учёный, писатель, патриот, он писал стихи и рассказы для детей, составив на Руси первую детскую библиотеку. О нём говорили, что он двигает всенародным духом. И в языке русском он искал духовные корни народа. "Я почитаю язык наш столь древ-

ним, что источники его теряются во мраке времён, — писал он, составляя свой знаменитый корнеслов. — ... Наш язык — древо, породившее отрасли наречий иных”.

“Где чужой язык употребляется предпочтительнее своего, где чужие книги читаются более, нежели свои, там при безмолвии словесности всё вянет и не процветает”. Мало что из его современников столь глубоко проникал в истоки жизни всякого народа — его язык. Особенно русский, который Шишков знал досконально. Он понимал опасность, которая исходила от множества “обществ” и их разрушительных бацилл, какими бы благородными помыслами они не прикрывались. Он указывал на недопустимость двуязычия в нашем обществе. Я не говорю о народе — он имел свой язык, и хранил его тогда свято.

Спор разгорелся, как ни странно, между ведущими светилами литературных партий — Шишковым, за спиной которого стояли имена Ломоносова, Державина, Сумарокова, и историком-публицистом Карамзиным, за которым стоял могучий кружок Жуковского, близкий ко двору и императорской особе.

Шишков отстаивал корневые понятия языка, пусть не столь быстрые, но основательные, спокойные, тяжеловатые обороты русской речи. Карамзин настаивал на обновлении языка. Он утверждал, что необходимо освежить литературные формы. Когда человек равнозначно говорит на нескольких языках, он поверхностен, он стирает национальные границы в своём сознании. Становится гражданином мира.

Кружок Шишкова, прозванный консервативным, восставал против Франции как исчадия всех революций, навязанного дворянству французского воспитания и пристрастия во всём следовать иноземному. А главное — в пренебрежении к родному языку. Это были люди, мало известные ныне. Поскольку русофобская политика прошедших времён держит их имена в прочном забвении.

Я тебе назову, Серёжа, те несколько, с которыми ты будешь обязан познакомиться поближе. Имена тех, кто посмел служить Отечеству не за страх, а за совесть: Шишков, Ростопчин, Аксаковы, Киреевские, Аракчеев, Победоносцев, Катков, Суворин, Тютчев, Сталин... Мотовилов, Мельников, Восторгов, архиепископ Никон, митрополит Филарет, Иннокентий... и весь ряд русских святых... Начни с оклеветанного царя Иоанна Грозного! Реакционеры, мракобесы — как их ещё поливали! Они подымались за целостность русского языка, веры и культуры. Указывали на величайшую древность и Божье начало россов Руси. Толковали дворянское воспитание с чуждыми языками изменою (что так и было) и предрекали смертоносную близость революции (что так и стало).

Спор решил Пушкин.

Пушкин утвердил нынешний литературный язык, на котором я пишу тебе письма. Слава Богу, ты отвечаешь мне живо и интересно. Не попади Россия в западные сети, мы говорили бы иначе?! Наверное. Это была бы другая русская земля... Но на то и щука, чтобы карась не дремал! Попущение Божие не бывает зряшным.

Мы остановились с тобою на Пушкине, потому что на сём подводном камне запнулась Россия. Последние годы он обернулся к истории своего народа, но не успел... Те же силы, что подняли его при жизни и в веках, они же и уничтожили его, не дав величайшему дару послужить в полной мере Богу и Отечеству!

Знаю, Серёжа, что дворянскую литературу ты знаешь назубок и любишь цитировать её (особенно девицам!), но для рефератов, прошу тебя, выбери двух поэтов этого времени. Кольцова и Никитина. Проследи их судьбу и творчество, соотнеси их с крестьянством того времени и языковыми его особенностями. Заодно и познакомишься со всеми!

А пока Гоголь и Пушкин встретились. Но об этом в следующем письме... Ты ничего не написал матери о Пасхальном своём Причастии. Она волнуется! Будь повнимательнее, мой мальчик, к любящей тебя и непрестанно молящейся о тебе родной душе. Пока мать жива, ты крепок и спокоен по её молитвам! А я уж так! Я в сторонке...

*Но все же любящая тебя крёстная
р. Б. Валентина*

Письмо восьмое

Отрочатко моё духовное, Серёженька!

Радёшенька твоя крёстная письму твоему, родным, узнаваемым каракулям... Ты всё о книгах... Я бы хотела, чтобы, выходя из стен семинарии,

ты почаще взглядывал на небо, на звёзды, на траву и цветы... Почаще бы опускал руки в землю. Земля, мой друг, всему научит. Когда ты работаешь с землёю, ты спокоен, как дома... Тогда у тебя есть всё!

Мы с мамой твоей в саду... Всаживаем клумбы и грядки, сеем рассаду... На Святых Миротвориц были в храме, где светло и радостно после поста. Батюшка Николай благословляет тебя и справлялся о твоих успехах...

Укоряешь меня в неправоте, Сергей! И ты прав, мой мальчик!

Ты с упоением читаешь Пушкина, особенно его "И сердце вновь болит и любит оттого, что не любить оно не может". Читаешь, когда почаству взглядываешь на девицу с косою из певческого хора. И тебя волнуют и Пушкин, и её коса-искусительница. Пишешь ты, что так смеялся, читая "Мёртвые души" Гоголя, что разбудил товарищей по комнате и прочитал им отрывок о Ноздрёве, и за ночной общинный хохот вам влетело от воспитателей. Всё так! Всё правильно! Сейчас ты упиваешься жизнью. И слава Богу! И тебе не нужна правда! Она вообще нужна ли на этой земле? Может через десятки лет, убелённый сединою, ты перечтёшь мои письма и тогда дашь ответ?!

И всё же вернёмся к Гоголю! Итак, два гения встретились! Оба уже poznали славу. Оба написали то значительное, что сделало их именами великими. "Наше всё" и "Тоже наше"! И если и было влияние Пушкина на малороссиянина, то гораздо ранее. В Нежинской гимназии, когда Гоголь читал ходившие по рукам стихи поэта. У них было много общего в судьбе. Оба гениальны, умны. Нежинская гимназия — малый слепок Царскосельского лицея. Оба имели царствующего покровителя. Получили западное воспитание. Пушкин был живое порождение высшего света. Гоголь рвался в этот свет. С выходом "Вечеров..." о нём заговорили в светских салонах, университете, литературных кружках. Иногда он бывал в Москве, где славянофильский круг Аксаковых принимал его с восторгом и благоговением. Это был первоначальный Гоголь. Завсегдатай обедов, весёлый, шумный. Любящий щегольнуть малороссийской речью и песней. Сам приготавливавший вареники и галушки. Любил пёстрые галстуки, яркие жилеты, взбивал кокон надо лбом. Много-много писал ночами... Страстно любил Малороссию, её песни, думы, историю. Он был очень наблюдателен и холоден в своих заметках.

Начиналась иная пора его жизни и творчества — петербургская. Но Гоголь не полюбил Петербурга!

Серый холод, туманы, камень... Но именно здесь он развил свою наблюдательность до предела. То, над чем вы, будущие духовники, с таким наслаждением смеялись, есть выражение уродливых сторон человеческой жизни. Я бы сказала, что его до такой степени потянуло во тьму, что он перестал различать свет от тьмы. Этому способствовал Белинский! Злой дух, до конца своей жизни преследовавший гения. Вначале обольстил, написав, что смех Гоголя растворён горечью. "О, бедное человечество! Жалкая жизнь, — писал Белинский о "Старосветских помещиках"... пили, ели, и потом умерли!" А как же! В масоны не вступали, к бунту не призывали, власть чтили, любили друг друга (можно сказать, эта повесть — поэма о любви), молились Богу, странноприимствовали — исполнили за жизнь все заветы Нагорной проповеди! Конечно, они жалкие для нашего пламенного Виссариона с его Прометеевской гордыней.

Гоголь торжествовал. Поворот в сознании и отход от родины и Божьих начал свершился. Пред нами уже другой Гоголь. Он глядит на Россию с язвительной издёвкой. Он перепутает её с чиновничьим Петербургом. И пока он язвит и бредит, Белинский, как коршун, парит над ним, отслеживая каждое его слово. А Гоголь пишет много: 1833 год — "Арабески" и "Миргород". Начата первая редакция "Тараса Бульбы", написаны "Портрет", "Невский проспект", "Вий", много статей о литературе. В эти годы он завязывает множество знакомств и связей. В эти же годы он тесно сближается с В. Жуковским, одной из самых влиятельных фигур Петербургского высшего света и литературного мира. Жуковский покровительствовал ему всю жизнь. Как воспитатель царского наследника, В. Жуковский многое мог, все салоны Петербурга и Европы были открыты для него, поэта и видного царского вельможи. Литераторы часто встречались. Дружба их была душевной. Оба много путешествовали, не раз виделись в Европе.

В 1831 году Гоголь знакомится с Александрой Осиповной Смирновой-Россет, одной из самых блистательных женщин России первой половины XIX века. Фрейлина императрицы Александры Фёдоровны, законодательница придворных и литературных салонов, умная, образованная Смирнова тоже благоволила к хохлу (как звала она его) всю жизнь.

Чуть позже, в Риме, Гоголь сдружился с Зинаидой Волконской, сестрой известной жены декабриста Марии Волконской. Западенкой до мозга костей, яростной католичкой, сторонницей польских и прочих восстаний, подругой Мицкевича, Иеронима Кайсевича, основателей католических масонских орденов.

И, наконец, Николай Васильевич Гоголь входит в самый влиятельный дом Петербурга — семьи Вьельгорских, графа Михаила Юрьевича и его жены Луизы Карловны, урождённой принцессы Бирон, женщины гордости недоступной, очень разборчивой в связях. Никогда она не сближается с людьми, не принадлежащими к её кругу. Однако для Гоголя было сделано безусловное исключение. После смерти её сына Иосифа, с которым Гоголь сдружился, он стал необходимым человеком для Луизы Карловны. Граф Михаил Юрьевич имел огромное состояние, сильнейшие связи, положение в свете и при дворе. Как меценату, в Петербурге ему не было равных. Знакомство Гоголя с графом состоялось гораздо ранее, чем тот был представлен семье и хозяйке дома. В 1831 году граф, привлечённый восторгами Жуковского и Плетнёва, присутствовал при чтении Гоголем «Вечеров...»

Дом Вьельгорских имел абсолютное и роковое, пожизненное влияние на судьбу и творчество писателя. Именно в атмосфере петербургских салонов утвердилось его воззрение на Россию как на страну невежества, отсталого и грубого духовенства, вотчину узурпаторов, рабов и тиранов.

Как видишь, Серёжа, после выхода в свет книги, талантливо исполненной, населённой полудиким народом вкупе с пляшущими чертами и бесами, перед автором «Вечеров» словно по мановению и тайному знаку открылись парадные подъезды знатных и богатых домов Петербурга, включая императорскую семью.

В 1835 году Гоголь навестил родных на родине, где его встретили овациями. Он купается в приёмах, похвалах, славе. Россию, её народ, её свершения (XIX век — расцвет науки, искусства, промышленности, образования) — всех этих достижений он не замечает. Россия для него — страна анекдотическая, над которой можно только смеяться. «С Божьего соизволения, мы с Гоголем очень хорошо сталкивались. Удивительно: он признал, что Россия — это розга, которою отец наказывает ребёнка, чтоб потом её сломать», — писал Иероним Кайсевич в письме Яньскому в 1838 году из Рима.

Анекдот о ревизоре, как признаётся Гоголь в «Авторской исповеди», ему подсказал сам Пушкин. Речь, как ты понимаешь, Серёжа, идёт об «Ревизоре». Он написал комедию за месяц...

Пасквиль на всю чиновничью Россию... Пушкин, по версии, подсказал Гоголю происшествие, которое случилось с ним самим. Однажды его приняли в уездной губернии за ревизора. Могло такое быть? Конечно. Но между Пушкиным и Хлестаковым громадная разница. Пушкин был умён, образован, воспитан... Здесь по сцене мечется и врёт без передышки жалкий хлыщ, подчёркивая глупость и тупость провинциального чиновничества.

Ничего комичного в «Ревизоре» нет, кроме того, что его использовали всерьёз ненавистники России.

Провинция, Серёжа, была всегда умнее, проницательнее и глубже столичных воротил. Русская столица кормилась и кормится провинциальной, тогда уездной, окраиной. Её умом, талантом и хлебушком. В сей незатейливой пьеске передёрнуто всё, всё пересмеяно и извращено.

Возьми наш Иркутск, Серёжа, времён Гоголя. Купеческий, первопрходческий. Трезвый, умный, с глубинной культурой и взаимовыручкой. Что там Вьельгорский с его жалкими потугами на меценатство! Проходили пешими по Сибири, ставили церкви, школы, сиропитательные дома — наши Сибиряковы, Трапезниковы, Медведковы. Трапезников пожертвовал 200 миллионов на присоединение амурских земель к России! Во времена Гоголя, кстати. У нас были губернаторы, которые составили славу Отечества. Муравьёв-Амурский, например... Бывали, конечно, и курьёзы в уездных городах, но художник волен выбирать для себя то, что ему ближе.

Но чистое око видит чисто! И наоборот, можно ведь вернуться на родину из раздушенных салонов и увидеть только свинью в луже посреди дороги... И свиней в хатах... А можно увидеть красивый, здоровый народ, очень талантливый, памятный и хозяйственный!

Всё дело в том, что Россия из Хлестаковых и Городничих очень отвечала промасонскому злобному взгляду на неё. Гоголь того времени другого ничего не видел, а главное — не хотел видеть в русском народе. Тупость чиновников, пустота женщин, Церковь, в которой служат развратные и корыстные дьячки... Бобчинские, Добчинские... Злобно выхлестать её, матушку... Даром что ли

она два десятилетия всего назад в прах разбила просвещённую Европу с её великими полководцами... Бобчинские-Добчинские добывали?!

Тем не менее, сам Государь Николай I присутствовал на премьере "Ревизора". Правда, сама глубинка, русская Россия не возрадовалась, увидав себя в гоголевском образе. Восторженных восклицаний не последовало. Скорее наоборот. И сие обстоятельство очень обидело автора. А как же, Белинский был в полном восторге! А до этого насковзь неискущённому в сатире русскому читателю был представлен Гоголем столоначальник Поприщин. "Человек маленький, без достатка, явно болящий душою, умом "зело скорбен". Начиная с Белинского, тьма литературоведов ищет в этом жалком, необратимо сходящем во тьму душевного распада петербургском чиновнике из повести "Записки сумасшедшего" "бездну философии" и, конечно же, протест (куда ж без него!) против существующего строя. А как прокатила "Коляска" по "Невскому проспекту"!

Столь же "уродливый гротеск", прихотливая избирательность художника в выборе героев. Поиски наиболее жалких, искажённых черт своих сограждан. "Грёзой художника" назвал Белинский весь этот уродливый ряд. "Драгоценные перлы поэзии", "святители, да это целая каста, целый народ, целая нация"! Как им хотелось в весь этот бредовый набор типов вместить всю русскую нацию...

На сегодня всё, Серёженька! Уже утро, пора вставать на молитву.

Сегодня мы будем с твоей мамою высаживать перцы в теплицу. Те милые хлопоты, которые ещё далеки от тебя. До следующего письма.

Твоя крёстная
н. р. Б. Валентина

Письмо девятое

В Иркутске жар, Серёжа! Суховой, пахнет пылью и близкою грозой. Когда я читала твоё письмо, стрижи пикировали мимо распахнутого окна. Скоро, скоро грядёт гроза!

Помнишь Тютчева: "Люблю грозу в начале мая..." Как я люблю этого удивительного русского поэта с непростой судьбою, с редким достоинством, прошедшего сквозь западные соблазны, глубоко осознавшего их опасность и, в связи с этим, глубинную трагедию России!

Ты спрашиваешь, был ли Гоголь религиозен во времена писания первых своих книг. Я бы сказала, что, в отличие от Пушкина, он всегда был религиозен. Но по-разному. В детстве глубоко, в Нежине холодно... К тридцати годам под влиянием вельможного света он был чистым католиком. "В одном только Риме молятся, а в других местах показывают только вид, что молятся", — пишет он в одном из писем к Кайсевичу. "Другие места" — это Россия! Страна богомолий, паломников, монастырей и старчества! Земля, о которой святой Серафим (кстати, современник Гоголя) сказал, что над нею дымка от молитв православных. Княгиня Зинаида Волконская, у которой Гоголь жил в Риме, всеми силами старалась обратить своего старшего сына из православия в католичество, и писатель помогал ей в этом.

Католические симпатии Гоголь высказывает практически в каждом письме соотечественникам из-за границы. Его умиляют пышные храмы и службы католиков, показная их обрядовость, внешнее величие. В эти годы он много и с упоением путешествует. В Италию Гоголь влюблён. "О Рим, Рим! О Италия! Что за небо! Что за дни!.. Что за воздух! Пью — не напьюсь, гляжу — не нагляжусь!" В Париже ему великолепно! Чудные храмы, святой город... В Бадене он читал начало "Мёртвых душ", пил целебную воду. Всё ему там нравилось. В Страсбурге был поражён изобретательностью старинных мастеров...

Зато о России, о Петербурге! "При мысли о Петербурге мороз проходит по моей коже, и кожа моя проникает страшной серостью и туманной атмосферой... Здесь бы, может быть, я рассердился вновь и очень сильно на мою любезную Россию, к которой гневное расположение моё начинает ослабевать, а без гнева немного можно сказать..."

Вот так, крестник мой. Гневливость — одно из довольно тяжких греховных чувств в Православии. Гоголь сетует, что гнев на Отчину у него ослабевает. На Россию он может только рассердиться, по его мнению.

Заметь, Серёжа, в памятке своей жизни, что отход от истоков собственной Веры, как правило, влечёт за собою ненависть к Отчизне.

“Сентябрь Гоголь провёл в Париже...”

“Из Парижа Гоголь проводил Данилевского до Брюсселя, где они расстались”.

“В Рим возвратился через Лион, Марсель, Геную” (Хронологическая канва. Кирпичников).

Прямо гражданин мира! В Россию не тянет. Но сердцем, как он признаётся, он русский! Именно это сердце и носило его по свету, где в одном из заезжих трактиров Италии в углу, на свободном столике он начал заселять Россию мёртвыми душами.

Перенасыщенное путешествиями, чужой культурой и речью, сердце его горело недобрым пламенем к земле своих предков. Это сердце ещё помнило победы и беды своей земли, но глухой глубинной генной памятью, забитой чуждыми влияниями, воспитанием и чуждой религией! Это сердце не ведало полноты и величия современной ему России...

Множество соотечественников из дворянства и разночинцев подливало масла в сатирический хохот его сердца. Конечно, всё придворное семейство Вьельгорских принимало самое активное участие в жизни Гоголя. Граф Михаил Юрьевич приветствовал всё, что исходило из-под пера Гоголя. Графине Луизе Карловне он читал свои произведения. У него даже случился эпистолярный роман с одной из дочерей Вьельгорских, Анной Михайловной, но в жёны ему её не отдали. Слава славою, а брак был бы не равный. Родовитости Гоголю не хватило!

Зятю графа Вьельгорского, одному из виднейших либералов своего времени, другу Белинского, П. В. Анненкову Гоголь диктовал свою главу из “Мёртвых душ” о Плюшкине. Анненков назвал её гениальной. Так Гоголь писал свои “Мёртвые души”. За границу, вдали от России, бесконечно далёкий от неё, он творил своим воображением Собакевичей, Плюшкиных, Ноздрёвых и Маниловых. Народ у Гоголя описан тоже. Основная часть его — в списках мёртвых душ. Живые: кузнецы-разбойники и хитрецы по полдня с одной рессорой возятся, лишь бы содрать с барина подороже. Селифан, мужик Чичикова, только и знает, что чесать затылок. Только и бренчит на балалайке перед дворовой челядью. Либо ковыряет пальцем в носу...

Лающий Собакевич, сладкоречивый Манилов, балаганный Ноздрёв. Ни церкви, ни души светлой, ни молитвы! После “Мёртвых душ” только и воскликнешь: “Здесь погрёбён человек!” А ведь тень наведена на Россию!

Прочитав “Мёртвые души”, Россию не полюбишь. Её не жаль такую потерять! Её можно только исправлять и перестраивать.

Поприщины, Собакевичи, Чичиковы, Акакии Акакиевичи, Пироговы, носы в колясках, Басаврюки, ведьмы, гнусавые дьячки...

Такую Россию трудно назвать матерью.

Все эти образы, высосанные из пальца воображения, — повод от неё отречься! Но таковой России и не было! Зато какой всплеск славы Гоголя! Гений, великий, первейший — такие эпитеты сопровождают его до конца жизни.

“У нас слово “Отечество” узнается одновременно со словом “проклятие”... И все жалят Россию. Как бы и куда ей запустить яда... Жалит её еврей, жалит армянин, литовец. Разворачивая челюсти, лезет с насмешкой хохол. И в середине всех, распоясавшись, “сам русский” ступил сапожищем на лицо Матери-Родины” (В. Розанов, “Опавшие листья”). Вот плоды просвещённого масонства, на которое поработал Николай Васильевич Гоголь. Эти “просвещенцы” всегда в тени, но очень умеют использовать нужных им людей. Особенно таких даровитых, как Гоголь.

Давай, Серёжа, вкратце оценим состояние России при Николаевском правлении. К концу сороковых годов Россия окончательно сломала жестоковыйную Польшу, стала главной силой в борьбе с европейскими революциями. Всё это сочеталось с активной политикой на Востоке (Иран и Турция) и, наконец, с изматывающей борьбой по укреплению своих границ на Кавказе.

В 1848 году по просьбе австрийского императора Франца-Иосифа русские войска погасили революцию в Венгрии. За это, конечно, враги России злорадно прозвали Николая I жандармом Европы, но не ослабили этим Россию и её значение в мире. Строго наоборот. Кипела и духовная, и художественная жизнь в России. С одной стороны общественного движения — Белинский, Герцен, Станкевич, Грановский, Бакунин. Выходят “Философические письма” Чадаева, пишут Анненков, Сологуб. С другой стороны — противники западного либерализма: Хомяков, Киреевский, Кошелев, Самарин, Аксаковы, Тютчев — члены славянофильского кружка. Их полемика очень будоражила и будила политическую жизнь России, которая оставалась и крепла землёю монастырей

и приходов — крепости Православной. В середине XIX века, то есть ко времени расцвета Гоголевского творчества в России численность православного духовенства доходила до 60 тысяч человек. Именно тогда объезжал наш земляк, камчатский епископ, а позже — митрополит Московский и Коломенский (местоблюститель Патриарха) весь Дальний Восток. У кормила Церкви стоял Святитель Филарет, высокий государственный и святой жизни подвижник. Их в народе называли духовными губернаторами. Далеко за пределами своих губерний, по всей русской земле звучали колокола Киево-Печерской и Троице-Сергиевой лавры, Соловецкого монастыря. В стране действовали три духовных академии: Московская, Киевская, Петербургская.

В живописи творили Брюллов, Иванов, Кипренский, Федотов. В музыке — Глинка, Даргомыжский, Алябьев, Варламов, Гурилёв. Издавалось множество литературных и политических изданий. Расширялись земледелие и наука, развивалась промышленность, богатела Сибирь. Это что, страна Собакевичей и гнусавых дьячков?! Земля Поприщиных и Ноздрёвых?

Она была разною, конечно. У нас в сибирском селе Анга в одно время в двух соседних усадьбах родились святой Иннокентий (Вениаминов) (упомянутый выше), государственный, умудрённый святостью Православия, и безбожник, демократ, известный философ В. Щапов. А в одной купели крестились!

В 1840 году Гоголь заболел! Но об этом уже в другом письме.

Гроза разразилась. Прошла... Всё дышит цветением, юностью. Бегут жёлтые ручьи к Ангаре... Бог даст, скоро увидимся. Ждём тебя на каникулы.

*Твоя любящая крёстная
р. Б. Валентина*

Письмо десятое

Здравствуй, дорогой Серёжа!

С одной стороны, это прекрасно, что на каникулы ты с товарищами пошёл в “палом”, как ты говоришь. Ездили в Дивеево, трудились на Валааме. Понимаю и приветствую твой восторг. Но мне жаль твою маму, которая так надеялась на встречу с тобою, приберегая для тебя милые когда-то твоему сердцу подарки и сладости. Она, конечно, держится и говорит, что паломничество, безусловно, полезней для тебя, чем встреча с нею, но я вижу, как тяжело ей даётся разлука с тобою.

Да, Серёжа, какие-то вещи ты мог бы сам добыть в библиотеках, я уже не говорю о ящике Пандоры, “на который в ближайший век подсело наше никудашнее” Богу человечество. Как Бог только нас терпит! Не оправдывайся паломом! Времени у тебя хватает!

Да, Гоголь заболел! По приезде в Вену, на водах, на которые он так надеялся. И вначале воды помогли ему, подняли его работоспособность. Но потом что-то лопнуло внутри его духа. Думаю, это было самое настоящее посещение Господне. Болезнь была и физическая — расстройство желудка. Но главное, он заболел душою. Как мы понимаем, заболел давно, и сия болезнь нависла над его судьбою тяжёлым плодом воспалённого воображения.

На больного напал страх: “К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведён в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог оставаться в покойном положении ни в постели, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно, это была та самая тоска, ужасное беспокойство, в каком я видел бедного Вьельгорского в последние минуты его жизни”, — писал Гоголь Погодину о своей болезни.

Думаю, Серёжа, это мёртвые души, Басаврюки и весь сонм нечистых духов, которых он по безоглядности и размахистости своей молодости поселил навеки в русском печатном слове.

Душа, Серёжа, по природе христианка. В ней заложена Божья весть — Евангелие, любой отход от которой чреват тяжёлыми последствиями. Не подумай, Сергей, что я укоряю либо осуждаю писателя. Он был молод и имел слишком громадный и рано проявившийся дар, который вырвался в печать из незрелой души и сразу попал во вражьи ловушки и сети. Таковы были его время обстоятельства, и он выплатил за это всей своей последующей жизнью, но её не хватило, чтобы оплатить долг перед своей землёю...

“Я слышал, что Гоголь во время болезни имел какие-то видения, о которых он тогда же рассказывал ходившему за ним с братской нежностью и

заботою купцу Н. Г. Боткину, который случился на то время в Риме (?)” (Аксаков, “История знакомств”).

“Боткин усадил Гоголя полумёртвого в дилижанс, в (котором) он после двух месяцев выпил чашку бульона. Ехали день и ночь...” (А. О. Смирнова, “Автобиография”).

Болезнь случилась нешуточная. Были ли видения у Гоголя и какого рода, мы уже не узнаем. Но в его сознании наметился чёткий поворот. Он явно почувал дыхание смерти и вместе с нею — близость Господа. Во всяком случае, переписанный набело уже после болезни “Тарас Бульба” коренным образом отличается от эзоповой насмешливости его творений последних лет. “Дело великого поту” сотворил Гоголь. В “Тарасе Бульбе” — его творении — нет надобности философствовать, искать подоплёки, выворачивая наизнанку потаённые и не совсем здоровые тайны психики. Здесь всё здорово, сильно, могуче выписано. Светлой памятью большого и (что немаловажно — русского) писателя вспомнились на страницах эпопеи и навсегда запечатлелись дюжинные запорожцы с проседью в усах и черноусые, которые, засучив шаровары, стояли по колено в воде и стягивали челны крепкими канатами. Вольная Запорожская сечь, свежее русское дыхание, древнее, как мир, насыщенная жизнью живопись.

В первой редакции повести, изданной в сборнике “Миргород”, многого не было, что прозвучало гимном в позднем Гоголе. Сквозь “бешеное разгулье” природного казака пронзительно высвечивает идея христианской Руси и народа русского, которому вверен Господом Царский скипетр Мессии. Эта идея освещает произведение с первых строк.

“А поворотись-ка, сын!”

А поворотитесь вы, сыновья казака Тараса, да покажите службу матери-родине, да Господу Богу. “Пчеломкаемся!”

Широко, мощно разворачиваются события повести. Острой крепостью шибает “проверка на прочность” сыновей Тараса. В этом пульсирующем сердце народа впервые слышится государственное сердце автора “Тараса Бульбы”. Сердце любящее, сыновье...

“Хочется мне сказать вам, панове, — я не полениюсь переписать тебе это место, Сергей, потому что ты поленишься найти и прочитать его в книге. — ...Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша, и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Всё взяли басурманы, всё пропало! Только остались мы сирые, как вдовица после крепкого мужа сирая, так же как и мы, земля наша... Нет, братцы, так любить, как русская душа, любить не то чтобы умом или чем-то другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, а... Нет, так любить никто не может”.

На каждой странице, в каждой строке повести — живая кровь трагедии народа, гибель семьи, высокая и не выдуманная философия предательства и верности. Могучею Атлантидою всплывает в творчестве Гоголя русская земля! “Постойте же, придёт время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Уж и теперь чувствуют дальние и близкие народы: подымается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему... Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!”

В “Тарасе Бульбе” заговорил пророк, тот, на которого изначально претендовал Гоголь. По эпической красоте, мощи, родственности с духовной матрицей своего народа Гоголю как автору “Тараса Бульбы” не было равных. Да и сейчас с ним мало кто сравнится...

“Великую ошибку делает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как совершился важный поворот в его жизни”, — пишет уже известный тебе П. Анненков.

Да, Гоголь изменился разительно. Но не все сразу это поняли. Ещё не утих хор похвал и восклицаний по поводу “Мёртвых душ”, и Гомер, и Данте — имена, которыми награждали его современники с лёгкой руки Белинского, — и дамские салоны жаждали с ним знакомств, но Гоголь уже становился иным.

В сороковом году, сразу после болезни он писал Н. Д. Белозерскому: “Я же больше теперь гожусь для монастыря, чем для жизни светской”. В 1842 году он признаётся Н. Языкову: “Мне нужно уединение... Я не рождён для жизни светской... для тревожных, и чувствую с каждым днём и часом,

что нет выше удела на свете, как удел монаха”. Гоголь и за границу читает теперь только святоотеческую литературу: Тихона Задонского, Димитрия Ростовского, Добротолюбие... Делает из них выписки. Список его чтения внушительен и полностью исключает бульварные романы, ходившие тогда по Европе. Он (я повторюсь) так и не узнал России воочию, но приблизился к ней духовно. Он взглянул на неё не через Гегеля и Шиллера, а через творения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина.

В 1845 году Гоголь, по его же слову, жил внутренне, как в монастыре, и не пропустил ни одной церковной службы. “Был сподобен, — пишет он А. О. Смирновой, — вкусить небесные и сладкие минуты”.

В Париже, изучая чинопоследование Божественной Литургии Иоанна Златоуста, он приступает к работе над книгой о Божественной Литургии. Эта книга останется незаконченной и увидит свет только после его смерти.

В 1846 году после второго приступа болезни, случившейся в Висбадене, Гоголь приступает к своим знаменитым “Выбранным местам из переписки с друзьями”. Зерно книги посеяно было ещё ранее, в 1844 году, в “Правиле жития в мире”. Книга эта, как ты помнишь, о необходимости внутреннего переустройства каждого мирянина. Он переустроился сам и учил переустройству других.

Все эти годы ему жадно не хватало России. Он без конца просил у своих многочисленных корреспондентов сведений о ней. Но если ранее он просил анекдотов о России, смешных или порочащих её случаев, то сейчас он ищет света в России. В своих “Выбранных местах...” Гоголь — пророк и Учитель. Он учит светскую женщину жить, поучает правильно болеть, даёт многочисленные советы, что раздражает его близких и друзей. Но чего уж точно они не прощают ему — это христианский и прорусский взгляд на Россию и её жизнь.

Белинский тут же впал в бешенство. “Да, я любил вас со всею страстью, какою человек, кровно связанный со своей страной, может любить её надежду, славу, на пути... развития прогресса”. Он справедливо замечает Гоголю, что тот привык смотреть на Россию “из своего прекрасного далека”. Но собственный взгляд Белинского на Россию столь же искажён, как и взгляд молодого Гоголя на неё.

“Поборник кнута, апостол невежества, поборник обскуратизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете? ... не есть ли поп на Руси для всех русских... дурья порода, полуханы, жеребцы? ... Представители обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства. По-вашему, русский народ — самый религиозный в мире? Ложь! ... русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится — молиться, не годится — горшки покрывать... Религиозность не привилась в нём даже и духовенству... Большинство нашего духовенства всегда отличалось толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством...” Письмо Белинского Гоголю 1847 года из Зальцбрунна.

Это страстное письмо громадно по объёму и брызжет ядовитою слюною на Православие и духовенство. Мы с тобой уже говорили, Серёжа, что основные силы масонства направлены на борьбу с православным духовенством и замену святоотеческого мировоззрения на пантеизм. Из масонских лож вышла идея о больном обществе и невежественном народе, которых нужно лечить и просвещать. Образчик таковой идеологии чёткой печатью скрепляет всё болезненно-злобное письмо Белинского.

Но не только Белинский ополчился на книгу переписки Гоголя. Даже самые близкие его друзья. “... Вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге... Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и Бога, и человека”, — пишет С. Т. Аксаков Гоголю по выходе книги.

“Ты избалован был всею Россиею: поднося тебе славу, она питала в тебе твоё самолюбие. В книге оно выразилось колоссально, иногда чудовищно. Самолюбие никогда не бывает так чудовищно, как в соединении с верою. В вере оно уродство” (С. Г. Шевырёв — Гоголю. 1847).

Но не только друзья и враги не приняли книгу. Столпы Православия отзывались сдержанно и критически. “... Она издаёт из себя свет и тьму”, — отзывался о книге переписки с друзьями святитель (в ту пору архимандрит, настоятель Троице-Сергиевой пустыни) Игнатий (Брянчанинов). “Религиозные его (Гоголя) понятия неопределённые, движутся по направлению сердечного вдохновения, неясного, безотчётливого, душевного, а не духовного”.

Архиепископ Иннокентий, которому Гоголь послал авторский экземпляр, высказал своё мнение в письме к Погодину: "...Радуюсь перемене с ним, только прошу не пародировать набожность. Она любит внутреннюю клеть... Если он будет неумерен, то поднимут на смех, и пользы не будет".

Гоголя после выхода в свет книги подняли-таки на смех, который он усердно стяжал на протяжении всей своей доповоротной жизни. Гоголь был огорчён. Очень огорчён! Раздражения окружающих он не ожидал. Оптинский старец Макарий писал по поводу его книги: "Виден человек, обратившийся к Богу с горячностью сердца. Но для религии этого мало. Чтобы она была истинным светом для человека, собственно, и чтобы издавала из него неподдельный свет для ближних его, необходима и нужна в ней определительность. Определительность сия заключается в таком познании истины, в отделении её от всего ложного, от всего кажущегося истинным. Посему желающий стяжать определительность глубоко вникает в Евангелие по учению Господа... Если человек будет руководить прежде очищения... своим вдохновением, то будет издавать из себя свет, но смешанный, обманчивый, потому что в сердце его лежит не простое добро, но добро, смешанное со злом..."

Напомню, Серёжа, что книги Гоголя "Размышления о Божественной Литургии", "Выбранные места...", "Авторская исповедь" вышли в свет в Советской России только по её окончательном закате. Они пользовались спросом очень недолго и только у невоцерковлённой, мало что мыслящей в духовных вопросах интеллигенции. Но она интересовалась ими, она жаждала Церкви. По мере воцерковления многие забыли о Гоголе, потому что вкусили истинного хлеба Божественной Литургии и святоотеческого Предания. Другие же, по Евангелиевой притче о сеятеле, полюбопытствовав, совсем отошли от Церкви, и Гоголь стал им вообще не нужен. Такова, думается, судьба книги. Она ступенька вниз, и не для всех. В основном для интеллигентствующих умников. И то ненадолго...

В 1847 году Государь император Николай I приказал министру иностранных дел снабдить Гоголя беспрошленным паспортом на полтора года для свободного путешествия к святым местам... Гоголь направляется ко Гробу Господню. Жить ему оставалось пять лет. Но об этом – в следующем письме.

Как ты вырос, должно быть, Сергей! И загорел за лето! Видимо, придётся нам с мамою двинуться к тебе.

*Твоя крёстная р. Б. (недостойная)
Валентина*

Письмо одиннадцатое

Дорогой мой мальчик! Так и стоит твоё лицо перед моими глазами. Ты, конечно, возмужал, переменялся. Взгляд стал твёрже и осознаннее. Особенно когда ты взглядывал на свою красавицу-клирошанку с русой косою, которая вспыхивала под твоим взглядом таким густым румянцем, что хоть лампаду от её щёк зажигай. Славная девочка, она будет доброй женой своему избраннику. Мать твоя счастлива, я же молюсь о том, чтобы воля Господа присутствовала в выборе твоей судьбы. А всё же Валаам прекрасен! И храмы, и древние стены монастыря, и северное жемчужное море! Нет, ты был много мудрее нас, поехав на Валаам, а мы за тобою. Не то просидели бы мы в Иркутске! Дело к осени. Жизнь всё спокойнее, воздух прозрачнее. В храмах уже включают отопление.

Гоголь Николай Васильевич, в отличие от тебя и своих родителей, глубокое чувство к женщине испытал поздно. Ему было уже сорок лет. Поворот к России, её Творцу уже случился в его сознании. Краеугольные вещи написаны. Всю свою жизнь почти, однажды выехав из Васильевки в Петербург, Гоголь так и провёл в дилижансах. Мы уже говорили о его предпочтении жить за границей, по чужим виллам, домам и дачам, у очень состоятельных и знатных друзей. Да и в России он не знал своего дома. Трагедия его в отсутствии собственного дома на земле. Да и его роман с Анной Михайловной Вьельгурской (эту фамилию в нескольких источниках пишут по-разному: и Вьель... и Виль... и Вель...) был подобием романа. Собственно, это была естественная жажда и мечта о романе и женщине всей его жизни. Болезни и нервное состояние его существа уже тянули к тихой гавани и успокоению, которое могла дать ему только семья. Анна Михайловна была младшей избалованной дочерью знатного семейства. Некрасивая, воспитанная на романтике немецких и французских романов, она всё же могла составить ему семью и счастье.

Гоголя в семействе считали своим человеком и настолько безопасным и не годящимся в партию мужа, что отпускали девицу гулять с ним одну. На этих прогулках и завязалось что-то подобное чувству. Подобие — потому что Гоголь был абсолютно (по моему мнению) неспособен любить. Он был способен выдумывать даже чувство, у него была поздняя тяга к дому и родине, но не способность созидать и любить. Говорить он мог о чём угодно: много, пространно, возвышенно... Анну Михайловну по-домашнему звали Нози. Их роман был в намёках, лёгком кокетстве Нози, бесконечных поучениях Гоголя и бурной переписке. В эти годы Гоголь прибывался к России, жил то в Одессе, то в Киеве, упивался провинциальной славой, почестями, обедами в его честь. Много писал писем. Мечтал о Нози.

“Нервическое ли это расположение или истинное чувство, я сам не могу решить”, — писал он тогда сестре Нози Софье Сологуб. Он уже пишет второй том “Мёртвых душ” и ищет пути к руке Анны Михайловны. Думаю, что неосознанный, а может, и хорошо осознанный расчёт в помыслах об этом браке и присутствовал у Гоголя. Известно, что он очень умел приспособить выгоду к своим целям.

Я хотела бы, Серёжа, чтобы ты сам прочитал переписку его с Нози, дабы понять, что то, исполненное Гоголевских софизмов и поучений, славословие мало похоже на объяснение в истинном чувстве.

Во всяком случае, знакомство в 1847 году с протоиереем из Ржева, отцом Матвеем Константиновым имело на Гоголя гораздо большее и поворотное влияние. Многие пишут о губительности этого влияния. В частности, о. Матвея называет изувером и фанатиком известный писатель Вересаев, составивший по переписке Гоголя весьма необъективную его биографию. Думаю, о. Матвей был послан Гоголю как человек убеждённой трезвой веры и здорового взгляда на Россию и её народ.

Этот год был тяжёлым для Гоголя. Книги его публицистики и духовные не приняты ни среди врагов, ни среди друзей. “Отношения мои стали слишком тяжелы со всеми теми друзьями, которые поторопились подружиться со мною, не узнавши меня”, — писал он из Франкфурта Аксакову. Да, пока он писал о неумытом рыле России, пока он заселял беспредельное духовное пространство России Ноздрёвыми и Собакевичами, он был принят в лучших домах и знатных семействах Петербурга, вплоть до царственной особы. Но когда же он заговорил о любви к России, о её предназначении и духовности, поднялись вопли: Гоголь исписался! Гоголь сумасшедший. Вот когда он писал “Записки сумасшедшего”, доморощенные философы искали в сходящем в душевный мрак Поприщине русское поприще и протестную подоплёку. Когда он расписывал дрожащего Акакия Акакиевича из “Шинели”, низеньких чиновничков с потными затылками, генералов с золотыми пуговицами, носы в генеральских мундирах (с той подоплёкой, что любой нос может заменить в Петербурге русского генерала), всех этих Хлестаковых, Ковалевых, Собакиных — он гений!

Но когда же он сделал пусть робкую, туманную, в своём романтическом духе, попытку повернуться реально к земле своего народа, его тут же объявили душевнобольным. Конечно, непомерная гордыня сквозит уже в Завещании Гоголя, когда он просит не ставить ему лишних памятников по смерти, а всем начинать исправление себя.

В январе 1848 года из Неаполя Гоголь двинулся по святым местам. Путь его лежал в Иерусалим, где он говел и причащался у Гроба Господня. Целую ночь он провёл у Гроба Спасителя, и был благословлен маленькой частью гроба Митрополитом Петрасом Мелетием “ради усердия, которое показывал”. “Что он чувствовал у гробницы Спасителя, осталось тайной для всех. Он мне не советовал ехать в Палестину, потому что комфорта совсем нет”, — писала в своей “Автобиографии” Смирнова.

“Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее — другой, в Назарете, застигнутый дождём, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции”, — вот так описал сам Гоголь свои впечатления от путешествия по святым местам Жуковскому.

Сердце его ещё не раскрылось родному зову. Ему была нужна властная рука посланца — о. Матвея Александровича Константинова. Странно, что все ранние и позднейшие исследователи Гоголя табуировали реальную личность его духовника, забрасывая о. Матвея только негативными эпитетами. “Что вам сказать о нём? — пишет сам Гоголь графу А. П. Толстому, в доме которого он и закончил свои дни. — По-моему, это умнейший человек из всех, каких

я доселе знал, и если я спасусь, так это верно вследствие его наставлений, если только, нося их пред собой, буду входить больше в их силу”.

Думаю, что сама зацепившаяся за погибель в первых своих творениях душа Гоголя почуяла этот плотик спасения, брошенный ему Господом в самую пучину русофобских жизненных волн.

В последние годы своей жизни Гоголь много и глубоко болеет. Большею частью душевно. Предполагаю, что в русскую Православную Церковь его привёл о. Матвей. С ним он и познал позднюю радость воцерковления.

Душевное состояние Гоголя, конечно же, рикошетило и на физическое, и без того слабое, здоровье его, но всё же, Серёжа, многие сомнения охватывают всякого, кто попытается изучить историю его болезни. Да, он много ездил, писал... Он был ухожен, много и заботливо лечился. Физически не был изношен. Диагноза не присутствует нигде, даже перед самой его смертью.

Гоголь последних предсмертных лет внешне вёл обыкновенный образ жизни. То есть проживал в богатых домах знатных семейств.

Две мои приметы о нём хочу подчеркнуть тебе, Сергей. Первое (я уже писала об этом тебе) — это отсутствие дома в жизни Гоголя и отсутствие всякого желания его иметь. И другой, не менее печальный факт, — это строгая избирательность в общении. Только высокопоставленные лица, знатные семейства. Круг придворной аристократии. К прочим он относился без всяких церемоний. Известен случай в киевском университете, например, когда ему была представлена вся профессура, благоговейщая перед ним. После приглашения его на застолье Гоголь скривил откровенно брезгливую гримаску и скрылся, не прощаясь.

Перед смертью у него исчезла и потребность в родственных связях: сестры его и мать жаловались на полное равнодушие Николеньки к ним и нуждам матери. Всё это признаки фарисейства, неизменно сопровождающие всякую неочищенную душу. На эту его двойственность указали и Оптиные старцы, когда Гоголь наконец-то посетил Оптину пустынь.

“Через Ив. Вас. Киреевского Гоголь узнал, что в Оптиной пустыни, в скиту, живёт знаменитый отшельник и молчальник. Гоголь его так измучил своей нерешительностью, что старец грозил отказать его принимать”, — пишет А. О. Смирнова в своей “Автобиографии”.

В сводном тексте материалов биографии Гоголя есть свидетельство о том, что он быстро покинул Пустынь, оттого что почувствовал себя там дурно, расхворался и нехорошо со всеми простился. Вернулся он оттуда смущенный и невеселый. Всё-таки писать о христианстве цветисто и возвышенно — одно, а жить по-христиански — совсем другое!

Трагедия раздвоенности, той глубинной тайны, которую он носил в своём сердце, сопровождала его жизнь и творчество. С одной стороны, громадный природный дар народного писателя. С другой — он жаловался, что слишком мало знает Россию. “Я нахожусь в затруднительном положении, — рассуждал он, — чтобы лучше узнать Россию и русский народ, мне необходимо было бы путешествовать, а между тем уже некогда, мне около сорока лет, а время нужно, чтобы писать”.

Давай уж, мой мальчик, приступим к последним временам его жизни. На дворе у Гоголя 1851 год. Ему отказано в руке Анны Михайловны Вьельгорской. Второй том “Мёртвых душ” не имеет такой известности, как первый. При чтении отрывков из этого сочинения друзья смущённо молчат, не высказывая восторга. Он уже пережил полное непонимание своей духовной прозы, встретил о. Матвея, ржевского протоиерея, и болезненно воцерковился. Перед нами совсем другой Гоголь. Гоголь перед вечностью. Но это уже будет другое письмо.

Скоро будем копать картошку. Как я люблю эту пору! Жаль, что тебя не будет с нами. Напекли бы её в кострище. Поди забыл, какая она бывает вкусная на живой природе.

Жду письма.

*Любящая тебя, твоя “Кока”
р. Б. Валентина*

Письмо двенадцатое

Сегодня выпал первый снег, Серёжа. Выпал и растаял. По утренику замёрзли все цветы. А травка зелёная — ничего, отошла, и к обеду — как умытая стоит.

Гоголь не замечал травы. Он любил яркие цветы, крупные, южные... Любил солнце, бархатные южные ночи. Он часто мёрз, особенно в Петербурге. Конечно, ты заметил, что это признак вегетососудистой дистонии. Но он ведь был южанин по рождению, во-первых... Во-вторых, это может быть знаком неправильного лечения, особенно на Западе, коим он увлекался.

К концу жизни Гоголь много страдал. Он страдал духовно, потому что переход в Православие давался ему болезненно и с трудом. Отец Матвей Константинов звал его "Мой колеблющийся брат". Ему с трудом давался пост. Личный врач его Тарасенков вспоминал: "Нередко я начинал есть постное по постам, — говорил он мне, — но никогда не выдерживал... всегда чувствовал себя дурно и убеждался, что мне нужна пища питательная". Страдал душевно, потому что Вьельгорские оставили его, почти оскорбительным для себя его неуместное сватовство к их дочери. Оставили многие друзья за духовные его творения. А главное, он впервые после неумеренных похвал испытал на себе критику "Переписки...". Страдал он и физически.

"Гоголь был не прежний Гоголь, а больной человек, изнурённый постоянными болезнями, цвет лица был землистый, пальцы опухли, вследствие тяжких продолжительных страданий художественный талант его угасал... Старость надвигалась, силы ослабли, а особенно сильно преследовал его страх смерти..." (Протоиерей Ф. Образцов)

Гоголю было тогда сорок один год!

Врачи начали сопровождать его очень рано. В предсмертные годы известное светило медицины Иноземцев, друг и сокурсник Пирогова по Московскому университету, масон. Кроме того, Эвениус, того же Московско-университетского разлива, и Тарасенков, чьи рекомендации трудно назвать оздоровительными.

Последний год Гоголь проводил в молитве. "Он вставал в пять. Сам умывался, одевался без помощи человека, шёл прямо в сад с молитвенником в руках... Предлагая часто Четы-Минеи. Но я страдала тогда расстройством нервов и не могла читать подобного. Каждый день читал житие святого на этот день". А. О. Смирнова.

Осенью 1851 года Гоголь жил у графа А. П. Толстого на Никитском бульваре и готовил второй том "Мёртвых душ". Семья эта, Сергей, была достаточно религиозной и отличалась от подавляющей массы знатных семейств Петербурга. Особо от Вьельгорских.

А. П. Толстого звали в Петербурге святым человеком, он был близок к Оптиным старцам! В свете поговаривали, что граф тайно носил вериги. Со своей супругой, дочерью грузинского князя, Толстые жили как брат с сестрой, что не мешало им любить и заботиться друг о друге. С этим благочестивым семейством Гоголя свёл о. Матвей, ставший единственным и настоящим его духовником. Во флигеле усадьбы Толстых, который был отведён только для Гоголя, всё было создано для его работы и молитвы. Его часто видели за рабочим столом, бывало, что читал он окружающим отрывки или главы второго тома "Мёртвых душ". Посещал театр, где шли его "Женитьба" и "Ревизор"...

Но в феврале 1852 года умерла Хомякова — сестра Языкова. Она была беременна, и её смерть настолько поразила Гоголя, что он увидел в ней и предзнаменование своей смерти. Со дня похорон Хомяковой он начал готовиться к собственной кончине.

Конечно, легко это сказать. Всё-таки мужчина в 42 года в расцвете славы и незаконченных писаний, ещё не изведавший семейного покоя, без смертельного диагноза, поставленного ему врачами, не допустит и мысли об этом. Видимо, чуткий до суеверия Гоголь прочёл знак судьбы, открывшийся ему до времени.

"В понедельник на Масленице (4 февраля) приехал он ко мне вечером сказать, что некогда ему теперь заниматься корректурами... решил попутиться и поговорить. Я спросил его: "Зачем на Масленой?" Так случилось, говорит он. — Ведь теперь и Церковь читает уже "Господи, Владыко живота моего". С. П. Шевырёв.

Отец Матфей был духовником очень строгих правил, которых неукоснительно придерживался сам. Он требовал, чтобы перед кончиной Гоголь отрёкся от Пушкина. "Отрекись от Пушкина, — требовал он. — Он был грешник и язычник" (Протоиерей Ф. И. Образцов). Судя по свидетельству о. Матфея, Гоголь с трудом согласился на это...

Хочу заметить тебе, мой крестник, что таковое во время нашего поэта было распространённым в строгой Православной среде.

“Масленую неделю предсмертья Гоголь посвятил говению... несмотря на ослабление тела, продолжал поститься и проводить ночи на молитве”. Шенрок, Тарасенков.

“В четверг явился Гоголь в церковь (Саввы Освященного на Девичьем поле) ещё до заутрени и исповедовался. Перед принятием Св. Даров за обеднею пал ниц и много плакал. Был уже слаб и почти шатался... Вечером он опять приехал к священнику и просил его отслужить поутру”. М. П. Погодин.

“В понедельник и вторник первой недели Поста наверху у графа была всенощная; Гоголь едва мог дойти туда, остановился на ступенях, присаживался на стуле, однако стоял всю всенощную и молился. День оставался почти без пищи, ночи проводил в молитве перед образами, в тёплой молитве со слезами”. Тарасенков, Шенрок.

Вот тебе свидетельства современников о последних днях его жизни. Основу их, конечно, составляют наблюдения врача Тарасенкова, популярного в своё время в Москве доктора. Его медицинские отчёты (которые потом полностью привёл в своих материалах о Гоголе исследователь его жизни Шенрок) больше похожи на опыты и наблюдения экспериментатора над подопытным.

Во всяком случае ни диагноза, ни хотя бы приблизительного лечения не производилось. А если учесть, что к больному почти никто не допускался (якобы по просьбе самого больного), то всё это наводит на очень печальные мысли.

И наконец, мы подходим к главному событию его жизни. “Ночью во вторник (с 11-го на 12 февраля) он долго молился в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика... и пошёл со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, которую проходил. Пришел, велел открыть трубу, как можно тише, чтобы не разбудить никого, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесён, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесёмкой, положил её в печь и зажгёт свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: “Барин? Что это вы? Перестаньте!” — “Не твоё дело, — ответил он. — Молись!”... Он вынул связку из печи, развязал тесёмку, уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажгёт опять и сел на стуле перед огнём, ожидая пока всё сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лёг на диван и заплакал”. М. Г. Погодин “Москвитянин”. 1852.

Был ли этот поступок опрометчивым, Сергей, крестник мой? “Религиозным иступлением” или “аффективным приступом циркулярного психоза” как назвал этот поступок известный психиатр Д. Е. Мелехов в своей работе “Психиатрия и проблемы духовной жизни”.

Что тут скажешь?! После Ломброзо наши психиатры от истории и литературы принялись диагностировать (очень избирательно) многих известных, особо послуживших Отечеству личностей. Гоголь избежал диагноза при жизни, зато его “припечатали” им сто лет спустя. Конечно, в личности Гоголя, его жизни и творчестве много симптомов для психиатрических диагнозов. Его болезнь, первый приступ которой он перенёс в 1840 году, с её “болезненной тоской, которой нет основания”, “как смертный ужас” психиатр назвал “бредом греховности самоуничтожения”. Мне кажется, такой взгляд на духовную жизнь человека, а особенно имеющего влияние на целые народы в продолжительных веках, преступным. Можно, конечно, описать тернистый путь художника как приступообразную шизофрению или маниакально-депрессивный психоз. Это будет равно вскрытию и описанию трупа без всякого понимания, почему, как и зачем жило когда-то это тело. Таким вот образом заменяется всякая духовная борьба психиатрическими болезнями, и весь многовековой опыт борьбы с самим собой, а затем и с убийцами рода человеческого — Сатаной и нечистой силою, начиная с пустынников, отшельников, великих подвижников, да и просто благочестивых христиан объявляется патологией и психопатией. Явления и откровения можно объявить маниакальным бредом, так же как весь духовный опыт святоотеческого предания относительно явлений галлюцинаций в психиатрии.

Наше старчество очень хорошо разбирается, от кого происходят подобные явления. И отчего. Оно понимало состояние прелести, и вражеских нападок, и истинно Божьих указаний и знаков.

Обнажённая душа художника, конечно, более подвержена метаниям и неустойчива по сравнению с нормальным человеком. Но таковы законы творчества. Слово — огненная энергия. Она подымает народы, но и разрушает. Она и “древо жизни”, и “сокрушение Духа”.

То состояние, которое испытал Гоголь в марте 1840 года в Вене — это состояние (по моему мнению) души, вставшей на неверный путь. Мы с тобой,

Сергей, уже разбирали начало его творчества. Это и опрометчивая, от молодости, безудержность, с которой он заигрался, языческие верования в нечистые силы, которые подымал он из самой бездны нашего национального сознания, давно изжитые. "...Религия наша, как и католическая, совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменить одну на другую. Та и другая истинна..." То есть полная слепота в самых корневых различиях двух религий и народов, их исповедующих. Отчего происходили и происходят самые кровавые войны на земле. Кстати, прокатолические пристрастия преследовали Гоголя до самого конца его жизни — всё это привело его к попушению Божию: Ангелы отступили, и враг напал на его душу.

Подобные страшные помрачения испытывали и другие художники. Например, Лев Толстой. В августе 1869 года сорокадвухлетний писатель Толстой отправился в Пензенскую губернию, где продавалось выгодное имение. В ту пору Лев Николаевич всецело был поглощён интересами семьи, но революционные мотивы, отрицание Алтаря и Престола уже смертным холодком обдавали его действия и творчество. Он ночевал в Арзамасе, и там его постигло ужасное потрясение. "Мучительнее чувства я никогда не испытывал, и не дай Бог никому испытать" (письмо к жене). "Мне так страшно было, — описывает он это чувство. — Чего я тоскую, чего боюсь?" "Меня — неслышно отвечает голос смерти. — Я тут". Мороз продрал меня по коже". Один в один страх смерти, что испытал и Гоголь впервые в Вене в 1840 году.

Я думаю, что многие великие художники слова, музыки и живописи испытывали в жизни подобные чувства. Могу назвать ещё Писемского, Левитана, Врубеля, Рябушкина... Думаю, что поживи Лермонтов подольше, он не избежал бы духовной трагедии...

Подмена духовного опыта Гоголя психическим заболеванием для меня лично неприемлема.

Мелехов сам пишет об отсутствии истории болезни и врачебного её описания как психиатрической, так и болезней тела. Конечно, можно диагностировать страдания художника аффективно-бредовым психозом, и не только у Гоголя, перечеркнув тем самым надобность в художественном восприятии жизни нации, да и всего человечества. И подменив (повторюсь) опыт духовной борьбы с врагом рода человеческого психиатрическими заболеваниями.

Когда-то, на заре христианства, древнее старчество в посты уходило молиться в пустыню, где на него нападали эти враги (подробно об этом описано в Житии Марии Египетской, которое Церковь святая читает на пятой неделе Великого Поста). Их духовный опыт побед и падений указал человечеству путь к Спасению. Единственный путь! Эту духовную борьбу тоже можно со всей рациональностью нынешнего нашего сознания (полумёртвого) описать маниакально-религиозным психозом...

Мелехов Д. Е. (при всём моём уважении к нему) не первый связал вопросы психиатрии с проблемами духовной жизни. До него гораздо глубже и обстоятельнее связь греховности, падений души и в итоге её заболеваний описал в своём труде "Основы искусства святости" епископ Варнава (Беляев). Писали об этом и покойный бывший глава зарубежной Церкви, митрополит Виталий, и монах и философ Андроник (Лосев), да и многие другие.

Читая же Мелехова, понимаешь, что диагноз ставит невоцерковлённый человек, теплохладный к вере, как и Гоголь в начале своего духовного пути. Что называется, интересующийся. Он пишет о смерти Гоголя как бы во время одного из самых тяжёлых аффектных бредовых приступов, при которых бедная душа, как гонимая ("Яко погнал враг душу мою". Псалтырь), не даёт человеку ни минуты покоя, и он мечется. Гоголь же выстаивал все длинные (пятчасовые) службы Великого Поста, потом стоял ночами на молитве. Моллился глубоко, искренно перед смертью, с земными постовыми поклонами, несмотря на физическую немощь тела. Депрессивное состояние не способно на такие подвиги. Вспомни, Серёжа, А. Смирнову, которая в "нервном расстройстве" не могла выдержать даже домашней читки "Четы-Миней". В работе Мелехова, как и в других неправославных источниках "друзей" Гоголя и его биографов, обвиняется о. Матфей.

Я прошу тебя, Серёжа, зная твою неуёмную пытливость, не увлекайся ты этими работами по психиатрии и психологии. Увлекут — не выберешься. Сейчас психологов — пруд пруди. Они заменяют многим духовников. Но ты знаешь, что духовники ставят иные диагнозы и другим языком. Во всяком случае, они влекут вверх, к Господу Богу, напоминая о вечности. Вся эта психиатрическая армия в лучшем случае оставляет душу на земле либо снижает её местопребывание в адовы круги, якобы отвлекая её от болезни.

Как бы ни было руководство о. Матвея прямолинейным (и на взгляд Мелехова неумелым), оно было спасительным. Гоголь и в жизни был очень расчётливым, и перед смертью душа Гоголя расчётливо и точно ухватилась за спасительный плотик о. Матвея...

Вернёмся же на узкий и тернистый путь — к последним, исполненным титанического труда и духовной борьбы дням Гоголя.

Но в другом письме. Почеломкаемся, мой друг, как в старину говаривали! Тороплюсь на службу.

*Твоя крёстная
Валентина*

Письмо тринадцатое

Опять зима, мой мальчик, а мы все ещё с Гоголем...

Везде белый снег, и особенно вкусно пахнет по эту пору вымерзающая поленица. Топим печи на даче, глядим на огонь. Снег скрипит, особенно вечером... Шаги — как музыка... А мы всё с Гоголем...

После уничтожения рукописей второго тома "Мёртвых душ" мысли о смерти не оставляли его ни на минуту.

"С этой несчастной ночи он сделался ещё слабее, ещё мрачнее прежнего: не выходил больше из своей комнаты, не изъявлял желания видеть никого. Сидел в креслах по целым дням в халате, протянув ноги на другой стул... По ответам его видно было, что он в полной памяти, но разговаривать не желает". Наблюдения его лечащего врача Тарасенкова холодны и безотносительны. Нет ни малейшего намёка на лечение болезни, ни какого-нибудь желания её лечить. "Иногда по вечерам дремал в креслах, а ночи проводил в бдении на молитве, иногда жаловался на то, что у него горит голова и руки зябнут, один раз имел небольшое кровотечение из носа, мочу имел густую тёмно окрашенную, испражнения на низ не было всю неделю. Прежде сего, за год он имел течения из уха как бы от какой-то вещи, туда запавшей, других болезней в нём не было замечено. Сношений с женщинами он давно не имел и не чувствовал в том потребности, и никогда не ощущал от этого особого удовольствия; онанию также не был подвержен". Тарасенков.

Как эти хладнокровные записи врача похожи на наблюдения за подопытным объектом, на котором испытывается новое лекарство либо яд...

Болезней нет! Диагнозов психических прижизненных нет. А от депрессий не умирают! От депрессии теряют работоспособность, чего не скажешь о Гоголе. Писать он жаждал до последних дней. И в предсмертную пору стремление к Богу и молитве у него только усиливалось. Записи его даже на клочках бумаги были выдержками из творений святых либо Евангелия. Трудно назвать то высокорелигиозное состояние последних дней Гоголя депрессией. Отказ от пищи, на который как на симптом указывает Мелехов, обычное явление в святоотеческой аскезе. Всё Священное Писание заполнено выдержками о постах многодневных и строгих. Только после усиленного поста и молитвы пророки и святые беседовали с небожителями и им открывалось сокровенное. В народе говорят: "Сытое брюхо к молитве глухо".

Ты спрашиваешь, Сергей, почему тёмные состояния и приступы одержимости не повторялись, допустим, у Пушкина или Толстого, а преследовали именно Гоголя. Думаю, просто потому, что вышеназванные художники любили женщин. Особенно Пушкин. И греховно, и в семье. У них были семьи, у них рождались дети, было на что тратить свою душевную энергию. Семья требует много забот, и времени на себя остаётся мало. Они ведь ещё и писали! И много писали. Толстой в своей усадьбе любил работать физически.

Гоголь же не связал свою жизнь с семейными обязательствами. Своего дома он не имел, а значит, не знал забот о нём. Время нужды в молодости было очень коротким. Физически он не работал никогда. Я иногда думаю, что пропаши Гоголь хоть одну борозду на пашне, вряд ли он стал бы писать Хлестакова. Недаром он признавал в себе Хлестакова. Прокатал жизнь по Европе. И предсмертные страдания, может, были попущены ему как малое искупление его беззаботной, вхолостую перемолотой (только на себя, и только о себе и своих творениях) духовной энергии...

В середине Поста Гоголь отказался видеть своего медицинского наблюдателя. Может, что-то заподозрил и прозрел. Скорее всего, он ему стал не надобен. Гоголь готовился к близкой смерти. Все плотские страдания ему казались естественными. Он жаждал покоя, одиночества и молитвы. В четверг

Великого Поста (чистый первой недели) сказал: “Надо меня оставить! Я знаю, что должен умереть”.

Видимо, ему были явлены откровения, подвигавшие его к приуготовлению к смерти, уже им видимой. Но с ума Гоголь не сошёл, как утверждают наши психиатры. Наоборот, все его действия глубоко осознанны. Одна из последних его записей, написанных на клочке бумаги красивым и твёрдым почерком, ровным, как и его психика в тот момент, гласит: “Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моём полученный урок?” Эта запись, Сергей, говорит сама за себя! И говорит о сокровенном уроке, преподанном Гоголю Промыслом Божиим. Бытовало, особенно в советские времена, мнение, будто бы Гоголь заморил себя и умер с голоду. Чуть несусветная! Гоголь не голодал. Он ограничивал себя в пище, что было полезно не только духу его, но и организму. Православные подвижники постились по сорок дней, не принимая ничего, кроме просфоры с водой святой. Народ по постам постился гораздо строже Гоголя. А работал физически, как атлант, да и про святую Церковь не забывал. Человечество последнего века — это зажавшееся человечество, Сергей. А потому глухое к небесам. Поставив во главу угла брюхо вместо души и Духа, человек сам себя низводит до скотского состояния.

Чем дальше мы следуем за многочисленными свидетельствами последних дней великого русского писателя, тем большие сомнения одолевают нас. Врач Гоголя, светило медицины Иноземцев вначале предполагал (не ставил) своему пациенту такой удивительный диагноз, как тиф. Таковой эпидемии, как тиф, в стране на тот момент не было. Доктор Тарасенков при чрезвычайной худобе и слабости Гоголя свидетельствует, что у того “был полный и скорый пульс, язык чистый, но сухой, кожа имела натуральную теплоту (температуры не было. — В. С.). По всему видно, что у него не было горячечного состояния (которое сопровождает тиф), и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита”. Тарасенков.

Окружающие Гоголя Толстые и врачи старательно заботились о том, чтобы больной ел и пил. Граф Толстой поехал к Митрополиту Филарету, чтобы словом архипастыря “воздействовать на расстроенное воображение кающегося грешника”. Филарет (ныне святитель Филарет) передал для Гоголя, что сама Церковь повелевает предаться в недугах воле врача. И что послушание выше постов и молитв, дабы он принимал пищу по послушанию. На что больной выпил немного вина для укрепления сил. На все увещания он отвечал тихо и кротко: “Оставьте меня”, “Мне хорошо”. (Плетнёв в письме Жуковскому.)

“Духовник о. Матфей приезжал к Гоголю из своей провинции очень часто. Священник приходил каждый день. При нём нарочно и сразу же подавались сало и чернослив. Священник приглашал Гоголя к трапезе, и тот неохотно, но ел с ним каждый день. Потом слушал молитвы. На вопрос священника, какие читать, отвечал: “Всё хорошо! Читайте, читайте!”

Пока он имел ещё силы писать, то записывал на длинных бумажках цитаты из Евангелия. Он был весь в Боге и с Богом! Земное, включая пищу, не интересовало его!

В понедельник второй недели Поста соборовался в полной памяти, держал свечу и плакал от умиления. На предложение принять пилюли душиераздирающим криком закричал: “Оставьте меня! Не мучьте меня”. С этой минуты его оставили в покое...

О высоте и трезвости его состояния Духа говорят его последние слова, сказанные в полном сознании: “Как сладко умирать!”

Вспомни, Серёжа, первый приступ болезни в Вене, когда он от страха смерти не знал ни минуты покоя и не мог найти себе места. А у Толстого от страха смерти мороз пошёл по коже... Нет, в этой последней его фразе голы очищенной, здоровой и Богоносной души!

Конец же его был мучителен. Странно, что его как бы лечили, а вообще-то — добивали дипломированные врачи. Ему лили на голову холодную воду. Он стонал: “Матушка, что они со мною делают?” Насильно садили в холодную ванну, обматывали холодными мокрыми полотенцами и усыпали его нос пиявками, а он уже начинал бредить. Всё это проделывалось в ночь его кончины. Можно сказать, мученической! Он стонал, кричал, просил о помощи. Присил покоя... Ему держали руки, чтобы он не касался пиявок, которые почти заползали ему в рот. “Они распоряжались им, как сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Врач Клименков приставал к нему, мял, ворчал, поливал голову каким-то едким спиртом, а когда больной от этого

стонал, продолжал поливать. “Что болит, Николай Васильевич? А? Говорите же!” Но тот стонал и не отвечал (Тарасенков).

21 февраля 1852 года Гоголь скончался...

Я не буду говорить о шумной реакции русской публики на его смерть и о многолюдных похоронах. Россия – удивительная страна, она не помнит зла. А русский народ – самый благодарный и благородный в мире! Гоголевскую сатиру Россия проглотила легко и тут же забыла о ней!

Гоголь умер как христианин, православный христианин, что очень важно!

Отец Матфей свидетельствовал о полном его очищении перед смертью. Как духовник Гоголя он знал это, как никто...

Жизнь и смерть Гоголя – это трагедия посланца Божия (а по громаде дара и его силе он безусловно должен был исполнить великую миссию на земле, во всяком случае, для России). Но волею обстоятельств воспитания, окружения попал в крепкие вражеские сети смертного духа и его тайных обществ. Эта вражеская, по сути, камарилья отвела художника от его предначиненного ему пути и долга. В своих первых творениях, под одобрительное жужжание “друзей” он со всей опрометчивостью молодости, силою своего уникальнейшего дара вскрыл запретный сосуд с нечистью и описал её. Затем стал врачевать русскую жизнь, которую видел только из окошка своего тарантаса, выезжая за границу. Прошедший сквозь туман космополитизма, школу ложной духовности, насаждаемую масонскими ложами, он все же прозрел во время болезней. Господь наградил его и спас болезнью, в которой ему открылась суровая правда его заблуждений. Он и сам чувствовал, что находится под обольщением: “Дивись, сын мой, ужасному обольщению беса. Он всё силится проникнуть в наши мысли и даже в наше вдохновение!...”

“Переписка” с друзьями написана больше для себя. Это была собственная и первая попытка взглянуть на своё Отечество с должным уважением. Влияние о. Матфея, посещения Оптиной пустыни, беседы с такими столпами оптинского старчества, как о. Макарий, выбили из Гоголя тот мертвящий тромб, который не давал поступать в душу здоровой Божьей и народной энергии.

Он рванулся к Богу! Пусть не к России, но к Богу истинному, в Духе которого он был рождён, и в купели этого духа был крещён. Этот порыв стоил ему жизни земной, но муками предсмертными, той стойкостью, с которой он ни на шаг не отступил от своего спасения, он искупил свои ошибки и обрёл Царствие Божие!

Ты помнишь, Сергей, что в своём “Завещании” Гоголь, по многим особенностям своего организма, просил не хоронить его, пока не появятся явные признаки тления. Его же хоронили смешно, с гвалтом, судорожно требуя, чтобы его отпевали в Церкви Московского университета, этом гнездовище вольтеровских русофобских и антихристианских идей.

Я пишу тебе всё это, мой мальчик, вовсе не для красного словца. Я давно заметила твою тягу к сочинительству и желанию, как бы вскрывая тёмные стороны жизни, посмеяться над ними. Это верный путь к гибели. Зло криливо и на виду. Оно как бы дразнит тебя. Увлекаясь его описательством, можно утверждать его на земле. Кроме того, такой труд привлекает целые читательские залы, обещая дешёвый и быстрый успех...

Слово же Божие – уголь раскалённый. Будь осторожен. Много раз подумай, сможешь ли ты послужить им Богу и Отечеству. Ложь ведь может рядиться и в романтический плащ, и в мистический фартук, и в тогу правдоискателей. Только глаголы Евангельской вести обнажают правду жизни, какой бы суровой она ни была и какова неказиста не была бы видом.

Живой кровью и единственной жизнью заплатил Гоголь за ложный путь, на который увлекло его тщеславие. И путём страданий и крестных мук продрался он сквозь терние сомнений к истине, чтобы написать в конце жизни: “Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк перелезай иначе, есть тать и разбойник”.

Помни об этом, Сергей.

Твоя любящая крёстная мать
н. р. Б. Валентина

Письмо четырнадцатое Повторение пройденного

Серёжа, дорогой! Я поздравляю тебя с двойкой по реферату по Гоголю. Очень хорошая отметка для мыслящего юноши! Пишешь, что твой товарищ

скастал по интернету курсовую и получил четвёрку! Он получил её за знание компьютера, а ты — за два первых шага самостоятельно мыслить. За шаг по баллу — не так уж плохо! Дерзай, мой мальчик, и далее!

Для более глубокого усвоения материала повторим немного пройденное.

Ты спрашиваешь в письме, нужна ли вообще литература? Не знаю, Серёжа! Наверное, смотря какая... Та классическая литература, языком которой написаны библиотеки двух последних веков, отличается от предыдущих, как будто это культура другого народа. Отчасти так и есть. Наш народ — древнейший из народов. Он прошёл свой неповторимый путь от колыбели человечества, создавал и терял культуры, беспамятствовал и окормлял своим могучим духовным даром другие народы. Был бесстрашным воином и доверчивым ребёнком. Но литература была с ним всегда. Русские глаголы можно обнаружить и на египетских пирамидах, и на деревянных дощечках Велесовых книг, и на золотых пластинах этрусков, и на берестяных грамотах русского севера.

“Аристократы, демократы, либералисты, сервиллисты, — восклицал Карамзин, — кто из вас может похвалиться искренностью?.. Аристократы, сервиллисты хотят старого порядка, ибо он для них выгоден. Демократы либералисты хотят нового беспорядка, ибо надеются воспользоваться им для своих личных выгод”. Вот в какой “детской” воспитывался новый литературный язык России. Да, у него есть свои родоначальники!

Но до него (мы говорили об этом) была гораздо более высокая и духовносная литература древности. Она была духовной, повествовательной, исторической. Зачастую всё вмещалось в одно произведение. Она была обильной. Устное народное творчество обильно питало поколение за поколением. Литературу читала малая часть народа. Народ же творил устно. Из уст в уста!

Маленькая, замалчиваемая учёными исследовательская школа народной жизни и творчества сделала колоссально много по собиранию и сохранению народных корней. Культура “народников” идёт от Даля, Данилевского, далее Афанасьев, Сахаров, Терентьев, Максимов. Чем точнее и строже записаны свидетельства народной жизни, тем они весомее и значительней. На её страницах дышит неисправленный никакими министерствами и ложами язык народа, а значит, виден его путь.

Ближе к нему только так называемая “деревенская” литература. Я не буду перечислять тебе имена, её создавшие. Ты хорошо знаешь их. И список писателей, которые тасуются, как колода карт, в СМИ причисляемых к ней, далеко не полный и не точный. Но именно деревенская литература — для меня пока высочайшее достижение русской словесности и народной культуры. Именно она, рождённая в атеистические времена, ближе всех предстоит перед Богом. Потому что она народная, корневая. И корни её — в народном языке и его жизни. А русский народ по природе христианин!

И опять же, нужна ли литература человечеству?! А нужно ли человечество Господу без культуры?! Народ без языка и собственной культуры, потерявший все нравственные и духовные ориентиры и сошедший с проторённого его предками промыслительного пути нужен ли Господу?!

Да, культурой, в частности, словесностью нельзя подменять религию. Но она может и должна служить ступенькой к ней, алмазным резцом и указателем в руке Божией. Памятью народной и его очами! Если это высокодуховное и очищенное слово, пропитанное благодатью истинной любви!

Ты напрасно укоряешь меня, мой мальчик, в нелюбви к язычеству. Эта стихия — по сути, наша, славянская плоть, тело наше прекрасное, живое, как и земля русская. Но в этой сочной непостижимой щедрости наш многомудрый народ очень точно отделял свет от тьмы. Путь русов начинается от самой колыбели мирового человечества. Русы бесконечно щедро воздали планете Земля и Любовью, и Талантом, и Искусством, и Словом. Воззрения их на природу и Высшие силы поэтичны и образны. Мы всегда были созидателями, освоителями, охранителями, высокими Оберегами планеты. Русское язычество — наука и школа о высоте и низости Духа человеческого и земного, как и благодатного. И если в народной памяти и хранится нечистый дух, то только для предупреждения об опасности, чтобы будущие поколения знали и отличали сынов погибели от Сынов света... Нечистой силой не поиграешь безнаказанно, как попытался это сделать молодой Гоголь. Враг рода человеческого многолик и страшно коварен. Во времена Гоголя это Басаврюки, ведьмы, Панночки, полуденницы и прочее. Сейчас, когда мы оторвались от земли и становимся техногенной приставкой Люцифера, основателя Каиновой цивилизации, это пришельцы. Но это уже не наше, не русское язычество. Это гордыня другого народа. Но об этом мы поговорим чуть позже, на последних твоих курсах.

Пока же оторвись от Гоголя и перечитай Достоевского. Начни с начала его творческого пути и до “Карамазовых”. Очень важен в духовном человеческом развитии личности этот писатель. Но он не Спаситель. Помни об этом!

Славянство, язычество — светлая плоть наша, а Дух — христианство, выраженное всеобъемлюще полно и спасительно только в Православии.

Ну, вот и всё, Сергей. Вот уж Рождественский Пост, а там сочельник. И тихий таинственный свет Рождества. Свет небесной жизни. Обратимся к нему и “обращем”...

*Твоя любящая крёстная
н. р. Божия Валентина*

г. Иркутск

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ РЕДАКТОРА

“Возвращённые письма” Валентины Сидоренко — сочинение чрезвычайно нетривиальное и в то же время очень характерное для нашего времени.

Времени смещения всех критериев, разрушения всех ценностных иерархий, всех устойчивых констант — и времени новой попытки их обретения.

Письма Валентины Сидоренко своему крестнику о Гоголе — попытка взглянуть на творчество Гоголя с православной точки зрения, попытка раскрыть “трагедию” Гоголя, которая, по словам автора, “повторяет трагедию русского художника вообще”... Видно, что новое чтение Гоголя застало её, “пережившую сложную гамму чувств по отношению к классику: от почти... восторженного поклонения... до полного отрицания гоголевских творений”, отчасти врасплох, и каждое последующее её письмо — свидетельство очередного этапа незнания Гоголя и попытки его познать. Это письма наставницы, исполняющей свой долг крёстной матери, наставницы, которая сама сплошь и рядом допускает весьма грубые как фактические, так и смысловые ошибки.

Ответные письма своего крестника Валентина Сидоренко не приводит, но видно, что её собеседник во многом не согласен с её умозаключениями, и каждая попытка убедить его заставляет автора узнавать всё больше и больше.

“Не сиди в библиотеках”... “собирай портрет Гоголя сам, по крупным”... “ничего нового из этих библиотек ты не вынесешь”... Противоречая самой себе, наставница далее рекомендует всё же книги литературоведов, в частности, книгу С. Машинского, изданную в 1959 году, то есть в “советский период”, когда, по её словам, “биография... усердно переписывалась друг у друга всевозможными докторами и доцентами, которые налегали на бесовщину классика”... И любопытно проследить, как она сама “налегает” на эту так называемую “бесовщину”.

“Как играют в творениях молодого Гоголя наши глубинные славянские ключи и истоки... диво дивное, чудо чудное, образное воплощение Гоголем старорусской жизни на бумаге!” — восхищается наставница. И тут же предостерегает своего крестника: “...слишком глубоко копнул юный Гоголь историю, и с необыкновенною силою выразил не только живые лики своих земляков, но и тёмные силы, которые сопровождают всякую душу и её народ на всех их исторических весах. До Гоголя никто не дерзал писать беса в печатном слове!... Он коснулся запретного, того, что закрыто в кованом сундучке глубинных генов... Страстная память его предков волохов, которую мало того, что вынул из огненной геенны своего воображения, но вывалил на страницы книги, где до того печатался Часослов да Псалтири, на худой конец — бездарное западное морализаторство... Своим гением он живописал околорусскую нечисть Басаврюков и Виев, колдунов и ведьм и, вскрыв, геенские истоки вечности, внедрил их вновь в сознание потомков...” Кажется, здесь в восприятии Валентины Сидоренко Гоголь неотличим от Басаврюка и Вия. “Нечистой силой не поиграешь безнаказанно, как попытался это сделать молодой Гоголь”.

Играл ли Гоголь “нечистой силой”? — хочется спросить наставницу. Вакула, герой “Ночи перед Рождеством” седлает черта и отправляется на нём “в Петербург, прямо к царице!” (здесь очевидно влияние древнерусской “Повести о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим”), а после путешествия хлещет нечистого розгами. Весело, живо — и по заслугам, ибо никакого страха не испытывает он перед нечистью и не соблазняется её

посулами. Не то — Петрусь из “Вечера накануне Ивана Купалы” или Хома Брут из “Вия”. Первый соблазняется богатством, попадает в полную власть беса — убивает ребёнка и медленно сходит с ума. Второй каменеет от ужаса при виде ведьмы, сам позволяет ей себя оседлать, а при отчитке нечистой в церкви не выдерживает явления Вия со свитой и гибнет, будучи не в силах справиться с собственным ужасом.

Временами кажется, что слово Гоголя гипнотизирует и пугает саму наставницу, и она стремится оградить от этого страха своего крестника. “...он никогда не жил реальностью... жил воспалённым воображением... страсть Гоголя к уродливым сторонам жизни, воплотившаяся позднее в его творчестве с удесятёрённой силою... перестал различать свет от тьмы...” Сам гоголевский юмор кажется ей чем-то устрашающим:

“Жизнь человеческая — бесценный Дар Божий, можно ли его искажать цинизмом? А любая насмешка есть надругательство, и пресловутое чувство юмора — не что иное, как тонкий яд цинизма, холодная омертвелость души”.

Юмор и цинизм — не одно и то же. И искрящийся юмор Гоголя не имеет с цинизмом ничего общего. “Смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, жёлчным, болезненным расположением характера; не тот также лёгкий смех, служащий для праздного развлечения и забавы людей, — но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из неё потому, что на дне её заключён вечно быющий родник его...” Это — сам Гоголь.

Но у Валентины Сидоренко своя сверхзадача: отслоить Гоголя благотворного от Гоголя “дьявольского”, показать своему крестнику, как и чем Гоголь может быть для него “опасен”. И следуя по вехам гоголевской биографии, она, раскладывая, “разнимая” цельный художественный мир классика на “полезную” и “вредную” составляющие, сплошь и рядом солидаризируется с прижизненными критиками писателя, не пожелавшими понять уникальное гармоничное единство творческого мира Гоголя. Особенно это касается страниц, посвящённых “Мёртвым душам”.

“Прочитав “Мёртвые души”, Россию не полюбишь. Её не жаль такую потерять! Её можно только исправлять и перестраивать... Такую Россию трудно назвать матерью... Все эти образы, высосанные из пальца воображения, — повод от неё отречься! Но таковой России и не было!”

А на следующей странице: “Она была разною, конечно”.

Конечно, разную. Но эта оговорка не в состоянии ослабить впечатление от предыдущего приговора, слишком напоминающего приговор Николая Полевого в “Русском вестнике”: “Ложь”, “кривлянья балаганного скомороха”, “побасёнки”. “Побасёнки... — ответил в “Театральном разъезде” Гоголь. — А вон протекли веки, города и народы снесли и исчезли с лица земли, как дым унеслось всё, что было, а побасёнки живут...”

“Противники западного либерализма”, о которых пишет Валентина Сидоренко, ей, естественно, ближе, нежели “западники”. Среди милых её сердцу авторов она упоминает Константина Аксакова. А он так высказался о гоголевской поэме: “На какой бы низкой степени ни стояло лицо у Гоголя — вы всегда признаете в нём человека, своего брата, созданного по образу и подобию Божию”.

Да, конечно, можно здесь вспомнить и Достоевского: “Явилась потом смеющаяся маска Гоголя; с страшным могуществом смеха — с могуществом, не выражавшимся так сильно ещё никогда, ни в ком, ни в чьей литературе, с тех пор, как создалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает перед нами, уморив себя сам, в бессилии сказать и в точности определить себе идеал, над которым бы он мог не насмехаться”.

Отсюда пойдёт и Василий Розанов с его “Двумя этюдами о Гоголе”, написанными, мнится, дрожащей от страха рукой (потом уже Тынянов договорится до гоголевской “словесной маски”). Но вот тот же Достоевский: “Он постиг назначение поручика Пирогова; он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию. Он рассказал нам в трёх строках всего рязанского поручика — всего до последней чёрточки”.

Слишком объёмен гоголевский мир, чтобы не возникала соблазна “разъять” его — и зафиксировать в точке “разъятия”. Наш автор — не первая и не последняя в своих попытках судить классическую русскую литературу (Пушкина, Гоголя) с точки зрения православного канона, неизбежно упрощая и даже примитивизируя предмет своего рассмотрения. Временами её голос обретает подлинный пафос, слово крепнет и звенит, и разговор о человеческой судьбе писателя становится по-настоящему проникновенным. Но как было бы хорошо,

если бы в тексте не встречались при этом размашистые и не имеющие никакого отношения к действительности сентенции и прямые фактические ошибки.

Ф. Булгарин всего лишь напечатал стихотворение Гоголя “Италия” в “Северной пчеле” и никогда не устраивал его “писарем в III Отделение, в канцелярию”. Гоголь служил писарем в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий, а позднее — помощником столоначальника в Департаменте уделов, возглавляемом гофмейстером и кавалером Л. А. Перовским, и Булгарин к этим местам службы не имел никакого отношения.

“Белинский, обольстивший Гоголя”, — это сущий миф. И это “обольщение” никак не может датироваться 1833 годом! “Дом Вьельгорских имел абсолютное и роковое, пожизненное влияние на судьбу и творчество писателя”. Поверхностное знакомство Гоголя с Вьельгорским не даёт ни малейшего основания для подобного утверждения. С “домом Вьельгорских” отношения завязались уже во время пребывания Гоголя в Риме. Слова о “нехристианском волнении” Гоголя лишь прелюдия к совершенно ошеломительному “открытию”: оказывается, “он был чистым католиком”! С чего бы это? А с того, что Гоголь был восхищён Римом. Надо ли объяснять, что одно совершенно не вытекает из другого? Что здесь нет никакой причинно-следственной связи?

И отчего же Валентина Сидоренко не процитировала до конца фразу из письма Гоголя М. П. Балабиной из Рима от 7 ноября 1838 года: “Здесь бы, может быть, я бы рассердился вновь и очень сильно — на мою любезную Россию, к которой гневное расположение моё начинает ослабевать, а без гнева — вы знаете — немного можно сказать: **только рассердившись, говорится правда**”. Выделенные слова, опущенные у Сидоренко, совершенно по-иному освещают всю гоголевскую мысль.

Когда я читаю, что “Выбранные места из переписки с друзьями” и “Авторская исповедь” “вышли в свет в Советской России только по её окончательном закате”, то думаю: какие собрания сочинений Гоголя Валентина Сидоренко держала в своих руках? Достаточно назвать собрание, вышедшее в 1978 году в издательстве “Художественная литература” (т. 6). Прочитано автором о Гоголе вроде бы много — но как!

Когда я читаю в этих письмах о “плодах просвещённого масонства”, я думаю, что их автор, к сожалению, знакома с не слишком качественными работами по этой теме, в частности, с работами дилетанта Виктора Острецова. Тема слишком непростая и острая, чтобы можно было хохом объявить “масонским” всё просвещённое дворянство начала XIX века и утверждать, что на это “просвещённое масонство” “поработал” Гоголь... Кстати сказать, хотел бы обратить внимание *наставницы* на глубокое и остроумное прочтение “Ревизора” в этом контексте в статье Бориса Куркина, опубликованное в нашем журнале (“Оперативное дело “Ревизор” № 11, 2011).

Но дело даже не в тех или иных фактических несуразностях. Достаточно положить в фундамент своих рассуждений одно ложное или дурно понятое положение — и всё “здание” начинает шататься, грозя рухнуть. Так идея “работы на масонство” органически сращивается с идеей “дурного смеха” у Гоголя, с образом Гоголя — “чистого сатирика”. Не единожды было указано и мудрыми современниками, и последующими серьёзными исследователями, насколько упрощённо и однобоко представление о Гоголе “Ревизора” и “Мёртвых душ” как о чистом сатире. Достаточно вспомнить того же “соблазнителя” Белинского: “Нельзя ошибочнее смотреть на “Мертвые души” и грубее их понимать, как видя в них сатиру... Находя лица, изображённые Гоголем, особенно безнравственными и глупыми, довольно ребячески преувеличивают дело и грубо не понимают”.

Стоит здесь привести в пространных выдержках лишь одно размышление о сём предмете из статьи В. В. Кожина “Чаадаев и Гоголь”, написанной ещё в 1967 году (это к вопросу о том, что иногда можно “вынести” из библиотек).

“Национальная самокритика, воплощённая в поэме Гоголя, представляла собою не “отрицание” и сатирическое “разложение” русской жизни, а объективное раскрытие её “неразумного”, “дикого” состояния (я обратил бы здесь внимание Валентины Сидоренко на кавычки, в которые заключены эти слова. — С. К.), при котором народная субстанция ещё дремлет, ещё не нашла себе ни осознания, ни сколько-нибудь определённой формы, хотя вместе с тем уже вышла из древнего “героического” века. Такое “состояние”, в сущности, и невозможно “отрицать”...

Герои Гоголя не могут и не должны вызывать у непредвзятого читателя отращения и негодования подобных тем, какое вызывают, скажем, иные герои

Щедрина. И горы разоблачений и обвинений, которые обрушены на этих героев во многих литературоведческих работах, подчас просто смешны...

В обиталище Собакевича, в озорстве Ноздрёва, в “дремучести” Коробочки и даже в безудержной маниловской мечтательности и в беззаветном, не щадящем самого героя разгуле плюшкинской скупости воплощён тот же, по слову Белинского, “русский дух”, та же вольная бесшабашность и широта, которые в иной, идеализированной форме воплотились в лирических отступлениях о дороге, о песне, о тройке...

Но самое главное в другом (обращаясь к тому же Кожинову): “...Исследователь должен, осваивая весь духовно-исторический размах творчества Гоголя, ни на одно мгновение не отвлекаться от ткани гоголевского повествования, ибо гениальность художника проявляется не в том, что где-то “под” этой тканью сокрыт некий всеобщий смысл, но в том, что сама эта самобытная повествовательная ткань насквозь и в каждой мельчайшей своей частице пронизана глубоким и всеобщим смыслом...” (см. “Гоголь: история и современность”. М., 1985. С. 6).

И этот смысл прекрасно понимали столь любимые Валентиной Сидоренко “деревенщики”, в частности — Василий Белов. Достаточно начать читать его “Кануны” — и невозможно не усмотреть властного и благотворного влияния Гоголя.

Я отдаю себе отчёт в том, что Валентина Сидоренко, как она сама пишет, “не филолог, не книжный жук профессорского звания”, что это её “индивидуальный опыт постижения Гоголя”, и, возможно, мои рекомендации идут по “параллельной прямой”. Ещё раз отмечу: очень характерный подход к классике для нынешнего времени мы наблюдаем в “Возвращённых письмах” и очень типичный многодесятилетний приём “разъятия” целостного творческого мира писателя присутствует в них. И всё же, всё же, всё же... Однобокость и узость взгляда временами настолько очевидны, что невозможно не отметить их, вполне понимая природу этой “узости” и во многом разделяя пафос крёстной матери, желавшей добра своему крестнику и радующейся его первым “двум шагам самостоятельно мыслить”.

“Но я молюсь, молюсь сильно в глубине души моей... да отлетит тёмное сомнение обо мне, и да будет чаще сколько можно на душе твоей такая же светлость, какую объят я весь в сию самую минуту” (Гоголь — Н. М. Языкову, сентябрь 1841).

“Да отлетит тёмное сомнение обо мне...” Это обращено не только к современникам. Это обращено и к потомкам.

ВЛАДИСЛАВ БАХРЕВСКИЙ

ДИАЛЕКТИКА СОСТРАДАНИЯ

1

В России писатель – не профессия.

Творцы духовного майдана 90-х по-обезьяньи переиначивали нашу жизнь под европейский стандарт. Но стандарт для России равнозначен самоотрицанию. У нас пишут не для того, чтоб деньги зарабатывать, даже теперь, когда деньги заменили идеологию, совесть и мечты. Это верно для процветающей Москвы и для живущих неведомо как Старицы или Шадринска, Петушкова, Большого Мурашкина... Задача всякого русского писателя – выразить себя, превратить слово в неразменное, не подлежащее утрате сокровище.

Протопоп Аввакум, Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Достоевский, Есенин – это не только наше, это мы. Каждое из названных имён – образ.

Книги Лиханова приходят к читателю в страшное для мира и для русского народа время. Вот только какое было нестрашным?

И тут можно сказать: повести и романы писателя издаются в нужный час. Они о сверстниках нынешних подростков. О них самих, а о себе знать очень важно. И о мальчиках и девочках, переживших войну, о победителях, потому что дети – это тоже народ. Дети 1945 года – участники разгрома Германии Гитлера.

Ценность литературных трудов Альберта Лиханова в том, что это есть. Это создано. Это живёт, приобретая год от года всё большую значимость, привлекая правдой жизни и обаянием подростков, населяющих книги Лиханова. Сверстники из книг становятся верными друзьями нынешнего читателя.

И ещё о значении творчества. Каждая книга Лиханова указывала на какой-то недуг общества, указывала государству и помогала подросткам одолеть несправедливости, а то и беды. Поэтому все книги писателя – войны. Им пришлось сразиться и с реформаторами, крушившими культуру великой нашей страны.

Суть реформации – покушение на наше слово: литературу объявили развлекательным шоу. Разгромили Детгиз и “Молодую гвардию”, отторгли ребёнка от книги – от родника совести, любви к родной земле, к героям Отечества, к высоким устремлениям ума, души, сердца.

И самое подлое – разверзли пропасть между поколениями.

Но писатель – сам по себе всегда образ. Образ Альберта Лиханова, возникающий на страницах его книг, не есть портрет мастера слова,

умеющего закрутить злободневный сюжет, озадачить остро поставленной проблемой.

Образ писателя Лиханова — это стержень, не подверженный эрозии народного отчаяния. Своего рода камень на распутье, указывающий путь возрождения.

Лиханов по детству принадлежит к сословию детей Великой Отечественной войны.

Что это такое?

Пять лет голода — голода в детстве. Пять лет мучительного страха перед почтальоном: что в сумке — письмо от отца или похоронка? Пять лет веры: мы победим!

Школа войны воспитала в народе жестокую, но и прекрасную ответственность перед страной, перед её великим прошлым, перед народом, перед мамой, младшими братьями, сёстрами и перед народами земного шара!

Не улыбайтесь. Именно так. Отцы и старшие братья оружием гнали фашизм из Европы, из Азии (там он был японский). А поколение Лиханова выросло готовым защищать правду от неправды, дать свободу любому народу, где бы он ни жил, поделиться хлебом, презирая наживу на беде.

И вот что ещё очень важно: для детей войны хлеб и жизнь — категория единая. Писатель Лиханов не за перо хватается, когда узнает о голодающих детях, а делает всё, чтобы их накормить.

Голодающие дети России и на его совести.

Ребёнок ли, подросток в сиротстве — и на его совести...

Больное сердце час тому назад родившейся девочки — это боль в сердце самого Лиханова.

Небось думаете: красивое словоблудие?

Не Лиханов, разумеется, вскрывает грудную клетку и вторгается скальпелем в крошечное сердце новорождённого. Но это он своими книгами, своим упорством достучался до самых верхов советской власти.

Ему доверили создать Детский фонд — надежду страдающего детства. На исцеление, на жизнь, как у всех, на счастье, как у всех.

Почему Альберту Анатольевичу многое удаётся? Можно сказать, фантастическое удаётся!

Все мы немножко добрые, все страдаем за непутёвость нашей жизни, за истонные и приобретённые беды народа нашего. Но писатель Лиханов — не горемыка, он берётся за дело, хотя бед не становится меньше.

Вот составляющие характера Альберта Лиханова. Из детей войны. Духовный романтик — готовность жить и работать для общей пользы ради великого будущего. В итоге социальных перемен — суровый реалист.

Дар слова. Всё это обрекает писателя на то, чтобы служить самому дорогому, что есть у человечества, — детству, юности.

И наконец, Лиханов — вятский. Вятская земля — последняя из уделов разумно, без кровопролития признавшая власть великого князя Ивана III Грозного. Иван IV — второй из Грозных.

Характер вятичей — крепкий орешек. Талантливы, упорны, невероятность задачи их не останавливает. Виктор Михайлович Васнецов, создатель “Трёх богатырей”, “Алёнушки” и росписей Владимирского собора в Киеве — вятский.

Альберт Лиханов был автором трёх-четырёх брошюр, когда дар и тяга сказать правду о детях войны всерьёз усадили его за письменный стол. Ему требовалась своя правда непростых последствий войны.

В “Чистых камушках” ничего нет церковного, религиозного, но это произведение духовное. В нём прозрение через судьбу мальчика-пятиклассника судьбы русского народа.

Высшая оценка писателя — всё-таки слёзы. Когда-то, вернувшись поздно домой, застал в слезах Лену, жену. Стал оправдываться и услышал: “Я “Чистые камушки” читала. Так светло, так горько”. О многих книгах Лиханова само сердце говорит: “Как же светло, как же горько!”

Тонкая книжечка стала дверью, через которую молодой писатель вошёл в русскую литературу.

“Чистые камушки” — камушки, держащие в себе свет. Иное тысячелетие на дворе, иное государство, а они светятся, светят.

Великие русские писатели понимали значение детства. В детстве человек обретает совесть и нравственность не только сословную — опыт домашней жизни, — но совесть и нравственность своего народа. Детство — причастие к судьбе родной земли.

О детстве писали Лев Толстой, Бунин, Пришвин, Максим Горький, Алексей Толстой, Гарин-Михайловский, пристально вглядывался в детство Достоевский.

Но “Детство” Толстого, “Кашеева цепь” Пришвина, “Жизнь Арсеньева” Бунина — литература для взрослых. Литература.

Для поколения писателей — детей войны — детство не преддверие жизни, не заповедник счастья, а сама жизнь. То сокровенное настоящее, которое ускользает от взрослого человека.

Критика не сумела понять особой, новаторской сути “детской” (именно в кавычках) литературы детей войны.

Война — смерть, но ради жизни. Каждое мгновение — дар судьбы. Жизнь в жерле вулкана.

Поэты и романисты из лейтенантов и капитанов — победители — от войны в творчестве своем избавиться не смогли.

Поколению Альберта Лиханова, встретившему войну в пять-семь лет, важно было рассказать о себе. Не об играх, не о кошках и собаках — о жизни! Глазами детей — время, люди.

В литературе “детских глаз” самый главный критерий — правда. Дети приходят в мир от Бога, они сами частица Его света. Поэтому нет у писателя пощады ни к себе, ни к самым близким людям, ни к государству. Зато есть любовь, хранящая жизнь, в которой всякое мгновение — чудо. По сути же своей, литература детей войны — пророческая.

Мальчики и девочки “Мужской школы” Лиханова (“Дрянные мальчишки”, “Мерзкий возраст”) — это не мирок класса, школы, улицы. Это жизнь в огромном мире в свои десять, четырнадцать...

В повестях Лиханова дети знают, какая она, подлость, но обязательно несут в себе великое и светлое. Это верно для трудных ребят и для мечтателей повестей светлого круга: “Крутых гор”, “Деревянных коней”, “Музыки”, “Магазина ненаглядных пособий”. Романа в повестях-главах, который писатель назвал “Русские мальчики”.

Писатель возвращается к теме тылового детства в годы войны четырежды, через десятилетия, вырастая как художник. Но это говорит ещё и о непреходящей боли — ведь эти главы-повести, рассказывая о прошлом, обращены в настоящее и будущее. А это не так просто.

Война для нашей страны — Голгофа, мир для нашей страны — Голгофа, Голгофа — тирания идеологии, тирания ограбления, вся нечистота, существующая в человечестве. И всё это — часть детства. По Лиханову. И по жизни.

А теперь о парадоксе. Свои первые серьёзные повести Альберт Анатольевич принёс в издательство “Детская литература”. Работал с умным, тонко чувствующим слово редактором Лидией Иосифовной Доукшей. Книги выходили в свет под грифом “Для младшего и среднего школьного возраста”. Критика, всегда ставящая себя выше писателя, не мало не сомневаясь, причислила Лиханова к детским писателям.

Язык — точный, образный. Герои — ученики третьего-пятого классов. Дети книги читают, любят. Учителя автором дорожат...

Скорее всего, надо радоваться, что критика наша подслеповата.

А Лиханов и его сверстники писали о своём военном детстве не для детей. У них была одна задача: сказать правду о своей жизни, о жизни отцов и матерей, о стране.

Глубины правды бездонные. У Лиханова есть “Последние холода”, повесть из романа “Русские мальчики”. Книга о детях для взрослых. Тема: голод и дети. Но вот ведь чудо писательское — это чтение детям понятнее, чем взрослым.

Дети знают о своей жестокости. Корку хлеба лучше воробьям отдать, чем шакалам. А “шакалы” — голодные сверстники, у которых нет талонов на овсянку с котлетой, стакан молока. Шакалы вырывают у девочек хлеб, съедают обед у маленьких.

И когда пацан, не мигая, смотрит на героя повести, и на виске у этого шакала пульсирует синяя жилка, и когда на губах его шакальих шелестит слово: “Оставь!” — ложка падает из руки, котлета поделена пополам.

Вот только недоумение камнем на сердце: “Но ведь война кончилась!”

Война кончилась, “да голодуха отступает медленнее, чем враг”.

Книги Лиханова написаны для взрослых. В полную художественную мощь. Эта литература, где в центре — ребёнок, подросток, вмещает в себя больше, чем иногда книги командиров батарей и батальонов.

И истины сформулированы стальные. К примеру, такая: “У каждого времени своя жестокость. А доброта одна на все времена”.

У этого писателя великое множество афоризмов, которые, как пунктиром, прошли всё его творчество.

Дети такие книги считают своими. Замечательно! Но литература о детях войны предназначена, прежде всего, для взрослого читателя. Она о жизни глазами детей.

3

В конце 60-х страна покончила с нищенством народа. В сёлах вместо стареньких клубов строили Дворцы культуры, для детей — Школы искусств. Зеркальные стены — балеринам, комнаты с пианино — желающим учиться музыке.

К примеру, в Крыму в богатых колхозах полеводы и доярки не желали вселяться в коттеджи, предпочитали квартиры в пятиэтажках.

Комсомол был занят великими стройками и решал проблему свободного времени. Насаждал дискотеки, выдумывал летки-енки в пику твисту. Но как-то ушли на задний план дети безотцовщины, трудные подростки, пополняющие колонии для несовершеннолетних. Государство “малых” бед неоперившихся своих птенцов замечало в полглаза.

И рождаются повести Лиханова “Лабиринт”, “Обман”.

“Обман” перевели в Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Польше, Италии, Нидерландах, ФРГ. Немецкая пресса немало писала о Лиханове и его героях. В газете “Зюддойче цайтунг” обозреватель назвал “Обман” книгой сложной и обаятельной.

В 1980 году за трилогию “Семейные обстоятельства”, куда вошли повести “Обман”, “Чистые камушки” и роман “Лабиринт”, Альберт Лиханов был удостоен Государственной премии РСФСР.

Его книги поднимают перед государством, перед обществом и народом такие проблемы, которые не замечать, откладывать — позорно.

Тогдашнее правительство, председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков услышали писателя. Был создан Детский фонд, и Лиханов с 14 октября 1987 года призван бороться с нелёгкими бедами детства, с родовыми, со стихийными. Были Спитак, Чечня, Беслан, Южная Осетия... Были пожары, наводнения, террор. Всюду, где больно, — Детский фонд и его лидер. И есть современная Россия.

Писатель Альберт Лиханов, лауреат престижных премий, кавалер высоких орденов, всю свою жизнь пишет урывками да в отпусках.

Был редактором кировской молодёжной газеты, собкором “Комсомольской правды” по Западной Сибири, ответственным секретарём и главным редактором журнала “Смена”. “Смена” Лиханова издавалась полуторамиллионным тиражом и была журналом интеллектуалов. Не кучки избранных сумасшедших, а миллионов студентов, старшеклассников, самого читающего сословия СССР — инженеров и младших научных сотрудников.

В годы редактирования “Смены” — с 1975-го по 1988-й — Лиханов написал значительные для себя и для нашей литературы произведения: “Мой генерал”, “Солнечное затмение”, переведённые в Японии, Голландии, Греции, США, Франции, Италии, Германии, Китае...

“Благие намерения” (снят фильм). “Высшая мера” была высоко оценена Виктором Астафьевым.

“Драматическая педагогика”. Педагогика Лиханова — не теория, а действие, работа во всех регионах России, создание среды. Переводы — от Молдавии, Украины, Эстонии до Японии.

Многие свои вещи Лиханов опубликовал в “Юности” и в “Пионере”. Затем настал этап “Знамени”. В 1979 году этот журнал опубликовал повести “Голгофа”, “Благие намерения”, “Высшая мера”. Теперь его первая аудитория — “Наш современник”.

Публикация в известном журнале – само по себе признание. Но Лиханову было важно расстаться с постоянной пропиской в детской литературе, перебороть стандарт: если среди героев – дети, книга – для детей.

Чарльза Диккенса с его “Оливером Твистом” у нас ведь тоже почитают детским писателем. Тем более – Марка Твена, у которого и Том Сойер, и Гекльберри Финн, и “Принц и нищий”...

В “Голгофе” центральный герой – сорокалетний Алексей Пряхин, личный шофёр наркома, солдат, провоевавший два дня. Вез с собой снаряды, бомба в грузовик не попала, но осколок пробил дверь кабины и разворотил живот шофёру.

В “Голгофе” Лиханова крест несут русские бабы и дети, далеко от войны, в тылу, но ради воскресения.

Четыре года голода и работы на фронт. Читая Лиханова, каждым нервом впитываешь войну, изнуряющую стариков, женщин, детей.

Есть в “Голгофе” бабушка Груня, получившая похоронки на мужа и на сына, – прообраз Анны Ивановны Зыкиной, бабушки жены писателя Лилии, сохранившей в годы войны трёх внуков. Её памяти и посвящает повесть писатель.

Есть Анатолий – капитан, потерявший на войне зрение. В повести он гармонист при карусели. А движком карусели становится Пряхин.

В страшный гололёд его машина сбила возницу хлеба. Пряхин не виновен, но он осиротил трёх девочек. Сестра за руль выше его сил, а без карточки на хлеб и ему смерть, и сиротам. Вот он и стал движком для карусели.

В “Голгофе” дети – герои эпизодические. Но для писателя именно дети – центр внимания. Три сестры, ради которых Пряхин идёт на свою Голгофу, – образ воскресения страны. Детский смех на карусели – образ Победы.

Алексей Пряхин, на долю которого досталось столько бед и страданий, уверен только в одном – в Победе. Дело его совести – не умереть до Победы. Чтобы девочки выжили. Они же – будущие матери, они – жизнь народа.

Задача произведений, созданных Лихановым в то время, таких как “Благие намерения” и “Высшая мера”, – устыдить общество, ткнуть носом власть, чиновников, учителей в проблему, у которой есть решение.

4

Слом общественного устройства обернулся для писателя горечью. За восемь лет он не написал ничего, не в силах осмыслить происходящее. Разлом государства? Расцвет национализма? Угасание промышленности? Радостное погружение в торгашество активных масс? Деньги как высшая ценность?

О чём же и как говорить с теми, кто это выбирает?

Произведения, написанные через духовный разрыв, иные: “Никто”, “Сломанная кукла”, “Слётки”. Чуть позже – “Эх, вы!..”, “Свора”; чуть раньше – “Свечушка”.

В “Слётках” много сказано.

На первый взгляд, обычная, современная бытовая история.

Братья Борис и Глеб – родня воистину кровная, хоть солнце погасни – будут сердцами едины. Безотцовщина. Посёлок, каких в России тысячи. И как в России, так и в повести, хозяева нашей глубинки – южане. Война на Кавказе. Скинхеды местного разлива. Киллер. Налицо все проблемы рыночной действительности.

За бодрыми страницами романа “Слётки” – ужас. Слётки – молодые птицы, имеющие крылья, но не успевшие научиться летать. Порхнули из гнезда и рухнули наземь. Лёгкая добыча для зубов, для смерти.

За каждой фразой “Слётков” – безмолвный стон безнадёжности. Народ уже осознал полную свою беспомощность, принял поругание имени своего, но живёт. Как живут слётки, пока не пришла кошка.

“Что же, у нас, у русских, – как бы спрашивает нас всех Лиханов, – не осталось даже мужчин, которые по природной сути знали бы свою ответственность перед детством, перед будущим, перед Богом? Не оставь “слётку” без помощи! В детях – будущее твоей земли”.

Увы! Добрым “воспитателем” братьев становится Михаил Гордеевич Хаджанов, майор запаса, пришлый гость, истинный мужчина. Он подобрал

“слётку” Бориса, стал ему за отца, вырастил из него спортсмена-мастера. Стрелка, офицера. Правда, нынешний русский офицер в противовес офицерам Советской Армии не имеет даже замашек дворянина. Нынешние офицеры — слуги рынка. А наука-то офицерская — убивать. Уж такая востребованная по нынешним временам! Послужил родине, стал ей не надобен и — в телохранители, а там уже и снайперская винтовка жд’т.

Борис, сломавшийся в южном плену (адрес не называется, он в уме читателя), оплачивает подаренную ему жизнь киллерством.

Лиханов даёт своему герою шанс вырваться из ада предательства. Борис получает гражданство Франции, служит во французском легионе. С Россией, с русским ужасом распрощался... Возможно.

Его жена приходит в последних строках романа в родной дом Бориса, передаёт Глебке свёрток. В свёртке — живое. Ребёнок.

Кровная связь не пресеклась. С народом, с землёй матери и брата.

“Кабы наши-то хоть голос свой подали, хоть одну богатую машину спалили! — говорит Глебкина бабушка, насмотревшись в телевизоре парижских волнений. И сама себе возражает: — Не-ет! Мужик расейский смирный. Если чего не по нему, дак напьётся и мирно уснёт. Разве что бабёнок своих поколотит. Вот и вся смута”.

То, что жизнь становится бессмысленной в современной России, что народ в ней — управляемое большинство, понимают даже люди с высшим образованием, с милицейскими погонами на плечах.

Глебка со следователем Андреем Николаевичем советуется: не пойти ли ему, выпускнику школы, брату армейского героя, в юридический институт, чтобы потом следователем работать?

И получает насмешливый, но честный, горький ответ.

— Когда ничего в голову не идёт, вспоминают про милицию. Вот сижу тут, пишу эти несчастные бумажки, разбираюсь с мальчишками вроде тебя. — И уже с издёвкой над самим собой: — Поступай в Высшую школу милиции. Пока окончишь, они (мальчишки-скинхеды, ещё не бандиты. — **Примеч. авт.**) уже оформятся окончательно. Будешь их ловить. Писать тома показаний. Передавать их в суд. Сажать! Сладость, а не служба. Зато погоны дадут. И пистолет в карман”.

Вот и всё — о будущем будущего России. О “слётках”.

Вот и всё. Это приговор, считанный с жизни.

Лиханов, правда, не сдаётся: “Милые дети, не бойтесь. Ведь каждый из вас взрослеет за чьей-то спиной”. Но где она, спина? Чья? Нет, это не роман. Это крик... А что ещё остаётся? Закричать, завывать во всю нашу боль или смолчать...

Уроки Лиханова — уроки нашей жизни. Вся его жизнь — диалектика сострадания слабым и малым. Он, как герой Сэлинджера “Над пропастью во ржи”, многие годы, почитай, всю жизнь стоит над этой пропастью или, скажем, на дороге у обочины и предупреждает, взывает, кричит, вопит пером своим: храните детей наших! Ярчайшее и прямое подтверждение тому — его публицистика: редкостная для писательства вообще не просто философия бытия, но свидетельство прямых и активных действий одного человека, писателя во благо “малых сих”.

И духовный выбор писателя очевиден — это предупреждение новых людей от опасностей. От соблазнов деньгами. От измены ценностям истинной правды. От слома, который ждёт, если будешь плыть по течению. Писатель внушает сомнение в скороспелых правилах бытия и спасает словом юношество новых времён.

Выбор за читателем. Судьбоносный! Тот самый: быть или не быть?

Но разве возможно: не быть России?..

Жизнь продолжается.

Коли писателю дана жизнь — он творит.

И вот у Лиханова новая книга.

На обложке — мальчик. В его глазах — сама правда. Название книги — “Мальчик, которому не больно”. Подзаголовок: “Не сказка для не взрослых”. Успех издания начинается с обложки. Художник Мария Пинкисевич — истинный соавтор книги. Произведение и впрямь не сказка. Но оно более всего для тех, кто искалечен болезнью с детства. Сюжет для современного мира, как это ни жутко, обычный: церебральный паралич. Врачи бессильны. Ноги мальчишка не чувствуют покалывания иглой.

За мальчиком ухаживает отец. Мама — новая женская роль — председатель совета директоров. Она зарабатывает большие деньги, она ездит в

тёплые прекрасные страны. Одна. Без мальчика, без мужа. Она ищет “успешности”, и это значит — хочет начать новую жизнь, совсем новую.

Оставляет сына, мужа, бабушку, уезжает за “речку”. Собирается родить ребёнка для нового счастья.

Богатая жизнь с дорогими врачами — в прошлом. Папа ищет новую работу и гибнет в автокатастрофе. Бабушку забирает “скорая помощь”. Мальчика тоже забирают. Интернат, куда его определили, государственный. Подгузники меняют два раза в сутки.

Соседи по палате мычат, кричат, плачут. У мальчика отобрали его замечательную коляску. Ему остаётся одно: только тьма.

Жить — невозможно, умереть — невозможно, думать не о чем.

У будущего для таких, как он, имя — ничегонепонимание. Тьма.

Но в интернат приходит священник, бывший доктор. От креста мальчик в ногах чувствует странный озноб. Батюшка одно говорит: “Верь и терпи”.

Появляется друг. В палате он ходит на костылях. Учит мальчика не сдаваться: “Жизнь — как тяжёлый камень. Тебя придавило, но ты окрепнешь и отодвинешь камень”.

Лиханов — писатель беспощадный.

Как Пряхин в “Голгофе” прошёл через всё худшее в жизни, так и мальчик, которому не больно, всё потерял и сдался тьме.

Сердце Лиханова не камень.

Боль, нестерпимая боль в ногах становится чудом. Ночью мальчик видит входящего в палату батюшку. Батюшка раскинул руки, и на его груди сияет крест. Мальчик поднимается с кровати. Батюшка отступает, и в дверях — Богородица. Мальчик хватается костыли своего друга, Молодчика. Делает шаг и вдруг кричит: “Мне больно!”

И снова чудо: женщина в дверях. Мальчик видит — это мама.

— Ему больно! — говорит батюшка.

— Слава Богу! Ему больно! — кричит, обнимая сына, мама.

Слёзы закипают на глазах читающего.

Поэма. А в поэме, скорее всего, прозрение.

Будет день, когда закричит, наконец, Россия: “Мне больно!” И все мы воскреснем.

Таков образ писателя Альберта Лиханова.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

СЛАВЯНСКИЙ ВИТЯЗЬ ИЗ СЁМЖИ

Моему северному другу, помору из древнего села Сёмжа, моряку, прирождённому лидеру Виталию Маслову в сентябре бы исполнилось 80 лет. Мог бы и дожить. Не получилось. Но живут его книги прозы, живёт и будет жить возрождённый им в России праздник “Дни славянской письменности”. Живёт память о нём на всём русском Севере.

Виталий Семёнович Маслов родился 1 сентября 1935 года в славной своей древней историй, но ныне уже исчезнувшей деревне Сёмжа Мезенского района Архангельской области, на Канинском берегу Белого моря. Там же закончил начальную школу, затем — школу-семилетку в посёлке Каменка того же района. С 1951 по 1956 год учился в Ленинградском мореходном училище на радиотехническом отделении, по окончании которого получил направление на работу сначала на Дальний Восток, а затем — в Сахалинское морское пароходство, где ходил электронavigатором на судах “Большерецк”, “Будёновск”, “Азов”. Кстати, там же на Дальнем Востоке, в 1957 году опубликовал он свой первый рассказ во владивостокском альманахе.

Потом перевёлся на свой любимый Север, и уже с 1962 года в течение 20 лет ходил радистом и начальником радиостанции на легендарном атомном ледоколе “Ленин”, работал в Китае, участвовал в 13-й Антарктической экспедиции на теплоходе “Обь”.

Казалось бы, если у моряка появились литературные способности, вот и писать ему положено, как и его большому другу Виктору Конечкому, на морскую тематику. Не так уж много у нас первоклассных маринистов! Тем более, что и приключений за годы плаваний хватало с избытком. Не раз его упрекали за “молчание” друзья-моряки — читателей морских приключений у нас хватает. Но Виталия Маслова в эту сторону не тянуло. Он изболелся весь по своей умирающей деревне Сёмжа, по вымирающему деревенскому миру.

Я приезжал к своему другу: сначала поездом до Архангельска, потом самолётом до Мезени, а потом уже на вездеходе до родной масловской Сёмжи.

И я понял, почему боль за Сёмжу заслонила писателю Маслову все остальные замыслы. Прекрасное древнее поморское село на самом берегу Белого моря. Десятки выстроенных в ряд огромных двухэтажных деревенских домов, в каждом из которых ещё и конюшня, хозяйственные пристройки — в лютые зимы на дворе особо не похозяйничаешь. Таких деревень я не видел ни на Украине с её крохотными мазанками, ни в нашей центральной России, где максимум один дом кулака-миroeда отличался своими размерами. А в Сёмже хоть всех сразу раскулачивай — ни батраков, ни бедняков, никакого крепостного права, никаких помещиков, простор до самого Северного полюса. И до царя далеко, и до чиновников разных. Более независимых людей,

чем поморы, в России не было. Они боролись скорее с морем, с холодом, с ветрами.

И почему все эти уникальные поморские деревни в России вымерли? Кому это надо было? По крайней мере, выходцы из поморов и сейчас отличаются независимостью, самостоятельным мышлением. Что Виталий Маслов, что Фёдор Абрамов, что Владимир Личутин.

Мы ходили с Виталиком Масловым по берегам Белого моря и размышляли о сложной судьбе России... Всю жизнь он плавал по морям-океанам, а думал о судьбе русского крестьянства. Такова судьба.

Бывал я у него и в мурманском доме, в самые знаменательные дни 1986 года, когда Виталий собрал вокруг себя в Мурманске всех лучших писателей России, от Владимира Крупина до Юрия Кузнецова, от Владимира Личутина до Валентина Устинова, дружину сильных, дабы, несмотря на всё сопротивление властей, провести впервые в Советском Союзе Дни славянской письменности в честь святых Кирилла и Мефодия. Сейчас и понять невозможно, что мешало советской власти отмечать этот славянский праздник, который спокойно уже двести лет праздновали в Болгарии? Чего они боялись? Почему в самой России власти больше всего всегда боятся русских? Так было и так есть. И что только не делал Виталий Маслов, чтобы суметь организовать этот праздник, замаскировав его под "Дни Баренцева моря"! Даже призвал на помощь братушек-болгар. Пытались его ранее организовать и в Москве, и с более именитыми и могущественными людьми, но было им категорически запрещено.

Помору из Сёмжи Виталию Маслову этот праздник удался на славу! В следующем году его организовали в Вологде, потом в Новгороде, в Киеве, в Минске... Благодаря Виталию Семёновичу в Мурманске в 1990 году появился и памятник Кириллу и Мефодию, а спустя год праздник, который он с друзьями с таким трудом "пробивал" в столице Кольского Севера, стал государственным.

Сегодня его отмечают наши официальные власти, не вспоминая ни про Виталия Маслова, ни про былые запреты. Кстати, так же было и с установкой памятника Сергию Радонежскому работы Вячеслава Клыкова в Радонеже: в первый раз собравшихся на открытие разогнали с милицией. А сейчас он стоит себе напротив храма и никому не мешает.

Но всегда нужны решительные русские люди, проламывающие все чиновные и русофобские преграды.

Вот таким и был Виталий Семёнович Маслов, крутой русский помор, радист с атомохода "Ленин" и замечательный русский писатель. Он из тех, кто не боится идти впереди.

24 мая 1986 года в заполярный город Мурманск на первый Праздник славянской письменности приехали члены Союза писателей России: Владимир Крупин, Владимир Личутин, Юрий Кузнецов, Юрий Медведев, Владимир Санги, Владимир Бондаренко, Валентин Устинов, Вячеслав Шапошников, Владимир Шириков, Геннадий Юшков и Семён Шуртаков. Приветственные телеграммы в адрес возрождённого праздника прислали Валентин Распутин, Василий Белов, Дмитрий Балашов.

Мы вели уроки литературы в школах, выступали на митингах, ездили на кораблях. И с нами всегда были первоучителя славянские Кирилл и Мефодий.

Кроме таких общероссийских, общеславянских мероприятий, организованных Виталием Масловым (вспомним и его Международный православный славянский ход Мурманск-Черногория, проведённый в 1997 году), он никогда не забывал и "малые дела", связанные с его родной Сёмжей. Впрочем, это и не были для него "малые дела". В родной Сёмже он создал Дом Памяти, куда собрал данные о всех бывших жителях деревни. Он мечтал о возрождении деревни, возрождении русского поморства. Работая на суперсовременном гигантском ледоколе, он мечтал, что такими же мощными и живыми должны вновь стать опустевшие северные деревни. Но понимал, что реально его Сёмжа скоро "сравняется с землёю..." В этом Доме Памяти Виталий Маслов собрал имена жителей деревни — 50 сёмженских родов, до 9 поколений в каждом (1984).

Его старший друг Семён Иванович Шуртаков вспоминал о Виталии: "Неисповедимы, ещё раз повторим, пути человеков, приходящих на эту грешную землю. Незнаемо, никому не ведомо, что им Свыше Начертано совершить в этом мире. Но вот один громкую шумную жизнь прожил, много сам о себе всяких похвальных слов наговорил и других заставлял это делать, а не стало его — никто не пригорюнился, никто не вспоминает, будто его и вовсе не

было. Другой же всю жизнь тихо, незаметно творил добрые дела людям, но когда и его не стало — все скорбно завздыхали, а многие и заплакали, и все и по сей день самыми похвальными словами вспоминают его...

Никто, как и сам Виталий Маслов, не знал и не мог знать, что ему предначертано совершить в своей жизни. А и так можно сказать, что не очень-то он и задумывался над этим. Он просто занимался важным, нужным для людей и для своей Родины делом: когда у кого-то из его соотечественников, находившихся далеко друг от друга, скажем, один в Арктике, а другой в Антарктике, возникала необходимость перемолвиться по делу государственной важности, радист атомного ледокола, который в это время огибал Мыс Доброй Надежды, такую возможность им предоставлял...

А ещё этот радист в свободные от вахты часы писал рассказы, повести, романы, лейтмотивом и главным содержанием коих было горячее признание в любви к земле, на которой он родился и вырос, к её замечательным людям — своим сотоварищам.

Много и других добрых дел за свою жизнь успел он сотворить. И, однако же, если кто-то будет подводить последний, конечный итог славным деяниям Виталия Маслова, то самым главным, несомненно, он посчитает Праздник Слова.

Василий Шукшин свой сценарий фильма о Разине, который он не успел поставить, как известно, назвал “Я пришёл дать вам волю”.

Ничего плохого, думается, не было бы для определения главного жизненного дела Виталия Маслова, если бы мы взяли формулу Шукшина, лишь чуть-чуть её переиначив: “Я дал вам Праздник Слова”.

Володя Личутин писал, что “писатель Виталий Маслов рождён обострённой тоскою по исчезнувшей деревне Сёмже, его малой родине... Печаль не столько оттого, что деревенька канула, рассыпалась, но более оттого, что её насильно умертвили, растащили, принудили умереть...”

Так и появились рассказы “Северная бэль”, “Крутая Дресва” (1970-е), а затем и лучший его роман “Круговая порука” (1976), посвящённые его родной Сёмже, оставленной его жителями на погибель. Его архангельский земляк, критик Шамиль Галимов писал о герое “Круговой поруки”: “Своей обостренной совестью и жадой правды Митька напоминает Михаила Пряслина, их нравственный максимализм питается общими истоками — чувством коллективной пользы, ощущением боли народной...” И впрямь, Фёдор Абрамов был главным учителем Виталия в литературе. А повесть абрамовская “Две зимы и три лета” дала мощный рывок прозе Маслова: “Вместе с Михаилом Пряслиным я человеком себя почувствовал... Вот что для меня — Фёдор Абрамов!”

Когда возникли проблемы с публикацией его романа “Круговая порука”, академик Александр Овчаренко написал свой внутренний отзыв, тем самым сняв саму возможность запрета...

“...Как писателя, Виталия Маслова чуть-чуть придавливает Фёдор Абрамов и, в особенности, Василий Шукшин. Для меня, однако, бесспорно, что, когда он вырвется из-под их влияния и обретёт чувство меры в языке (пока он перенасыщает рассказы “местными речениями” и не очень благозвучными словами, вроде “лёщади”, всерьёз доказывает правомерность в литературном отборе слова “блядионил” и т. п.), советская литература пополнится превосходным писателем. Пополнится, если... если мы не испортим его чрезмерными похвалами, подобными тем, что содержится в рецензиях Виктора Конечного и Семёна Шуртакова...”

Виталий Маслов талантлив, но не очень внимательно вслушивается в свой талант. Будь иначе, он давал бы возможность своим героям быть самими собой. Впрочем, на размашистые заключения горазд и сам автор (см. стр. 117 и др.), не замечая, что они ослабляют художественную силу его произведений. Хотелось бы, чтобы автор задумался над сомнениями рецензентов... Мне кажется, обрадованные тем, что встретились с по-настоящему талантливым молодым писателем, рецензенты несколько сбили с толку и самого автора, и его редактора... Не часто нам приходится читать столь талантливые произведения. Проявим же к их автору бережливость, но и его попросим отнестись к замечаниям рецензентов с уважением и пониманием.

А. И. Овчаренко

1.06.1976 г<ода>”.

По рекомендации писателей В. Белова, С. Панкратова, В. Конечного за этот роман в 1978 Маслов был принят в Союз писателей СССР. Вслед за “Круговой порукой” он написал повесть “Из рук в руки” (1979), романы “Внутренний рынок” (1986), “Проклятой памяти” (1988). И все они были посвящены

всё той же Дресве, то есть Сёмже. В романах и повестях прописывались все варианты её возможного возрождения, но всё впустую! Радиоинженер Маслов прекрасно понимал, что по всей России приходит конец дресвянской сказке, и не хотел излишней идеализации.

Прекрасный человек, высококлассный и востребованный специалист, семьянин, блестящий организатор всероссийских акций, уходя в прозу, погружается в апатию. Что делать: бороться незаконными способами, отстреливать браконьеров, как это делает Герман Попов в повести "Проклятой памяти"? Но к чему приведут такие народные мстители? Тут мы вспоминаем и повесть Валентина Распутина "Дочь Ивана, мать Ивана", и другие подобные кардинальные предложения. Нет, с оружием в руках ни вчера, ни сегодня ничего не изменишь. Приморских партизан безжалостно уничтожат и в жизни, и в литературе. Борцов за русский народ и русскую культуру и будут уничтожать у нас же в России те же русские чиновники первым делом.

К первоклассной прозе примыкает и пламенная публицистика на ту же тему, объединённая в книги "Ещё живые" (1986) и "На костре моего греха: проповеди и исповеди" (1991). В целом, Виталий Маслов написал не так уж много, мешала наполненность жизни другими делами, но и то, что написано о северной поморской деревне, написано надолго и всерьёз. И без всяких иллюзий. И потому он безоговорочно поддерживал русских писателей-патриотов, подписал знаменитое письмо 74-х против уничтожения русской национальной культуры.

Мой коллега, критик Валентин Курбатов писал о его последней книге очерков и воспоминаний, что книга "глубока и серьёзна, драматична и естественна, и каждой своей страницей, и каждой темой... подтверждает, что для благодушия и покойной созерцательности времени уже нет, потому что... в бесконечной борьбе за "всеобщее счастье" мы уже перешли тот рубеж, за которым любое движение человечества вперёд должно быть заранее осмыслено и управляемо, иначе оно преступно..."

Всю свою прозу, за редким исключением, Виталий Маслов печатал в своём родном журнале "Север" у высоко ценимого им Дмитрия Гусарова. Изредка его произведения появлялись в московских журналах "Наш современник", "Наше наследие". Охотно печатался Виталий и у нас в газетах "День", "Завтра" и "День литературы". Когда приезжал в Москву, часто останавливался у меня. И мы до полуночи обсуждали все наши жизненные проблемы, решали, как жить дальше, как сохранить Россию?

Его друзья-радисты даже сохранили его радиостанцию, изредка выходят в эфир с помощью новой современной аппаратуры, таким образом отмечая и дни Виталия Маслова, и память о нашем первом атомном ледоколе. Кстати, и 75-летие Маслова отметили именно на борту атомного ледокола. О нём снят документальный фильм.

Скончался Виталий Семёнович в шестьдесят шесть лет в Мурманске в декабре 2001 года и похоронен, согласно завещанию, в родной деревне Сёмжа.

Он стал народным героем Мурманска, я рад, что на Литературной аллее в Мурманске установлен его памятник. Не каждому большому писателю оказано такое уважение.

Закончу свои заметки к юбилею друга сочинением его внука, школьника Ильи Маслова: "На одной из книжных полок стоят книги с родными для меня именем и фамилией: Виталий Маслов. Их автор — мой дедушка. Эти книги повествуют о жизни Мезенского района Архангельской области, земли, где он родился. Дедушка был моряком и писал в свободное время. Почти всю свою жизнь он проработал радистом на первом советском атомном ледоколе "Ленин", связав свою жизнь с суровым Северным Ледовитым океаном. И одновременно был членом Союза писателей. В дедушкиной комнате много-много книг. Некоторым из них сотни лет. Они занимают две стены до потолка. Чтобы добраться до верхних книг, стояла стремянка, и вот я вставал на неё, представлял себя капитаном и смотрел в воображаемую морскую даль, а дедушка читал мне отрывок из сказки Пушкина: "Ветер весело шумит, судно весело бежит..." И я будто в самом деле вижу и эту страну, и остров Буян, чувствую, как ветер наполняет паруса над моей головой. Дедушкин живой и яркий образ остался в моей памяти и в памяти его друзей на всю жизнь потому, что такие люди не забываются и время не властно над ними".

Вечная ему память. А мы всегда будем помнить о нём!

ВАЛЕРИЙ СДОБНЯКОВ

ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА

К 135-летию со дня рождения

Первой книгой, которую я прочитал у митрополита Вениамина (Федченкова), была книга “Божии люди”. Именно после неё сразу и навсегда владыка стал для меня одним из самых любимых русских писателей. Как можно так просто, доступно и красиво рассказывать о сложнейших вещах, касающихся человеческой души, для меня и по сей день остаётся непостижимой загадкой. Творческое наследие митрополита Вениамина очень обширно. Тут и мемуары, и рассказы о подвижниках благочестия (например, книга “Из того мира”), и размышления о духовной жизни русского человека, и толкования молитвы “Отче наш” (целую книгу написал владыка на эту тему — “Молитва Господня”), и богословские труды. Но о чём бы митрополит Вениамин ни писал, произведения его пронизаны любовью к русскому человеку, к читателю. Оттого-то они так просты и доступны для понимания, оттого-то они так трогают сердце. Не премудрая заумь собрана в них, а простота и любовь. И то, и то может быть только от Бога.

Но тут необходимо отметить, что подавляющее большинство книг этого автора увидело свет только в последние два десятилетия.

В канун юбилея выдающегося духовного писателя мне особенно хотелось бы поговорить об одной его книге.

1

Книгу “На рубеже двух эпох”, написанную митрополитом Вениамином (Федченковым) (1880–1961), не хочется назвать мемуарами — так непринуждённо, естественно и откровенно она написана, так близко и понятно её содержание подготовленному верой, любящему своё Отечество сердцу. И не вина владыки, что не вышла книга в свет тогда, когда писалась, в тяжёлую для России годину Великой Отечественной войны (1943). Но всему свой час. И вот бережно хранимая в библиотеке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря (в этом монастыре на покое провёл владыка последние годы сво-

СДОБНЯКОВ Валерий Викторович — автор более двадцати книг прозы, публицистики, критики. Секретарь Союза писателей России, председатель Нижегородской областной организации СП России, главный редактор журнала “Вертикаль. XXI век”. Живёт в Нижнем Новгороде.

ей земной жизни) среди других бумаг митрополита рукопись, наконец, явилась тем, кому и была предназначена.

Удивительна судьба человека, написавшего её. Родившись в семье дворовых людей, он с малых лет, когда отцу после 33-летней службы конторщиком в имении господ Боратынских было отказано в работе, познал нужду, недоедание, тяжёлый труд. Но любовь матери, её желание видеть своих детей образованными, достойными людьми превозмогли все преграды. В итоге из шестерых детей (и об этом не раз с гордостью упоминает митрополит Вениамин в своём труде) трое получили высшее образование, а ещё трое — среднее техническое. Причём пятеро закончили свои учебные заведения первыми учениками. Но об этом будет сказано впереди. А первые главы книги: “Деревня” и “Школа, общество и церковь” — посвящены описанию нелёгкого крестьянского быта и труда, вечной борьбы за хлеб насущный и за нравственное стояние в семье. Вот как об этом пишет автор:

“Какое общее впечатление осталось у меня от рассказов отца о крепостном праве?

Казалось, нужно было бы ожидать от него грустных историй и трагических событий. Но должен сказать правду: за всю жизнь с ним я буквально не слышал ни одного осудительного слова о господах и всём крепостном строе... Даже наоборот, он иногда вспоминал о прошлом времени с одобрением.

— Что же, — бывало, скажет, — тогда народ был лучше, не то, что теперь, самовольники... Ну, по субботам, понятно, секли кое-кого на конюшне... Да ведь поделом же!

... Может быть, и в самом деле мы теперь слишком сгущаем тёмные краски далёкого прошлого, а в действительности всё было проще? И теперь ведь много нужды и горя в мире: и экономическая зависимость одних от других и вообще от всего строя жизни давит людей... Или уже данная многовековая, укрепившаяся привычка повиноваться, подчиняться, совсем мириться облегла ему суровость жизни?”

И отвечая самому себе, митрополит Вениамин приходит к следующему выводу: “Затрудняюсь ответить решительно... Больше я склонен думать... что наш народ есть народ-философ, народ-христианин, “хрестьянин”, крестьянин, как он сам прозвал себя. Никакой другой народ в мире не называл себя по вере, лишь русские”.

В подтверждение этого вывода владыка приводит эпизод из своей жизни: “Моя мать в последний раз моего посещения семьи весной 1918 года, провожая меня из дома, между прочим сказала со слезами:

— Трудно нам жилось! Но одно лишь скажу: отец у нас был святой!

— Почему — святой?

— Уж очень терпелив был: во всю жизнь свою не роптал”.

И в этом глубочайший смысл русского православного мировоззрения, характера, идеи. Народ-богоносец, святой народ. И то, что произошло с этим народом затем, — может, в том и не его вовсе вина. Ведь предупреждал апостол Павел: “Отцы! Не раздражайте чад своих!” (Еф. 6, 4; Кол. 3, 21). А ещё раньше царь Давид в псалме восклицал: “Когда гордится нечестивый, то возгорается нищий” (Пс. 9, 23). Митрополит Вениамин приводит и другой пример из Ветхого Завета: “Ровоам, сын Соломона, стал жестоко обращаться со своими подданными. Они взбунтовались, и отделились 10 колен израильских от Ровоама. Он собрал войнство, чтобы подавить эту революцию, но пришёл к нему пророк и сказал от имени Господа: “Не ходи и не войуй, ибо это от Меня произошло!” Значит, Божье попущение или изволение. Иногда у людей (не святых) уже не хватает сил терпеть”.

В заключение автор констатирует: “И я не тому дивлюсь, что бывали восстания крестьян, а нужно дивиться тому, что их было всё же очень мало... И это оттого, что народ наш был необычайно терпелив и кроток... Крестоносец народ. Но потом начало иссякать и смирение, а с ним и сила терпения”.

Но уже в следующей главе воспоминаний, рассуждая о состоянии Церкви, подготовке священников для служения, митрополит Вениамин приводит страшные в своём пророчестве слова профессора В. О. Ключевского, произнесённые относительно первой русской революции 1905 года: “Народ, вступивший на революционный путь, обманул своего царя, которому клялся... Наступает время, когда он обманет и Церковь, и всех тех, кто его считал “православным” и “богочеломцем”. Придёт пора, что он умело обманет, проведёт и социалистов, за которыми сначала пойдёт”.

Владыка не хочет верить этим предсказаниям. Бойтся поверить в них. Но доживи он до наших дней...

Опять этот “проклятый” вопрос: почему тогда всё произошло? И почему всё с точностью до наоборот произошло теперь?

Вновь и вновь утверждая, что основы воспитания, образования, нравственности, патриотизма, религиозного чувства закладываются в семье (русское крестьянство, как это показано в воспоминаниях, было глубоко проникнуто, в силу сложившихся патриархальных традиций, этими чувствами), владыка никак не может ответить на вопрос, почему же эти, казалось, незыблемые, “глубинные” традиции так стремительно, так в одночасье рухнули. И даже гибель царской семьи была воспринята в стране довольно буднично и равнодушно.

Воспоминания своего детства у владыки светлы и радостны. Словесная ткань произведения, лишённая художественного изыска или нравоучительной назидательности, выразительно и точно передаёт главное — духовное состояние героя повествования и людей, его окружающих, а через это — восприятие и всего многогранного мира — природного, социального, политического. Книга написана необыкновенно добрым, ласковым и отзывчивым человеческим сердцем. Чего стоят страницы, посвящённые матери, столько сил и старания положившей, чтобы прокормить и обустроить свою семью, выучить детей. С какой любовью и теплотой пишет о ней сын! Вот его рассказ о первом посещении духовного училища.

“Так шли дожди... А время бежало. Тогда мать предлагает мне идти, хоть в дождь, пешком... И после обеда, когда облака поредели, пошли. Разумеется, оба босиком: обувь на палках, за спинами... Идём, идём... вдруг сгустилась туча, и нас поливает, как из ведра. Иной раз нагнёмся под высокую волнующуюся рожь, что, разве это поможет? Опять идём, идём. Дождь перестанет — сохнем. Так добрались до реки Вороны... Мать предложила обуться. Сошли мы к воде и начали мыть ноги от налипшей грязи. Вижу: у матери слёзы катятся.

— Бедный, бедный мой Ванюшка (меня прежде звали Иваном), с какой поры приходится тебе горя хлебать!

— Мама, — кричу я весело на всю реку, — зато протопопом буду!

И мне совсем не было печально: как с гуся вода, скатывалось детское горе...”

И опять не за себя страдает материнское сердце, а за родное чадо.

Прошёл первый год обучения. Мать делится с затаённой гордостью со знакомым. А тот страшает — посмотрим, мол, что дальше будет!

“Мать пришла расстроенная, в слезах.

— Ты же учись, учись там! — умоляла она меня...

Так и дошёл я первым до пятого класса семинарии”.

Всё это время, чтобы заплатить за учёбу детей, мать, сама недоедая и не досыпая, пешком, в любую погоду, таскала в Тамбов за десятки вёрст вёдра с маслом.

“Да, подвижница житейская была наша мать”, — заключает далее митрополит Вениамин.

Должен признаться, что пока я читал книгу владыки, то и сам сердечно полюбил эту кроткую и трудолюбивую женщину.

Но тут мне хочется немного отвлечься от книги “На рубеже двух эпох” и вспомнить случай, описанный владыкой в книге “Из того мира”. Когда он ещё только учился в семинарии, то для разрешения вопроса, принять иноческий постриг или нет, Иван с товарищем отправился на Валаам. Там монах переправил их на лодке на один из островков, в скит. И видят они, как пожилой монах полощет в воде какие-то свои тряпки. Заприметив гостей, он поднимается к семинаристам и, обращаясь к Ивану, говорит: “Пойдёмте, владыка, я вас чаем напою”. Смутились молодые люди. “Что вы, я ещё и не решил, принимать ли мне постриг”. А монах всё своё — владыка да владыка. Вот когда уже была определена судьба “бедного Ванюшки”.

Наступили революционные времена. Владыка тщетно пытается их осмыслить, соотнести с прежней крестьянской жизнью. Он пытается найти место либеральным идеям в народной душе, для этого приводя в общем-то объективные факты трудной крестьянской жизни: многодетство, безземелье, нужда. Особенно если противопоставлять этому быт помещичий. Но стоит свести эти два класса в одном месте, в храме, и антагонизм вроде бы пропадает. Тогда в чём же причина? Почему началась смута, поджоги? И тут замечателен один случай. “Однажды летом после будничной вечерни вместе с самим отцом Николаем вышел из храма за ограду. Перед нами раскрывалась полукругом панорама на десяток вёрст. Вечер был прекрасный, тихий, ясный. И видим мы,

как в разных местах за горизонтом поднимаются зловещие темно-багровые столбы дыма от пожаров: это горели имения... Смутно было на душе, надвигалось с этим страшным дымом на нашу страну что-то грозное... Я не знал, что ответить себе на свои невесёлые думы. И вдруг пронеслись в голове слова Христовы: "Надлежит всему этому быть!" (Мф. 24, 6)

Надлежит... Неизбежно в путях истории человечества и Промысла Божия. И никто этого мирового процесса остановить не в силах, ибо "надлежит".

— И что ты особенно этим терзаешься? Разве же ты управляешь миром? Если Бог, Который всем правит, на него и положишься.

И всякий делает своё дело. Довольно этого с тебя!"

В этом-то, по моему глубокому убеждению, и следует искать ответ, объяснение случившегося. И тогда остальные факты — встречи с людьми, выдающимися в своё время, их речи, поступки, мысли, — оказывается играют в истории уже не столь выдающуюся, а то и мелкую, ничтожную роль. Жаль только, выводов из случившегося мы традиционно не делаем, опыта для себя не извлекаем. А иначе разве бы мы пошли в теперешние "реформаторские" времена путём, уже однажды Россией отвергнутым, как чуждый и неприемлемый. Вот что пишет по поводу столыпинской земельной реформы очевидец её проведения митрополит Вениамин: "Ему (Столыпину. — В. С.) приписывалась некоторыми будто бы гениальная спасительная идея земельной системы, так называемого "хуторского" хозяйства; это, по его мнению, должно было укрепить собственнические чувства у крестьян-хуторян и пресечь таким образом революционное брожение..." Но "спасать русский народ лишь буржуазным соблазном личной корысти было совсем неглубоко, — продолжает автор, — недуховно, негосударственно. Православный великорусский народ привык к общинному укладу жизни. И хутора в народе провалились".

Но нет, на исходе века, как и в его начале, мы, вновь разрушив крупные сельскохозяйственные предприятия (как когда-то помещичьи усадьбы), пытаемся создать класс собственников, крестьян-фермеров.

Вообще, сколько бы я ни читал книг (а прочитано уже немало — теоретических работ, посвящённых этой теме, мемуаров и т. д.), я всё больше и больше осознаю, что мистический смысл происходящих революций непостижим, материалистическими воззрениями, бытовыми и социально-экономическими условиями не объясним. И если пытаться объяснить происходящие общественные катаклизмы только этими материальными условиями, то непременно увидишь всю их несостоятельность, несвязанность условий и действий, чувств и поступков. Будто движет всем происходящим некая необратимая, неостановимая сила, некий РОК.

Любая революция — это болезнь духа. Революция пытается совместить, спаять несовместимое — совесть и высшее беззаконие, — пытается достигнуть гуманистических идеалов через жестокость и насилие. И как итог — горят усадьбы, разворовывается, грабится чужая собственность, зверски, посреди улицы убивают губернаторов, и толпы глумятся над своими пастырями. Причём гибнет, страдает всегда лучшее, совестливое достоинство страны.

Трудно оспорить дальнейшие размышления владыки по поводу признания народом новой власти. Только мне кажется, что в признании большевиков большую роль сыграло не только то, что в них видели силу и решительность в достижении "соблазнительных" для народа целей, но и гражданская "усталость" обывателя от безвластия, а значит, и безвременья. Однако с дальнейшими "политическими" размышлениями митрополита Вениамина, с его оправданием Брестского мира, изъятия церковных ценностей, неприятием посланий патриарха Тихона и другими подобными мыслями согласиться трудно. Но сделаем здесь поправку на год написания воспоминаний — 1943-й... Тогда владыке ещё не были известны многие документы, опубликованные в нашей печати значительно позже.

2

Вторая половина воспоминаний митрополита Вениамина начинается с рассуждения о трёх революционных цветах — красном, чёрном, белом. И что-то меня в этих рассуждениях насторожило. И чем дальше, тем всё больше и больше автор начинает выступать как довольно поверхностный политик. А как хотелось услышать о тех страшных для России временах глубоко осмысленное, духовное слово. Слава Богу, что затем этот недостаток автор побеждает, отчего книга, конечно же, выиграла. Ведь вот и он отмечает, что даже

само название “Россия” с победой революции на десятилетия ушло из употребления. Что же тогда должно было твориться в соборной душе народа? С другой стороны, сопротивление, оказанное большевикам, дошло своей границей с юга до Орла (армия Деникина), с запада теснили поляки, у Петрограда власть принадлежала Юденичу, в Архангельске хозяйничали англичане с американцами. У большевиков оставалась лишь Москва с центром, “сердцевиной” страны. И, тем не менее, белое движение было разгромлено. Не видеть в этом мистический смысл произошедшего (а лишь экономические, политические, национальные предпосылки), к тому же лицу духовному, глубоко верующему, мне кажется невозможным. Мною уже приводился пример из воспоминаний митрополита, где осознание неслучайности происходящего у автора книги сомнений не вызывало. Упрекать же белое движение в национализме и империализме, наверно, можно. Но выстраивать всю концепцию, главным образом, только на этом (умалчивая, какая именно национальная горсточка, благодаря революционным событиям, оказалась у власти и как легко она отказывалась от кусков огромной страны, ей не принадлежавшей, её предками не создававшейся и её территории не наращивавшей) мне кажется делом поспешным и недальновидным. И пусть затем “еврейский вопрос” ещё будет затронут митрополитом в главе “Белое движение”, где автор утверждает, что эта тема трудна и неоднозначна в русской истории, но то, как сам он довольно поверхностно и облегчённо подходит к размышлению о ней, вызывает сожаление и разочарование. Впрочем, специально этой теме посвящены две другие книги митрополита Вениамина: “Еврейский вопрос” и “Письма к еврейке”. В рамках этой статьи мы на их разборе останавливаться не будем.

Вообще, события гражданской войны в Крыму и на Украине вначале описаны довольно беспозиционно. И только начиная с личности генерала Врангеля, описание событий принимает более последовательный характер. Самой личности генерала посвящена отдельная глава, где автор, наконец, и определяет свою позицию, объясняя это вот как: “Одно было ясно: победим или не победим, но белую борьбу нужно довести до конца... И пусть этот конец оказался печальным, пусть белые даже не правы исторически, политически, социально. Но я почти не знаю таких белых, которые осуждали бы себя за участие в этом движении...”

Много было недостатков и даже пороков у нас, но всё же движение было патристическим и геройским... Пусть мы были и сероваты, и нечисты, но идея движения, особенно в начале, была бела. Христиане мы плохие, христианство — прекрасно...

Я тоже не думал о конце или победах, как и другие, а шёл на голос совести и долга... Пусть это было даже практической ошибкой, но нравственно я поступил по совести. И мне тут не в чем каяться”.

О своём пути в белое движение митрополит Вениамин пишет довольно откровенно и самокритично, обличая в себе и некое приспособленчество к рабочей власти, сочувственную пассивность добровольческому движению, свою “нейтралитетность”, столь присущую в те времена русской интеллигенции. Но именно в этой главе мы полностью осознаём те причины, которые побудили многих русских людей встать под знамена белого движения, — голос совести!

Взгляд изнутри на белое движение показывает противоречивость и уязвимость его по многим вопросам: дальнейшего строительства государства, политического выбора, отношения к вере. И оттого его обречённость становится как бы предсказуемой, ожидаемой. Вот только один пример нравственного, этического плана, о котором рассказывает архиерей, к тому времени ставший епископом армии и флота (митрополит Вениамин сменил на этом посту, по желанию вновь избранного главнокомандующим П. Н. Врангеля, протопресвитера Г. И. Шавельского), после своей поездки на фронт, к знаменитому Перекопскому валу — полное неверие среди офицеров в Бога, матерщина, нравственная нечистоплотность. А ведь обращение Врангеля, его “политическая платформа” начиналась словами: “За что мы боремся? За поруганную веру и оскорбленные её святыни”.

“Когда я вернулся с фронта, — вспоминает владыка, — то доложил нашему синоду, а потом и генералу Врангелю буквально так:

— Наша армия героична, но она некрещена! Вывод, в сущности, ужасный”.

Глубочайшее разложение духа потрясло архиерея. Как говорил писатель Иван Александрович Родионов: “Чтобы победить большевиков, нужно одно из

двух: или мы должны задавить их числом, или же духовно покорить своей святостью". У войск Врангеля не было ни того, ни другого.

Особняком стоят в книге воспоминания о проходившем в Москве в 1917–1918 годах Поместном соборе, первом с 1700 года, после закрытия их российским императором Петром I.

И вот какие чувства владели тогда автором: "Меняются эпохи, а Церковь стоит две тысячи лет! Уходят цари, а она всё остаётся! Меняются режимы и социальные формы, а здесь тысяча лет, две тысячи ведётся одинаковый способ служения. Да, Церковь прочнее государственных форм правления... И Церковь всегда будет делать своё вековечное дело до конца мира, у неё есть своё собственное дело — душа человеческая". И эти мысли митрополита очень важны для общего понимания его книги.

Главным деянием собора было избрание Патриарха. 217 лет Русская Православная Церковь жила без своего Патриарха. Но именно в страшное и смутное время, предчувствуя ту беду, что готова была обрушиться на страну, а значит, и на веру, не иначе как по Промыслу, пройдя все преграды, под пушечную канонаду Церковь выбирает своего Предстоятеля.

"Мы настолько ясно чувствовали всю опасность и зло этой стороны революции, что у нас ещё сильнее обострилось желание твёрдой организации, упорядоченности. Это понятно. Нам хотелось власти!"

Чудом можно назвать и то, что именно революция (вольно или невольно — не нам судить), как увидим, во многом помогла этому процессу. Всё будто бы было подвижно чьей-то непоколебимой волей, противостоять которой не мог никто. Мыслимо ли, что в это же время в Москве идут бои за Кремль, который поочерёдно переходит в руки то к одним, то к другим. Но никто из воюющих не смеет помешать работе собора.

"Взяв власть, большевики ни единым жестом не проявили враждебного отношения к Собору, хотя довольно было простого слова их для его роспуска. И, конечно, никто бы и пальцем не шевельнул в защиту его.

В день интронизации Патриарха 21 ноября (ст. ст.) по просьбе Собора было дано нам совершенно исключительное разрешение совершить службу в кремлёвском Успенском соборе, хотя во все прочие дни для всех других Кремль был закрыт.

После интронизации Патриарх Тихон по старинному русскому обычаю объезжал вокруг Кремля, где приветствовал его народ".

То, что пишет митрополит Вениамин, кажется вдвойне невероятным ещё и потому, что пройдёт совсем немного времени и, как нам теперь уже известно, по попущению новая власть "всласть" отыграется на Церкви, предпримет титанические усилия по её разрушению и уничтожению. Но тем удивительнее произошедшее чудо, доказывающее, что эти вопросы не во власти земных правителей.

"Живым силам Церкви теперь была дана возможность проявлять энергию на созидание веры, Церкви и охраны духовенства. А времена приходили страшные..."

АЛЕКСАНДР ЯРОВОЙ

кандидат филологических наук

КОЛОКОЛ ДОНБАССА

Строки мужества и боли...

Произведения писателей Донбасса 2014–2015. — Москва. 2015.

*Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.*

Юлия Друнина (1943)

Что же ты наделала, война?..

Мы десятилетиями тебя, слава Богу, не видели. О тебе знали, как писали в газетных клише периода моего детства, “только из фильмов и рассказов старших...” Но теперь это страшная реальность Донбасса.

Война началась на киевском майдане. Её удушливо-дымное дыхание впервые занесла к нам зима 2013–2014 годов, страшная зима переворота. Тогда рыдали над единицами и десятками убитых, а теперь их счёт идет на тысячи, десятки тысяч убиенных с обеих сторон, в том числе и жертв среди мирного населения... И количество погибших долго ещё будет предметом жутких уточнений историков...

Неизвестно, как назовут её историки будущего. Не ведаю, каким будет правовой статус Донецкого и Луганского регионов. Ясно лишь одно: люди не могут бездействовать, не могут молчать. И те, кто пишут, начали писать о войне... Лично мне это было бы невыносимо тяжело. Даже какую-то “литературную версию” воочию виденного майданного беспредела я оттягиваю по-дальше, подольше — прошу извинить назойливое “яканье” в самом начале разговора, но всё в этой трагедии глубоко личное для каждого из нас, — слишком это тяжело... И по моей судьбе со всей беспощадностью прошёлся жестокий каток переворота: мои родовые корни — на Киевщине, Черкащине и — в Дебальцево. Поэтому донецкий край никогда не будет для меня чужим, как не был он чужим и всей советской Украине моих детства и юности. Мы знали, что здесь родился автор знаменитого романа “Дивлюсь я на небо...” Михаил Петренко, увидел свет всемирно известный тенор Анатолий Соловьяненко, памятник которому стоит в центре Киева, недалеко от прокопченной майданными шинами улицы Институтской (впрочем, её историческое название майданофилы уже наверняка исковеркали); Донецкий университет заканчивал талантливый поэт-шестидесятник Василь Стус...

Но неожиданно вышли чудовищные силы на арену восточнославянской истории, пытаясь изменить всё нормальное и человеческое в жизни Украины. Книга, которая передо мной, — о развязанной этими силами трагедии братоубийственной войны.

*Мы проснулись в другой стране
Двадцать первого февраля.
Серый день занимался в огне,
Чёрный пепел присыпал поля, —*

пишет луганская поэтесса Людмила Гречаник. А её землячка Людмила Деева горько вторит: “Ты ещё прозреешь, Украина, / Хороня надежды и сынов...”

Приметны три яркие черты данного сборника, этой “антологии боли”:

— христианское прощение. “Не ведают бо, что творят!” (недаром на обложке — молодая печальная женщина на фоне задымлённого блокпоста с иконой “Умягчение злых сердец”, прижатой к груди). Бог. Слово. Оружие. Это наши непреодолимые блокпосты земли Русской;

— высокий накал публицистичности в поэзии, прозе, эссеистике. И нечего его стесняться — мол, “газетность” проскакивает. Когда пришла великая беда — не первоочередное задание выискивать крикливые формы;

— развитая, углублённая “детская тема” на войне. Наверное, большее её не сыскать... Дети, рисующие войну, дети, привыкшие к войне, — это страшно. Чудовищно. Но это правда, с которой приходится жить. О которой нужно писать, кричать миру (“Поэт обязан говорить!..” — Л. Деева).

*В груди развалин, где пыль и щёбёнка,
Лежал медвежонок — игрушка ребёнка.
Лежал сиротливо с оторванной лапой,
Кровью хозяйки обильно заляпан...*

(Сергей Кашенко, “В груди развалин...”).

Кстати, у данного автора есть стихотворение, посвящённое смерти солдата Великой Отечественной (“Старый солдат на больничной койке...”). Тематически уместно ли оно в антологии? Да! Всё та же, всё такая же война за право быть человеком — не рабом. Идеалы отменили “где-то”, за блокпостами, да и то малоудачно. Здесь идеалы не выбрасывают, как догоревшие окурки. “Ад Майданека, ад Хатыни... Отберём у майдана нож, / Чтoб страну невзначай не ранил”, — пишет поэт в другом стихотворении. Удивляешься бесхитростной искренности, точности, броскости формулировок.

Ещё один важный момент: пишут же о войне и с “киевской” стороны, с “украинской”. Берём в кавычки: не Киев это сейчас и не Украина... Колдовство, дьявольское наваждение упали на славянский православный народ... (За грехи наши?..) Не видно там любви и прощения. Нет готовности к примирению и исцелению, кроме, разве что, стихотворений Бориса Олейника: “Радостно кричат в небесной сини...”, скажем... А так — фанатичный ор об “агрессоре” России, и это при том, что уже четверть века мы, украинцы, коварно завоёваны американизмом, посягнувшим на самую духовную генетику народа Киевской православной колыбели. Этот враг — намного хуже и опаснее гитлеровского нацизма. 70 лет назад врага видели в лицо наши деды и прадеды. Кроме того, у части нацистов оставались какие-то реликты воинской чести, кодекса солдата, ведь история знает моменты, хотя бы в Брестской крепости, когда враг салютовал нашему мужеству... Евроатлантический враг не только жесток и беспощаден, он бесчестен и подл. Он действует, “как тать в ночи”, а не как воин в открытом бою. Он оккупирует не танками, а ложью. Как истребить её?... Данная книга — это бомба, брошенная в массивы лжи. На юго-востоке — не “российско-сепаратистские бандформирования”. Это такие же люди, как жители Киева, Чернигова, Полтавы... Кому здравомыслящему туда хочется лезть, ломать плетью обух? Ну, не желает галицкий хлопец совать голову в петлю “государственной политики” предателей Украины и марионеток! Оступился. Поверил на майдане в лживый “еврорай”. Но не за войной же с собратьями он туда ходил?... Не за собственной смертью?

Впрочем, вернёмся к стихотворению Бориса Олейника, прочитанному при вручении премии “Прохоровское поле”:

*Радостно кричат в небесной сини
Над днепровской гладью журавли:
Только хлопец, что убит своими,
Не подыметя с сырой земли.*

*Так зачем же мы в родной державе
Выбрали безумную судьбу?
Приглядимся, кто же нами правит,
Кто сидит на нашенском горбу?*

*Нам они по языку чужие
И по вере тоже не родня...*

Дорогой читатель, найди время, разыщи в “нетрях” (“дебрях”) интернета это новое стихотворение украинского поэта, лауреата многочисленных премий и званий, которые, впрочем, не лишили его главного звания — быть Человеком. “Перед кем же мы склонили выи?..” — спрашивает он рабскую поросль сегодняшней Украины, возмнившей, на свою беду, себя “вільною”. А цитирую я это стихотворение, потому что оно перекликается со многими произведениями сборника, в частности, строками Людмилы Гонtareвой:

*Сколько километров путь из рая в ад?..
Во степи солдаты без имен лежат...
Но писать спокойно мы обречены
Хронику ненужной, непростой войны.*

“Писать спокойно” — непросто. “Свой своего. Беснуются стволы”, — это строчка из Владимира Предатько, ровесника (!) начала Великой Отечественной... Как ужасно и величественно переплетается всё в мире людей, в истории... Но и на послевоенных пепелищах играют гильзами дети... И зарождается любовь... И не оставляют людей вера, оптимизм, — правда, в будущем времени. Ну, что ж... Зато это — несомненно. В. Предатько пишет:

*И будет вновь звучать Бетховен.
Часы покажут на весну.
И обереги всех часовен
Счастливой сделают страну.*

(“И будет жаворонка песня...”)

Около четырёх десятков авторов. Добрая половина — типично украинские фамилии (!). Наши, восточные славяне!

*В такие ночи люди погибают
Под яростным предательским огнём.
Людские жизни, словно свечи, тают...
А мы, счастливицы, надо же, живём!*

(Иван Нечипорук. “В такте ночи”)

Поэт не имеет права терять присутствия духа. Бояны, “певцы в стане русских воинов”, кобзари, авторы маршей и гимнов — это НАШЕ, зовущее вперёд и вверх, к победам.

Стихотворения и проза авторов насыщена будничными (хотя, если вдуматься, это чудовищно, когда подобное становится будничным!) реалиями войны. “День и ночь артиллеристов племя / Бьёт по городу, стараясь взять в тиски” (строки того же поэта). Подчеркнём: война против нас идёт давно. Четверть века. Но теперь мировому змию надоело ждать. Надоело бояться, что вот-вот явится Триединая Святая Русь. И он полыхнул войной. Разжёл её в Киеве, на бедной нашей Украине, а потом — в тех непокорных и не поддававшихся лжи землях, где мчались на быстрых конях запорожцы.

Даже памятники далёкой войны стали форпостами — как на Саур-могили, упомянутой ещё Тарасом Шевченко... Они хотят нас победить? Нас, Русь? Нет, этого не будет никогда.

Не теряют поэты и чувства юмора, могут и непечатное что ввернуть. Ну, и по делу же.

“Доскакались” — стихотворение Александра Морозова. Да, “скачки” на майдане (“хто не москаль...”) мы запомнили неплохо:

*Люди год назад сошли с ума,
Привели во власть шакалью стаю...*

Да, дальше не смешно. Кроме финальной строчки. “Доскакались? В общем, доскакали”.

Горький смех.

У него же: “Я хочу, чтоб не было войны!..

*Всё о'кей в Америке с Европой,
Прцветают Лондон и Москва.
А в Дебале ну, не то что б ж...а,
А примерно хуже раза в два...”*

Хочу обратить внимание на сарказм поэта: “Я хотел от горя лечь под поезд, / Но у нас не ходят поезда...” Блестяще! Можно смайлик ставить, если бы в электронной переписке. Только... Опять же — смех сквозь слёзы.

* * *

Прозы в сборнике значительно меньше, но скажу о том, что наиболее “запало в душу”.

Кандидат философских наук Виталий Даренский написал эссе “Счастливые дни”. В самом начале он упоминает удивительный филологический факт, на который я, скажем, всю сознательную жизнь, занимаясь филологией, внимания не обращал. В латинском языке, столь чётком и “кованом”, не терпящем современного (да и любого) пустословия, оказывается, слово *bellum* омонимично. Удивительно, но оно одновременно обозначает и что-то “прекрасное, милое, приятное” — как имя прилагательное и как существительное — войну.

“Война — это страшная сказка, которую лучше не знать”, — пишет эссеист. Много боли в его рассуждениях... Да, никак не прекрасное дело — война... Он начинает анализ событий майдана с миллионов чудовищно обманутых людей. Напоминает, что через это место — Майдан — в Киев входил Батый. Потом, как известно, до XIX века там было так называемое Козье болото, где колдовали киевские ведьмы...

В. Даренский подробно рассуждает об истоках войны, представляет мнения разных людей, даёт безжалостные оценки гнусному явлению майдана, гнусному на всех уровнях и во всех персонах, от одуроченного беззусого мальчика до верхов “країни”. И тут, после недель боли и отчаяния — “изумительный народ Крыма единодушно показал, что он — единая Русь, а не “окаянная нёрусь”.

“Ты ещё прозреешь, Украина!..”

Хочу обратить особое внимание на несколько очерков Николая Челомбитко — кстати, филолога-украиниста, кандидата исторических наук. В своё время он был на дипломатической работе, был заместителем председателя Общества культурных связей с украинцами за границей (ТОУК), награждён орденом Дружбы народов. Работал в этом Комитете, тесно сотрудничал с Михаилом Стельмахом — классиком украинской советской литературы, роман о гражданской войне которого “Кровь людская — не водица” (1957) назвал “проповедью победы добра над злом”. Вспоминает символический европейский трибунал над преступлениями США во Вьетнаме... Трибунал не имел юридической силы, но оказал огромное моральное влияние на мировое общественное мнение. Автор проводит параллели между злодеяниями двух войн. Точных данных как о погибших ополченцах, так и об украинских военных ни у кого нет...

И ещё одно эссе — не менее любопытное: “Гуманные убийства”. Учёный упоминает Дмитрия Васильевича Павлычко, которому в сентябре 2014 года исполнилось 85 лет. Челомбитко упоминает, как в 1973 году был издан сборник “И земля их не примет” — о злодеяниях украинских буржуазных националистов. И если у других было по три стихотворения, то Дмитро Павлычко “влупил” целых пять! Про “бандерівських хижих катів”. Чтò он писал во время майдана! Как клеймил “Беркут”, возносил оды Ю. Тимошенко, как оказалось, теперь никому не нужной... “Устарела, голубушка...” Новые рвутся к власти и к сомнительным “лаврам” западных наймитов. Ещё одна цитата из эссе: “Как будто о себе — престарелом — и о своих соратниках писал Павлычко:

*Ваш патрон американський —
Не якийсь там офіцерик.
Із п'ятьох він континентів
Хоче мати п'ять Америк.”
 (“І земля їх не прийме”)*

Ужасная деградация поколения, литературы.... Кроме Бориса Олейника и 2–3 людей помоложе...

Из 1/5 точно уже Америки не получится. Из России, слава Богу, разве что...

Также советую почитать и его документальный рассказ “Леся Украинка — нежелательный гость”. О том, как в Эдмонтоне (Канада) националисты предпочитали лучше трупом лечь, нежели принять в дар от Советского Союза памятник великой поэтессы. Ну, какая чума украинский национализм — нам известно ещё от Ярослава Галана и Остапа Вишни... Это, к сожалению, болезнь, лишаящая рассудка. Что особенно заметно сейчас...

Что же это за Украина?... Классик взывал: “Любіть Україну!” Полусумасшедшие трубадуры нынешнего постажданного безумия решили, что лучшая любовь к Украине — это ненависть к России...

Хорошая, добротная проза у Ларисы Мосенко (у неё вся жизнь впереди — 1985 года рождения, литературой занимается с 14 лет). Её проза пронизана “тяжёлым реализмом” и запоминающимися образами. Две войны в её сознании — бабушкина война и Победа... И эта... “Вот уже два года, ба, как я не могу больше попросить рассказать тебя о твоей войне. Но теперь сама смогла бы рассказать тебе о своей — о той невозможной и невероятной, в которую я... никогда и ни за что бы не поверила”. Опять Краснодар. Опять война. ОПЯТЬ БУДЕТ ПОБЕДА. И прозаик находит светлые эмоции даже в тяжёлых ситуациях. Но ещё нужно работать над большей “округлостью”, изяществом стиля, избегать повторов...

Остаётся в памяти местами натуралистический рассказ Михаила Надеждина “Могильник”. Война не может быть не страшной... Много на ней разводится зверья... Кстати, прозаик мастерски использует двуязычную лексику.

Светлой духовностью, искренней верой и художественной действительностью веет от рассказа Надежды Петровой “Николай Чудотворец”.

Притягательна подборка рассказов Андрея Кокоулина “Украинские хроники”. Мне чисто “по-читательски” пришёлся по душе рассказ “Лекарь”. И даже не образом главного героя, доктора (или фельдшера) Круглова из ополчения. Хотя он импонирует читателю спокойно-философским отношением к окружающей малонормальной действительности и хладнокровной манерой поведения в этой аномальной жизни. А решительно другим образом, который вызвал бы безразличие, если бы не “перешибали” эту безразличность сочувствие и жалость. “Маринка — баба беспутная... Майданутая на всю голову”. Получает она для пайка бумажку со штампом за приём постояльцев на ночлег и при этом не забывает говорить за рюмкой о “евроценностях”, “вильной Украине” и “происках ФСБ”. “Жертва телевидения”, словом... Хотя даже телевизора в пустом доме не осталось, один сын-мальчишка... А майданный чад не выветрился...

— Верните! — вскинулась женщина. — Пожалуйста! Верните меня туда! На Украину верните, в тот мир! В тот!

Её худой кулачок стукнул ему в грудь...

Не будет прежней Украины. Мы — за новую Украину. Со всеми её землями, богатствами и людьми. Мы — за мир. Но его никогда никому не приносит сапог американца — даже трансформированный в сапог-невидимку...

Много боли. И много надежды... Не зря — боль, и надежда, и мужество.

В предисловии к сборнику председатель исполкома Международного сообщества писательских союзов Иван Переверзин пишет: “Мы назвали этот сборник “Строки мужества и боли...”. Думается, такое название точно передает мировоззрение его авторов, ту жизненную стойкость, которую проявляют наши собратья по перу”.

Когда-то перо приравнивали к штыку... Эти люди стали на передовой вселенской битвы, локализованной в пределах исстрадавшейся донецкой земли. Битвы между святой Русью и западной тьмой... Мы победим!

СТАНИСЛАВ ЗОТОВ

РАДИ ПРОЦВЕТАНИЯ РОДНОЙ ЗЕМЛИ...

Анатолий Артамонов. “Вызовы и ответы”. (Серия “Служить России”. М., Книжный мир, 2015. — 256 стр.)

Вся моя предыдущая жизнь была связана с Калужской областью, и у меня появился реальный шанс послужить ей, как матери родной, сделать для неё всё полезное, насколько у меня хватит сил. Стало ли моё губернаторство успешным — не мне судить. Могу лишь сказать, что я работал и работаю честно, насколько не щадя себя ради процветания моей родной земли.

Анатолий Артамонов

1. Непростая земля — Калуга

Слова Анатолия Дмитриевича Артамонова, губернатора Калужской области, о служении своей земле, как родной матери — не просто красивая фраза. Он сам сын калужской земли, уроженец села Красное Хвастовичского района. Воспитан в многодетной крестьянской семье. Весь дальнейший его жизненный путь — это путь человека земли, работника села, а село в нашей России всегда было опорой страны и государства, село давало лучших людей делу служения Отчизне, русское село было той почвой, на которой возростала Россия.

Так удивительно ли, что в эпоху перемен, которую переживает сейчас наша Родина, именно люди села, вставшие на местах к рулю управления в своих регионах, оказались наиболее рачительными и сознательными хозяевами своей земли. Калужская земля — один из таких немаловажных регионов России. Во многом это своеобразная земля, вписавшая немало страниц славы и героизма в историю всего государства Российского. Обращение к истории здесь не случайно. Нынешний губернатор Калужской области знает и любит историю России и во многом имеет свой особенный взгляд на неё. Не обойдём и мы в своём рассказе эту интересную тему. Уж так получилось, что Калуга всегда имела особое влияние на процессы, что шли в сердце России — в Москве. Не только потому, что Калуга совсем недалеко от стен Московского Кремля расположена, и, сев в экспресс на Киевском вокзале, можно через два часа быть уже на берегах Оки, а более потому, что между Москвой и Калугой существует историческая связь, сделавшая неразрывной судьбу этих двух старинных центров русской цивилизации. Едва не стала Калуга столицей России в смутное время начала XVII столетия, когда обосновался в этом городе знаменитый Лжедмитрий II — самозванный русский царь со своей женой Мариной Мнишек. Мы узнаём из “Вызовов и ответов” Анатолия Артамонова, что эта своеобразная фигура русской истории

положительно оценивается нынешним калужским губернатором, который в беседе с телеведущим Эрнестом Мацквичюсом, рассказывая о замечательном местном памятнике природы — Калужском боре, заметил, что именно в этом бору "...был убит человек, признанный в большинстве русских земель законным царём — Лжедмитрий II. Он прибыл в Калугу зимой 1609 года и превратил наш город во вторую столицу Руси. Бояре в Москве позвали на трон в Кремле польского королевича Владислава и ему, католику, целовали крест на верность. А Лжедмитрий II, которым изначально вертели магнаты Польши, слал в народ гонцов с клятвой: "Я умереть готов за веру православную и полякам не отдам ни пяди русской земли".

Однако этот самозванный царь был убит заговорщиками, но многочисленные его сторонники, как это мы знаем из истории, присоединились впоследствии к ополчению, освободившему Москву от поляков.

Да, это своеобразный взгляд на историю, резко расходящийся с официально принятой оценкой роли "тушинского вора" — Лжедмитрия II — в событиях Смутного времени! Но вот этот "калужский патриотизм", что явно проглядывает в позиции Анатолия Артамонова, и то, что калужский губернатор имеет смелость утверждать свою позицию, исходя из любви к истории своего родного города, ставя Калугу на роль "второй столицы Руси", это мне откровенно нравится, это выдаёт в человеке сильный и независимый характер.

Такой характер Анатолий Артамонов проявил сразу же, заняв в ноябре 2000 года пост губернатора Калужской области. До этой вершины путь был долог, но это закономерный путь труженика и хозяйственника, сельского инженера и руководителя крупного совхоза "Груздовский" в Мосальском районе своей родной области, наконец, и первого секретаря Мосальского райкома КПСС. Ветра перестройки развели всю старую систему хозяйствования в России, и наступившее затем новое "смутное время", эти пресловутые "лихие 90-е", как принято сейчас говорить, испытывали наших людей на прочность. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Анатолий Дмитриевич Артамонов принадлежит к той когорте "крепких русских мужиков", что и спасли Россию в это лихое время, когда рулём нашей страны вертели авантюристы гайдары и чубайсы, березовские и кохи, промышленность лежала в руинах, а село было брошено на произвол судьбы. Но именно тогда из числа руководителей среднего звена старой, ещё советской школы на областном, на местном уровне поднялась плеяда ответственных и честных хозяйственников, которые взяли на себя бремя нового обустройства России с душой о народе, о его благе.

Калужская область сейчас — передовой регион России, наиболее успешно развивающийся, перспективный и креативный в своих делах и начинаниях. Именно губернатор Артамонов стал широко привлекать в свою область иностранный капитал из Германии, из Франции, из Китая, из Южной Кореи. Но капитал этот пришёл сюда к нам, в нашу российскую глубинку не для того, чтобы всё здесь скупить, а нас, россиян, оставить с носом; он пришёл сюда со своими заводами, своими производствами, своими технологиями, и те филиалы западных фирм, что расположились по воле губернатора Артамонова на калужской земле, стали оплотом новой промышленной культуры, возрождения нашей индустрии уже на европейском и мировом уровне. Много было разговоров в России об этих новациях Артамонова. Обвиняли его, что вот понаехали в Калугу западные хозяева, построили филиалы своих производств, этикие "отвёрточные" заводы, и работать на них будут иностранные гастарбайтеры, а русский народ будет ходить вокруг безработным и через высокий забор смотреть на это западное благополучие. Но не так думал губернатор Артамонов. Он понимал, что иностранцы придут, построят свои заводы, наберут наш отечественный персонал, обучат его, появятся новые квалифицированные рабочие и инженерные кадры (а набирать ведь есть из кого — в Калуге работает филиал МГТУ — Московского государственного технологического университета, знаменитой "Бауманки"), и эти кадры не уедут за границу, как не уплывут за рубеж и новые заводы со всем современным оборудованием, и здесь, в центре России, создастся оплот новой индустрии, что так нужна нам сейчас в нашей богатой сырьём, но отставшей технически за годы пьяного ельцинского развала Державе.

И теперь, как пишет Александр Проханов, не раз бывавший в гостях на Калужской земле: "В чём причина калужского чуда? Может быть, в том, что губернатор Артамонов прекрасно овладел методикой индустриальных парков? Когда среди лесов, полей отводятся земли, к ним подходят шоссе и железные дороги, газопроводы, электроэнергия. И на эти пустые пространства, как на космодромы, спускаются космические корабли чужой заморской цивили-

лизации. Вся область уставлена стального цвета кристаллами: Германия, Швеция, Бельгия, Сербия, Китай. Может быть, в этом чудо? Но тогда почему такого чуда нет в соседних губерниях? Почему это открытие Артамонова не используется другими губернаторами?"

А действительно: почему? Не хватает креативности? Может быть, того самого губернского патриотизма? Ощущения того, что ты живёшь не в заштатной глухой провинции, куда, как писал Гоголь, "семь лет скачи — ни до какого государства не доскачешь", а во "второй столице Руси"!.. Да, Калуга в русской истории, как я уже писал, не простой город. Вспомним 1812 год. Кутузов сдаёт Москву французам со словами: "С потерей Москвы, не потеряна ещё Россия", — а вот когда эти французы двинулись на Калугу, то тут вся русская армия встаёт у них на пути в Малоярославце на Калужской земле и даёт Наполеону "второе Бородино"! И не пускает Кутузов Наполеона дальше со словами: "В Калугу я его не пущу!" Вот так: Москву сдал, а Калугу — нет! Неудивительно — в Калуге находились большие склады, база снабжения русской армии. Не так ли и сейчас нынешняя Калуга губернатора Артамонова превратилась, по сути, в базу возрождения Новой России, и его "калужский эксперимент" — это прорыв в будущее, маяк и для других регионов нашей страны, которая, как известно "велика и обильна, а порядка в ней нет". А в Калуге есть.

2. Малая родина

Одно из самых видных мест в книге "Вызовы и ответы" занимает просторная и длительная беседа Анатолия Дмитриевича Артамонова с главным редактором журнала "Наш современник", известным поэтом Станиславом Юрьевичем Куняевым. Они беседуют как друзья, как добрые земляки — и не случайно. Оба — уроженцы Калужской земли. Анатолий Дмитриевич родился в селе Красном, а Станислав Юрьевич родился в Калуге, но детство его прошло в деревне Лихуны — "не самом плохом месте", как заметил губернатор. Беседа Куняева и Артамонова отличается от других материалов книги. Отличается какой-то доброй человеческой глубиной. И первая тема беседы — малая родина, без которой нет становления личности, нет ощущения себя сыном своей земли. Анатолий Дмитриевич говорит: "Я никогда не скажу о своей малой родине: "в этом селе"... Я всегда говорю: "в моём селе, в моей области, в моей стране". Не бывает ни одного дня, чтобы я не вспомнил о своей малой родине. Я люблю бывать там, это меня подпитывает, и когда предоставляется возможность помочь моей малой родине, всегда это делаю. Недавно мы построили там прекрасный храм Покрова Пресвятой Богородицы, и Вы знаете, Станислав Юрьевич, я просто ощущаю, как внутренне изменились с открытием этого храма люди... Мы пытаемся воссоздать там животноводство, дать возможность моим сельчанам трудиться и зарабатывать... Не все имеют в городах своё жильё, а в селе Красном стоят прекрасные дома, в моём селе всегда жили прекрасные плотники... У нас всегда строили крепко и основательно".

Читаешь эти строки и чувствуешь, как этот волевой человек с довольно жёстким лицом, запечатлённым на обложке книги, привыкший командовать и требовать подчинения, вдруг оттаивает и внутренне наполняется тёплым светом. Станислав Юрьевич смог затронуть в нём самые тонкие струны души...

"Детство не забывается, — говорит Анатолий Артамонов, — я очень люблю своё село и держу в уме, как результаты моей работы отзовутся на моей малой Родине. Для меня важно, что думают обо мне мои земляки, и я живу так, чтобы мне не было стыдно перед ними и перед всеми жителями нашей области".

Из этой темы — любви к своей малой Родине — неизбежно возникает тема войны. Станислав Юрьевич пережил войну ребёнком, его отец погиб в блокадном Ленинграде, родственники сражались на фронтах, а у Анатолия Артамонова отец-артиллерист всю войну прошёл с "сорокапяткой" — маленьким противотанковым орудием на переднем крае. Дважды был тяжело ранен и, как рассказывает Анатолий Дмитриевич, думал всю войну, "...что, если бы Господь оставил его в живых и у него родился бы сын, то после этого пусть бы и смерть пришла, лишь бы род продолжился..." И как горько звучат после этого слова губернатора о тех его земляках, кто спекулирует квартирами своих дедов-ветеранов, полученными ими от государства... Трудно победить в войне, но ещё труднее воспитать в человеке человеческое отношение к родным людям... После этого задумаешься: только ли власть

в России виновата в тех бедах, что терзают так часто нашу любимую Родину? А мы сами что сделали для неё? Сам Анатолий Артамонов отвечает на этот вопрос так: “Я всегда говорю своим коллегам: вы не ждите сегодня похвалы себе, сегодня вы ждете только критики. Вы должны думать только об одном: как вашу работу будут оценивать потом, будущие поколения”.

3. Народный губернатор

Интересно и неожиданно завершается книга бесед с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым — очень, я бы сказал “революционной” главой: “Надо привести олигархов в чувство”. Анатолий Дмитриевич даёт здесь интервью корреспонденту “Комсомольской правды” Евгению Белякову. И корреспондент с “комсомольским” задором сразу начинает атаковать губернатора: “Как депрессивную в начале 90-х годов область удалось превратить в одну из самых промышленно развитых? И можно ли этот опыт перенести на всю страну, особенно в нынешнее кризисное время?” И губернатор честно ему отвечает, что в 90-е годы в России шло активное разоружение. Дескать, врагов у России больше нет. В результате в Калужской области закрылось больше половины предприятий. И перед новым губернатором встал вопрос: где взять людям работу, которой их лишило государство? Отечественных инвесторов не было — все были заняты “приватизацией”, то есть разграблением государственного имущества, будем называть вещи своими именами, не зря этот процесс в народе называли “прихватизацией”. “Поэтому надо было рассчитывать на иностранцев, — говорит Артамонов, — и мы не ошиблись, это привнесло новую культуру производства, люди стали меняться”.

Но на пути инвесторов, со слов губернатора, встали четыре российских беды: бюрократия, коррупция, высокие налоги и неразвитая инфраструктура. Да и недостаток кадров. С чего же надо было начинать? “С инфраструктуры, — утверждает губернатор. — Мы создали индустриальные площадки, технопарки... для многих инвесторов сразу”. — “Что-то вроде промышленного общеджития получается?” — “Именно. Этот опыт увидели и в Китае, и в Корее, и в Америке, и в европейских странах... Они откликнулись. Затем стали решать вопросы бюрократии. Мы ввели такой институт, как публичная защита инвестпроектов. В одном зале собирались инвесторы, чиновники, различные контролирующие и согласующие службы. Все сразу могли задавать вопросы. Если сомнений не было, все расписывались, что претензий нет”.

Дорогой читатель, не напоминает ли тебе что-то такая практика решения злободневных вопросов?... Да это же Совет — времён революции! Когда в Совете собирались рабочие, крестьяне, солдаты, матросы, служащие, а ещё представители разных партий и совместно решали насущные вопросы. Только теперь Артамонов собрал в таком импровизированном Совете финансистов, бизнесменов, производственников, чиновников, госслужащих и заставил их совместно и быстро решать хозяйственные и административные вопросы и подписываться под решениями! Это ли не переключка эпох?

Вообще, власти и капиталу надо быть ближе к народу. Анатолий Дмитриевич вспоминает, как он ездил в Германию и побывал на частном станкостроительном предприятии — 12 тысяч работающих. Предприятием владеет одна небольшая семья. Люди сверхбогатые. Могли бы кайфовать, раскатывать на яхтах, купаться в роскоши... “Но они этого не делают. Говорят, самое страшное, чего мы боимся, — социальный антагонизм. Мы не хотим, чтобы нас считали капиталистами. Они днюют и ночуют на предприятии. Вместе с рабочими станки перетаскивают. В итоге они создали такую обстановку, что каждый, кто работает на заводе, говорит: это мой завод. Возможно, к этому привела жёсткая фискальная политика, суть которой: получил сверхдоход — поделись с обществом”.

Так рассуждает поистине народный губернатор Анатолий Артамонов. Не удивительно, что и на вопрос корреспондента Белякова: “Как наших олигархов заставить быть скромнее?” — он отвечает: “...привести в чувство надо — надо сказать, что с этого дня начинаем работать не на себя, а на государство, и вытаскивать всю страну из кризиса”.

Услышат ли в Кремле эти слова?

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА...

Мой ответ Марине Струковой

В майском номере “Нашего современника” за 2015 год были опубликованы мои размышления, озаглавленные “Разделили и мы неделимое, или Письма с Украины, которой нет”. Прочитав их, поэт Марина Струкова написала мне письмо, которое взволновало и расстроило меня до глубины души.

Дело в том, что 25 лет тому назад я получил из далёкого тамбовского села письмо и школьную тетрадочку со стихами от молоденькой учительницы начальной школы. Стихи были свежие, искренние, талантливые, патристические, и мы, конечно, сразу опубликовали их. Марина Струкова в то страшное время после первой же публикации проснулась, как говорится “знаменитой”. Последующие публикации её стихов были только в нашем журнале, с помощью которого вскоре вышла первая книга Марины “Солнце войны” с предисловием Вадима Кожинова (1998) и “Серебряная пуля” (2003) с моим послесловием. Вадим Кожинов, прочитав рукопись книги, вручённую ему мной, восхитился именно Мариной “русскостью”.

Вскоре после выхода книги “Солнце войны” мне позвонил Александр Проханов и попросил, чтобы я познакомил его с Мариной. Так она стала постоянным автором газеты “Завтра”, а после октября 1993 года – любимицей молодёжи, сплотившейся вокруг Баркашова в “Русское национальное единство”, известное истории под аббревиатурой РНЕ.

Именно поэтому в 2007 году, когда на Украине стало разгораться пламя оранжевого майдана, я послал Марину в “незалежную”, чтобы она поглядела русскими глазами на всё, что там происходит, и рассказала нашим читателям об украинской драме честно и правдиво. Что она и сделала. Свой очерк “Над Днестром и Смотричем” Марина завершила словами: **“До встречи, Украина! Десять антирусски настроенных субъектов в толпе и пять у власти не заставят меня относиться хуже к твоему народу и песням, полям и храмам, великой истории и славянскому братству...”**

И вдруг в июле 2015 года я получаю от неё письмо, на которое, как человек, немало сделавший для литературной судьбы Марины Струковой, не могу не ответить.

* * *

Послание Марины ко мне начинается так:

“Люди, написавшие Вам письма, по менталитету – советские, ностальгируя по своей молодости (так в оригинале. – Ст. К.), они хотели бы вернуться в те дни, от которых в памяти осталось только хорошее, а плохое забылось.

Их мечта — восстановленный Советский Союз. Они запаматовали репрессии, нищету, вынужденное молчание. Такие говорят, что несмотря на то, что их предки погибли или отсидели в ГУЛаге, нужно простить Сталина. Я не прощу, не предаю память предков — это они, русские, казаки, гибли “от пуль, голода и холода” в советской стране, скрывались или сидели по лагерям. Для меня сегодня вернулась та гражданская война, те 20–30-е годы. Не могу быть на стороне новых большевиков”.

Твой детский политический лепет, Марина, твоя мировоззренческая инфантильность поразили меня. По-моему, ты до сих пор не прочитала “Тихий Дон” Шолохова, не прочитала его переписку со Сталиным и мыслишь, как гимназистка-эмигрантка первого поколения, сбежавшая в 1920 году из Крыма в Турцию.

Но ведь даже люди той эпохи прозревали — жизнь заставляла их это сделать. Вспомни, что Деникин отказался от предложения Гитлера сотрудничать с ним, потому что его русское сердце не пошло на эту сделку. Вспомни, что Бунин, написавший в запальчивости “Окаянные дни”, в 1943 году молил Господа, чтобы со Сталиным, отправившимся в Тегеран на встречу с Черчиллем и Рузвельтом, ничего не случилось в пути. Вспомни, в конце концов, героическую судьбу генерала Карбышева, вспомни, что в гражданской войне почти половина бывших офицеров царской армии воевала на стороне красных, чтобы спасти Россию от мировой Антанты.

А теперь о другом. Ты пишешь, что мои украинские корреспонденты **“ностальгируют по своей молодости”**. Но многие авторы этих писем не какие-то советские старики, а твои ровесники. Таковы молодые поэты из Новороссии — Максим Газизов, Артём Маслов, Игорь Галкин. Такова моя корреспондентка из Харькова. Таковы журналисты Василий Бабанский из Киева и Сергей Кривонос из города Свитово. Таков, в конце концов, твой ровесник Олесь Бузина, убиенный твоими майдановскими отморозками. Шельмуя советскую эпоху и не понимая Сталина, ты уподобляешься и западным русофобам, и нашей “пятой колонне”.

* * *

Ты яростно пишешь в своём письме:

“Тем, кто говорит мне о слезинке донбасского ребёнка, я напоминаю о слезинке чеченского ребёнка. Помните, как поддерживали мы, российские патриоты и националисты, армию РФ, которая уничтожала сепаратистов Ичкерии, не задумываясь о том, что там гибнет и мирное население?”

Ты что, забыла, что прежде чем в Чечню были введены российские войска, около 300 тысяч русских жителей Чечено-Ингушской АССР были выдвинуты, изгнаны, выброшены из её пределов, и это изгнание сопровождалось убийствами, насилием русских женщин, грабежами, захватом сельских домов и городских квартир, унижениями и издевательствами над беззащитным русским “мирным населением”. Ничего похожего по отношению к украинцам в Новороссии и в Крыму не происходило. Ты что, забыла такие фамилии, как Дудаев, Хаттаб, Басаев, Радиев, Удугев? Ты забыла о “слезинках русских детей” в Будённовске и на Дубровке, ты забыла о взрывах русских многоэтажек в Москве и Волгодонске, ты забыла о “слезинках осетинских детей” в Беслане? Ты забыла о своём собственном стихотворении, написанном в середине 90-х годов в разгар чеченской войны, на которую ты посмотрела собственными глазами?

Я тебе напомню эти стихи:

*Корреспонденты к нам из-за границы,
как вороны, слетелись в южный край,
чтоб на экран и пёстрые страницы
перенести бандитский ад и рай.
И телеобъективы наводили,
как будто бы пришли глазеть в музей,
когда бойцы в окопе находили
отрезанные головы друзей.
Они — корреспонденты-чужеземцы,*

*не напрягая подленьких умов,
порой стонали: “Бедные чеченцы!”
...Что им до наших взорванных домов,
что им до наших бед и демократов,
что им до наших нефтяных магнатов?
Сенсаций жаждут, удивляют мир.
Корреспондентам бойня — словно тир.
Навстречу взрываю — фотокамер вспышки.
Они снимают жадно день и ночь,
как корчатся в агонии мальчишки,
как беженцы спешат из дома прочь...
Ну что же, удивим гостей охотно,
и пусть не опускают наглых глаз,
когда врагов повзводно и поротно
мы вмажем бэтэрами в Кавказ,
когда вздохнёт свободная Россия,
победою закрыта, как бронёй,
когда отрежут голову Шамиля
и в тишине поднимут над Чечнёй.*

А может быть, это писала не ты, а какая-то другая русская амазонка-националистка?

И вся эта кровавая вакханалия, спровоцированная усилиями тех, кто расчленил Советский Союз, продолжалась до тех пор, пока в Чечне не появился её великий сын Ахмат Хаджи Кадыров со своими соратниками. Он остановил кровавое колесо чеченской истории, за что и был зверски убит продолжателями дела Басаева и Радева.

* * *

“Часть населения Донбасса, — думаю процентов 30, — в ожидании позитивных перемен обернулась к России, готовая нарушить законы собственной страны, ради призрачных обещаний. Но русские в других регионах Украины продолжают жить, как жили, и никто их живьём не ест!” — Так пишешь ты, Марина. Но о каких “законах собственной страны” можно говорить после кровавого февральского переворота, совершённого в Киеве хунтой в 2014 году, после чего Украина живёт в состоянии полного беззакония?

А насчёт того, что за пределами Донбасса “в других регионах Украины” русские “продолжают жить, как жили, и никто их живьём не ест!” — я скажу, что действительно “живьём” не едят, но им простреливают головы, как Олеся Бузине и Олегу Калашникову, их сжигают заживо в одесском крематории, их, беспомощных ветеранов, избивают во Львове... А давай ещё вспомним об убитых за пределом Донбасса священниках, об арестованных и осуждённых журналистах, об искалеченных в Киеве “беркутовцах” и расстрелянных на майдане снайперами несчастных революционеров из “небесной сотни”. Слава Богу, что в Крыму такого беспредела уже никогда не будет. Ты в упор не видишь, что в Россию за последние два года сбежали с Украины около миллиона её граждан. Почему? Может быть, потому, чтобы их “живьём не съели”?

Ты пишешь, что “перемены в Украине спровоцировали подавляющее большинство российских авторов, считающих себя патриотами, на целый массив украинофобской художественной литературы <...> Те немногие писатели-патриоты, которые имеют иную точку зрения, в такой обстановке предпочитают молчать или временно публиковаться под другими псевдонимами”.

Этот твой отрывок, Марина, столь косноязычен, что я даже засомневался, а заканчивала ли ты советскую десятилетку и педучилище, и училась ли два года на Высших литературных курсах? Но это — мелочи. Суть в другом. Что же ты испугалась назвать имена “российских авторов”, которые “спроводировали перемены на Украине”? Может быть, ты имела в виду моего друга Александра Проханова, написавшего роман “Гибель городов” и опубликовавшего его в “Нашем современнике”? А в июле 2015 года Проханов поехал на Донетчину и вручил тираж своего романа на легендарной горе Саур-могила жителям Новороссии. А чего же ты постеснялась назвать среди “спроводиро-

вавших перемены на Украине” имена Захара Прилепина и Сергея Шаргунова, не раз побывавших этим летом на искалеченной Новороссийской земле, приехавших туда с гуманитарными конвоями и написавших в своих очерках о жертвах, героях и карателях этой гражданской войны? А ведь ты, в отличие от них и от многих других писателей – Николая Иванова, Платона Беседина, Михаила Елизарова, – не бывала в последнее время на Украине и, наверное, начитавшись в интернете всяческой русофобской болтовни, уж не про себя ли пишешь, что приходится **“временно публиковаться под другими псевдонимами”**? А ведь в прежние времена, когда ты была баркашовкой, ты, помнится, была смелее и публиковала всё, что хотела, под своим именем. Сегодня ты сочувствуешь украинским киборгам, осуждаешь Российскую армию, вторгшуюся в 1994 году в Чечню, но ведь именно в те годы ты писала:

*Мной русская ненависть правит.
И памятью предков сквозь сны
души моей боль не оставит,
и русскую истину славит
мой голос под солнцем войны.*

* * *

Ты пишешь: *“Сейчас русских россиян многие украинцы называют потомками чуди, вепсов, мордвы”*. Да, мы кое с кем смешались. И не комплексуем из-за этого, потому что мы великий народ. Но, Марина, многих нынешних “щирых украинцев” с тем же успехом можно назвать “потомками” поляков, австрийцев, молдаван, турок, греков и евреев. Но они, закомплексованные, считают себя только потомками легендарных “укров”:

Ты пишешь, что *“Украины – советской республики – действительно не существует. Но есть другая Украина – законная наследница Киевской Руси, независимое государство”*.

Киевская Русь завершила своё историческое существование в XIII веке, после окончательного установления господства над ней монголо-татарской орды. С той поры прошло девять веков... Но где же была **“законная наследница” Киевской Руси** всё это время? Не слишком ли долго она входила в права наследства? Не смеши историков, Марина, они посмеются над тобой, прочитай, как ты защищаешь нынешнюю киевскую власть: мол, если она, пришедшая в Киев после государственного переворота, “нелегитимна”, то нелегитимна и **“российская власть – наследница большевиков, пришедших к власти после переворота”**. Жестокая русская пословица гласит: у бабы волос долог, а ум короток. Нелегитимным с первого же своего дня в феврале 1917 года стало масонское Временное правительство, члены которого насильственно вырвали из рук Николая Второго его отречение от престола. За последующие полгода они в угоду западным союзникам развалили всё – армию, флот, транспорт, снабжение населения продуктами, да и всю страну. При них началось отделение от Российской империи Польши, Финляндии, Украины, Прибалтики, Закавказья. Если бы не большевики, изгнавшие из правительственных дворцов этих лакеев Антанты, предателей России и импотентов во власти, то расчленение России произошло бы к концу 17-го года. Но большевики взяли власть, и через три года великий князь Александр Михайлович, находясь во Франции, записал в своём дневнике, что “большевики и Ленин” спасли Россию как государство от уничтожения.

* * *

“Станислав Юрьевич, – пишешь ты, – подумайте, разве не отнеслась Украина к Донбассу так, как отнеслась бы Россия к какому-либо своему региону, вздумай он отделиться в пользу соседнего государства”. Прощаю тебе косноязычие последней фразы, а заодно и невежество, поскольку Донбасс отнюдь не вздумал *“отделиться в пользу соседнего государства”*, он всего лишь не хочет жить под властью преступной лакейской проамериканской клики, воцарившейся в Киеве. И надеюсь, время покажет, что он был прав и что

его восстание было неизбежно независимо от того, что об этом думала власть кремлёвская.

* * *

“На мой взгляд, столкнулись два варианта русского народа – российский и украинский, но украинцы-русы более прогрессивны в данный исторический период, потому что сделали европейский, а не евразийский выбор”. Марина, а ведь это уже было в нашей истории. Твои “русы-бандеровцы” в 1941 году тоже сделали “европейский выбор”, когда приветствовали вторжение войск объединённой фашистской Европы в советскую Евразию, то есть в СССР. Но тогда это была всемирно-историческая трагедия, а сейчас всего лишь на- всего хоть и кровавый, но всё-таки фарс. Слишком много комических и анек- дотических фигур в высших эшелонах власти “незалежной”.

* * *

Об одесской расправе над патриотами с “Поля Куликова”, которая по историческому значению была такой же, как ельцинская расправа над защитниками Белого Дома в октябре 1993-го, ты вспоминаешь в иронических кавычках: “Насчёт “одесского жертвоприношения” и продолжаешь: “очень часто встречала признания ополченцев, что они отправились на Донбасс после этого события”, – и глумливо намекаешь: “Кому же был выгоден массовый рынок русских пассивариив на Донбасс? Отнюдь не украинцам”. А следующая фраза у тебя вообще доносительская, с подлым подтекстом: **“Кстати, Дом Профсоюзов – бывший офис Компартии Украины”**. Словом, одесскую бойню спровоцировали либо “сепаратисты”, либо украинские коммунисты. До таких “догадок” даже лживые украинские официальные СМИ не опускались. В Доме Профсоюзов сгорел замечательный русский поэт Вадим Негату- ров, стихи которого после его гибели мы напечатали в журнале. Как ты дума- ешь, он тоже был коммунистическим или сепаратистским провокатором? Ты пишешь: “Конечно, Украина не в прямом смысле носитель “белой” идеи, но она антисоветская, антитоталитарная, антиевразийская, национальное го- сударство... Доказательством служит и то, что на украинской стороне воюют русские добровольцы”. Ну и что? Власовцы (тоже добровольцы) воевали, одетые в форму гитлеровского вермахта, против своего народа и своей Родины. А это означает, что украинская бандеровщина и русская власовщина мо- гут ужиться в одном окопе. Думала ли ты, когда была вдохновительницей русского национального единства, возглавляемого бесследно исчезнувшим Баркашовым, что твои поклонники, пытавшиеся захватить в 1993 году цент- ральное телевидение в Останкино, через 20 лет будут стрелять в русских ополченцев, защищающих свою родную Новороссию от уголовников Яроша и наёмников Коломойского, оснащённых американским оружием? Не ты ли, Мариночка, сочинила во время нашей чеченской войны стихотворенье, в ткань которого уже была вплетена кровавая украинская нитка:

*Свой далёкий дом посреди долины
не припомнит снайперша с Украины.
Целый день, прищурясь, глядит в прицел —
продолжает русских солдат отстрел.*

*У неё расчётливый ум холодный,
от сомнений, грусти, любви свободный.
Форма и трофейный бронезилет...
Чернобровой снайперше двадцать лет.*

*Почему стреляют в славян славяне?
Ваххабиты — те клялись на Коране,
а наёмники — долларами клялись?
Украина, за подлых своих молись.*

*Не уйти сквозь грозненские руины
чернобровой снайперше с Украины.
Труп висит растерзанный — не узнать...
А в костёле сумрачном плачет мать.*

* * *

Ты пишешь: “Вы цитируете мою статью восьмилетней давности, где встречается критика украинского “оранжизма”, но теперь я придерживаюсь иного взгляда”.

Ты пишешь: “К сожалению, имперская идея, пропагандой которой и я занималась два десятилетия, реализовалась как братоубийство”.

Однако как легко ты отказываешься от своих прошлых убеждений, которые живут в твоих книгах вот уже четверть века! Ну, откажись окончательно от этих взглядов и от своих книг! Давай сдадим их в макулатуру или сожжём вместе с моим послесловием и предисловием Вадима Кожина. “Отречёмся от старого мира...”

Ты пишешь: “Я не написала ни единого слова в поддержку так называемой “русской весны”, “весной 2014 года Россия рухнула в бездну прошлого”. И чем ты гордишься? Что воссоединение Крыма с Россией, его возвращение в родную гавань не обрадовало тебя? Возвращение Крыма Екатерины Великой и Григория Потёмкина, Крыма адмиралов Ушакова, Нахимова, Корнилова, Колчака, Кузнецова, Крыма Пушкина, Чехова, Толстого, Крыма Ивана Шмелёва и Анны Ахматовой, Крыма, где выросли наши дети и наши внуки... Ну, назови, Марина, хоть одну украинскую фамилию с такой же славой, с таким же бессмертием... Вся Россия аплодировала народу Крыма после майского референдума 2014 года, одна ты да Борис Немцов с Андреем Макаревичем скрипели зубами.

* * *

А сколько в твоём письме недостойных твоего поэтического таланта сплетен о Новороссии и её людях. Откуда ты взяла сведения, что “подручные Захарченко и Плотницкого пытали арестованных казаков и даже насильничали их жён и дочерей”? Когда же это было? В каком городе? Назови имена и фамилии палачей и жертв, претерпевших пытки, и изнасилованных. Не можешь? Ну, тогда молчи.

Откуда ты взяла сплетню о том, что “Алексея Мозгового убили не украинцы”, — опять грязный намёк на руководство ДНР и ЛНР. Да я множество подобных сплетен и намёков слышал по радио “Эхо Москвы”, и на TV “Дождь”, читал в “Новой газете”. Пора бы им приглашать тебя к себе в компании с Шендеровичем и Юлей Латыниной.

Да, я сам недоволен многим, что вижу на наших телеканалах. Но что касается Украины, то информация с её истерзанной земли добывается кровью наших ребят.

Отдадим им должное. Показывая кадры разбитых вдребезги домов, искалеченных детей на больничных койках, тела убитых стариков и старух, наши бесстрашные тележурналисты всегда называют селение или город, куда прилетели украинские снаряды, называют улицу и номер дома, от которого остались одни стены и оконные проёмы, показывают, на каком кладбище и когда похоронены женщины, дети и старики — жертвы антитеррористической операции, показывают даже таблички с фамилиями и даты рождения и смерти.

Вот так, Марина, надо доказывать правоту своих суждений. Ты упрекаешь мою киевскую корреспондентку, поскольку она пишет мне в письме, что чуть ли не в каждом из ведущих политиков Киева есть еврейская кровь. “А кто на стороне российской власти? — злорадуешь ты. — Братья Ротенберги, Абрамович, Вексельберг, Фридман и другие капиталисты... Стоит ли повсеместно видеть еврейский заговор?”

Вопрос непростой, Марина. Но имей в виду, что между нашими и украинскими евреями две большие разницы, как говорят в Одессе. Наши не стесняются быть евреями, радянские же из кожи вон лезут, чтобы быть похожими на

Тараса Шевченко и Лесю Украинку — косы заплетают, казацкие усы отпускают, вышиванки носят. Видимо, для того, чтобы их считал своими “Правый сектор”. Но ты права, Марина, в том, что глупо “повсеместно видеть еврейский заговор”, когда вокруг тебя в украинской элите сплошные “щирые украинцы”.

Ну, а если говорить серьёзно, что делать, коль с незапамятных времён гостеприимная Украина стала приютом для местечковых общин, сбжавших на Восток от средневекового европейского антисемитизма?

Не устраивать же еврейские погромы, подобные львовскому в 1941 году! Европа не поймёт! Европейский выбор медным тазом накроется! Вот и приходится полевым командирам в Киевской Раде, оглядываясь на хасидов и хабдников, прикладывать “рученьку к серцю” и петь вместе с ними хором: “Ще не вмерла Украина”... С волками жить — по-волчьи выть.

* * *

А как изменился стиль твоей речи, сколько либерального мусора залетело в неё! “За украинской правдой стоит прогресс”, “украинцы-русы более прогрессивны”, “В мире сейчас мода на вышиванку — ибо она символ украинского вольнолюбия”, “А в России народный костюм — кто оденет, кто делает его символом прогресса”.

Ты пишешь мне, что у нас в России сейчас время политических репрессий: “Если сейчас репрессии ещё не массовы, а точечны, за это нужно благодарить Запад, который пытается повлиять на политику РФ”. Сразу на ум приходит дело Ходорковского, дело Магницкого, арест украинской наводчицы Савченко. Как обрадовались бы, услышав от тебя такие слова, Ирина Хакамада и Алла Гербер, Маша Гайдар и Ксюша Собчак! Ещё бы, русская амазонка, которая ещё недавно вещала:

*Демократия сдохла, сорваны маски,
диктатура спецслужб — рукой на горле.
Либерал по инерции мямлит сказки,
и Россию на Западе с карты стёрли.*

*Обыватели слепы, немые и глухи,
им бросают объедки с чужого пира.
На глазах свободы — трупные мухи
цвета пентагоновского мундира.*

А теперь перебежала в их стан. А теперь пишет: “Мне по душе общее стремление **“украинского народа к демократии”**”. А может, тебе действительно, подобно Ксюше и Маше, “свалить из рашки”, встроиться в украинскую жизнь, попросив у Саакашвили работу? Зная твоё отношение к “жертвоприношению в Одессе”, он тебе не откажет и, глядишь, утвердит своим высочайшим указом на должность помощницы к Маше Гайдар.

А мы немного погорюем, потом вздохнём с облегчением и скажем: “Скаattered дорога!” Зачем тебе прозябать в России, являющейся “наследницей” ненавистного тебе Советского Союза?

* * *

Ты, Марина, убеждена, что русские и украинские националисты могут понять друг друга и воевать против “имперской России” в одном окопе. Но националисты бывают разные. В 60-е годы прошлого века на Украины был популярен поэт Василь Симоненко, украинский националист-диссидент. При жизни он издал тоненький стихотворный сборник. А сегодня его стихи изучают в украинских школах. Но знаешь ли ты, как он относился к бандеровцам, потомки которых сегодня братаются с твоими поклонниками? Вот какие стихи Симоненко писал о них.

*Тоді вас люди називали псами,
Бо ви лизали німцям постоли,*

*Кричали “Хайль!” охрипшими басами
І “Ще не вмерла...” голосно ревли
Де ви ішли — там пуста і руїна.
І трупи не вміщуються до ям.
Плювала кров’ю “ненька Україна”
У морди вам І вашим хозяям”*

В октябрьском номере “Нашего современника” за 2010 год мы, Марина, опубликовали твою переписку с замечательным русским писателем Дмитрием Балашовым, который высоко ценил твою поэзию. В ней ты цитируешь из его письма к тебе пророческие слова Дмитрия Михайловича о России:

“Остаться огрызком земли в пределах 15-го столетия нам не позволит никто. Все исторические наблюдения убеждают меня в том, что великим нациям не прощают их прежнего величия. Мы не Эстония, ни мордва, нас просто уничтожат... Страну нельзя делить <...> мы не имеем права терять наши выходы к морям”. Балашов, конечно бы, в отличие от тебя, приветствовал возвращение Крыма в Россию.

“Я горжусь перепиской с Дмитрием Михайловичем, сходством наших взглядов”, — пишешь ты в своей публикации 2010 года. Слава Богу, что Дмитрий Балашов не дожил до сегодняшних дней и не увидел того, что прежней Марины Струковой больше не существует. “Нет на свете печальной измены, чем измена себе самому”, — как писал Николай Заболоцкий.

.....

Информируем читателей, что в номерах 1—10 за 2015 год редакцией реализуется разработанный ею социально значимый проект “Святое знамя Вечного огня”.

Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.